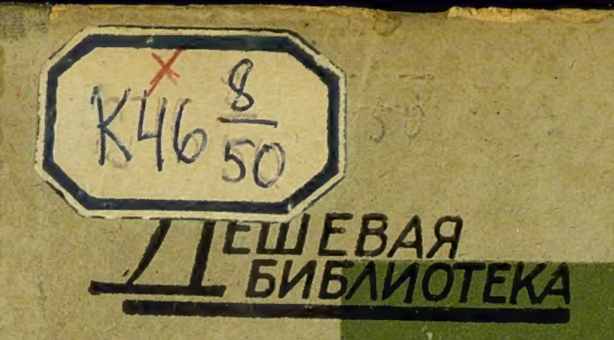


ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА

Л. Войтоловский

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

№ 9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1931

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ
1914—1917

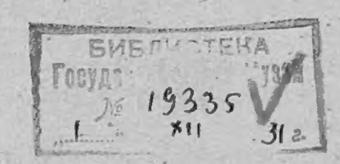
ПРЕДИСЛОВИЕ
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛЕНИНГРАД 1931 МОСКВА

Обложка работы А. Ушина



ОГИЗ № 13578/л Х—30.
Ленинградский Областлит № 15124 Тираж 25 000 Зак. № 7166

Гос. [illegible] „Ленингр. Правда“. Ленинград, Социалистическая, ул. 14

П Р Е Д И С Л О В И Е

В бытность мою на царском фронте в 1914 году я в первые пять месяцев войны не разлучался с записной книжечкой, которую держал за голенищем. Накопилось у меня исписанных книжечек несколько. Но все они погибли в декабре того же года. Вырвавшись на две недели домой, я прихватил с собой и мои книжечки. В Финляндии, когда я ехал лесной дорогой в деревню Мустамяки, мой возница, безрукий Давид, вдруг засуетился, стал подхлестывать лошадь и оглядываться.

Сзади где-то фыркали лошади и заливался колокольчик.

— Пиона едет! — заявил безапелляционно Давид.

— Шпион?!

— Пиона! — повторил Давид.

— Гони!.. И сразу сверни во двор к Иорданскому.

Свернули. Колокольчик прозвенел мимо.

Вбежав в дом Иорданского, я моментально все мои записные книжки и письма швырнул в печку. Все сгорело. На следующий день в мою квартиру привалили: жандармский полковник, человек пять охранников и еще какие-то типы. Меня не было дома. Перетряхнули все, забрали все рукописи и письма, вплоть до детских. После такого случая мне не оставалось ничего другого, как раньше истечения срока отпуска подрать на фронт. Я так и сделал. Суть в том, что я долго-долго не переставал жалеть о гибели моих записок. Были мной записаны изумительные вещи. Свежие записки, на месте. Повторить нельзя. Один случай из записанных мной особенно врезался мне в память.

Где-то под Краковым читаю я солдату, Николаю Головкину, газету кадетскую «Речь». Газета, захлебываясь от восторга,

описывает патриотическую манифестацию интеллигенции и студентов: с иконами и трехцветными флагами чуть ли не стояли на коленях у Зимнего дворца.

Головкин слушал-слушал, потом сплюнул и изрек:

— По-рож-ж-жняки!!

Охарактеризовать более метко русскую интеллигенцию нельзя было.

А сколько таких метких суждений мною было записано! И все погибло.

Понятно поэтому, с какой жадностью я набросился года четыре назад на походные записки тов. Л. Войтовского «По следам войны». Они для меня некоторым образом возмещали мою потерю.

Такой книги (за исключением разве книги С. З. Федорченко «Народ на войне») об империалистической войне у нас еще не было. Ни историку, ни психологу, ни тем более художнику, желающему понять, истолковать, изобразить настроение народной многомиллионной массы, брошенной в пекло империалистической бойни, нельзя будет миновать записок тов. Войтоловского. Но и каждый читатель, который непосредственно к ним обратится, получит неисчерпаемое удовольствие и неоспоримую пользу.

Перед нами — это уже теперь совершенно ясно! — не просто «работа, замечательно сделанная... почти с объективизмом художника», а большое полотно большого писателя, медленно развертывающаяся, широчайшая, не «почти», а насквозь подлинно-художественная эпопея, в которой, как, пожалуй, ни в какой другой книге, нашли художественно-правдивое отображение — «все липовое: и цари, и святые, и штабы», вся бестолочь прежней русской жизни, бесконечная выносливость и житейская мудрость простого народа, стольже бесконечная бездарность и подлость правящего класса и последние — то «наступательные», то «оборонительные» — судорожные, несмысленные и между собой не связанные движения гигантского государственного организма, в котором центрально-нервная система замирала в последних стадиях паралича.

Развал... Обреченность... Гибель...

И вот в эту-то злую пору у народа, у наилучшей его части, брошенной на голый, беззащитный, безоружный, «убойный» фронт, «обмокла кровью душа... и пошли думки разные...».

Любовно подслушанные и правдиво записанные Л. Н. Войтовским, эти народные думки производят на нас, читателей, потрясающее впечатление.

Чтоб узнать мужика, надо с ним пуд соли съесть и, во всяком случае, не пренебрегать ни одной самой малейшей возможностью, счастливым случаем, узнать его поближе, разгадать его подлинный лик.

Припоминаю случай с В. И. Лениным. Владимир Ильич как-то в 1918 году, беседуя со мной о настроении фронтовиков, полувопросительно сказал:

— Выдержат ли?!.. Не охоч русский человек воевать.

— Не охоч! — сказал я и сослался на известные русские «плачи завоенные, рекрутские и солдатские», собранные в книге Е. В. Барсова «Причитания северного края»:

И еще слушай же, родная моя матушка,
И как война когда ведь есть да сочиняется,
И на войну пойдем, солдатушки несчастные,
И мы горючими слезами обливаемся,
И сговорим да мы бесчастны таковы слова:
«Уж вы ружья, уж вы пушки-то военные,
На двадцать частей пушки разорвитесь-то!»

Надо было видеть, как живо заинтересовался Владимир Ильич книгой Барсова. Взяв ее у меня, долго он ее мне не возвращал. А потом, при встрече, сказал: «Это противовоенное, слезливое, неохочее настроение надо и можно, я думаю, преодолеть. Старой песне противопоставить новую песню. В привычной, своей, народной форме — новое содержание. Вам следует в своих агитационных обращениях постоянно, упорно, систематически, не боясь повторений, указывать на то, что вот прежде была, дескать, «распроклятая злодейка служба царская», а теперь служба рабоче-крестьянскому, советскому государству, — раньше из-под кнута, из-под палки, а теперь сознательно, выполняя революционно-народный долг, — прежде шли воевать за чорт знает что, а теперь за свое и т. д.».

Вот какую идейную базу имела моя фронтовая агитация.

У тов. Войтовского в его записках правдиво и художественно изображено, как народ воевал «за чорт знает что», и как он ума набирался.

Многое из записок этих может быть использовано и нашими агитаторами.

Да мало ли как мог бы быть использован неисчерпаемый материал, заключенный в этих записках.

Сам я сюжет для моей сказки «Болотная свадьба» взял отсюда. Есть еще в записках сказка «Хут». Гениальнейшее народное символическое изображение мировой войны. Я на него давно нацелился. Материала хватит не на меня одного.

Записки должны быть всесторонне использованы.

Демьян Бедный.

Москва. Кремль.
19 июля 1925 г.

Ч А С Т Ь   П Е Р В А Я

ОТ ХОЛМА ДО НИСКО

1914 ГОД
АВГУСТ

1

... Мобилизация лихорадочно гудит и заливает воинственным задором вокзалы, улицы, магазины, газетные листы, знакомые и незнакомые лица. Нервы истерически взвинчены, и всё кричит о желании воевать. Тротуары, витрины и ослепительно-новенькие офицеры сверкают, звякают шпорами, выставляют напоказ кителя и погоны. Вчерашние неврастеники, судебные следователи и агрономы, адвокаты, бухгалтеры и акцизные пристава, лихо бряцая палашами, кучками бродят по ресторанам, громко обмениваются приветствиями, пересмеиваются с крашеными женщинами и, нажимая рукой на блестящие эфесы, дерзко и уверенно дают понять глазеющей родине, что им ничего не стоит сложить за нее свои бедовые головы...

А я все еще не верю в серьезность войны и, отправляясь сегодня, 7 августа, с головным парком нашей бригады в ковельском направлении, всем и каждому повторяю:

— Это не надолго. Европа не может ввязаться в такую глупую историю... Да и рабочие...

2

Едем пятью эшелонами. Из окна офицерского вагона я наблюдаю, как грохочущей вереницей катятся длинные эшелоны и уносят к границе обозы, пушки, винтовки, лошадей и тысячи бородатых и безбородых солдат с потными лицами и в расхристанных рубашках.

Из полутемных теплушек несется звон балалайки, топот камаринского, взрывы хохота, и разжигающей искрой перекатывается из вагона в вагон ядреная солдатская ругань. Встречные эшелоны обмениваются надрывными «ура», и кажется, будто вся Россия шумно и радостно вскипела волнами вооруженных, немытых и распоясанных мужиков и на всех парах несется навстречу безумному водовороту войны. Что же это?... Подъем? Увлечение? Отвага? Или ребячливая легкомысленная поспешность, не думающая о завтрашнем дне?... Кажется, именно так.

А, может быть, как раз это и нужно? Может быть, в страшные минуты истории необходимо слепо итти вперед, без раздумья, в слепом упоении своей непобедимой силой...

Жадно всматриваюсь в солдатские лица, и чем дальше, тем больше жизнь на моих глазах превращается в уродливый кошмар наяву. Едут, едут без конца сермяжные ратники в скотских вагонах, и серый, потный, крикливый, однообразный поток с головой заливает каждого, кого мобилизация «низвела» до уровня этой массы.

Только вторые сутки как я в дороге, но уже чувствую себя изнуренным не только душевно, но и физически; я стал чужой себе и ненужный окружающим. Бесконечно томительно и смятенно, когда закатываются мирные добродетели и рушатся кумиры.

То, что вчера еще считалось таким прекрасным и важным, приходится сгрести в узел и задвинуть в забытый угол или же выбросить вон за окно вагона. Солдаты и пушки по-новому перестраивают и совесть, и логику, и отношение к людям, и сам собой отпадает дорогой и покинутый мир...

... В сумерки, когда нарастает тревога под хаотический грохот поездов, невольно роднишься с теплушками. На глухом полустанке вместе с нами дожидался отправки эшелон кавалерии. Смеркалось. Вдали белели кресты на кладбище. Прямо против меня, у раскрытой настежь теплушки, глухо рыдала баба, провожавшая солдата, и причитала умоляющим голосом:

— На кого покидаешь нас? Кем обуты-одеты будем? Кто нас приютит?...

А из вагона, под стук переступающих кованых ног, лилась

и плыла в мутном воздухе и рвала сердце горячая, заунывная песня:

То не тучка к месяцу прижимается
Слезы льет жена, надрывается:
— Ты вернись-вернись, сокол ясный мой,
Я — что травушка, ты — как дуб лясной...
— Брось, жена, рыданье понапрасное!
Ты взойди-взойди, солнце красное,
Кровь-войну пригрей да повысуши,
Про житье солдатское да повыслушай:
Как и день идешь, как и ночь бредешь,
Крест да ладанку на груди несешь.
Не унять в груди рану жгучую,
Не избыть судьбу неминучую.
А как всем людям здесь судьба одна,
Как судьба одна — смерть — страшна война...

Пение кончилось. Стало тихо. Понуро стояли лошади, уткнув морды в кормушки. И с тем же покорным унынием на лицах толпились у вагона солдаты и щеголеватые прапорщики.

— Хорошая песня, — растроганным голосом сказал молоденький офицер.

— Без песни солдату никак нельзя, — хором раздалось из толпы. И в несколько голосов дружно и весело прокатилось:

— Служба веселый дух любит.

— Песню петь — богу радеть.

— Песня лучше радости греет...

Из вагона, где только-что пели, высунулся бородатый солдат и произнес тоном хозяина отчетливо и наставительно:

— Не от веселья поют. Утерял себя человек, найти не может, вот и хочет криком-песней тоску осилить.

3

Прямо из вагонов, без передышки, нас двинули дальше. И хотя до места боев еще 64 версты, но в воздухе уже чувствуется кровь. Путь наш лежит по шоссе: от Холма к Красноставу.

... Жарко. С шумом и грохотом катится живой поток обозной артиллерийской колонны. Густая, раскаленная пыль, похожая на дым, колеблемый ветром, наполняет воздух удушли-

вым зноем. Люди, повозки, лошади, — все утопает в облаках едкой пыли и точно дымится от прикосновения к земле.

Кузнецов, живой, корепастый прапорщик, ведущий колонну, время от времени кричит хриплым голосом, ударяя стэком по серому голенищу:

— На мостике пòд ноги! Пòд ноги смотри!

Колонна подхватывает крик:

— Пòд ноги смотри! Передавай дальше: пòд ноги...

Но через минуту колонна снова движется молча и апатично, покоряясь тяжелой неизбежности. Облизывая сухие, обожженные губы, ездовые вяло покачиваются в седлах. Глаза их налиты кровью и поминутно слезятся. Навстречу колонне, точно охваченные лихорадочной дрожью, мелькают спугнутые деревни, смятые тяжкими ударами войны. Десятки и сотни мужиков, коров, лошадей; бабы с распущенными волосами, как будто растрепанными ураганом; матери, прижимающие к груди спеленутых младенцев; бездомные собаки; интеллигенты без шапок; евреи в измятых разорванных кафтанах; сидящие на узлах старухи... Все это бежит перед нами жалкой вереницей оторопелых, покорных, беспомощных и враждебно-суровых лиц с выражением ужаса, унижения и дикой усталости в глазах. Никто не знает, куда и от чего бегут эти толпы несчастных, но почему-то все охвачены странным и мстительным озлоблением к бегущим.

— Шпионы! — сквозь зубы с ненавистью бросают офицеры.

— Побежали паны и хамы! — повторяют за ними и солдаты, не столько из ненависти, сколько подражая начальству.

По дороге встречаем ординарца из штаба корпуса с предписанием остановиться в деревне Малая-Верещи, а ночью двигаться дальше, на Красностав.

4

Выступили ночью. Идем шагом. Гулко грохочут зарядные ящики, гремя железом. Блещут звезды на темносинем небе. Ловлю на ходу солдатские разговоры. Лиц не вижу, но слышу знакомый голос. Говорит Асеев, старый артиллерист из запаса, резонер, сектант и мечтатель:

— Много человеку простору дадено, грех на бога роптать. Поля, ручейки, скотинка... Звезды в небе, гляди-ко, как вскипу-

лись, как рыбки, плавают... Красота! Душа оторваться не может, только смотри округ себя.

— Смотри, смотри, Асеев, — насмешливо отзываются солдаты, — того и гляди, немец из канавы гостинца пошлет.

— А ты не пужайся, не торгуйся со смертью, — беззлобно отвечает Асеев. — Может мы завтра все упокойниками будем. Смерть ровно сон: глаза прикроет — сладкий покой наведет.

5

Прошли Райовец и Красностав, свернули в пыльные проселки. Потянулась дорога круто в гору, на Избицу и Тарногуры.

Тарногуры — сожженное боями местечко, отравленное гарью, холерой, еврейским страхом и тревожными слухами. В уцелевшей помещичьей усадьбе помещается штаб дивизии. По улицам слоняеются чубатые донские казаки и штабная прислуга. Дома битком набиты перепуганными на-смерть евреями. На всех перекрестках зловонные следы холерины. Кругом гремит канонада.

На рассвете примчался ординарец с приказанием двинуться в деревню Верховицу. Итти приказано на-рысях.

— Бой такой—прямо страх; аж земля гуркотит!—сообщил ординарец. И все мгновенно насторожились.

Это было 14 августа. Вышли на заре. Солдаты спокойные и строгие. Только изредка слышится:

— Ну, теперь, братцы, смерть поблизу нас ходит.

В Верховицу пришли к девяти утра. В зеленой ложбине, окаймленной высоким гребнем, уже стоял полупарк 46-й бригады и наш дивизионный лазарет. Гулко бухали пушки, трещали пулеметы и ружейные залпы, и пушисто таяли в воздухе дымки разрывающихся шрапнелей. Развернулись биваком, вскипятили чайники. Задымились походные кухни. Солдаты поминутно взбегали из ложбины на гребень, чтобы посмотреть, куда ложатся снаряды. Понятие об опасности как-то вдруг улетучилось. Все смеялись, острили, дурачились и в блаженном неведении готовы были верить, что на свете есть только веселое небо, поля и возбужденно-грохочущие пушки, голоса которых так хорошо сливаются с нашим приподнятым настроением. Чувство было такое, как будто из ложи наблюдаешь за интересным театральным зрелищем.

Появились раненые с кровавыми пятнами на грязных, измазанных руках и с неподвижно застывшими зрачками. Без особого беспокойства их расспрашивала о бое:

— Далеко отсюда?

— Вон там за мостиком, версты три не буде.

Вдруг тень упала на зеленую ложбину, повеяло смертью, и через деревню со свистом перелетел снаряд, и почти в ту же минуту, корчась от боли, испуганные, с землистыми лицами, появились на гребне десятки раненых. Держась друг за друга, принимая странные позы, спотыкаясь и падая, они медленно двигались на нас, и это шествие было сказочно-страшным. Красными огненными языками болтались обрывки платья. Мерзко хлюпали сапоги, наполненные кровью, и большие, огромные глаза светились безжизненно и тускло, как догорающие восковые огарки. Раненых было много — человек до трехсот. Меж ними два офицера.

— Попали под пулеметный огонь, — пояснили нам офицеры. — Австрийцы подняли руки и винтовки дулами опустили. Мы поверили, подошли. А они подпустили близко и давай поливать из пулеметов. Это все, что от полка осталось.

— Какой полк?

— Пултусский.

Мы взяли у наших солдат индивидуальные пакеты, и все вместе — офицеры, солдаты и медицинский персонал — начали наскоро перевязывать раненых. У некоторых кровь сочилась в пяти и больше местах. Монотонно и неохотно, простыми крестьянскими словами, рассказывали раненые о пережитом.

— Много яво, один через один, прямо, как черва̀, лезут.

— А хорошо дерутся?

— Пока водка в манерке есть — дерется.

Работа кипела. Раненые все прибывали — измученные, серые, покрытые пылью. Мимо нас проезжали пустые передки.

Проносились конные ординарцы. Какой-то артиллерийский офицер, остановив взмыленную лошадь, с изумлением обратился к нам:

— Отчего не уходят парки?

— У нас нет предписаний, — отрапортовал Кузнецов.

— С ума вы сошли?! — крикнул офицер. — Какое там,

к чорту, предписание, когда в двух верстах австрийская артиллерия позицию занимает! — И злобно добавил: — теперь все равно не уйдете, захватят...

Махнул безнадежно рукой и ускакал.

В ослепительный солнечный день эти слова прозвучали зловещим приговором.

Раненые мгновенно исчезли. Мы бросились к лошадям. Парк давно стоял наготове. Люди были все на местах. И не успели раздаться слова команды, как лошади лихо рванули в гору.

Впереди шел 46-й полупарк, сзади нас — дивизионный лазарет.

Внезапно что-то прозвучало над нами громко и певуче, как мотор.

«Аэроплан» — мелькнуло у меня в голове. Но тут же раздался свистящий металлический визг, и кто-то крикнул:

— Стреляют!

— Господи! — закрестились солдаты и, не дожидаясь команды, ездовые яростно стегнули по лошадям и свирепо заорали:

— Рысью! Рысью!..

Лошади неслись вскачь. Каждый новый разрыв усиливал общее смятение. Глаза были жадно устремлены вперед, где синел спасительный лес, и казалось, что бешено мчащиеся «выноса» мучительно вяло одолевают пространство.

— Скорей, скорей! — инстиктивно шептали губы. И вдруг задние ящики врезались дышлами в спину передним, и вся колонна остановилась.

— Чего стали? — загремели разъяренные голоса.

— В полупарке лошадь убило. Выпрягают.

Было около шести часов вечера, когда мы подошли к Тарногурам. Штаб дивизии уходил. Командир парка пошел с донесением в штаб и через три минуты вышел оттуда с трясущимися губами.

— Плохо, — шепнул он офицерам, — нас обходят с обоих флангов. Приказано без промедления отступать к Холму.

Не отдыхая, мы двинулись дальше. Но, пройдя версты четыре, за Избицей мы вынуждены были остановиться, так как все шоссе на протяжении многих верст и вправо и влево было запружено отходящими войсками.

... Не знаю, когда это началось: вчера, неделю, месяц тому назад... Изо всех сил стараюсь взглянуть хладнокровно на то, что происходит кругом, но ничего не понимаю. Клокочущая лавина из конских и человеческих тел, из двуколок, ящиков и повозок залила все дороги. Нет больше ни рядов, ни офицеров, ни команды, ни связи. Артиллерия смешалась с пехотой, население с войском. Без цели, без смысла мечутся долгополые евреи, грохочущие крестьянские фурманки, голосят и рыдают бабы, с дико горящими глазами бредут без конца солдаты. О чем они думают?..

Людской поток все вздувается. Люди и лошади сбиваются в плотные кучи. Задние ряды, вовлекаясь в панический поток, бешено напирают, захлестывают передних и оглашают воздух неистовой бранью.

Наступила душная безлунная ночь. В темноте, прорезанной пожаром и кострами, металось темное и слепое безумие. Люди, лошади, пушки бесформенно расплывались. Скомканное пространство превратилось в сумрачный, многоголосый хаос. Точно из какой-то черной глубины порывисто устремились на землю миллионы лязгов и топотов, и от этого грохота и крика все казалось еще лихорадочней и непонятней.

— Что же это?.. Что же это? — оторопело твердили офицеры. А худенький ветеринарный врач Колядкин, слабый и нервный, отчаянно струсил и, по-детски ломая руки, кричал беспомощным голосом:

— Пропали! Переловят нас, как куропаток...

На другое утро, с восходом солнца, мы пришли в Красностав. Все местечко запружено было парками, обозами, лазаретами и пехотой. Не было ни одного свободного дома. Мы расположились биваком у моста, и тут, неизвестно отчего, быть может, от света, от брызжущего солнца, от беспредельной воздушной синевы почему-то всеми овладело сладкое опьянение. Как-то сами собой зароились фантастические слухи о львовских удачах, и сам я заодно со всеми поддался волнующему подъему и дерзко окрепшей вере в собственные силы.

Солдаты также были охвачены этим радостным возбужде-

нием.. Старый фельдфебель Удовиченко, поглаживая желтые усы, вдохновенно ораторствовал в толпе:

— Скучно здесь. Куды глазами ни гляну, войны, войны настоящей нету. Уйду я на батарею... Эх-х, выехал бы сейчас на позицию и скомандовал бы: первое! второе!.. Как стрельнет — душа радуется: на! получай, проклятый!..

А в другой кучке грязный, обмызганный пехотинец рассказывал с презрительным пафосом:

— Австрияк что? Разве ж это народ? Ничтожный, рыхлый народ, прямо сказать — песок сыпучий. Ты его только шалтани, а уж он бежит, как вода из рукомойника. Ей-богу!..

После недавних страхов мы жадно впитывали эти бодрые речи, и когда, как бы в подтверждение слухов, был неожиданно получен приказ вернуться на старые стоянки в Тарногуры, армия опять несдержанно верила в себя. Передавались самые удивительные вещи. Необыкновенную популярность приобрели казаки, которым приписывали массу блестящих подвигов. Успешно устраняла все препятствия на своем победоносном пути наша артиллерия. И на каждом шагу подвергалась посмеянию неповоротливая австрийская пехота. Но перед самыми Тарногурами, в Избице, нас поразила первая неожиданность: здесь дожидался ординарец с предписанием... отойти к Красноставу. Двое суток, без отдыха, днем и ночью бросали нас вперед и назад между Красноставом и Избицей.

— Да что они смеются над нами? — негодовали офицеры.

Солдаты, не зная ни имени корпусного командира, ни даже того, к какому мы корпусу причислены, с убеждением передавали в своих беседах:

— Вишь ты, какую штуку придумал: командир-то корпусный — немец, на ихнюю сторону передался, вот и гоняют нас до устатку, на истерзание, силу последнюю вымаривают...

К вечеру 16 августа, после четвертого отступления от Избицы, наше изнурительное движение неожиданно приняло характер панического бегства. Трудно сказать, почему и откуда хлынуло это внезапное отчаянье, но что-то зловещее завертелось, завихрилось, как снежный буран. Опять смешались люди, лошади, зарядные ящики, двуколки и трагические фурманки перепуганных жителей. Дисциплины как не бывало. Ни армии, ни

командиров. Был сброд усталых и голодных людей, ежеминутно готовых превратиться в дикий панический поток.

Кругом пылали пожары, гремели пушки. Мы не знали, кто справа, кто слева... И когда наступила ночь, в оглушительном гуле безостановочно ползущих обозов вспыхнули мрачные предчувствия. Трудно вырваться из цепких объятий паники в такие минуты. Нервы мучительно напряжены. Кажется, кто-то гонит всю армию навстречу полному истреблению. В темном кругу испуганных и сбитых с толку солдат пышно расцветают нездоровые, нелепые, навязчивые бредни. Все с затаенным ужасом ждут неминуемых, подстерегающих бед. И вдруг свирепо, пронзая темноту, рванулся оглушительный крик:

— Втикайте! Вбывають! Кавалерия сзаду!..

Мгновенно, как смерч, закрутились дикие вопли. В воздухе засвистели кнуты и ругательства, хлесткие, как удар нагайки.

— Р-рысью! — кричали люди обезумевшим голосом.

— Рысью! Передавай дальше! Р-рысью!..

И толпы вооруженных людей, повинуясь безумному приказанию, ринулись вперед. Задевая и опрокидывая повозки, бешено мчались в темноте зарядные ящики и двуколки. Слышно было, как трещат и ломаются оглобли, как стонут подмятые под колеса люди.

— Вбивають! Из пулеметов бьють! — ревела обезумевшая толпа. — Рысью! Передавай дальше! Рысью!

Но движение с каждой минутой становилось все затруднительней. Во многих местах образовались людские заторы. С гиком и свистом мчались какие-то кавалерийские части и, врезаясь в гущу обозов, кричали хриплыми голосами:

— Вали, ребята, вали!

Где-то далеко сзади затрещали ружейные выстрелы, заметались озлобленные вопли:

— Чего стали? Чего дорогу загородили? Руби постромки!

И мгновенно по всей толпе покатилось зычными перекатами:

— Постромки!.. Р-руби постромки!

Я сидел на артиллерийском возу, куда забрался еще с вечера, измученный усталостью и бессонницей. Два солдата, бывшие со мной на возу, наскоро пошарили в сене, соскочили наземь и, повозившись с минуту в темноте, вдруг ускакали на

лошадях, бросив меня на распряженном возу среди дороги. Боясь оторваться от своей части, я спрыгнул с воза и, наткнувшись на кучу щебня, стремительно скатился в канаву. В канаве было темно, как в погребе. Оглушенный падением, я не мог разобрать, в какую сторону отступают войска. До меня доносился сверху только скрипучий грохот колес и гул тяжелых шагов, похожий на биение гигантского сердца. Выбраться из канавы на дорогу без посторонней помощи не было никакой возможности. И вдруг где-то близко услыхал я голос моего деньщика:

— Ваше высокородие, чи вы тут?

— Ты здесь, Коновалов? — обрадовался я.

— А як же. Хибаж я вас покыну? — спокойно ответил он и помог мне выбраться из канавы. Мы присели на куче щебня, и между нами произошел такой диалог:

— Втикаймо, ваше высокородие, втикаймо!

— Как же мы бросим свою часть?

— А нà що вона нам здалась?

— Ведь мы дезертирами будем.

— Так що ж?

— Если все дезертирами станут, то кто ж будет воевать?

— Хиба ж цэ война?.. Ваше высокородие, втикаймо, бо нас убьють.

Не без труда удалось мне убедить Коновалова, что до смертного часа еще далеко. Натыкаясь на брошенные зарядные ящики и опрокинутые повозки, зорко следя друг за другом, мы долго барахтались в обозном потоке, долго и медленно ныряли по ухабам, провалам и косогорам измочаленного шоссе, и я боюсь, что в эту темную ночь в недовольную голову Коновалова закрались странные мысли.

7

...За Красноставом паника несколько улеглась. Но выяснилось, что колонны и части перепутались, связи нет, и штаб дивизии затерялся. Потом пошли нелепые слухи, что наша дивизия обречена для чего-то на заклание, что нас умышленно бросили под смертельный удар; и хотя тут же, рядом с нами, тянулись обозы и парки других дивизий, солдаты с тупым равнодушием повторяли эту нелепую сказку.

— Да брешут все, со страху больше болтают, — возражали благоразумные голоса.

Но на скептиков сердито набрасывались:

— А ты уж больно умен! Дурей тебя вся дивизия будет, что ли? Прикрытие есть у нас? Ага! А штабы где? С молитвой по полю бродят. Не, брат: скрозь землю провалились. Давно все в Холме сидят — вот где! — да в фильки дуются, чтобы некому приказывать было. Потому конь околеет, оглобля треснула — сейчас к ответу пожалуйте! А тут причина другая. Тут много округ народу глядит, а в ответе кто будет? Никто! Никто не видал, никто не слыхал. Ищи-свищи, а доказчиков нету: без покаяния на тот свет....

Офицерство было настроено не более радужно. Для установления связи мне и ветеринарному врачу Колядкину предписано было отправиться в Холм и там заодно подыскать помещение для парка. С трудом, продираясь сквозь обозную гущу, мы после томительных 16-часовых безостановочных скитаний, усталые, измученные добрались до Холма.

...Ясное солнечное утро. В городе совершенно спокойно. Вид спокойных людей и равнодушной будничной жизни раздражает, как грубейшая нелепость и фальшь. Почему-то я вдруг решаю: надо сейчас же запастись перевязочным материалом для части. Являюсь к начальнику санитарной части, генералу Попову. Генерал — сухой, длинный, туберкулезный — почесал за ухом костлявым пальцем и спросил недовольным тоном:

— А свои вы пакеты куда девали?

Я объяснил.

— Как? — вскричал генерал, сердито растягивая каждое слово, — вы отдали пакеты вашей части Пултусскому полку? По какому праву? Это какой дивизии полк? Вашей?

— Никак нет, не нашей.

— Так что ж вы... сюда приехали... благотворительностью заниматься? Разве вы не знаете, что индивидуальный пакет выдается каждому солдату, как винтовка, как шашка, и никто не смеет отнять у нижнего чина его индивидуальный пакет... Не рассуждать! Вас надо отдать под суд.

— ...Но нашим солдатам нужны пакеты.

— Это нас не касается! Приобретайте их за собственный счет. Да-с... И затем, не угодно ли объяснить, почему вы очутились в расположении Пултусского полка?

Я очень обстоятельно, не жалея подробностей и красок, рассказал генералу о встрече ,с пултуссцами под Верховницей, об обстреле которому мы подверглись, о долгих шатаниях между Избицей и Красноставом и о последнем паническом отступлении к Холму. Генерал внимательно слушал и вдруг воскликнул с тревогой:

— Значит, что же, по-вашему, наши войска разбиты?

— Не знаю, в каком положении наши войска, но я передаю вам то, чему был лично свидетелем.

— В таком случае потрудитесь доложить обо всем, что вы только-что рассказали, генералу Миллеру. Я его сейчас приглашу.

Вошел молодой, невысокого роста, очень изящный генерал, румяный, плотный, красивый, с большою сияющей плешью и небольшой черной бородкой. Я повторил ему свой рассказ. Генерал Попов нервно дергался и несколько раз прерывал меня сердитыми репликами:

— Понимаете! А они здесь сидят как ни в чем не бывало. Они понятия ни о чем не имеют!

Генерал Миллер все время мягко улыбался и, постукивая холеными пальцами по столу, приговаривал тихим, покойным голосом:

— Так, так, слушаю...

И, когда я кончил, сказал с той же улыбкой:

— Поезжайте в ставку к его высокопревосходительству, генералу Плеве, командующему 5-й армией, и скажите, что вас направил к нему генерал Миллер. Доложите обо всем его высокопревосходительству. Только помягче... понимаете? «без паники»... говорите лучше: сумятица, замешательство... понимаете?..

— Помилуйте, — взмолился я, — я измучен, устал, вторые сутки без сна и пищи...

— Ничего, ничего, — замахал руками Попов. — Я вам при-

казываю. Немедленно отправляйтесь. И скажите, что вы явились по приказанию генерала Миллера и генерала Попова.

— Слушаю-с

...На вокзале в ставке меня встретили не особенно дружелюбно и сначала направили в оперативное отделение.

Там на мое заявление, что я должен видеть главнокомандующего Плеве, какой-то щеголеватый капитан небрежно окинул меня взглядом, пожал плечами и молча отвернулся.

Я обратился к писарю, который тихо шепнул мне:

— Вагон впереди поезда.

В вагоне первого класса меня встретил у входа высокий адъютант с холодным бритым лицом и без слов вскинул вопросительно голову. Я процедил сквозь зубы, в душе заранее торжествуя:

— С донесением к главнокомандующему:

Адъютант изумленно переспросил:

— С каким донесением? Откуда?

— С донесением лично главнокомандующему, — отчеканил я.

— Что такое? — уже с раздражением повторил адъютант. — Врач... с донесением... странно...

К нам подошли два других офицера, пронизывая меня недоверчивыми взглядами. Я выдержал паузу и сказал:

— Я, конечно, не стал бы беспокоить главнокомандующего, если бы не получил соответствующего приказания в штабе.

— Главнокомандующий от вас донесения принять не может, — сухо отрезал адъютант.

— В таком случае позвольте узнать вашу фамилию, господин адъютант?

— Зачем?

— Чтобы доложить генералам.

— Каким генералам?

— Генералам, по приказанию которых я явился сюда. Генералу Миллеру и генералу Попову.

Офицеры переглянулись, пожали плечами, и адъютант мягко и вкрадчиво принялся убеждать меня:

— Будьте любезны, объясните, пожалуйста, в чем дело?

Согласитесь сами... Мы вас совсем не знаем... Без предписания, по одному словесному заявлению... допустить к главнокомандующему... Его высокопревосходительство сейчас чрезвычайно занят... Будьте любезны... изложите мне для доклада.

Я в третий раз начал рассказывать историю нашего отступления, и в тот момент, когда речь зашла о заторах, дверь одного из купэ неожиданно приоткрылась, и на пороге показался низенький, морщинистый генерал, с большой головой, красными бритыми щеками и заплывшими глазками. Он пожевал губами и сказал недовольным тоном:

— Удивляюсь, что вы рассказываете? Мои адъютанты были на месте и передают, что отход совершается в образцовом порядке. Даже движение автомобилей не встречает препятствий.

— Ваше превосходительство, я проделал весь путь от Избицы.

— Вы были под Избицей? — оборвал меня генерал.

— Так точно. Я прямо оттуда.

— Что вы там делали?

— Я был со своей частью.

— Кто вас сюда направил?

— Генерал Миллер и генерал Попов.

— Генерал Попов?.. Лучше бы он занимался своим делом и наблюдал за тем, чтобы его врачи не болтались по позициям. Говорят, все дороги усеяны бегущими госпиталями.

— Ваше превосходительство! Я не из госпиталя, я врач артиллерийского парка.

— Я не о вас. Продолжайте.

— ...Во многих местах повозки, люди и лошади сцепились колтуном и стоят, загораживая проезд остальным по нескольку часов... Тогда солдаты обрезают постромки...

— Да, я слыхал от адъютантов, что... жидовские фурманки умышленно затрудняют движение,—сердито окрысился генерал и посмотрел на меня злыми глазами.

— Возможно,—улыбнулся я, — но в таком случае польские евреи очень искусно загримированы русскими солдатами.

Генерал передернул плечами, и я продолжал рассказывать. Когда я кончил, генерал обратился ко мне сдержанно:

— Ваша фамилия? Какой части?

Я назвал.

— Благодарю вас...

— Очень вам благодарен, — как эхо, повторил за ним адъютант и добавил официально:

— Я передам начальнику штаба.

8

Я уснул с мыслью, что надо будет пойти с докладом к Миллеру. Но когда я проснулся, в городе уже не было ни штаба, ни армии, ни ставки.

Город наполовину опустел. Жители поспешно удирали.

Мы отступали дальше по Брест-Литовскому шоссе — на Мацошин — Савин — Влодаву...

Медленно двигается парк по лощине, в дубовом лесу. В душе дремучая тишина. Солдаты тихо беседуют, и видно, как трудно расстаться им со своими крестьянскими думами.

— У нас хозяйство серьезное, больших трудов стоит; только пользы от яво мало. Одни бабы дома остались: мать-старуха, да моя баба, да сестра, а мужа ейного со мною угнали, в один день угнали...

Чем дальше отходим от Холма, тем беззаботнее солдатские лица и веселее природа.

Весело бродит солнце по зеленым холмам и перелескам. Свежий утренний ветер завивает курчавые листочки. Перекликаются птицы звенящими голосами.

9.

...В Мацошине долгая стоянка. У жителей вытянутые лица, и на каждом шагу осаждают нас тревожно допросами: куда отступаем? Почему? Где неприятель?.. Это злит и волнует. В каждом вопросе слышится издевательство. Недоверчиво заглядываем в потухшие маленькие глазки обывателей. Спокойствие кажется искусственным, печаль — напускной. И если солдаты вдруг принимаются насильничать и придираться к населению, смотришь на все сквозь пальцы, и даже нисколько не коробит.

Почему? Не знаю. Успокаиваешь себя скептическим шопотом: какое мне дело?..

Завтра я двинусь дальше и никогда не вернусь сюда.

Ночью нас разбудили и потребовали на совещание к коменданту. В большом помещении, служившем раньше трактиром, собралось несколько офицеров и около десятка врачей. Обозный офицер в чине полковника (должно быть, комендант) возбужденно докладывал, что встретил какого-то ординарца, который мчался с экстренным приказанием немедленно очистить Влодаву. Чтобы спастись от неизбежного плена, надо было, по уверениям полковника, уйти из Мацошина сейчас же, не дожидаясь рассвета, так как, по слухам, неприятельская кавалерия засела где-то близко в лесу. Сакраментальное слово «кавалерия» оказало немедленное действие, и всех охватило неукротимое желание бежать, бежать без оглядки.

Не прошло и получаса, как осветились все окна в Мацошине, и по длинной улице большого села потянулись скрипучие обозы, лазареты и парки.

Солдаты были спокойны и, под покровом непроницаемой ночи, чувствуя себя в безопасности от начальства, обменивались шутливыми фразами:

— Одно слово вояки... Навострили лыжи, чтоб до дому ближе...

— Так до самой Курской губернии, до Льговского уезда утекать будем...

Выехали на мягкую дорогу, окаймленную густыми лесами, и сразу стало тихо и жутко, как в страшной сказке. Ночь летела на черном коне... Глубокое молчание леса казалось преисполненным враждебной и загадочной тайны. Повсюду, куда ни глянешь, чувствуешь занесенную над тобой свинцовую лапу войны. От каждого шороха в лесу — несется заразительный шопот:

— Кавалерия!

И страх леденяще-мертвыми пальцами прикасается к сердцу. Чувствуешь себя охваченным судорожным припадком

На рассвете нагнал нас Ковкин, ординарец, оставленный при штабе дивизии для связи, и передал предписание вернуться в Холм. Было немного стыдно за свое трусливое бегство, но

в то же время от этого расположения ключем забила шумная радость.

Произительно-громко загремели железными языками повернувшиеся зарядные ящики. Тверже зашагали солдаты. Смело и осанисто сидели в седлах ездовые и офицеры...

В Холме спокойно и людно. Слухи один другого отрадней. Но рядом с праздничным ликованием ползут печальные вести. Придавленным шопотом передается из уст в уста, что пруссаки неожиданно бросили на нас огромную армию, что они в два дня придвинули 300 эшелонов и разбили нас вдребезги под Кенигсбергом. Говорят, что убит генерал Самсонов, что в плен захвачено множество штабов.

Газет нет. С запада приходят поезда, переполненные ранеными. У носилок, рядами расставленных на голом полу, толпятся взволнованные зрители. Слушают огромного капитана с колючими усищами, который орет диким голосом:

— Это чорт знает что!.. Солдаты по шесть дней ничего не ели. Офицерство сырой капустой питалось. А транспорты чорт знает где шатаются...

Тут же на вокзальном полу, рядом с ранеными солдатами, сидят семьи беженцев, испуганные и растрепанные еврейки, окруженные выводками детей.

...Утром 23 августа нас разбудила шумная деловая возня: привели австрийский обоз, захваченный гренадерами. Лил дождь, было грязно и ветряно, и в воздухе пахло осенним неуютом.

Понуро стояли пленные — целый батальон, с офицерами и полковником во главе; денежный ящик, канцелярия, два воза винтовок и свыше 50 лошадей.

Кучка наших солдат и офицеров, как на ярмарке, окружили пегую, худую, нервную лошадь, благородную морду на тонкой шее, и убеждали начальника обоза на все лады:

— Подумайте! В походе! Куда вам с ней возиться. На что она вам? Продайте! Вы сто других достанете впереди...

Но офицер сердито отмахивался, повторяя в двадцатый раз:

— Не могу, не могу! Я дал честное слово лейтенанту по окончании войны вернуть ему лошадь: это призовая.

— Ну, вот... Когда это еще будет, — смеются в толпе.

— Не бес-по-кой-тесь, — отвечает с апломбом офицер, — не дальше, как через три месяца... С математической точностью... На Рождество все дома будем!..

Вдоль полотна в теплушках сидят раненые солдаты и мирно беседуют с такими же ранеными австрийцами. Из вагона с белой надписью: «тяжелые» меня окликает взволнованный голос:

— Ваше благородие, прикажите этого австрияка в 3-й класс положить, а то шибко мучается грудью.

И тут же распахивает шинель на австрийце и показывает забинтованную окровавленными тряпками рану.

— Уж не ты ли его ранил? — обращаюсь я с бесстыдным вопросом к солдату.

Солдат смотрит мне прямо в глаза и отвечает сурово:

— Которые мною побиты, те там и остались... На мне греха нет... А и есть, не мне прощенья просить у него... Не мы приказывали... Начальству — тому, вон, пожестче будет.

Прихожу в штаб. Хочу получить австрийскую линейку. Встречаю генерала Попова, который дружелюбно меня приветствует:

— А! Вы опять к нам пожаловали. Опять за пакетами?

— Нет, за лазаретной линейкой.

— Чтож вы и линейку чужой дивизии уступили?

— Никак нет. Наша линейка еще в Киеве.

— Ага! Так пускай командир ваш напишет рапорт генералу Кияновскому.

— И тогда?

— Тогда... лет через пять, быть может, получите, — басисто хохочет генерал.

Тут же стоят офицеры и громко жалуются:

— Наши лошади покалечены, а обменять на австрийских нельзя.

Во дворе из солдатских кучек слышатся раздраженные толки:

— У лошадей ни хомутов, ни седел, а все, что взяли в плен, повезут в города, напоказ. Там и сгниет все...

Неподалеку на сборном пункте скопилась масса пленных: пестрые и растрепанные экземпляры многоязычной австрийской империи с огромными трубками в зубах. Маленький юркий санитар с красным крестом на рукаве подносит к глазам моим локоть, шумно выкрикивая: «das rothe Kreuz», и начинает взволнованно доказывать, что по всем конвенциям и законам он захвату в плен не подлежит. Но его сурово перебивает австрийский офицер, процедив сквозь зубы по-немецки:

— Это надо бросить. Из этого ничего не выйдет.

Подошли еще пленные, все — оскорбительно самоуверенные. С небрежной улыбкой на губах они хвастливо рассказывают, что Петроград взят и Варшава также взята пруссаками. А на все наши уверения, что наши давно во Львове, отвечают внушительно и спокойно: es ist unmöglich (это невозможно). Молодой австрийский офицер с белыми усиками и интеллигентным лицом неожиданно обращается ко мне по-русски без всякого акцента:

— Мы 48 часов во рту глотка не имели, хотим есть и пить. Разрешите нам отправиться в город в сопровождении караульных.

Но на мое ходатайство наш офицер ответил традиционным:

— Не полагается.

Я дал солдату немного денег и велел принести колбасы и хлеба для пленных.

— Только смотри, не надуй принеси, — сказал я ему.

— Как можно, ваше благородие, тоже и мы понимаем чужое горе, — ответил солдат и умчался, очень довольный поручением.

10

...Светло и весело на душе. Мягкое осеннее солнце сладко греет. Опять продвигаемся по дороге на Красностав. Всюду масса телег с бабами и детьми: это беженцы возвращаются по местам. Лица веселые. Старики низко кланяются, угодливо ломают шапки, но в глаза прямо не смотрят:

— Слава богу, — отпускают крепкие шуточки солдаты... — Передом к австрияку — и лошадь бодрей бежит. Сами, небось, дорогу знают.

Рядом со мной шагает Ханов, длинный, сухой и грязный солдат, лет тридцати семи, вестовой Колядкина, ветеринарного врача. Шинель на нем не по росту. Из коротких, изъеденных рукавов торчат длинные, корявые, худые кисти, похожие на корни, только-что выкорчеванные из земли.

— Вы бы, Ханов, хоть руки вымыли, — говорю я ему.

— Мы спокон веку коло саду ходим, — скрипучим голосом отвечает Ханов. — Пчеловоды мы и садовники. У нас, в Льговском уезде, все садоводством занимаются.

И задумчиво добавляет:

— Теперь у нас последнее яблоко доходит. Послеспасовка: крепкая, терпкая, как рябина. Боюсь, пропадет без догляду. Кому там хозяйничать? Боюсь...

Ханов — молчаливый, угрюмый мужик, всего на свете боится и никому не верит. Оживляется лишь тогда, когда заговаривает о садоводстве и о шпионах. В Райовце делаем остановку.

В Райовце много лазаретов. С утра везут раненых. Раненые австрийцы лежат рядом с нашими. Голова вчерашнего врага мирно покоится на коленях искалеченного противника. Много солдат, переодетых в австрийские шинели, а на австрийцах русские фуражки. Пленных — больше, чем наших. Иные разулись, шагают босиком под охраной десятка бородатых солдат; другие сидят на подводах и усердно нахлестывают лошадей, тогда как мужики и караульные сладко дремлют, передоверив права свои австрийцам.

...От Райовца до Красностава дорога утопает в синих (австрийских) шинелях. Усталые, скучные, с давно не бритыми лицами, они плетутся как скот. В глазах глубокое равнодушие. Где-то под Высоким наша артиллерия заметила с наблюдательного пункта в придорожной пыли густые австрийские колонны и открыла по ним огонь. Только минут через десять выяснилось, что это — пленные.

В Красностав пришли вечером. Часть городка и мост (недавно достроенный) разбиты снарядами. Дома и деревья обгорели. Мы остановились в бывшей школе. Окон нет, стены прострелены, мебель в обломках. Мрачный сторож на все вопросы отмалчивается. Улицы — в кострах и бивакаx. Ночь теплая, звездная.

11

Третьи сутки в походе. Война странно врезалась в мирный быт. Выступаем в такие ясные, погожие утра. Ползет туман над лугами. Красиво блестят озера, и стайками купаются утки в камышах. В чинной задумчивости бродят высокие аисты на лугу. Через дорогу перебегают белочки и шустро карабкаются по соснам. Крестьяне пашут...

Но земля всюду изрыта воронками, и свеже-притоптанные холмики, иногда увитые венками из полевых цветов, говорят о братских могилах, — о следах недавних сражений. Да жирное, черное воронье кружит над полями, да неубранная конская падаль, да сверкающие на солнце обоймы, гильзы и чугунные обломки стаканов... Кой-где торчат обгорелые скелеты домов. Впереди рычит канонада. Навстречу с утра до ночи тянутся бесконечные фуры раненых. У них либо тупые, угрюмые, одеревенелые лица, либо детские, радостно сияющие глаза и до ушей расплывшаяся блаженная улыбка.

...Вечером 27 августа пришли в деревню Бзовец, переполненную парками всех родов. Тут же 5-я тяжелая батарея, посланная в подкрепление правого фланга, откуда никак не удается выбить австрийцев. Воздух наполнен ликующим оптимизмом. Цветут и вянут всевозможные слухи. Солдаты, закутанные в австрийские одеяла, пьют чай у костров и лакомятся неприятельскими галетами.

Они болтают на языке, изобилующем бесцеремонными откровенностями и сопровождаемом такой жестикуляцией, от которой слова на губах и пальцах читаются прежде, чем они произнесены и возбуждают столько беззаботного хохота кругом, как будто чаепитие происходит не на чужой стороне под двухсторонний грохот орудий, а среди деревенского покоя, убаюканного праздничным звоном колоколов.

12

Погода все чаще сбивается на осень.

В Мокре Липе пришли в проливной дождь. Помещений нет. Ткнулись к ксендзу — домик весь переполнен, битком набит.

Кое-как примостились обедать у ксендза на веранде. Как только загремели посудой, неведомо откуда вырос раненый прапорщик в плаще. Скупо и неохотно рассказывает о каких-то боях, где рота его попала в плен, а сам он ранен навылет в правый бок, но каким-то чудом успел бежать, когда другие сдавались. Говорит, что третьи сутки бродит в лесу без пищи. Однако, вид у него спокойный, и жадности к пище не обнаруживает. На войне «все отбившиеся от части» доверием особым не пользуются, и прапорщик знает это. Это чувствуется в угловатых движениях и неприятной деревянности тела; и глаза его постоянно прячутся за ресницами полуопущенных век.

Улучив минутку, когда прапорщик удалился с веранды, Ханов с конспиративным видом приблизился к столу и мрачно проскрипел:

— Ваше благородие! Прапорщик этот...

— Шпион? — рассмеялся Кузнецов.

— Так точно. На нем шинель австрияцкая. Сейчас подсмотрел.

Оказалось, что под плащем у прапорщика, действительно, синяя шинель. Но он хладнокровно объяснил нам, что свою он во время побега потерял, а ночью, от холода, в лесу укрылся подобранной австрийской, которую и присвоил себе. Чтобы это не бросалось в глаза, он накинул поверх шинели плащ. К вечеру прапорщик исчез, не прощаясь, так же внезапно, как появился.

Ночь провели в палатках. Было темно и пасмурно, и я совсем не заметил, как подошел ко мне Ханов и своим хриплым, скрипучим голосом что-то тревожное и странное рассказывал о прапорщике в австрийской шинели. Я мучительно вслушивался в его скрипучую речь и лишь с трудом улавливал надоедливое и пронзительно-звонкое: пра... пра... И вдруг Ханов замолк, и я проснулся от лихорадочной дрожи, пробегавшей по телу. Едва светало. Хрипло кричало воронье. Черной, тяжелой тучей они неслись туда, где вчера гремел бой, и деловито выкрикивали свое скучное: кра-кра... Было ясно, что вчерашние позиции очищены, и сегодня нас двинут дальше. Где-то далеко влево уже бухали пушки. Вдруг у самой палатки раздался выстрел. Я вскочил на ноги. Мне показалось, что стреляют оттуда, где ночуют австрийцы. Но девять караульных, выпустив винтовки

из рук, мирно храпели на соломе. Рядом с ними, вповалку, лежало человек сорок пленных. От холода все тесно и братски прижались плечом к плечу, и никто о побеге не помышлял. Кто же это выстрелил? Не вчерашний ли прапорщик забавляется?

Сегодня штаб дивизии передвинулся из Туробина дальше. В полдень канонада утихла, и мы в большой компании чужих офицеров осматривали окопы. Маскировка приводила пехотинцев в восторг. Вся передняя насыпь (эскарп) укрыта ветками и травой. Сверху сплошные, крепкие крыши из массивных бревен и досок, сбитых большими гвоздями и плотно утрамбованных глиной. Внутри, в глубине, просторные, четырехярусные окопы, слитые узкими коридорами и рвами в длинные ряды извилистых галлерей, которые тянутся вплоть до самого леса. Поближе к лесу окопы маскированы клевером и гречихой. Местами окопы разворочены, и видны торчащие из них доски, обломки сараев, палисадников и чугунной кладбищенской ограды. Всюду ломаные винтовки, стаканы, окровавленные фуражки на одиноких крестах, австрийские патронташи и гильзы. В некоторых окопах устроены лежанки для перевязок, и сверху даже прибиты куски картона с именами врачей. Большие ржавые пятна и клочья ваты и марли говорят, что работа была большая.

Мы идем по зигзагам окопов, и кто-то задумчиво произносит:

— Пишут, пишут умные книги, а чуть что—полезай в яму и жди в ней погребения, как дохлая лошадь.

— Д-да, хитрая штука, — отзывается Кузнецов. — Выходит шайка разбойников, она так и говорит: грабить идем. А идут на грабеж солдаты — тут и умные книги, и отечество, и родина, и проблемы... Видно, под умные слова легче потрошить людей.

— Ну, пошел хлебом-кашей кормить, — лениво отмахивается равнодушный Климович. —Об этом и говорить не надо. Мы же в парке: едим, пьем и никого не хороним

— Эге! — продолжает иронизировать Кузнецов. — Наша самая поганая служба и есть. Мы — как трактирщики: сами не пьют, а других спаивают. Наш брат, парковый, круглые сутки

пудами смертью торгует. Самый вредный народ на войне. Не подвезет снарядов — и крышка. И воевать больше нельзя.

— Ну, так что ж, что возим? — огрызается Климович, — мы, значит, только ломовики, деревянные батарейцы. Извозчики, а не офицеры. По-вашему и кашевары воюют, и доктора, и обозные, и сестры?

— Не-не, вы косынкой не прикрывайтесь. Небось, сами разницу знаете между ездовым и сестрой? Сапоги и каша одно, а гранаты и шрапнели другое. Спросите-ка интенданта, он вам скажет, в чем приятности больше: в сапогах или гранатах?

— Все это пустяки, — говорит веско пехотный офицер. — Попал в парк — и сиди, да господа-бога за житье благодарствуй. А настоящая-то война только тут, в этих ямах, где вшей пасешь и казенный хлебушко чавкаешь... Штык победу решает...

— А артиллерия, по-вашему, ничего не стоит?

Затем завязалась горячая батальонная полемика, полная характерных черточек и батальной бутафории, без которой не обходится ни один разговор между артиллеристами и пехотой. Посыпались жалобы на кавалерию, которая никуда у нас не годится и разведочной службы нести не умеет.

— А казаки? — заметил кто-то.

— Нашел чем хвастаться! Казаки! Казак — отличный наездник, хорош в атаке, в бою, а в разведку пошлешь его, он по халупам девок щупает.

— Австрийцам легко разведку вести, — заметил с раздражением защитник казаков, — им все евреи помогают.

— Чепуха это все, — вяло возражает Климович. — Напускают на евреев, привыкли все беды на них валить.

Всю ночь шел дождь. Палатки намокли, дороги в лужах. Грязно, холодно, хмуро. Но по всей деревне какое-то странное оживление. Допытываюсь у крестьян, в чем дело. Все в один голос твердят:

— Кажут, хранцуз пруса разбил.

— Кто сказал?

— Туробинский слесарь.

На лицах евреев, пугливо метавшихся по местечку, я чи-

тал какую-то жалкую растерянность. Я долго бродил по грязным, полуобгорелым кварталам, наблюдая, как согбенные, старые евреи покорно уступают дорогу каждому солдату, как заискивающе выслушивают каждый вопрос и вздрагивают от каждого сурового слова. И под конец мне стали чудиться какие-то погромные признаки. Мне казалось, что казаки слишком нагло указывают пальцем на еврейские лавки. Мне вспомнилась ненависть, с которой кругом говорили об евреях. И вдруг я понял страдальческое выражение еврейских лиц. Здесь, на войне, ненавидят только евреев. Начальства боятся, неприятеля убивают, поляков ругают, а евреев преследуют с беспощадной ненавистью. Любое еврейское местечко, в котором расположились солдаты, это — воистину город проклятых. Кто видал эти худые фигуры, эти приниженные лица, полные ужаса глаза, — тот знает подлинный ад, со всеми его муками.

В тесной конурке нашей стоял дым коромыслом. Играли в карты, бренчали на гитаре, спорили. Мне было все равно. Скинув наскоро платье, я повалился на кровать. Убирая грязные сапоги, Коновалов успел мне сообщить:

— Ваше благородие, увечером завтра, в шестом часу, выступление.

13

...Вещи были уложены, чай допит. Торопливо отдавались последние приказания: подпруги затянул? Термос в кобуры положил? В эту минуту с сумкой через плечо и в шинели, высоко перетянутой ремешком, ввалился Хапов и мрачно доложил командиру:

— Ваше благородие, жиды из местечка до вас крайность имеют, видеть желают.

— Гони их в шею! — раскричался командир. — Скажи, что выступаем.

— Я им говорил, а они свое ладят: очень дело большое. И рабин с ними.

— Ну, зови их, пускай войдут.

В комнату вошли три древних еврея. Один сухой столетний, трясущийся. Все трое больше похожие на привидения, чем на людей. Белые, в длинных балахонах, они повалились в ноги

офицерам, и самый древний с длинной дожелта седой бородой, торопливо зашамкал, что в Туробин вошли казаки и грабят еврейские лавки. Жители умоляют вмешаться и прекратить погром.

Лица у офицеров вытянулись, окаменели. Жестоким голосом командир повторил два раза:

— Мы ничего сделать не можем. Вы видите — мы уходим.

— Пане, я вас прошу, вы только выйдить до них, — твердил умоляющим голосом старик.

— У казаков свое начальство. Просите его.

Но старцы не уходили. Перебивая друг друга, волнуясь и через силу, но с твердой верой в правоту своих слов, они бросали в лицо нам тяжелые упреки, горько кричали о жестоких солдатах, о жертвах, о невинных младенцах.

Было невыносимо тяжело смотреть, как эти старцы валялись в ногах и худыми руками удерживали уходящих офицеров.

— Як не вы, то хто же... хто же нас буде ратовать? Наши диты тэж на вöйни бидують. А нас грабують... ваши жолнежи нас грабують...

Офицеры молчат. Три старых еврея, кряхтя, поднимаются с пола и молча уходят.

Как мучительно тихо в комнате! Я вижу в окно трех стариков в развеваемых ветром капотах. Напружив сгорбленные костлявые спины, они плетутся в гору, к Туробину.

В комнате снова суета. Входят, уходят, распоряжаются. Громко разговаривают о фураже, о подковах.

— А не послать ли туда дюжину оздовых с нагайками?—бросает задумчиво Кузнецов.

— Все равно, — отвечает уныло командир, — этих прогоним, через час другие начнут.

Я смотрю на запад, где грохочут орудия.

— На коней! — несется команда адъютанта.

СЕНТЯБРЬ

1

...Вторые сутки стоим в помещичьем доме. Мимо нас проходят транспорты и обозы, а мы все стоим. Место унылое, сырое. Деревня бедная, разоренная долгими стоянками австрийцев и наших. Жители забиты, напуганы. Днем рыщут в поле, подбирают гнилую солому из окопов.

С вечера деревня погружается в жуткую тьму. Та-та-та, та-та-та — доносится стрекотание пулемета. Мокрые луга тяжело дышат туманом. Только над обозною кухней выделяются керосиновые факелы и, то укорачиваясь, то удлиняясь, разбрасывают тревожные искры. Проходит час, два — и тухнут последние признаки жизни.

— Обесчувствели, — говорит Коновалов.

Через весь наш лагерь иду в гости к хозяевам. Иззябшие солдаты спят под возами и в намокших палатках. Лошади, чтобы согреться, прижимаются тесно одна к другой и стоят, понурив большие умные головы, тоже погруженные в печальные думы. Часовые, изнемогая в борьбе со сном, тупо всматриваются в гнилую тьму и, взбадривая спящую мысль, решительно звякают винтовкой. Только из помещичьего дома сквозь закрытую ставню тянется мягкая серебряная полоска, и смутно доносятся медленные, недоговоренные слова.

Вхожу в столовую под радостный лай собак и громкие приветствия хозяев. Хозяева — пожилые, милые люди. Мужу пятьдесят три года, жене — сорок восемь.

Дом большой, просторный, уютно обставленный. Типичное польское гнездо. Стены в портретах. Над камином бюсты Мицкевича и Сенкевича. Тут же неизбежный Собесский и Костюшко. У последнего прекрасное лицо, лучше, чем обычно на олеографиях. Широко раскрытые глаза устремлены вперед и точно стараются в скорбях грядущего предугадать судьбу своего народа.

— Работа сына, — не без гордости роняет старик.

Пан Компельский учился в русском университете. Говорит без акцента по-русски. У него веселое лицо и ласковый тон

хозяина-хлебосола. Он рассказывает, что дней за восемь до нашего прихода у него стояли австрийские офицеры и хвастали: заставим русских подписать мир в Петербурге. А через три дня удрали во все лопатки. Он высказывает много соображений об исходе этой войны и ко всему относится с умудренностью человека, для которого все элементы всемирной истории просты и непреложны, как голод, как неизбежность, как смерть.

— Будет — что будет, — повторяет он равнодушно. — У жизни всегда есть свежая бочка хорошей старки.

Оттенок меланхолического остроумия лежит на всем, что говорит этот приятный, умный старик, проведший, должно быть, много часов со своими старинными, переплетенными в толстую телячью кожу, польскими книгами.

Когда я отстаиваю программу союзников, он, как человек давно излечившийся от предрассудков, иронизирует:

— Э, пан доктор, сейчас — как в госпитале: ни погон, ни чинов, все в больничном халате. А как встанут с постели, забудут все обещания и опять вычеркнут эти хорошие слова: равенство, малые народности, возрождение Польши... Будет — что будет, пан доктор.

Мне отведена комната во флигеле, где царствует пахучая тишина старины, и маятник глухими певучими ударами лениво подтачивает время. На всех вещах этой комнаты лежит печать цветистой задумчивости, родственной воззрениям хозяина. Они что-то давно постигли, давно примирились со всеми временными нелепостями жизни, и лежит на них тот же дух остроумия и сдержанной грусти. Особенно занимают меня эти старинные часы, из сокровенной глубины которых с каждым протяжным вздохом маятника седое время задумчиво поддакивает седеющему пану Компельскому.

— Будет — что будет...

В начале шестого часа меня разбудил ординарец Ковкин, который привез предписание от командира бригады: спешно передвинуться в Обшу и присоединиться ко всей бригаде, явившейся недавно из Киева.

День стоял ясный. Дорога подсохла. Мы шли по полям недавних боев. Горбатым зигзагом тянулись по равнине окопы —

немые свидетели вчерашних трагедий. Но все кругом — и солнце, и люди, и зеленые луговые ковры — радостно улыбалось.

Третий день все идем, идем по грязным дорогам. И в зависимости от того, хлещет ли дождь, светит ли солнце, мы чувствуем себя то пламенными освободителями угнетенных народов, то праздными и жестокими угнетателями. Миновали Фрамполь — грязное еврейское местечко, нищее и голодное, с перепуганными долгополыми евреями и улыбающимися девушками в шелковых ажурных чулках. Одолели песчаные косогоры у Соколовки, зарезали лошадей (у некоторых кровь так и хлещет из ссадин под хомутами), замучили людей и погрузились в скучное безразличие. Мелькают люди, как тени; падают лошади; валяются по дорогам походные кухни, ящики, двуколки. Изредка попадаются выжженные дотла деревни. Но все это не трогает, не волнует. Война совершенно утратила свой патетический смысл и превратилась в серые тяжелые будни. И чем сильнее усталость, тем больше злости и раздражения в солдатах. Выступает наружу неодинаковость этих сотен людей, сгруппированных в одну единицу. «Часть» распадется на части, и целое перестает быть целым. «Чтобы армия могла воевать, — говорят французские полководцы, — у каждого солдата должно быть в желудке по фунту мяса». К этому следует добавить: и по восьми часов крепкого сна перед боем. А мы встаем на заре и до глубокой ночи барахтаемся в непролазной грязи, греемся у костров из деревенских заборов и ночуем в сараях, где тухнут свечи от ветра...

...Идем через Белгорай. Старый, но очень приветливый городок с мощенными улицами и двухэтажными домами. Много лавок и вывесок. Любопытные лица. Толпы ребятишек бурно выражают свои восторги. Кажется, это первый случай радостной встречи. На перекрестке две старые бабы поднесли нам лукошко незрелых яблок. (Вот и толкуйте, что мир не нуждается в военных героях, и что Цезарь с Наполеоном — только честолюбивые убийцы!).

Странно: солдаты не любят городов, и, кажется, смотрят на них, как на прозаическую безвкусицу. В каждом их слове слышится деревенская непримиримость.

— От камня дыхнуть не можно... Защемили камнями землю, позабивали травку и жмутся друг ко дружке как тараканы, —

повторяют они с видом людей убежденных, что истина только в деревне.

Толстой прав безусловно: война чрезвычайно располагает к мысленным диалогам. Каждый из нас, если не склонен к беседам с самим собой в стиле Андрея Болконского, во всяком случае ведет в уме свой дневник. Иногда мне удается поймать налету загадочную солдатскую фразу:

— Н-не... теперь дураками не будем... винтовок начальству не отдадим...

— Супротив кого война надобна?! Для ча весь свет пушками рушить?! Больно народу много на земле развелось, бедных людей истребить хотят.

Услышишь мимоходом такую фразу и невольно потянешься к солдатам. Но когда к ним подходишь, они отмалчиваются или, крепко выругавшись, нахлестывают лошадей: Н-но, стерва!.. И еще острее почувствуешь свое одиночество среди этих сотен людей.

Пробовал я навязываться с беседой.

Но всюду натыкаешься на это сухое и неприветливое недоверие, на каждом шагу встречаешь явное желание повернуться к тебе спиной. Солдат не враждебен, не зол, а замкнут или глубоко равнодушен к офицеру. Нет в нем любопытства к нашей жизни, и не хочет он, чтобы мы читали в его душе. Шагает он большими шагами, рядом с нами, делает все, что прикажут, услужлив, понятлив, но в глазах ни искорки братского сочувствия. А подслушаешь издали — смеются, хохочут, говорят. И ловишь изредка налету:

— Ой-ой, что буде! Растопили душу крещеную, как жаркую печь, большой покос себе уготовили... Дай только замирения дождаться!

Только Асеев иногда удостаивает меня откровенным словом и поощрительно говорит:

— Ты, ваше благородие, солдат понимать выучись... Ты ему каплю жалости, а он тебе морем любви ответит...

Да, Коновалов другой раз скажет многозначительно:

— Мужик усё понимает. Промеж нас тоже есть которые растолкованы...

И невольно вспоминаешь Толстого: как ни забивали камнями

землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую пробивающуюся травку, весна осталась весною...

2

...Для войны нужна ненависть, а нашим солдатом владеют какие угодно чувства, но только не ненависть. И вот ее старательно прививают. Дни и ночи толкуют нам о шпионах. Сочиняются всевозможные небылицы, и офицеры соперничают друг с другом в измышлении ужасов предательства. То открыли шпиона-телефониста под половицами в синагоге, то у ксендза на крыше, то, наконец, в могиле на кладбище. Образовались особые физиономисты, которые узнают в любом обывателе шпиона по голосу, по выражению лица, по отвисшей нижней губе. У этого тусклые глаза и мрачный вид, значит его огорчают наши победы — подозрительный.. Тот высказывает чрезмерную радость и хочет втянуть вас в разговор — подозрительный. Иной возбуждает подозрение излишней сдержанностью, иной — предприимчивостью, иной — осмотрительностью, иной — суетливостью, иной — молчанием и спокойствием. И достаточно тени подозрения, чтобы сделаться жертвой шпиономании. Жертвой невинной и заранее обреченной. Ибо для этих несчастных установилось особое правосудие — беспощадное, быстрое и непреклонное.

Дня не обходилось без хановского «шпеона поймали». И незаметно все превращались в Хановых, даже наш умный командир. Сегодня в Рожанце разыгралась такая сцена. Мы остановились в училище. В комнате рядом с нашей находится телефон нашего корпуса. Не успели мы расставить кроватей, как в помещение вошел забрызганный и промокший от ливня поручик и прямо направился к телефонисту, засыпая его рядом вопросов:

— Где штаб корпуса? Далеко отсюда? Проволока у дороги проложена? Направо или налево от дороги?..

— Ишь ты, — всполошился наш командир бригады, — о чем расспрашивает! А говорит с акцентом. Г. поручик! — крикнул он строгим тоном. — Разве вы не видите, что в помещении находятся старшие офицеры?.

— Виноват, г. полковник, я очень тороплюсь и не заметил. Прошу извинить.

— Кто вы такой? О чем расспрашиваете?

— Поручик Церетели. Послан из штаба 17-го корпуса со срочным донесением в штаб 25-го коруса. Расспрашиваю, как проехать в штаб корпуса.

— Ваши документы?

— У ординарца. Прикажите позвать, г. полковник!

Явился молодой белобрысый солдат и — о ужас! — на первый же заданный командиром вопрос ответил: не могу знать — с каким-то чужеземным акцентом.

— Ты кто такой? — накинулся на него ястребом командир.

Мне самому показалась загадочной вся эта история. В то мгновение я почти не сомневался, что ординарец типичный немец и с любопытством посмотрел на поручика.

Стройная, мужественная фигура; привлекательное матовое лицо, грузинского типа; и в глазах, наполненных гневом, достоинством и благородством, веселые огоньки.

— Г. полковник — обратился он к командиру, — прошу вас, меня расспрашивайте. Мой ординарец плохо знает по-русски: он латыш.

— Ах, латыш, — смутился немного командир и погрузился в чтение предписания.

— Вы не родственник Ираклию Церетели? — задал я вопрос поручику.

— Это мой двоюродный брат, — не без гордости ответил грузин.

Через минуту инцидент был исчерпан, и все позабыли о нем. Вечером из бесед с денщиками мы узнали, что на телефоне случилась порча, и повидимому умышленная, так как проволока оказалась срезанной на протяжении нескольких аршин.

— Вот! — встрепенулся командир. — Недаром мне физиономия этого прохвоста показалась такой подозрительной. Какой он грузин. Это турок. Типичный турок. Я же их во как знаю. И голова вся бритая, как у турка. А главный-то, конечно, не он, а тот второй, немец. Понимаете, какие мерзавцы: прямо отсюда в лес поскакали, перерезали проволоку и айда дальше!

— Евгений Николаевич, — пробуют возражать командиру, — ну какой смысл рисковать им двумя офицерами из-за перерезанной проволоки, которую ничего не стоит исправить?

— Здесь проволоку перережут, там парк со снарядами подорвут, там бомбу бросят. Видали, как кобуры у них набиты?

«А лошади какие?! Картинка! И посадка не наша. Типичные немцы. Я же их вó как знаю! Вы понятия не имеете, что это за шпионская нация.

В биографии каждого офицера, начиная с капитанских чинов, обязательно имеется эпизод со шпионом. И почти все свободные от похода и карт минуты проходят в разговорах о встречах со шпионами, предателями и изменниками, которые почему-то убегают в самую последнюю минуту, оставляя рассказчиков в дураках. Если все эти разговоры ведутся для внушения бдительности молодым офицерам и для разжигания ненависти к немцам, то рецепт этот следует признать не особенно удачным. Лекарство превратилось в отраву, и вот результат: убеждение во внутренней гнилости военного аппарата и глубокое недоверие к населению. Жителям не верят, оскорбляют их и угнетают на каждом шагу.

Сегодня с утра приказано было населению Рожанца доставить с каждой хаты по хлебу. Рожанец — большое село с широкими зелеными улицами и большими садами. У жителей все есть, все продают, кроме хлеба. Поспевая за артиллерией, мы оставили далеко позади все интендантские магазины и хлебопекарни и вторые сутки сидели без хлеба. Есть чай, есть масло, есть птица, а хлеба нет. Солдаты ропщут. Два раза обращались через солтыса (старосту) к населению — ответ один: «другие части забрали». Офицеры решили: пойдем по деревне сами. Потянулись двумя артелями от хаты к хате: так и так, пожалейте, солдаты изголодались. Хозяева слушают, сочувственно пялят глаза и отвечают слезливым голосом: сами который день без хлеба сидим, детей покормить нечем. Обошли пол-села — так называемый польский Рожанец. На другой половине живут русины. Эта часть села выглядит еще зажиточнее. На зеленых улицах стада гусей. Сады — как парки. Уже издали встречают нас унылым взглядом и тупо твердят: «ни, нима хліба...»

— Дозвольте нам самим поискать, — обратились к командиру солдаты.

— Ищите, — последовал выразительный ответ.

И через полчаса хлеб был у всех на столе. Но со всех концов потянулись бабы с плачем и воем и с доносами на соседок, что у той, мол, «полны стодолки, а ничего у нее не берут, тогда как у нее, у ограбленной, — муж на войне и весной засевать нечем будет».

Солдаты хмуро отмалчиваются:

— Пускай плачут. Москва слезам не верит.

А некоторые нагло смеются:

— Кто проворен, тот доволен. Кто зевает, тот воду хлебает.

В одной кучке пожилой солдат с видом бравого унтера хвастлив рассказывает:

— Зачем бить? Я, брат, хожалый; иное слово — страха страшней. Вошел в избу — завыли бабы, головой бьются, ровно суд страшный. «Да вы что, злыдни нечистые, вы думаете, я грабить пришел? Нету — так нету. Я только крестиком дом помечу, где для русского войска хлеба нет. Пущай знает начальство...» Сразу, брат, обмякли. В зубы хлеб так и тычут: на, бери! И денег брать не схотели. А просить? Чего уж! Просьбой сыт не будешь...

Кому не нравится проза войны, тот пусть обращается к ее поэзии. А ее так много во всех военных приказах. Наш умный командир постоянно нас наставляет: прежде чем ложиться в постель, ознакомьтесь основательно с последним приказом. Иногда приказы эти читаются вслух подобщий хохот собрания.

Сегодняшний приказ по армии обращает внимание врачей, что немцы имеют в своем распоряжении культуры холерных вибрионов для отравления колодцев... У кого слабые нервы, тот пусть во всем положится на волю предусмотрительного начальства.

3

...В девять часов вечера получен торжественный приказ о переходе дивизии через границу; вместе с тем предписано передвинуться и нашей бригаде в деревню Ковали, расположенную в Галиции. На рассвете седьмого сентября мы выступили из Рожанца и попали под мелкий, густой, холодный дождь. Мокро, грязно, тоскливо и пасмурно. По липкой дороге, глубоко и густо

продавленной тысячами конских подков и тяжелых артиллерийских повозок и ящиков, медленно тащился наш парк. Вправо и влево от дороги тянутся мшистые луга, одетые кустарником и ржавыми кочками. Всюду валяются бинты, пропитанные кровью и сорванные, быть может, в предсмертной муке. Вместе с нами тяжело ступают солдаты охранной роты, сопя под тяжестью ранцев, накрывшись мешками, палатками и попонами. Идем час, два. Люди устали в борьбе с клейкой дорогой и с трудом двигают облипшими грязью ногами. Вошли в лес, вновь вышли на дорогу, миновали сожженную деревеньку, перешли через мостик — и перед нами полосатый австрийский столб, таможня и первая австрийская деревня Буковец. Так 7 сентября в 11 часов 20 минут утра, ровно месяц спустя после отъезда из Киева, головной парк * артиллерийской бригады перешел границу и вступил завоевателем на австрийскую почву. Ни одушевления ни готовности умереть прекрасною смертью храбрых на лицах солдатских не читалось.

Поздравление командира было принято как простой оборот речи, приглашающий к передышке. И через минуту в воздухе, обесчещенном матерной бранью, звенели начальственные окрики:

— Рассупонивай, рассупонивай!.. Попонами покрывайте!.. Под ружье мерзавцев поставлю, у кого хвосты не закручены.

... Та же Польша, те же луга, перелески, картофельные поля, одинокие фольварки и длинные, многоверстные деревни. Но лица и костюмы другие. И грязи и блох гораздо больше. О, какие ужасные, свирепые блохи — «с кобылицу ростом», как говорят солдаты. В разговорах чаще всего слышится протяжно-ленивая русинская «мова». Встречают нас всюду ласково и приветливо. В первый день мы остановились на ночлег в хате русина Петра Жука. Уступили нам все лавки, постели, чистое белье постелили, угостили хлебом, маслом, творогом, солью, а от денег отказались, ни за что брать не хотели. То же по всей деревне. Встречают солдат как дорогих гостей, так что даже у Хапова не нашлось ни одной пессимистической нотки.

— Люди здесь все тилегентные, все жизненные порядки ведут, как нужно, — объявил он нам за обедом.

У детей ни малейшего страха. Все дни они проводят в солдатском обществе.

— Силом не отгонишь, — говорят наши денщики и иной раз шутливо покрикивают на детвору:

— Ой гляди! Не уйдешь — австрияков позову: достанется тебе.

Есть у нас свой «офицерский» друг — пятилетний Янтось. Он ведет с нами долгие беседы.

— Янтось! Дэ ты був, як пукали арматы?

Смеется.

— А вы не знаете? В будни (в погребе).

Дал ему кто-то две серебряные монетки. Он моментально улетучился и минут через десять приходит улыбающийся, зажимая монетки в руке.

— Я вси гроши сгубив, — кричит он издали.

Но тут же, не выдержав характера, радостно признается:

— Я брéшу.

... Как тускнеет воображение, лишь только оно сделается фактом!

Путь победителя по завоеванной стране рисуется в таком заманчивом виде, кажется страшновато-приятным и волнующим. А на самом деле: скучные жители политически чистые сердцем как телята. На лицах их так ясно читаешь: не все ли равно, кому платить подати и перед кем ломать шапку, когда земли так мало, по пять-шесть моргов на хозяйство, а кругом такие просторные фольварки Чарторийского?..

Жестка и сурова действительность, и тяжелы дни и ночи победителя, просыпающегося от страшных укусов.

— Ни в одном царстве таких блох не бывает, как в Галиции, — говорит Ханов.

И с этим мы все согласны. Грязь, нищета, зловоние и смертельно кусающиеся блохи. Блохи и мухи — этим галицийским добром переполнены все хаты. Ни днем, ни ночью от них не знаешь покоя. Ходим весь день с головною болью от бессонницы и от запаха керосина, которым мажем ноги и волосы, и дошли до того, что противно прикоснуться к еде.

... Через густой, бесконечный лес выбираемся на открытую

поляну. Вверху все утопает в теплом тумане, внизу — густая непролазная грязь. Впереди боевых колонн идут рабочие отряды с саперами и выравнивают дорогу. Но грязь мгновенно засасывает бревна и щебень, и поминутно приходится делать долгие остановки. Пробуем идти боковиной — луга. Всюду застрявшие автомобили и дохлые лошади. Холодно, скучно и жутко. Все ходят сгорбившись, злые и недовольные, насквозь пропитанные матерщиной, которая превращается в скверную, затяжную болезнь, прилипчивую как оспа. Ругаются все командиры, солдаты, доктора, и все одинаково.

— Ну, поддайсь, пять — двадцать пять... мать — мать — мать! — несется звонкая ругань, и здоровенный солдат безжалостно лупит нагайкой по запотелым конским бокам.

— Ишь, какой дух густой, совсем коня заморил, — с жалостью замечает другой солдат Прядкин, — все жилы дрожат.

Я люблю этого солдата. У него независимый ум, в суждениях — строгая логика и такой богатый и гибкий словарь, что перед ним я чувствую себя нищим. Зовут его все Семеныч.

Вверху — сплошная, безотрадная муть; внизу — черный, промозглый омут; на душе — одиночество. Сталкиваюсь глазами с Семенычем, который говорит не спеша, добродушно усмехаясь:

— Теперь бы в постельку мягкую, да закусить, да выпить, да чайку с калачом. Хлеба у нас вкусные; дома — и пироги, и блины, и оладьи, а здесь хоть бы кожу вареную пожевать — и та по вкусу.

— Хоть бы не ругались, и то легче было б, — невольно впадаю я в слезливость.

— Ваше благородие, — говорит певуче Семеныч, — на войне служить — не барышней любоваться. Лютеет душа у человека. А иному крепкое словцо ровно крепкое винцо: и дух веселит, и за душою гнилое не остается... Слово матерное что? Сплюнул — и нет его. Обращение матерное — вот он где грех, да помыкание...

И в тоне Семеныча звучит суровый укор.

Мне вспоминаются «бытовые явления». Вспоминаются прапорщики, вчерашние следователи и агрономы, жадно и грубо

издевающиеся над каждым солдатом. Особенно этот чванливый черносотенец Растаковский — высокий, сытый, горластый судейский, невероятный драчун и похабник. Приходят на память его ратные подвиги: как он сытый, объевшийся, сидя на завалинке у дороги, остановил высокий артилерийский воз, в котором сидели запыленные солдаты, и с дикой бранью накинулся на простоватого парня, державшего в одной руке хлеб, а в другой кусок сала.

— Ты чего, так-то и перетак-то, чести не отдаешь?.. Нагнись, сукин сын, нагнись!..

И хлестал своей тяжелой рукой по щеке нагнувшегося солдата.

Вспоминаются и другие моменты походной обыденщины. Эти зуботычины, раздаваемые направо и налево, эта ежеминутная готовность ругнуть, унизить, дать сапогом в зубы... Неужели без этого нельзя?.. А у французов, у немцев?..

Неужели и там так?..

... Чудом дотащились до Тварди. Впереди крохотной деревушки колосальные укрепления из окопов, выложенных огромными бревнами и покрытых жестяными полусводами. Густая сеть проволочных заграждений тянется отсюда до самого горизонта. Через бесконечные коридоры окопов, блиндажей, утрамбованных насыпей и выложенных жестью канавок мы добираемся до большого помещичьего дома с двумя зияющими отверстиями в стенах. В красивых, высоких комнатах следы совершенно бесцельного разгрома и вопиющей хамской разнузданности. Из-под крышки раскрытого рояля несет зловонием. На полу обломки фарфоровой посуды, изорванные ноты и книги, загаженные польские и немецкие журналы, опрокинутые вазоны, столы и шкафы. Иду из комнаты в комнату и всюду та же картина: настежь раскрытые буфеты и опустошенные ящики комодов. Нет ни белья, ни платья. Уцелели только постельные матрацы, одинокие зеркала и большие вазы с фарфоровыми крышками. На матрацах и в вазах те же удушливые следы азиатского цинизма.

Прекрасное, хотя и разрушенное снарядами помещение превращено в клоаку, в которой дух захватывает от вони. Рас-

располагаемся для отдыха под открытым небом. Но это грязное хулиганство принимается как молодецкая шутка.

— Натешились, — хохочут солдаты. — Верно казачки погуляли. После ихнего брата мокренько и грязненько бывает. Ни одной посудины не забыли... Казак — он страху нагонит. Он на лихое дело, как на небо летит.

В воздухе сыро и холодно. Солдаты раскладывают костры. Из дома доносится треск ломаемой мебели. Из костров торчат лакированные ножки столов и спинки кресел. Ярко вспыхивают подбрасываемые в огонь журналы, ноты и письма. Откуда-то появляются новенькие сосновые кресты.

— Это откуда? — спрашивает Кузнецов.

— Да там их целые пачки, — отвечают солдаты.

Действительно, за домом вместе с мотками запасной проволоки, бревнами и грудами жестяных прикрытий лежат заготовленные связками сосновые кресты для братских могил.

— Вы бы хоть кресты-то по-христиански пожалели, — говорит с укоризной Пухов. Весь он длинный, мягкий и кроткий, и в глазах его светится искренняя печаль.

— Ишь что выдумал! — хором возражают солдаты. По-хри-сти-ански. На войне душу беречь не велено...

Перед отходом из Тварди воздух наполняется звоном и треском: это наши солдаты добивают остатки посуды и уцелевшие зеркала.

— На ко-оней! —гремит команда.

И дюжие бородатые ездовые проносятся гарцующей рысью, держа перед собой зеркальные осколки, и лихо, по-казачьи, выпятив чубы.

— Первый взвод! Ездовые... и-ись! Молодцы-артиллеристы, — доносится издали переливчатый голос адъютанта, и чувствуешь, что на душе у солдат и офицеров весело и беззаботно...

... Проходим, не останавливаясь, через Синяву — небольшой городок с мощеными улицами и обгорелыми домами.

Накануне здесь был отчаянный бой. Груды камней и почернелые пни еще дымятся. Весь город наполнен удушливой гарью. Среди пустынных улиц нелепо торчат уцелевшие столбы электрических фонарей. Мы сворачиваем в боковые кварталы,

где под красными черепичными крышами приютились веселые одноэтажные домики с высокими крылечками, при виде которых мучительно хочется плюнуть на всю эту грязь и свинство и хоть на час забыть о парках, обозах, проволочных заграждениях, валах и окопах... Но, кажется, путь наш не окончится и через двести лет.

4

Увы! Все то же. Длинно, голодно, грязно. Ни войны, ни людей, ни природы, — одна только хлюпающая грязь. Грязные дороги, грязные одежды, грязные разговоры. Голодаем как собаки. Со всех сторон гремит и грохочет.

Ночлеги хуже застенков. Пахнет портянками и коровьим хвостом. Как о счастьи, мечтаешь о двух вещах: о возможности выспаться и о людях. Кругом все солдаты, поручики и прапорщики. Густая смесь матерщины, брюзжания и похабного анекдота. Все злы, угрюмы, и больше всех ругается командир. Со вчерашнего дня вся дивизия сблизилась, и командир бригады идет вместе с нами. Оттого на ночлегах стало еще теснее. С бою берется каждая халупа. Чердаки, сараи, стодолы — сплошь завалены пехотинцами. Говорят, в Лезахове, куда мы сейчас идем, вся наша армия получит трехдневный отдых. И все стремятся опередить других, чтобы отвоевать ночлег поудобнее. Наш командир бригады давно уже выслал квартирьеров вперед с определенным наказом.

— Прямо за шиворот хватай и вон выбрасывай всякого, а чтобы мне квартира была!.. Понимаешь?..

Базунов, командир бригады, чрезвычайно яркая личность. Грузный и солидный полковник, с сильным, крутым характером и ловкой учтивостью, он отличается злым и насмешливым складом ума. Чистоплотный, изящный и разговорчивый, он мастерски владеет фразой и одним словом умеет показать под увеличительным стеклом самые запретные тайны. При этом он чудесный актер, никогда не теряющий выдержки. А быстрые, черные глаза и скорые движения придают его словам подвижной, неуловимый и чрезвычайно колкий характер. Базунов — большой любитель полемических поединков. Никогда он не выходит из себя и никогда не соглашается с противником. Его

постоянным партнером в спорах является прапорщик Кузнецов.

— Для чего мы лезём в эту вонючую Галицию? — сквозь зубы роняет командир.

— Приказано! — бросает реплику Кузнецов.

— Все паны да паны, а на шестьдесят верст кругом ни одного клозета, — продолжает в своем обычном задорнополемическом тоне полковник. — Конечно, долг перед обществом обязывает нас приносить себя в жертву. Но если вся их Галиция ломаного гроша не стоит и завоевывать ее имело бы смысл только в том случае, если бы она кончилась Великим Океаном, в котором можно было б омыться от всех ее грязей...

— Обиднее всего то, — иронизирует Кузнецов, — что люди, имевшие неосторожность родиться в этой гиблой стране, не отдают ее даром и дерутся за свою жалкую Галицию, как французы за свой Париж.

— В том-то и дело, — подхватывает Базунов, — что в нашем походном вояже больше блох и поносов, чем в Галиции...

К вечеру 10 сентября мы, наконец, добрались до Лезахова. Версты за четыре от села нас встретили квартирьеры с печальной вестью:

— Ни одной халупы в селе. Бабы криком кричат, детишки плачут, для господ офицеров и то места не будет.

Грязная большая деревня оказалась сплошь забитой войсками. Парку пришлось остановиться далеко за селом. В сопровождении солдат мы двинулись на поиски ночлега. В деревне творится что-то страшное. По земле буквально шагу ступить нельзя: всюду следы войны, ужасные следы человеческой скученности и солдатской дизентерии. Ноги вязнут в вонючей гуще. По земле ползет тяжелый, смрадный туман, от которого во рту образуется гнилая, гадкая ржавчина, доводящая до рвоты. В хатах плач и скрежет зубовный. Солдаты забрали все снопы из амбаров и, накрыв ими грязную землю, расположились тут же вповалку, так тесно, что и пешеходу негде пройти.

— Вот так отдых! — слышится с разных сторон. — Не времени пришелся.

— В окопах лучше? — ворчит недовольный голос.

— Война — не жена: со двора не прогонишь...

Обошли всю деревню из конца в конец. Добрались до коменданта. Просим указать помещение... Негде.

— Помилуйте, — разводит руками комендант, — здесь вся дивизия сгрудилась, с артиллерией, с парками, лазаретами. От пехоты дохнуть нельзя. Разве ж так можно?

— Ничего не понимаю! — фыркает командир Базунов.

— И понимать нечего: ка-бак! — выразительно отчеканивает комендант.

— Со мною штаб, канцелярия, денежный ящик, — недовольным тоном перечисляет Базунов. — Разрешите, по крайней мере, в ваших сенях расположиться.

— Не могу, господин полковник; никак не могу: под канцелярию генерала Заслова отведено...

Мы снова плетемся по колено в навозе и нечистотах, вбираем в легкие тошнотворный туман, впитываем в уши скверную, вязкую матерщину, заглядываем в каждую дверь, бранимся, ругаемся, проклинаем войну, начальство, Россию и, наконец, узнаём от ординарцев, что где-то, в какой-то хатке приютился десяток пехотинцев.

— Гони их, прохвостов, в шею! — свирепо командует Базунов.

И вот мы блаженствуем... Шестнадцать русских интеллигентов лежат на грязном полу, довольные тем, что им удалось выгнать под осенний дождь в холодную ночь десятка два мужиков, почему-то обязанных по первому нашему слову итти вперед по галицийским полям, прорывать австрийские заграждения, гнать перед собой эскадроны венгерцев, колебать, опрокидывать и потом валяться в грязи и мерзнуть под открытым небом...

... От духоты, от храпа, от спертого воздуха и низкого потолка не могу уснуть. Выхожу на воздух. Темно. Моросит осенний дождик. Кругом на земле лежат солдаты вповалку, и в темноте раздается тяжелый храп. Брожу, как в кошмаре, почти не сознавая, как очутился я здесь, полуодетый, задыхающийся, в темную ночь, в вонючей австрийской деревушке, где сотни русских людей для чего-то мерзнут и дрогнут под дождем. Где-то вдали солдаты жгут костер, и видно,

как усатые лица озаряются вспышками соломы. Подхожу к костру. В бурке, в исподнем белье и без фуражки. Солдаты прикидываются, что не узнают во мне офицера, и продолжают громко беседовать.

— Ну, мы народ простой, глупый да темный. Ужели ж у начальства часу нет подумать, как же так цельную дивизию в одну деревню согнать?.. Ну, как тут отлить ребята?.. Пойти — спросить у начальства. Може господа охвицеры знают; а я, брат, не выучен землякам в рожу гадить.

— Чего зря глотку дерешь? — раздается солидный голос.

— Одни мы, что ли, такие? Весь мир война рушит...

— Рази ж он войну корит? На войну наплевать.

— Ты скажи, ребята, спокайся, от начальства польза какая — толком не доберу. От начальства порядок нужен, аль нет? А где же он, порядок? Хуже зверья живем... Я не против присяги — ни боже сохрани. На то и солдат в окопе, чтобы ружьем трещать... Сколько мне жизни всей осталось — не знаю, только дай ты мне в тепло обогреться хоть самую малость...

— Братцы мои кровные, — звенит из темноты молодой голосок, — и за что это мужику такое житье на свете? Живем — не жители, умрем — не родители. А всё мы, всё мы. И хлебушка — наш, и отечеству служим, и силу тратим, сколько одной этой чести за день отдашь... Ничего не понять кругом...

— Вишь, гусь какой!.. Чем мозги утруждает! Погоди, пуля научит. Попадешь в окопы — спокаешься...

— А чего мне каяться? — звенит прежний голос. — Греха на мне нет. Душа у меня такая: чужое хоть серебром да золотом убери — не надобно. Разве ж я тут своей охотой сижу? Страх держит... Наше дело обозное...

— Пужливый, — презрительно произносит рослый солдат. — Смерть от страха ослобонит!.. Раз умирать; а что здесь, что в окопе — всё едино. Греха нет?.. За одним за богом греха нет. Нет, брат, один грех на всех. А ты думаешь — одному забава да песенки, а другому грех да запрет. Погоди — придет такой час — спросют! Почнёшь совестью мучиться!.. И немец, и

хранцуз, и мужичок обозный, и прапорщик с гусельками — все цепой-то за грех платить будем... Ой-ой!.. Может, который в окопе как гад живет, который больше всех изобижен, тому Христос по милости и отпустит. Скажет: зачем на муку послали?.. Он муку принимал, душу умирил...

— Верно! — гудят сочувственно пехотинцы. — В окопе какой уж грех? И на грех не тянет...

— Живем как святые угодники? — весело откликается кто-то, — вшей давим да бога славим...

Трещали сучья в костре. Густо стелился дождик. Воздух был спертый и противный до того, что голова кружилась. Кругом виднелись кряхтящие, скорченные фигуры, и слышались сердитые солдатские шутки:

— Но-но! Не чепай руками..!

В голове у меня вертелась, кажется, чеховская фраза:

«Жизнь идет все вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и скоро настанет время, когда Ротшильду покажутся абсурдом его подвалы с золотом...».

Милая русская маниловщина, милые русские мечтатели! Обнесенные высокими стенами красивых фраз и рифмованных строчек, что знаете вы о жизни, о мужике, о бородатых солдатах и очаровательных бритых полковниках?..

———

Как-то совсем неожиданно на глаза мне попался клочок газетной бумаги. Чувство брезгливости боролось во мне с нахлынувшим любопытством; я не видал уже газеты около трех недель и колебался недолго. В этом обрывке «Нового времени», которое я узнал по шрифту, я прочитал о смерти штабс-капитана Нестерова. Было подробно описано его столкновение в воздухе с австрийским летчиком, завершившееся гибелью обоих пилотов. Сообщение было несколько раз перечитано вслух, и все заговорили о Нестерове.

— Таких днем с огнем поискать, — сказал командир, — а у нас зря погиб, безо всякой пользы...

— Почему же русские люди идут зря на погибель? — с раздражением спросил Кузнецов.

— Очень просто, — с обычной язвительной запальчивостью ответил Базунов. — Вы знаете, для чего русскому человеку

грамотность?.. Чтобы вывески на кабаках, да на трактирах читать. Только! Это Гоголь выдумал про Петрушку, будто ему самый процесс чтения нравится. Никогда он, подлец, в книжку не заглядывает и ничем, кроме трактирных вывесок, не интересуется. Такая вот грамотность держится у нас от мужика до самого высшего начальства. Везде у нас — только вывеску подавай, а на все остальное наплевать... Вы вот думаете, что России больницы да школы нужны, да всякие свободы, а я вам говорю: кабак ей нужен; и пускай вся земля провалится, лишь бы кабак цел остался...

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят свое равнодушие и свою собственную лень оправдать, — вмешался ветеринарный доктор Костров. — Деревня спит, в городах водку жрут, и живется в России хорошо только кабатчикам да конокрадам... Это, Евгений Николаевич, чепуха; я сам в деревне служу. В России, может, больше порядочных людей, чем на всем свете.

— Видали мы этих «порядочных», — зло рассмеялся Базунов, — не успели в Галицию войти, как всю ее до нитки обобрали.

— Война — это не наше дело, — в раздумьи протянул Костров. — Мы — пахари...

— Пахари!.. Мы эту сказку знаем, — снова загорячился Базунов!.. — Народ — пахарь! Как же! Да разве мужик наш умеет пахать? Давайте немецкому мужику наш русский чернозем — чего-чего он ни натворит на нем. Весь свет прокормит!.. Мужик наш к земле жаден, а работать не знает, не умеет... У нас все так: солдат гибель, а армии нет; «пахарей» ваших миллионы, а хлеба нет. Каждые пять лет — бунты и недоборы, голодный тиф и холера. А в газетах кричат: земские начальники виноваты. А разве земские — не те же мы? — Земские начальники — не пахари?..

— Э, что там ни говорите, — отбивался Костров, — не только кабатчики и земские начальники в России, в конце концов есть у нас и Нестеровы...

— В том-то и дело, что ни к чему они нам... падающие звезды: мелькнули — и след простыл.

Да, — грустно протянул Кузнецов, — был Нестеров, летал устремлялся к нему, — и нет его. А нечистоплотных животных — хоть пруд пруди...

— Вообще, господа, немец ли, англичанин, а нет более грязного человека, чем человек. Возьмите корову, лошадь — их навоз не пахнет. Даже дух приятный идет. А где ступил наш брат, высшее существо, все он тебе загадит — и дома, и природу, и душу человеческую...

5

Два дня бились у переправы через Сан. Мосты оказались непаведенными, и части разбрелись по окрестностям. Все мы испытывали необыкновенный наплыв раздражения, так как имели полную возможность убедиться, до чего бессмысленно было наше трехдневное пребывание в Лезахове. Три дня мы чахли и задыхались по нелепому предписанию начальства в вонючей и зараженной яме, камня на камне не оставили от большого села, тогда как стоило только оглянуться, чтобы увидеть, в каких прекрасных условиях могла бы дивизия провести свой кратковременный отдых. Предоставленные самим себе, все части отлично расположились. Наша бригада заняла огромный фольварк, где мы буквально блаженствуем со вчерашнего дня.

Сегодня, после долгих скитаний, я впервые проснулся в светлой, нарядной комнате. Туманное, дымчатое утро, мечтательный парк, гибкие козочки. Совсем как в польском романе. Какое это великое наслаждение проснуться в чистой постели и чувствовать себя в Европе, среди книг и журналов. Весь день провожу в библиотеке, над входом в которую прибито распростертое чучело орла. Читаю и перелистываю журналы и погружаюсь в нравы и вкусы далеких, но близких мне людей, вся жизнь которых кажется мне чудесной, очаровательной и полной высокого смысла. Во всем доме нет ни живой души, кроме наших солдат и офицеров, и это придает нашему убежищу оттенок таинственности. Мебель, картины, книги, — все обвеяно стариной и невыразимо сладким покоем.

Полночи провел я без сна. Я знал, что завтра мы уходим отсюда, и вместе с нами навсегда уйдут из этого тихого

гнезда вся переходившая из поколения в поколение безмятежность и радость; науки, искусства и поэзия — раздавленные нашим солдатским сапогом. Следующие части так же, как и мы, сознавая всю бесцельность своего мародерства, добьют и принизят до конца вчерашний уют и красоту. Ибо такова война, таков рецепт разрешенья человеческих споров. Мир знает теперь только три спасительных слова: умерщвлять, разрушать, хоронить.

6

...На войне, как и всюду, всю черную работу делает мужик. Мужик стреляет, мужик ковыряется в земле, прокладывает дороги, пилит, режет, копает, мосты наводит, в пекарне и на кухне работает, а начальству остается только во-время приказывать. Но и эту несложную обязанность оно несет весьма неисправно. В пяти местах мы пробовали переходить через Сан, и всякий раз выходила какая-то непонятная задержка. Наконец, мы в Воле Быховской. Это большая, чистая польская деревня, окруженная лесами и полем. Мы чувствуем себя здесь как на даче. Погода отличная. Солнце весело светит. Чистенькие домики, окруженные садочками и цветниками, дышат миром, спокойствием и достатком. Стодолы завалены душистыми стогами сена. Стадами гуляет скот. Птицы сколько угодно. Все мы полны здесь нежности, тишины и сытого довольства собою.

...Но скоро снова стало тесно и грязно. Ворота настежь, двор завален навозом, на заборах солдатские портянки: со всех сторон облепили нас пехотинцы с обозами. Но от хорошей погоды и от отдыха легко и празднично на душе. Ночуем в палатках.

— Она палатка, а всякой избы лучше, — говорит нравоучительно Лактионов, наш плотник.

И, действительно, есть в этих ночевках под открытым небом своя особая прелесть. Забравшись с раннего вечера под палатку, я наблюдаю за людьми. Вокруг костров сидят бородатые дядьки и среди тишины, стоящей над сонными полями, ведут медленные беседы. Говорят о волшебниках, о предчувствиях, о кладах. Протяжно, спокойно и с твердой верой перебирают солдаты всякие небылицы, а другие с умилением слушают

эти странные разговоры. Кажется, что Россия все такая же огромная и неведомая Скифия, какой была она пятнадцать веков назад, и живут в ней все такие же варвары, и не стали они ни на иоту умней, и в душе их все та же лютая темь и невежество и дремучая ненависть.

Орудий не слышно. Теплая-теплая погода. Пахнет сосной и сеном. Мягко потрескивают костры, и отчетливо слышатся спокойные голоса.

Почти каждый вечер фантастические беседы заканчиваются заунывным пением, в котором грустное украинское «гирко плаче» все время перемешивается с ярославским «долю горькую проклинаючи». И еще долго сквозь сон мне слышатся меланхолические жалобы на «житье бесталанное», на «победную головушку» и на «смертный час во чужой стране»...

7

...Опять дорога, опять кусают блохи, опять обрастаем грязью и насыщаем воздух раскатистой русской бранью. Долгие походы вперемежку с дневками, полными табачного дыма, бесконечной девятки, разговорах о женщинах, сквернословия и закусов. Мы уже привыкли к этим внезапным бытовым переменам. Сегодня русинская деревушка, грязная, бедная, хлебосольная, без скатертей, без полов, без отхожего места. Завтра — опрятность, возведенная в культ, польская сдержанность и неизбежные кружевные бумажки с разрисованной надписью над входом: Czystosc jest ozdoba domu[1]. Миновал грязный пустынный городишко с мудреным названием: Медынья Ланцуцка; прошли через большое фабричное местечко Жолынья, наполненное казаками, испуганными евреями и сожженными домами; переночевали в крохотной, жалкой деревушке, битком набитой детьми, стариками и калеками, где нет ни соли, ни дров, ни спичек, где люди не знают, куда бежать, и только в испуге повторяют, что кто-то палит кругом местечки и села, а кто — «не вемы». К вечеру следующего дня мы, злые, усталые и голодные, очутились в Гродиско и расположились в баронском замке. На вс

[1] Чистота—украшение дома.

бригаду имелся всего один огарок свечи, и в огромных пустынных комнатах, холодных, разграбленных и мрачных, сердце щемило от тоски. Среди сора и грязи мы раскинули наши койки и почти сейчас же уснули. Кажется, я давно уже смотрю на вещи суровыми, трезвыми глазами. Но когда я проснулся рано утром, мне все же сделалось больно за нашу дикость и темноту, за тупое, бесцельное и скотское бессердечие наше. Мы ночевали в будуаре. На полу валялись сотни записочек и писем, написанных по-французски и по-польски, листы из альбома, груды фотографических карточек, измятых, надломленных, — вещественные доказательства нашего вандализма. Дорогие обои испещрены были похабными надписями. Пустые шкафы были загажены. Две задние комнаты вместе с ванной превращены были в сплошную клоаку, а тут же валявшиеся клочки солдатских писем пластично рассказывали всю многоликую природу нашей армии: были письма на русском, татарском, грузинском, еврейском и польском языках... Остатки старинной мебели, роскошные цветы и множество иностранных книг были свалены в кучу, и в ту минуту, когда я смотрел на них, они представлялись мне еще более покинутыми, чем их хозяева, рассеявшиеся по ветру.

Куда деваться от плачущих баб? Идешь полем — бабы с воплями обступают: ваши жолнеры (солдаты) последнюю картошку выкопали, и теперь хоть ложись да помирай со всеми детьми. Сидишь дома — прибегают с жалобой бабы, кричат, рыдают: ваши солдаты сорвали замки, вытащили последний сноп из стодолы. Чем жить, что сеять весною будем?.. Раздаешь рубли и полтинники; но ведь это только увертки, желание купить себе дешевое право быть безучастным к бабьим слезам. Одна баба решительно заявила фуражирам: хоть 50 рублей платите за сноп — не продам, а силой возьмете — себя и вас спалю!..

И вот мы гамлетизируем с утра до ночи. Быть или не быть? Брат или не брать? Снилось ли нашим баталионным командирам, что они превратятся в Гамлетов, и что им придется беседовать с галицийскими Офелиями на интендантско-лирические темы?

— Бросим сначала взгляд на обстановку наших героев, — иронизирует по обыкновению Базунов. — В голодное село прихо-

дят голодные резервы. Через четыре часа они будут брошены в наступление. Должны ли мы их накормить? Разумеется, так. Ибо раз мы воюем, то мы хотим победить, а раз мы хотим победить, то солдаты должны быть сыты. Но этому противятся строптивые галицийские бабы. Правда, у них имеются для этого свои бабьи резоны. Если мы заберем у бабы последнюю корову, то ее детишки останутся без молока и помрут, быть может, голодной смертью. Но ведь одной коровой я могу накормить целую роту солдат, из которых двадцать процентов будут через четыре часа убиты и ранены. Имею ли я право лишить солдата последнего утешения на земле — умереть, по крайней мере, сытым. И как я должен, по-вашему, поступить, когда стоит передо мной голый вопрос: рота солдат или одна галицийская семья?.. А строптивые галицийские бабы, которые понятия не имеют ни о статистике, ни о стратегии, орут благим матом: «остатня крова»... В том-то и дело: прямодушие и кривда только в книжках живут врозь, а на войне они идут рядом, и только строптивые бабы этого никак не понимают!..

Пробовал я с солдатами заговаривать на те же темы, но они как-то неохотно отделывались полузагадочными афоризмами:

— Голод выучит!

— Ограбили нашу жизнь — и нам не жалко.

— Так зря-то зачем уничтожать? Зачем картины дорогие испортили? — пристаю я к солдатам.

— Ты от нашего брата ума не требуй, мы не ученые, — сухо отвечает солдат Родионов.

А другой, рядом с ним, высокий, худой и крючковатый, поблескивая хитрыми глазами, насмешливо бросает в толпу солдат:

— На картинах-то все больше женский пол...

И все солдаты разражаются хохотом:

— Пуска-ай! Чего там! И без картин проживут!

— Ну, без картин, по-вашему, проживут, а ведь без последней коровы прожить никак невозможно; помрут детишки, голодной смертью помрут.

— Смерть не наследство, от нее не откажешься, — спокойно возражает тот же Родионов.

И только Семеныч говорит мне с добродушным сожалением:

— Война добру не научит... Все, ваше благородие, наново переучивай...

И почему-то добавляет с глубоким вздохом:

— Присяга — она человека за душу держит!..

8

...Третьи сутки гнилые ветры и ливни. Холодно. Сжигаем на топливо заборы, крыши и снопы. Приходят бабы, ревут, припадают к ногам, целуют руки, жалуются: забрали овес, пшено, сало... Что делать? Либо гнить солдатам в грязи и околевать от голода, либо... Другого исхода нет. Двигаемся на Глогов. Пронзительный ветер воет на все голоса. Земля наполнена грязью, тоской, унынием и сотнями испуганных жителей, которые бессмысленно мечутся из Виделки в Стоберну, из Стоберны в Бабицы и т. д., и т. д., по лесам, по грязному бездорожью. Третьи сутки мы странствуем по разоренным местам, ругаемся, злобствуем, сталкиваемся с безобразными фактами, и на все наши вопросы: «еще далеко до Глогова?» — слышим один угрюмый ответ: «не знаем, мы там не бываем».

Льет, не переставая, дождь, и мрачный Ханов скрипит пророческим тоном:

— Ноне дожди — так до самых морозов лить будут.

К вечеру добрались до одной из многочисленных Вулек и, после долгих тщетных стараний разместиться в шести халупах, решили двигаться дальше. Фельфебель упрямо урезонивал Кузнецова, доказывая, что лучшего ночлега все равно не найдешь, что солдаты устали, что лошади не кормлены, и надо подождать до рассвета.

— Да ты что, покойников боишься? — сердился Кузнецов, — как бы в потемках не примерещилось, что ли?

— Впотьмах — и блоха страх, — сдержанно огрызался фельдфебель.

— От блох-то мы и спасаемся. Понимаешь?

Выступили в восьмом часу. Дорога шла вниз по трясине. По бокам тянулись леса. Не было видно ни зги, и казалось, что все мы, с лошадьми и зарядными ящиками, гремя и ругаясь, ползем в какую-то пропасть. Темнота развязала языки,

и в воздухе вместе с едкой матерщиной плясали злобные, свирепые крики:

— Эй ты, в рот тебе чесотка, чего стал?

— Начальство дорожку выравнивает...

— А!.. Жрет — жрет, а везти не везет...

— У-у! Задави тебя смерть! Ползешь, как мокрая вошь...

Свистят кнуты и нагайки, слышно, как тяжелые кнутовища лупят обессиленных лошадей. Часа два длится истязание, а мы все как будто на том же месте.

— Стой! Стой! — доносится из передних рядов, — канава!

Отряжают две сотни артиллеристов с топорами и пилами, и те начинают прокладывать новую дорогу в лесу. Передние повозки продвигаются на несколько шагов и застревают между деревьев.

— Это они нарочно, прохвосты! — кричит Кузнецов.

— Ничаго, и тут не подохнете, жирнотелы поганые, — раздается близко возле меня.

И, уже никого не слушая, солдаты сурово и твердо вдруг решают:

— Ребята, выпрягай!..

— Выпрягай! Здеся и заночуем! — начальственным окриком несется голос фельдфебеля, и в пять минут разамуничены лошади, и мы, оставив у парка караульных, забираемся в лес поглубже, чтобы укрыться от дождя. Но и тут мокро и холодно. Лошади сбились в кучу. Солдаты дремлют, прижавшись спиной друг к другу. Иные, наломав еловых ветвей, храпят на колючих иглах, как на перинах. Из кучек, где солдатам не спится, несутся недовольные вздохи:

— И для ча только по болоту ныряем?

— По безрассудству! — слышится сумрачная реплика.

И только неугомонный Шкира преувеличенно громким голосом, явно рассчитанным на внимание начальства, рассказывает свои бесконечные сказки:

— ...Подошел этта парень к дуплу и спрашивает, каккая меня судьба ждот-стережет? А внутри ти-ихо, никто голоса не подает...

К рассвету все на ногах. Дождить перестало. В тишине и спокойствии седого утра зыбко сереют из тумана солдатские

фигуры; подрагивают бокастые лошади; тарахтят, гремя цепями, зарядные ящики, с напряжением вытаскиваемые обессиленными лошадьми, по брюхо загрузшими в болоте. Свирепо работают кнуты; звенит солдатская ругань. Но часто, спрыгивая с передков, солдаты впрягаются заодно с лошадьми и, налегая на грязные колеса, сочувственно кряхтят:

— Замучилась скотина, до самого краю подошло, один золконец всем будет...

— Треплется, бедная, как рыбка на крючке...

— И вдруг, как по волшебству, исчезли печальные, бурые цвета, расплылся водяночный туман, и далеко кругом стало видно и ясно.

— Глогов! — крикнули ездовые, указывая кнутами куда-то вдаль.

«Мой друг, мой нежный друг...» — запел Кузнецов и пустил свою лошадь вскачь.

Вся колонна как-то разом вытянулась, приободрилась, и спустя двадцать минут мы въезжали в чистенький европейский городок, с каменными особнячками, палисадничками и торцовой мостовой. После ночевки в лесу, после нищенских, грязных Вулек, после тараканов и блох странным и сказочным казалось это волшебное превращение, эта великолепная мощеная улица, уютные домики как на курорте, в которых чувствовалось, должны быть веселые дети, красивые девушки, добродушные люди, и всем, казалось, живется покойно, тепло, удобно...

Но в городе было пусто. Не видно было кудрявых детей, не слышно было смеха, зияли пустые рамы без стекол. На все обращения и расспросы немногие жители-поляки сумрачно и нехотя отвечали:

— Жиды в синагоге — ничего нет...

— Чорт их бери, тащи их из синагоги, — сердились офицеры. И кто-то из солдат, злобно блестя глазами, охотно отозвался:

— Со всей удовольствией.

Вскоре появился растерянный еврей и испуганно, низко кланяясь, поднес нам в корзине яблок. Я пошел бродить по квартирам, и везде, оказалось, хозяев нет, и остались только следы

чужого хозяйничанья; разбитые вдребезги рояли, разграбленные шкафы, обломки дорогой обстановки, обрывки ковров, портьер, одеял, черепки посуды... Кое-где виднелось и забытое орудие этой дикой расправы: казачья пика, красноречиво торчавшая в углу.

Штаб наш остановился в доме, на дверях которого блестела никкелевая дощечка с красивой надписью: Chiel Goldmann. Почему-то в этой квартире уцелели все зеркала, умывальники, посуда, столы и стулья. На чердаках висели нетронутые замки. Но не успели мы расставить наши койки, как узнали от денщиков, что повар наш, вертлявый и плутоватый Юрецкий, уже обшарил все чердаки, разыскал там шубу, два костюма, английское седло и даже сбыл все это кому-то по сходной цене. Я попробовал было обратиться к Юрецкому с увещаниями.

— Все равно, — ответил он нагло, есть глазами, — другие возьмут... Здесь был еврейский погром.

— Почему ж не все дома разграблены?

— А это в которых икону евреи выставили.

— Куда же все жители девались?

— В синагогу попрятались. Ну и смеху!.. Обмотались белым рядном, только нос да уши торчат. Шепчутся, плачут... Что ни спроси — молчат как мертвые... Только деньги суют...

— А деньги за что же?

— А кто их знает... Сухие, пейсатые, трясутся...

Плохо спалось мне этой ночью. Мешали все мысли скучные

Рано утром вышел на заднее крылечко, заросшее плющом, и увидал, как из соседнего домика, который мы считали необитаемым, вышла старушка в одних чулках и, озирась, спустилась в сад. Крадучись и волнуясь, она шла по ржавой, осенней дорожке, и остановилась совсем близко возле меня у большого бугра коричневых золотисто-рыжих листьев. Старая-престарая еврейка, жалкая и обмызганная, похожая на облезшую крысу. Она раза два пугливо осмотрелась по сторонам, пошарила рукой и, мне показалось, что-то спрятала в листьях.

— Что вы делаете? — вырвалось у меня по-польски. И я мгновенно почувствовал, как резко и некстати прозвучал мой вопрос.

пане! — страстно и кратко вскрикнула еврейка и, глядя в глаза мне с безумным страхом и болью, прошептала умоляющим голосом:

— Мо́я цурка, там мо́я цурка...

И я все понял.

А в полдень, когда мы уходили из Глогова и солдаты грузили на артиллерийские возы зеркала, подушки, стулья, ковры и всякую кухонную утварь, та же старушка металась от воза к возу и, рыдая, простирая к солдатам руки, захлебываясь слезами, о чем-то громко молила их.

— Пшла! — тупо и кратко отмахивался крупный и сумрачный Савельев.

Но старушка, заметив офицеров, взревела еще больше.

— Ну ты, жидовская морда, поговори у меня, чортова кукла! — зарычал Савельев и пнул ее сапогом. Старушка грохнулась об земь.

Офицерам стало не по себе.

— Верните ей, что вы там забрали, — крикнул повелительно адъютант Медлявский.

— Мы и сами не знаем, чего ей надо, — засуетился Юрецкий. — Зря привязалась, лопочет, ругается, за грудь хватает...

Медлявский, прапорщик из адвокатов, добродушный, с наивными глазами и немного высокогарной речью, сердито сдвинул брови и резко отчеканил:

— Прошу не прикидываться дурачками! Картина для меня ясна.

— Никак нет, — сладеньким и убедительным тенорком запел Грудин, унтер-офицер из жандармов, — никакой картины не было... Зря пристает жидовка, чтобы только начальство осерчать изволило. Истинным богом говорю: никакой картины не было.

— Чего там, — загудели и другие солдаты, — на то и война. Что со стола, то под себя.

Еще минута — и парк вытянулся, загрохотал, загремел по камням, оставляя позади опрятные домики, теперь нищие и опозоренные. Из дверей и окон выглядывали евреи с виноватыми лицами, и солдаты, проезжая мимо них, широко размахивали

кнутом, стараясь хлестнуть их по лицу. Офицеры, посмеиваясь, смотрели на эти сцены.

— Неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища, — беспечно иронизировал Кузнецов. И, раскрывая тайный ход своих мыслей, мечтательно и громко добавил:

— Куда это они Хаичек всех попрятали? Я все дома обошел...

0

Высокое... Воля Ранишевска... Стесе... Что-то дикое, запутанное, как в горячечном бреду. Ветер, пронизывающий до костей, ливни, распутица, озлобление и ужасные ночные переходы. Тьма кромешная. Ни одного факела, ни одного фонаря. Вся надежда на лошадь. И сколько ума, выносливости и благородства у этого безответного друга. Вспоминаю ночное движение на Стесе. Впереди два проводника, за ними я с командиром в тележке, запряженной цугом. Отъехали саженей триста от места — трясина. Гикнули, крикнули — лошади рванулись и поломали дышло. В то же мгновенье передняя пара подхватила, скользнула по грязи и понеслась по скату в канаву, пересекавшую дорогу.

— Стой, стой! Обопнись! — отчаянно закричали проводники.

Но кучер уже выронил вожжи, и фурманка стрелой катилась вниз. Еще минута — и лошадь за лошадью — все очутились бы в глубокой канаве, потянув за собой, конечно, и фурманки с людьми. Но выручила сообразительность лошади. Одна из передней пары мигом легла на живот и, упираясь всем корпусом, удержалась на самом краю канавы...

Потом шли пешком до рассвета. Двигались напрямик, целиной, по картофельным полям. Кругом стоял гул и стон от пехотных обозов. Не было видно ни людей, ни телег. Только тяжкое сопенье, и грохот, и крик, и матерщина говорили о том, что здесь сгрудились тысячи глоток, колес и ног. Вьющейся, качающейся серой стеной тянулась пехота. Отчаянная, неслыханно-виртуозная брань визгливыми молниями рассекала густую тьму. От этих циничных, осатанелых криков сатновилось душно и страшно. Казалось, что вся эта густая, липкая, тяжелая грязь, которая хлюпает и чавкает под ногами, превращается в кнуты и свистящую матерщину, ложится жестокими ударами на кон-

ские бока, вливается потоками в уши, стекает по лицу и отдается бессчетным эхом в хриплом скрипе телег...

Потом слушал бесконечные причитания ограбленных баб, которые оплакивали свое сено, овес, картошку, «остатню крову» и свою темную судьбу.

— Приказано итти на Баянов.

...Опять в дороге. Земля покрыта зеленым мшистым ковром, в котором нога утопает, как в перине. Мучительно двигаться по этой вязкой трясине. Уж первый ящик прорезает глубокий след во мху. Второй увязывает по ступицу. Третий — в глубокий яме, наполненной водой. Ломаются колеса, трескаются дышла. Лошади задыхаются от натуги, и многие падают от разрыва сердца. За двое суток мы потеряли их больше десяти. Повсюду, где проходили накануне обозы, множество конских трупов. Голодные, истощенные лошади шатаются, как пьяные, поминутно падают и лежат, уткнув бессильные морды в холодный мох. Большинство исхудали до того, что кажутся обглоданными до костей. А овса — нет. Сена едва хватает на одну дачу в сутки. Кругом на десятки верст все съедено до последней соломинки.

— Каждый день ложусь с мыслью, — жалуются командиры парков, — чем буду кормить лошадей завтра и смогут ли лошади везти.

Но лошади должны везти и везут. Задыхаются, падают под градом ударов и вновь идут, голодные, бессильные и покорные. Солдаты с жалостью повторяют:

— Пропадает скотина... По земле двуколки идут, какой бы твердый грунт ни был, земля дышит, как на трясине. А тут гляди-ко! Треплются лошадки, как чечотку танцуют. Маятно!..

С людьми, в сущности, обстоит не лучше: нет ни хлеба, ни соли, ни овощей. Одно лишь мясо с картофелем. Мяса вдоволь, но оно всем опротивело, приелось, и солдаты макают его в кровь, чтобы сделать менее пресным. От бессонницы, от усталости, от долгих переходов и невылазной грязи у людей озабоченный, сумрачный и угрюмый вид. И вдруг на одном из переходов суета, движение, веселый, радостный шум в солдатских рядах:

— Держи, держи его! — несется возбужденное гоготанье. — А-ту-ту-ту!.. У-лю-лю!.. Заяц!.. Заяц!.. Держи!..

И десятки бородатых людей с криком и хохотом гоняются по распаханному полю за ошалевшим зайцем, который мелькает задними лапами по высокой меже.

— Не бей, не бей камнем! — кричат сердитые голоса.

— Живьем хватай его, хлопцы!

И в течение десяти минут вся колонна, забыв об усталости в войне, гудит, улюлюкает, волнуется и с радостным блеском в глазах следит за этой охотой.

Потом опять насупились солдатские лица и ушли в себя, в какие-то свои мысли, которых они никому не сообщают. Даже приятели мои, Семеныч и Асеев, сурово хмурятся и молчат, или же скажут вполголоса, с раздражением:

— У начальства нрав легкий: всякую букашку жалеет, а поди пожалься — всей рукой бьет...

— Не пойму я, Асеев, что вы сказать хотите, кто это всей рукой бьет?..

— Где уж нас понимать да жалеть, — еще загадочнее ворчит Асеев. — Спокон веков мужику наказано за правду терпеть. А где он тот веков покон, откуда пришел и кто его видывал? Вот ты ученый, скажи ты: какой он таков — веков покон?

Асеев — сектант, начетчик, и я знаю, когда он пускается в эти схоластические изыскания, это значит, что ничего от него не добьешься, или, как говорят иронически солдаты, почнет он перед богом манежиться и по небу колесом ходить...

...Сегодня проснулся я с радостной мыслью, что на душе у меня хорошо, и снова хочется жить! Физическая грязь, канавы, лужи, дохлые лошади — все это ведь не настоящее, все это исчезло, ушло, забыто, все это было вчера. А сегодня мы отдыхаем в Южном Баянове, в имении графа Комаровского, в роскошном палаццо. Комнаты огромные, светлые. Окна во всю стену. Электричество, старинная мебель, зеркала. Перед домом английский парк с высокими кленами и астры, покрытые росинками. Во всей Галиции давно прошло уже лето, а здесь стоят еще ясные, теплые дни.

Правда, электрическая станция разбита, клозеты загажены, убранство комнат наполовину раскрадено, но под белыми потолками высокой спальни так приятно мечтается. О чем?..

О тепле, о ласке, о любимцах судьбы, которые спят на перинах, умываются над чистою чашкой и едят пшеничные кренделя; о людях, бывающих в театре, следящих издали за войной и ежедневно читающих газеты; о книгах, о бане, о салфетках, о сладкой лени, обо всем, из чего так просто и незаметно слагается человеческое «счастье». И так лежишь и мечтаешь до пяти, до шести, до семи часов, пока за окнами наступает черная осенняя ночь...

Ночью хуже, ночью подкрадывается тоска и часы одиночества. И почему-то охватывает тревога, точно ждешь, что вот-вот ворвется с предписанием Ковкин и грубо напомнит нам, что пора уходить, пора опять под ливни, под свистящие ветры, в эту черную, как сажа, ночь с такой же черной грязью. Ночью вспоминаешь: где-то далеко-далеко во тьме вдруг вспыхнет зеленый огонек, блеснет, как задорный вызов, и погаснет. Потом ближе, и еще ближе. Вчера, когда мы пришли в Баянов, я наблюдал это явление долго. Было темно, но тихо. Солдаты спали. И вдруг высоко в небе, в стороне Ярослава вспыхнул далекий свет и растаял зеленоватым сиянием. Потом над Перемышлем. Потом так же беззвучно, но гораздо ярче и ближе. Потом совсем близко, и было похоже, будто горит пучок соломы, облитой керосином, загорается на высоком шесту и сразу гаснет. И так же методически — через каждые 8 — 10 минут — огоньки уходили дальше и дальше, сперва к Гродиско над лесом, затем еще туда, на восток, откуда шли наши части. А сегодня я снова вижу, как мелькают и гаснут огоньки, вспыхивают и облетают полукольцом широкое пространство. Что это? Кто-то явно сигнализирует, ведет немую беседу. — О чем и с кем? — с тревогой спрашивают друг друга солдаты и офицеры. И все мы чувствуем ночью, что мы в чужой неприятельской стране, со всех сторон окруженные враждой, безвестностью, смертью...

10

От Баянова до Гжатки и от Гжатки до Дембе — все леса да леса. Иду сосновым бором, собираю бруснику, интересуюсь зайцами, птицами и понемногу впадаю в полуварварское состояние. Думать не хочется ни о чем. И лес занимает меня не

красотой, не чудесными запахами своими и мертвой осенней тишиной. Занимают меня большие дороги и переправы, широки ли просеки для проезда и твердый ли грунт? И еще мне хочется знать, далеко ли до ближайшей ночевки? Остальное не важно. О Франции, об Европе, о войне на западном фронте мы ничего не знаем и знать не хотим. Надоело строить догадки.

Солдаты возятся с зайцем. Где-то в дороге попался им подбитый заяц, и они приобщили его к нашему хозяйству, передали коровнику. Коровник — быстрый, суетливый мужик, несчастный, убогий, который держится как-то в стороне от войны, и, несмотря на шинель и винтовку за плечами, всем своим видом сразу напоминает деревенского пастуха. Зовут его все по имени — Осип. Лицо у него умиленное, жалостливое, говорит всегда нараспев и только о крестьянском: о кормах, о скотине, об урожаях. Ходит позади всех, без дороги, никогда не сбивается и в темноте различает каждую канаву не хуже, чем днем. Солдаты посмеиваются над ним, но любят. Любят и Осипа, и все его хозяйство. Хозяйство это странное. Оно состоит из собаки, коровы и мальчика-добровольца. Все трое — приемыши парка. Собака пристала к нам еще где-то в Ковеле. Умный, ласковый пойнтер с кофейными подпалинами. Он пробовал пристроиться к офицерам, но те гнали его от себя, потому что весь он запаршивел и постоянно катался кубарем по земле от нестерпимого зуда. Солдаты прозвали его — Блохатый и тоже не церемонились с ним. И случилось так, что пес увязался за Осипом, который лечил его, обкладывал листями, и понемногу Блохатый поджил, подкормился и стал смышленой, ловкой и чрезвычайно крепкой собакой, ни на шаг не отходившей от Осипа.

Второй наш приемыш — маленькая, черная коровка, с белым пятном на лбу. Еще во время первых боев под Холмом мы поручили весь закупленный скот наблюдению Осипа. В день обстрела под Цирковицей в его распоряжении находились четыре коровы. Когда парк стал уходить на рысях из-под огня, все забыли об Осипе с его стадом. На другой день вспомнили, поговорили, пожалели и ни минуты не сомневались, что он пропал. А дня через три Осип явился со всем своим хозяйством —

с коровами и с Блохатым — цел и невредим. Расспрашивали его как он добрался, где шел, но он только посмеивался и повторял: шибко шел, с разгона память отшибло... И потребовал, чтобы черную корову не резали, а оставили «на счастье» при парке до конца войны.

— Очень глупым быть надобно, чтоб этой коровки не заметить, — говорил решительно Осип. — Я на ей верхом как на коне скакал...

И вид у Осипа был такой, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и скрывал про себя. С тех пор черная коровка с белым пятном на лбу стала ходить за парком, как собака. Она делит с нами все трудности походной жизни, была под обстрелом и давно усвоила команду. Как только парк пускается рысью, рядом с патронными двуколками и артиллерийскими возами, не отставая ни на шаг, мчится во весь опор боевым аллюром и маленькая черная коровка. Это забавляет всех нас и сделало коровку любимицей парка. Бывали голодные минуты в нашей жизни, но никому не приходило на ум зарезать коровку. Как бы убеждая себя, солдаты говорили:

— Какая ж в ей теперь говядина от такого бегу? Одни жилы да кости. Рази ж такая говядина уварится?

Третий приемыш — Колька, или — как величает его более торжественно Осип — Николай. Это мальчишка лет четырнадцати. Увязался за нами под Холмом и всех уверяет, что он разыскивает свою часть. Ханов в нем, конечно, сразу заподозрил шпиона. Но мальчишка плакал, божился, сумел вселить к себе жалость и, после нескольких столкновений с солдатами, очутился под покровительством Осипа. Ест он из общего котла, дрогнет с солдатами под дождем, но доверием их почему-то не пользуется. Странными кажутся его внезапные отлучки. Исчезнет на день, на два, уведет заводную лошадь и потом вновь появляется.

— Где был?

Начинает плести какую-то несуразную историю, как лошадь его «прибилась к куче» и он не смог ее отогнать, как он поехал молебен заказывать в соседнее село и помолиться троеручице божьей матери... Ложь на лице написана.

— Какое тут богомолье на войне, — ворчит недовольно Ханов и зловеще добавляет:

— Шпеончик, как есть шпеончик...

Но, благодаря покровительству Осипа, Николаю все сходит с рук.

Без Блохатого, без коровки, без Николая в парке чего-то нехватало. Неизбежны в походе сантиментальные спутники каждой части — батарейные козлы, собаки и петухи...

...Мы сидели в самом благодушном настроении, за утренним чаем, когда в комнату вбежал штабной адъютант, штабс-капитан Терентьев и остановился, как вкопанный, — весь изумление и бешенство:

— Вы что, в плен решили сдаваться? Чего вы тут сидите?

— А куда ж нам итти? — удивленно переглянулись мы.

— Это чорт знает что! Приказание было передано еще ночью. Вся дивизия на-ходу. Снимайтесь сию минуту. Всем штабом — на Баянов, всем боевым частям — на Слены.

Моментально все загудело, засуетилось в парке, и, как всегда, неизвестно как и откуда, зароились в воздухе всевозможные слухи.

Идем дальше. Куда — не знаем. Говорят — по ту сторону Сана. Дорога по пояс в непролазной грязи. Конский состав редеет с каждым часом. В зарядных ящиках уже только по две запряжки (вместо трех). На каждом шагу стоят изящные фаэтоны и коляски, вывезенные из галицийских имений и теперь брошенные среди дороги вместе со шкафами, мраморными умывальниками и дорогими зеркалами. Какое-то странное отупение овладевает всеми: не хочется ни думать, ни беспокоиться; в душе царит тупая, покорная готовность жить по чужой указке. Лица у всех осунувшиеся, вялые, глаза—холодные, тусклые, равнодушные. В голове — «молчание и пустота в мыслях», как любит повторять Базунов. Видишь вокруг себя предметы и лица, понимаешь все, что происходит кругом, но в то же время все как-то кажется случайным, эпизодическим, лишенным общего смысла и общей цели.

Растерянный и беспомощный, я ищу спасения у Семеныча. Из его простых и открытых глаз струится такая светлая душа.

Он спокойно слушает мои жалобы и важно роняет сентенцию за сентенцией своим тихим, певучим голосом:

— Уже больно ты, ваше благородие, умом ворочаешь... Нет хуже, как думать долго... Будешь вот так умом раскидывать — душа обомлеет, такое представится, что самому себе чужой станешь... Ты свое примечай, а с судьбой не спорься... Лбом стены не пробьешь... А крови-то не давай схолодиться... Война дух веселый любит... А на все стонать да вздыхать — и силы не станет...

И солдаты, действительно, рады всякому поводу стряхнуть с себя походную скуку. Гремит страшная канонада. Где-то совсем близко, повидимому, завязывается горячий бой. А под этот грозный аккомпанимент солдаты устраивают охоту на диких коз. Рассыпавшись по парку Тарновского, где мы расположились на отдых, они с криком и хохотом гоняются за оленем, бьют фазанов и ловят павлинов, совершенно не думая о том, что через два часа их снова ждут походные муки.

11

...Грязно, скользко и холодно. Вторые сутки беспрерывная пальба и упорно держится слух, будто неприятель усиленно наседает и уже находится где-то в восьми верстах от нас. Переяславский полк окапывается. Дивизиону нашей бригады приказано стать на позицию. Сегодня в девятом часу вечера получен спешный приказ из штаба: завтра к шести утра хвостом колонны перейти через брод у деревни Лапувки и, не задерживаясь, двигаться на Ниско-Заречье — Вулька-Тапевска. Дорога инквизиторская. Задние взводы отстали на много верст. Поминутно теряем лошадей. В Лапувку добрались на рассвете, постучались в окошко у первой же избы и потребовали хозяина:

— Веди к броду.

Крестьянин, босой и заспанный, долго почесывался, отнекивался и, наконец, повел нас по пескам и косогорам, и через час подошли к реке. Сунулись в воду — аршина два глубины. Разбудили другого жителя — тот заявил, что здесь и пехоте не пройти, не то что с зарядными ящиками. А перейдем — на том берегу все равно загрузнем, не выберемся из топи.

Ишь ты, Сусанин какой! — рассвирепел Базунов. — Расстрелять его надо, подлеца!

Но Сусанина уже след простыл. Опять поплелись по пескам да по болотам и к полудню кой-как перебрались через реку, оставив на переправе один зарядный ящик. Лошади еле передвигались. От усталости люди совершенно лишились языка и только мычали. С обеих сторон, на много верст стеной тянулся непроходимый сосновый бор; подозрительно вспыхивали какие-то зеленые огоньки. Но нам было все равно. Хотелось лишь одного: присесть, уснуть... И вдруг солдаты один за другим стали спотыкаться и падать в грязную, вонючую гущу, в которой валялись десятки подыхающих и уже разложившихся лошадей.

— Но, но! Подтянись, ребята! — раздается зычная команда Кузнецова, и солдаты стряхивают с себя сонную одурь и плетутся дальше.

Опять густая, глубокая, вонючая гуща, вся замешанная на конском помете. По бокам леса, леса и леса. Дух захватывает от истерзанной и замочаленной колесами падали. Дождь сечет как кнутами.

Облепленная грязью одежда задубела и покоробилась и трещит, как хомут. Каждый шаг это какое-то крестное шествие. С высокого пригорка я смотрю на узкую, черную дорогу, всю в глубоких впадинах, наполненных жидким, зловонным киселем, сверкающим и кипящим как смола; вижу далеко впереди и позади себя опрокинутые зарядные ящики, двуколки, фурманки, артиллерийские повозки, какие-то бревна и шпалы, рельсы подвижного состава, колеса, шинели и валяющихся по обочинам, на пнях, на шинелях. и в грязи выбивающихся из сил солдат. Они лежат неподвижные и замученные рядом с сидящими по брюхо в грязи, полуживыми, еще барахтающимися и судорожно дергающимися лошадьми... Из этой липкой, вонючей и сверкающей гущи несутся тяжелые крики, сопение, хлопанье кнутов, едкая матерщина и отчаянные вопли:

— Погибать, ребята! Окормили австрияцкую землю дополна...

А дорога все страшней и ужасней, и грохот орудий надвигается все ближе и ближе.

— Пропадем, не выберемся, — бормочут сквозь зубы офицеры.

Близится вечер. Лошади, давно не получавшие корма, отказываются дальше везти. Происходит какое-то таинственное совещание между солдатами, и я вижу, как из зарядных ящиков вынимаются гранаты и шрапнели, и их уносят куда-то в лес. Проходит не больше получаса, парк двигается дальше. Двигается легче, свободнее; лошади крепче перебирают ногами. Еще минут двадцать, и мы на вершине огромного холма. Как по волшебству, исчезли леса и топи, и перед нами вдали зажигается огнями город Ниско.

— Ишь ты, чутье какое! — посмеивается Базунов.

— Вот откуда у них вдруг сила появилась: жилье почуяли.

— Да нет же, секрет не в этом, — говорит наивно Костров.— Разве вы не знаете, что солдаты опорожнили ящики и половину снарядов закопали в лесу?

— Официально мне ничего неизвестно, — строго, сквозь зубы произносит Базунов, — а холодно и здраво рассуждая, если уж верить в солдатское чутье на войне, отчего бы нам не поверить и в конское чутье?..

. . . Мы в деревне Шиперки, в низенькой и жалкой хатенке, среди солдат и детишек. Лежим на койках, вплотную приставленных одна к другой. В комнате одуряющая вонь. В зыбке стонут и мечутся три девочки, больные корью.

Просыпаюсь от душу раздирающих криков: воплем воют растрепанные бабы, у которых отбирают картошку, масло, коров. В ушах назойливо ноют их всхлипывающие причитания: «дрібны дітки, маты старуха, овес забрали...». В хате дымно и грязно. Визжат больные детишки. Неистово кусают блохи, которые ползут и скачут по лицу, по платью, по стенам, столам и скамьям. Вонь, духота, загаженные окна. С отвращением проглатываю чай и апатично прислушиваюсь к тому, что происходит кругом. В сенях столпились все наши денщики, и оттуда доносится хриплый и медлительный голос Ханова:

— Это еще не холодно. Теперь как раз рыбу ловить: мы все, льговские, коло саду обучены, а к зиме рыбой занимаемся. Дома я четыре сети оставил, по 12 рублей сеть. Река у нас Сейм.

в Десну впадает. По нашей реке всякая рыба ходит: язь, окунь, карась, щука.

Доктор Костров, лежа под одеялом, читает вслух отрывки из «Войны и Мира», а Егений Николаевич (Базунов) сопровождает это чтение ядовитыми репликами:

— Война, — говорит он своим насмешливым голосом, — развивает вкус к героизму и благородству, поддерживает в людях любовь к чистоте и опрятности. Вот послушайте, например, предписание из штаба дивизии:

«Замечено, что в некоторых частях уход за лошадьми поставлен недостаточно опрятно... Инспектор артиллерии собирается сделать смотр паркам. Посему обратить самое серьезное внимание на чистку и содержание конского состава...».

— Вот почему об этом ничего не написано у вашего Толстого? У него там все поэзия, психология, характер русского человека... А скажите мне, что́ он написал о клопах, о блохах, о вони, о клейких скамейках и прокисших полах, о плачущих бабах, о детях, у которых приходится вырывать из рта последний кусок хлеба, о мародерах, о конокрадах, грабителях?.. Послушать вашего Толстого, так что ни солдат, то Каратаев, который только о божественном помышляет. А кто из церкви иконы на щепки выбирает? Кто превращает божьи храмы в конюшни и сортиры? Кто обирает трупы до нитки? Кто казенный овес ворует?.. Об этом у Толстого не сказано? А по-моему Каратаев ваш — плут, и вся эта толстовская психо-ло-гия — чепуха на постном масле! гроша медного не стоит! Книжное баловство — и только. Потому что — сидел ваш Толстой в штабах и занимался смотрами да парадами. А попробуй его приставить к настоящей войне — на полчаса терпения не хватит. Нашел чему умиляться: простоте Каратаевской. Да таких Каратаевых у нас по триста душ в каждом парке! Ничего им не надо, всегда они покойны и беззаботны, а им подавай готовое. Были бы только хлеб, да сухари, да обед во-время, да как бы порция не пропала... Вчера, например, им приказано спешно уходить, в восьми верстах неприятель, а они...

— Ребята! Ужин поспел, разбирайте наскоро порции, а то пропадут...

— Что ж, и это по-вашему, на умственность и христолюбие русского солдата показывает?..

Крохотные окна нашей хатенки вздрагивают от пушечных выстрелов, и звенит на столе посуда. Нудные разговоры сливаются у меня в голове с отдаленным грохотом пушек, пушечная пальба — с описаниями Толстого, Толстой — с ироническим раздражением командира и с собственными мыслями о войне, о передвижениях, о мучительной усталости, которая снова ждет меня впереди, но которой сейчас нет... И я сладко потягиваюсь на койке от радостного ощущения неподвижности и покоя. Пусть грохочут выстрелы, пусть рвутся близко снаряды, пусть летят во все концы ординарцы, пусть плачут дети и бабы — раньше чем через три часа мы не двинемся с места. Этим сознанием, повидимому, охвачены и другие офицеры. Чувство необычайно молодой и беззаботной радости слышится в голосе Кузнецова, когда он, вдруг сорвавшись с койки, кричит по направлению к сеням:

— Шкира! давай песни петь!

— Рад стараться! — весело откликается Шкира, и через минуту под аккомпанимент двух балалаек звенит многоголосная песня:

Ехал, казак на чужбину далё-ёко
На добром коне своем боевом...

...Сутки мы провозились у границы, заблудившись в огромном лесу. О, какие тяжкие, какие длинные сутки! Ветер, серые сумерки и ропот сосен. И везде болота и топи, покрытые узорчатой плесенью. Они засасывают людей, лошадей, проглатывают целые зарядные ящики. Конский состав все тает и тает. Давно уже опорожнены все двуколки и ящики и идут под одной запряжкой. Ссадили всех верховых и ординарцев, а лошадей пустили в обоз. Поминутно делались перепряжки, и в каждый ящик впрягалось по 10—12 лошадей, чтобы извлечь его из трясины. Лошади хрипели, падали, делали по полверсты в час и гибли в невероятных страданиях. Потом долго пламенела вечерняя заря и перешла в длинную, темную, холодную ночь. Кругом большой дикий лес и скверный, осенний, тоскливо воющий ветер. Местами, среди высочайших деревьев, приветливо выступали светлые про-

странства трясины, наполненные белым качающимся туманом, грозившие неминуемой смертью.

Люди измучились и уже не скрывают от себя и других своего страдания. Лица серые, бескровные, сморщенные. Фигуры понурые, усталые, неподвижные. Многие дремлют находу. Адъютант прильнул к шее своей лошади и сладко храпит на весь лес. Многие распластались на двуколках, свесив голову на-бок и рискуя разбиться о деревья. Идем, идем, идем. Часы превращаются в долгие дни. Болит иззябшее тело. Машинально переставляешь ноги, и кажется, что все это снится: и люди, и лошади, и большой дикий лес, и скверная осенняя ночь, и насмешливый голос Кузнецова:

— Ах, хорошо бы теперь печку с тараканами, маленькую подушечку и тепленькую девчоночку...

— Стой! стой! — раздается внезапным воплем в темноте. Слышится треск и грохот, суетятся темные тени, чиркают спички, мелькают меж деревьями огоньки... Это опрокинулся ящик или свалилась от усталости лошадь. И опять идем, идем, идем.

— Хоть бы скорее всем сдохнуть!

— Такой жизни и беречь нѐ для ча. Живем как в зверином образе...

Сам командир ядовито подтрунивал над собой:

— Д-дас! У Маколея было четыре лакея, а теперь Маколей сам дуралей... Понесло меня в эту дурацкую историю. Подвигов захотелось... Только бы вырваться отсюда... Сейчас рапорт по начальству: довольно колбасы! Пожалуйте отставку!..

От холода и усталости, от мутного пара, гнилой осенней ночи, люди, действительно, дичают как звери и с диким криком: «вьё, вьё» полосуют спины измученных лошадей.

— Что делать? — совещаются офицеры. И решают отправить в разные стороны разведчиков. Я отправляюсь с группой солдат, и вскоре мы выбираемся на опушку леса, где около десятка казаков разложили большой костер и варят кашу.

Подходим. Казаки флегматично осмотрели нас с ног до головы и, не обращая больше внимания, продолжают свою беседу. Спрашиваю, как выбраться на дорогу: все равнодушно отвечают:

— Не могим знать.

Молодой, красивый казак выхватил из костра горящую головню, взмахнул ею в воздухе, прикурил и снова бросил в огонь. Потом протянул тягучим голосом:

— Война войной, а на бабу охота пуще, чем дома. Потому главное — все твое, может душа натешиться, только поворачивайся... Вошел я это в халупу, гляжу: баба, здоровая австриячка, а подле младенчик, с виду быдто жиденок. Глянула стерва — так огнем по всей крови и прошло. Стал ее улещивать, тискать да мять — не дается баба, стыда не забывает. Лицо платком черным прикрыла, плачет... Скучно мне стало, и досада берет... Али товарища позвать? — не хочу я на люди грех нести, да и бабой делиться не согласен...

— Какие же вы разведчики, — сердито прерывает рассказчика наш солдат, — ежели вы на самой границе не можете на дорогу вывести.

— Я не сова, чтобы в темную ночь по лесам летать, — усмехнулся старший из казаков, и все другие расхохотались.

— А мы, что же, совы, по-твоему? Вас для пользы службы стараться поставили, а вы байками занимаетесь, да кашу в полночь варите...

— Ничего, земляк, и мы не балуемся, и нам свово горя полна мера отпущена: война всем не мать...

— Ты нам про долю сиротскую не рассказывай, — уже со злобой крикнул артиллерист, — ты мне дорогу кажи, а войну воевать я без тебя сумею...

Казак встал, подбоченился и сурово отчеканил:

— Я приказание исполняю по долгу службы, всю тяготу несу, а про дорогу вон в деревне попытай... Там вон, деревня есть, по за лесом.

— Чего зря время тратить, — сказал сердито артиллерист, и, уже уходя, выразительно добавил:

— Ни до чего негодный, нестоящий народ — казаки, только у них и войны, что девок портить.

Кто-то из казаков насмешливо гикнул и запел томным голосом нам вслед:

На войне солдаты модны,
По три дня сидят голодны,
Не п..дят, не баламутят,
А от пищи носом крутят,

Любят девушку-красотку, —
Под рубашкою чесотка...
Ах, Матрешка, хороша,
Уж тебя ль не любит вша.

Мы опять вошли в лес в темноту и гудение.

Кое-как доплелись до «деревни» — из десятка темных, развалившихся шалашей.

— Хорошо живут враги!.. Есть из-за чего войну воевать, — потешались солдаты.

Раздобыли крестьянина, не то лесника, не то явного контрабандиста:

— Веди!

Тот нехотя согласился. Пошли разными тропинками и повертками, добрались до парка. Часам к шести утра очутились на краю леса. Двинулись дальше — топь. Кликнули проводника, а его и след простыл. Делать нечего — полезли в болото. Бились-бились — и кой-как выбрались на дорогу.

Осень. Поблекли, поникли травы, скрипят ощипанные деревья. Так хочется убежища и тепла. И солдат и офицеров мучает осенняя тоска, и они ворчливо, придирчиво брюзжат.

— Говорят: душа вольная, свет широкий, — несется из солдатских рядов суровый голос. — А где она ширь да гладь? Вот на этом болоте вся земля в кулачок съежилась. Птицу и ту разогнали выстрелами. Душу всю выкорчевали. Вот и живи по заповеди христовой.

— Какие тебе заповеди на войне, — подхватывают солдаты хором. — Затрещал пулемет — слова евангельские, загремели пушки — трубы архангельские.

— Известное дело: пуля добру научит.

— Христовое воинство... Солдата все любят: солдат царю славу добывает.

— Солдату помочь — всяк не прочь.

— А не дают добром — вгрызайся штыком!

— Пса скулебного — и то пожалеют, а солдатское горе дешево.

— Ходя наешься, стоя выспишься. Эх, ты доля сиротская!

— Будя вам ёрничать да грехов набираться, — вмешивается Семеныч. — Мужик на войне, что медведь на бревне: как по башке грянет — так умом ворочать станет...

Офицерское недовольство сдержаннее и тише.

— Загромоздили штабами Ниско: придется нашему брату в вонючей халупе ночевать, — сквозь зубы роняет Кузнецов. И все вдруг чувствуют себя точно обескровленными. Ниско — неведомый городок, приветливо мелькнувший как-то своими вечерними огнями. Одни мечтают о теплой постели, другие о походном романе, о мимолетном флирте под кровом гостеприимной панни, огромное большинство о легкой наживе: попасть на ночевку в город это значит рыться в обывательских сундуках и перинах, шарить по чердакам, погребам и сараям.

Вечерело, когда мы, сбившись в тесной хатенке, сидели понурые и голодные, но с радостным ощущением покоя. Сколько их впереди — кто знает? Но каждая минута этого покоя — счастливая, долгая нирвана.

В сумерках низкая грязная халупа с окошком, похожим на глазок тюремной камеры, напоминала собою склеп. Базунов, взгромоздившись на кучу офицерских вещей и пощипывая балалайку, затянул жалобным голоском:

Куда ж тебя черти носили?

Потом, обращаясь в мою сторону, он заговорил в своем обычном шутливом тоне:

— Запишите на сегодня в ваши мемориалы (официально я вел «Дневник военных действий» нашей бригады; но в этом лукавом обращении заключался намек на мои собственные записки), запишите в мемориалах так:

«Это была одна из самых игривых ночей в нашей жизни. Петухи еще сонно потягивались, когда мы со всеми снарядами и, утопая по горло в грязи, выступили в поход, передвигаясь со скоростью двух черепашьих шагов в час. Зато фантазия христолюбивого воинства достигла наивысшего полета, осыпая презираемого противника градом крылатых словечек, от которых лошади падали замертво».

— Недурственно, — хохочет Костров и, высказывая всеобщее желание, произносит разнеженным голосом:

— А хорошо бы сейчас по единой уконтропить!..

— Юрецкий! — командует Базунов, и денщиков охватывает суетливое возбуждение.

— Ужинать! Ужинать собирайте!

. . . В спертом воздухе тесной, битком набитой халупы кружилась от вони голова.

— Чувствуете дух войны? — иронизирует Базунов.

— Воевать не умеем, зато комфортабельно устраиваться мы мастера...

— И тут солдат виноват? — огрызается Костров.

— А по-вашему кто же? Я виноват? Посылаешь прохвостов-квартирьеров — разве они, подлецы, подумают о ваших удобствах? Ткнет, подлец, в первую попавшуюся халупу пальцем, поставит крест на дверях, и готово....

Как-то раз перед толпою соплеменных гор
У Кострова с Базуновым был великий спор,—

театрально декламирует Болконский. Болконский — молодой, двадцати-четырехлетний учитель истории, прямо с университетской скамьи. Любитель стихов и оперы. Добродушный, мягкий, начитанный. В словесных поединках Базунова с Костровым неизменно поддерживает последнего, называя себя его бессрочным секундантом.

Костров — наш старший ветеринарный врач, круглый и толстый, ненасытный чревоугодник и спорщик. Кузнецов рекомендует его обыкновенно так: доктор жеребячьего званья и бычьего аппетита; азартный проповедник вина, девятки и родины.

— Нет, вы подумайте, — кипятится Базунов, — живет второй месяц бок-о-бок с нашим Кирилкой, видит, чем набита его дурацкая голова, а никак расстаться не может со своими фанабериями... Да вы позовите хоть сейчас любого из наших артиллеристов и спросите его, в какой мы сейчас стране? И что же? Засунет глубокомысленно палец в нос и ответит: — Не могу знать.

— Боже мой, — все более разгорячается Базунов, — до чего меня раздражает это проклятое немогузнайство. Распустит губы, подлец, сделает идиотское лицо: «Не могу знать».

— Не понимаю, весело вмешивается Болконский, — отчего это вас так раздражает? Вы просто с философией незнакомы.

От спертого воздуха и вони я едва держусь на ногах. Выхожу из халупы на вольный воздух. В небольшом садике группа солдат сбилась вокруг костра, между патронных двуколок. Здесь Микешин, Вырубов, Вагнерубов, Косиненко, Блинов, Шатулин — все славные ребята, балагуры и остряки. Мое появление встречается дружелюбно.

— Холодно? — спрашиваю я. И мне отвечают залпом острот и поговорок.

— Мороз не велик, да стоять не велит.

— Едет генерал Дрожжаков на проверку пиджаков.

— Зима — лихая кума.

— Раз в году лето бывает.

— Зимой солнце, как мачеха: светит, да не греет.

— Летом и качка прачка, летом и старе́ц молоде́ц.

— Пришла зима — седьмая кума; пришел пост — поджала собака хвост.

Время от времени в толщу великорусского говора врываются бойкие украинские прибаутки:

— Иде лютый, пытае, чи обутый.

— Лыхо тому зима, в кого кожуха нема̀, чо̀боты ледащи и исты нема̀ що.

Все стараются козырнуть словцом позадорнее, похлестче, и это состязание, по обыкновению, переходит в словесный турнир между Шатулиным и Блиновым.

Шатулин — рязанец, Блинов — москвич. Попали они к нам в бригаду случайно: их захватила мобилизация в Киеве, где один занимался извозом, а другой служил печником. Оба они страстные картежники, готовые в любую минуту сразиться в двадцать одно или в девятку. Картежное состязание они всегда еще превращают в турнир на поговорках. Шатулин кряжистый и солидный, слова роняет веско и сдержанно. Блинов —

речистый, нахрапистый и веселый, говорит высоким тенорком. Состязание это всегда собирает много любопытных.

— Слушай, дубрава, что лес говорит, — солидно объявляет Шатулин, выбрасывая первую карту.

— Москва бьет с носка, — живо откликается Блинов, хлопая картой по столу.

Блинову всегда вначале везет. Он горячится, заламывает ставку за ставкой и куражливо подтрунивает над Шатулиным:

— Ерёма, Ерёма, сидел бы ты дома.

Шатулин играет осторожно и, сдвинув широкие брови, хладнокровно отбивается.

— Не разжевавши, не проглотишь.

— По саже хоть гладь, хоть бей, — все будешь черен от неё, — задорно наседает Блинов. И, выбросив кверху карту, кричит хвастливо:

— Восьмёрочка! Хе-хе-хе.... Карта веслый дух любит!

Время от времени засаленная рублевка переходит из рук Шатулина в карманы Блинова, и тот, выразительно похлопывая рукой по карману, визгливо бахвалится.

— Далеко свинье на небо смотреть, — смеется Блинов. И вдруг начинает скупиться на ставки. Раз, другой и третий карта изменяет Блинову. Настроение его резко падает: ему явно хочется оборвать игру.

— Что так? — холодно удивляется Шатулин. — Ай застыдобился?.. Жены стыдиться — детей не видать.

Ставки Блинова всё скупее, всё мельче. Шатулин уже давно перешел в наступление и язвительно допекает противника:

— Что за беда, во ржи лебеда: вот то беды — ни ржи, ни лебеды.

Блинов молчит, прикусив губы, и лишь изредка сумрачно огрызается:

— Дурной глаз глянет — и осина завянет.

— В темноте и гнилушка светит, — злорадствует Шатулин. — Не верь, паря, словам, а верь глазам.

И, выиграв новую ставку, бросает завоевательным жестом:

— Хозяин, что чирей, где захочет — там и вскочет, где потянет — там и сядет. Хошь на всю пятерку, Блинов?

— Ой, гляди — чужой хлеб приедчив, — чужой карман переменчив, — сердито откусывается Блинов.

— Свою клячу, как хочу, так пячу, — важничает Шатулин. И, поглядев пристально на Блинова, задорливо бросает ему в лицо:

— Будет!

— Чего так?

— Да так! Ктой-ты таков теперь есть?

— А кто ж я по-твоему? Шпана голоштанная?..

— Ты-то?.. Что у тебя в штанах? В одном кармане вошь на аркане, в другом — блоха на цепи.

Блинов смущенно молчит и потом вкрадчиво просит:

— Давай в долг...

— Долг на Долгой улице живет, — презрительно отмахивается Шатулин. — В долг пироги куму печь проси! — И обведя глазами присутствующих, ехидно отчеканивает, сгребая со стола карты:

— Без гроша и Москва — вша.

Наконец-то получено долгожданное предписание: нашей бригаде расположиться на сутки в Ниско. Целые сутки, двадцать четыре часа кряду, будем наслаждаться покоем, будем отдыхать, растянувшись неподвижно на койке. Заманчивые мечты и убогая действительность! Мы вступили в Ниско утром, в одиннадцатом часу. Городок пылал. На улицах крик, рухлядь и пугливая растерянность. Кто-то рубил ворота и окна. Кто-то вытаскивал сундуки и перины. Толпы людей метались и плакали, роясь в обугленных обломках и перебегая от одного обгоревшего домика к другому. Сеял мелкий, медленный дождик, сеял пронизывающей пылью, поглощая огонь и искры и обращаясь вместе с огнем в дымную, свинцовую мглу. Из этой дымной и мокрой пелены странными и нелепыми силуэтами выпячивались солдатские фигуры.

— Как тут греху не быть, — ворчат солдаты. — Надо бы по закону запрет сделать...

По временам из тумана доносятся вопли и причитания жителей, отчаянно отбивающих свое добро... Но какое нам дело?

Мы расположились в той части Писко, куда еще не добралось пламя и где уже сбились в беспорядке несколько воинских частей. Удушливый смрад полз по узеньким переулкам, загрязненным конским пометом и человеческими испражнениями. Зловонные, грязные дворы с раскрытыми настежь воротами были битком набиты людьми, лошадьми и артиллерийскими повозками. Солдаты в худых сапогах и неопрятных шинелях заглядывают во все квартиры. Всюду пробитые стены и зияющие рамы.

После двухчасовой перебранки, угроз и скулодробительной матерщины в проплеванной и прокуренной комнатке кой-как расставлены шесты офицерских коек, а на койках богатырски храпят измученные офицеры. Моя кровать — у окна без рамы. В большую пробоину на стене виден мощеный двор, где приютилась наша штабная команда. В двух палатках походная канцелярия. Тут же штабные писаря, кашевары, ординарцы и вестовые.

Прямо под окошками слышится сладенький голос Гридина, распекающего адъютантского денщика Шкиру. Гридин — штабной фельдфебель, высокий, худой артиллерист из жандармов. Щеголеватый и тихий, с мягким, елейным голоском, вкрадчивым движениями и зелеными лживыми глазами. С начальством Гридин угодлив, с солдатами — наставительно жесток. Его не любят и считают доносчиком. Славится Гридин своим уменьем добывать водку из-под земли.

— Гридин, нельзя ли поискать? — обращаются к нему офицеры.

— Слушаю-с.

И через минуту водка на столе.

Сейчас Гридин в нетрезвом виде — и распекает Шкиру:

— Этого ты никогда не смеешь, меня чтобы по морде лупить, — зудит его приторный голосок. — Потому я начальство тебе, а кажинный начальник перед тобою, как на лестнице стоит. Понимаешь? А который сверху — тот и плюет на тебя, как на мразь нечистую. Понимаешь?

Шкира — офицерский любимец, Дон-Жуан, силач и гитарист. Он не слушает Гридина, занятый наведением «глянца»

на свои и на адъютантские сапоги. И, видимо, серьезно готовится к новым победам над местными красавицами.

Между солдатами команды, с картами в руках, шныряет Блинов в поисках партнера. Гридин замечает его и вкрадчиво окликает:

— Блинов, лошадей разамуничил? Лошадь — животная благородная, уход любит. А ты, небось, бросил? Оставил без догляду? Тебе бы только языком трепать...

— Так точно, — умильно отвечает Блинов, подражая голосу Гридина, — язык не лопатка — знает, где сладко.

Солдаты бурно хохочут. Гридин торопится исчезнуть.

Несколько минут смутно гудят голоса, и вдруг четко выделяется чья-то завистливая фраза:

— А Юрецкий-то какое седло припер: английское! Говорит, на чердаке отыскал.

Языки сразу развязываются. Говорят вслух — каждый, что думает, потому что на войне совершенно нет надобности оставаться неискренним и скрытным.

— Хорошо бы и нам пошарить.

— Ищи — свищи. Допрежь нас другие пошарили. Окромя как костлявых жидов и поляцкого цментажа (кладбища) ничего не оставили.

— Эх, эх! Наших грехов в два века не замолить.

— Что тут и говорить, — вмешивается Шкира. — Разве нашего брата спрашивали войну начинать? Через все земли крещеные война перекинулась. Эх!..

И заунывно затянул своим звучным баритоном под аккомпанимент балалайки:

Ох и ах мне, вахлаку,
Не залить печаль-тоску.
Ты тоска, моя тоска,
Гробовая ты доска...
На ём крест лежит чижолый
Девяносто семь пудов...

Я слушаю Шкиру, слушаю грохотание отдаленной канонады, смотрю на пробоину в стене, на загаженный пол — и меня охватывает глубокое отвращение ко всему происхо-

дящему, к этой кровавой, мусорной яме, которая называется войной.

Такова настоящая война — та, что делается вооруженным солдатом, а не перьями тыловых журналистов. Но у русского интеллигента нет собственных мнений. И на войне и в тылу он так мало верит себе, что постоянно больше интересуется чужими мнениями, чем собственными. Оттого и получаются у нас постоянно две истории, из которых одна пишется чернилами, а другая кровью. И та, что выходит из-под пера, совсем не похожа на ту историю, которая выходит из-под штыка на полях сражения.

...Натыкаюсь на группу наших солдат у костра. Между ними Семеныч, Асеев и несколько пехотинцев.

— Ты чего это, ваше благородие, немцу дорожку вытаптываешь? — обращается ко мне Семеныч. — Ай нашим чаем нэ побрезгаешь?

— Страшно мне, сил не стало в халупе лежать, вот и мотаюсь по улицам.

— Это у тебя от пути еще оторопь не проходит... Округ на сто верст леса древние, дремучие. Не то что дороги, а тропы в них не проложено. Сюда и глаз человечий, почитай, с век не заглядывал. С испугов да с страхов разных душа, вишь, никак не подымется...

— Ну, это какой страх! — перебивает Семеныча какой-то бородач в отрепьях. — От такого страху не сдохнешь. В окопах — вот где страх. Под самую шкуру залезает. Вылез я это раз из окопа. Бяда! Рвутся снаряды грома тяжче. Округ стон стоит. Хочу итти — ноги не подниму, ровно кто за пятки хватает. Ни в праву, ни в леву сторону не гляжу — боюсь. Припал страх смертный, загреб за самое сердце, и нет того страху жестче. Ровно тебе за шкуру снегу холодного насыпали; лязгают челюсти, и кровь в жилах не льется: застыла вся. Взял я винтовку на прицел, ружье-то тяжелое, как пуд; засопил, захрипел по-зверьи, а курка спустить и не знаю как... Так и не смог, ровно обеспамятел...

Солдат что-то продолжает рассказывать. Я безучастно слушаю, смотрю в лицо рассказчику, и вдруг мне начинает ка-

заться, что этот самый бородатый пехотинец, который сегодня кричал на старуху: «Пошла, стерва! тут тебе заступников нету».

— И жалко не было? — обращаюсь я к нему неожиданно.

— На войне какая жалость? Не знает война заступника.

— На войне жалеть — себя загубить.

— На войне огнем да мукою, да кровью горячей, да слезами бабьими всю душу выжжет.

— Значит, не жалко? — пристаю я к бородачу. — И никто в ответе не будет, ни за кровь, ни за бабьи слезы?..

— Не нами война начата, не нам и в ответе быть.

Коль скоро речь зашла об ответственности, Асеев уж тут как тут. В его лице мировая совесть находит самого преданного заступника и паладина. Не скажу, поэзия это или мистика, но сектантская утвержденность Асеева действует с гипнотизирующей силой. Говорит он хорошо и грустно, и глаза у него уповающие и просветленные.

— Бежит кровь по земле, — говорит он певучим говорком, — напоила собою землю на аршин в глубину, и великая в той крови сила есть... Обручается земля с человеком на будущие времена, зовет земля к покаянию... Западает кровь в землю, как слеза в душу, целует землю тоска земная, просит-плачет: прости, мать-сыра земля, за безбожие и своеволие свое плачу кровью своей... И услышит земля спокаяние, дыхнет дыханием праведным, повеет дух новый над землей...

Асеев единственный человек на войне, который ничего не берет у жителей и чрезвычайно легко расстается с собственным гардеробом. В одном месте отдал сапоги, в другом шапку оставил. Ходит он босой, распоясанный. Лицо строгое, ясное, притягивающее. Вероятно, таких мужиков, как Асеев, воображал Толстой, когда писал Каратаева или сочинял свои сказки о странниках и старцах.

12

Снова толчея в непролазной грязи и оголенные деревья. Люди такие же голые и ощетинившиеся, как колючая проволока. Злоба, сквернословие, разговоры и к вечеру отвращение к прожитому дню.

Едем, едем, едем, уже не интересуясь ни местом, ни именем злополучной стоянки. После трехдневного перехода в мыслях такая же толчея, как на дороге. Вспоминаются какие-то непонятные встречи, знакомства и обрывки случайных фраз:

— Чорт знает что, точно начитался Достоевского до рвоты.

— Еще день такой жизни — и покончу с собой. Не могу.

Кузнецов, покачиваясь на своем иноходце, меланхолически философствует:

— Пей в радостях сердца вино твое, потому что в могиле нет ни вина, ни походов, ни вестовых, ни папирос.

И кричит зычным голосом:

— Башмаков, папиросу!

Башмаков, расторопный и юркий, подбегает к Кузнецову с папиросой.

— Болван! — гневно раздражается Кузнецов, — сколько раз я учил тебя: с огнем подавай. — И с размаха ударяет вестового стеком по плечу.

Я смотрю искоса на солдат: лица угрюмо-равнодушны.

Чем крепче вживаюсь я в военный быт, тем неоспоримее для меня, что здесь всё еще господствует право «крещеной собственности». Солдат — бессловесный крепостной, обязанный выполнять беспрекословно все офицерские прихоти. Офицер командует, распоряжается, привередничает, дерется. Все поговорки солдатские, созданные казармой, напоминают старую барщину:

— Нужда учит, а солдатчина мучит.

— Солдатскими мозолями офицеры сыто живут.

— У солдата душа божья, голова царская, а спина офицерская.

Помню, на одной из стоянок командиру первого парка Кордыш-Горецкому вздумалось устроить ученье. В продолжение двух с половиной часов он гонял ездовых по кругу, заставляя их соскакивать с коней и вспрыгивать на ходу. А сам, стоя посредине с колоссальным хлыстом в руке, выкрикивал басом: — ты чего — мать твою! — и изо всех сил немилосердно хлестал провинившегося куда попало. Когда за обедом я спросил его, для чего ему понадобилась эта муштра, он коротко и сухо ответил: «для пользы службы».

С приездом Базунова такие учения прекратились, но рукоприкладство продолжает свирепствовать наравне с матерщиной. Бьют больно и злобно почти все поголовно: и командиры парков, и старшие офицеры, и бывший агроном Кузнецов, и студент Болеславский, и сын заслуженного профессора, молодой адвокат Растаковский, и другие прапорщики. Исключение составляют командир бригады Базунов и два прапорщика: Болконский и Медлявский. Некоторые прапорщики, как, например, Растаковский, с каким-то сластолюбивым рвением предаются мордобою. В солдатских поговорках эта прапорщицкая ретивость отмечена очень колоритно:

— Не велик чин прапорщик, а офицером воняет.

— Не велик прапорщик пан, да офицером напхан.

По целым часам не двигаемся с места обессиленные, замученные, утопая в потоках грязи, в облаках конского пара, в оглушительной оргии проклятий, ругательств, ударов, которые сыплются на спины лошадей и на головы предков по материнской линии. По временам нас обгоняет пехота. Она бредет по бокам дороги, хмурая, серая, обмызганная и загадочно-замкнутая.

— Отчего они такие молчаливые? — спрашивает Костров.

— Богу молятся, — раздраженно схидничает Базунов. — Да и о чем им, подлецам, разговаривать, когда они так и рыщут глазами, что бы такое в карман сунуть: кусок сахару, котелок, походную кухню, заводную лошадь, пушку... Пехотинцы ведь это первые воры на земле. Такие социал-дымократы, что ой-ой... Ахнуть не успеете, как из-под носа самого Вильгельма упрут и в борщ сунут. Я их, прохвостов, вó как знаю!

На привале подсаживаюсь к группе пехотинцев, отдыхающих на опушке леса.

Разговор не клеится. Я отхожу в сторону и, усевшись на корнях, слушаю. Сперва беседуют тихо; потом, забыв о моем присутствии, говорят полным голосом. Лиц не вижу, но долетает каждое слово. Философствуют или сказки рассказывают.

— Как же ты говоришь, войска не было? Значит, и воевать не воевали?

— То-то и оно. Раньше все мирно жили, по-людски, а как стал султан противу других силу собирать, видит царь, что всё

султан себе заберет, ни клинышка не оставит, и послал царь к мужикам подмоги просить: Так и так, говорит, ни часочка радости не имею: навалился султан на мою землю, хочет красу-царевну в полон забрать, помогите, мужички, горю православному. Вас, мужиков, большие тыщи, много ли вашей судьбы уйдет — самые пустяки. А мне большую приятность сделаете, вовек жизни не забуду. Распалились мужички, удержу нет. Разбили они все войско султанское, забрали землю турецкую, и прямо с большого бою назад, в деревню к себе. Только в деревню пришли — глядь: ан царь-то снова к себе зовет. Да не просто зовет, а с вывертом. Дома-то у мужика что? Дома жизнь тесная, тараканы, грязища и дух мужицкий густой. А царь, вишь, чтобы к войне-то мужиков приохотить, давал им в обед баранину, и кашу молошную, и по чарке водки; одно словно не обед, а как поминки по богатым покойникам. Известно, мужикам и понравилось у царя служить. Как пришли они опять на службу царскую, царь и давай улещивать мужиков, чтоб у него навсегда остались. Вы, говорит, и воевать никогда не будете, и работать не будете, а есть-пить вдосталь. Ну, вот и остались у него мужики. Спервоначалу оно так и было, как царь говорил. А как старый царь помер, объявили мужики новому царю: «буде, отвоевалися; не хотим больше служить». Только вынул это царь грамоту печатную, а на ней старый царь печать свою приложил златым своим перстнем, а по перстню слова такие: «всегда отныне и довеку». И остались мужики как под замком каменным. С той поры и пошла служба царская...

Рассказчик крякнул, помолчал и наставительно закончил:

— Додумались, значит, как мужика силком закрутить. Да-да...

— Это правильно говорится, — подхватывает солидный голос. — Потому, ежели с понятием рассудить, жил мужик при своем хозяйстве, жил тихо, мирно, повсегда при деле, николи и ничем не грешил, все исполнял правильно. А как погнали его на службу — душа от нужного оторвалась, и стал человек ровно свинья. Опять же, скажем, бросить ежели ружьишко в лесу, да махнуть сторонкой к себе в деревню — душа не подымает...

— Вот то-то и оно, — веско отчеканивает голос рассказчика, — присяга за душу держит.

Тихо. Солдаты молчат. Думают или дремлют. Клубится пар по деревьям. И вдруг протяжная, тоскливая песня:

Не берлоги там звериные,
То солдатские квартирушки —
Залегли окопы черные
В чистом поле, на раздольице.
Поперек легли — отрезали
Все пути нам, все дороженьки
На родную, милу сторону.
Ах, ты пташка, пташка вольная,
Пуля резвая, порхливая,
Ты лети, лети на родину
Отнеси ты утешеньице:
— Вы терпите, детки малые,
Вы крепитесь, жены милые,
Уж вы, матери, порадуйтесь
На житье-бытье окопное.
Сладко пожито — похожено
Вволю корушки погложено,
Опились слезами до́-пьяна,
Опоили землю-матушку,
Опоили кровью до́-тошна.
День да ночь мы богу молимся
Оглушило небо до́-глуха.
Божья церковь — яма черная;
Образа, вить, часты выстрелы;
А попами — пушки гулкие,
Что поют про наши душеньки.
Пашню пашем мы в глухую ночь,
Не сохой — штыками, бомбами,
Не цепом молотим — пулями
По немецким по головушкам...

— На коней! — несется зычная команда, и мы опять зарываемся в болотную пучину.

...О, чудеса войны! Из недр первобытного бытия мы сразу попадаем в объятия цивилизации. Сегодня мы отдыхаем в обширной польской усадьбе, почти не затронутой войной. Кроме нас, тут расположился дивизионный лазарет. Больных в лазарете нет. Но много врачей, священник из монахов, несколько офицеров и большая команда.

В усадьбе много просторных комнат, много кроватей, мебели. На стенах семейные фотографии, портреты Мицкевича и Костюшко. В комнате с белыми колоннами — пианино.

— Давно я настоящей музыки не слыхал, — говорит адъютант Медлявский, — хорошо бы теперь послушать Шопена, а потом бы отправиться в клуб или в театр.

— Клуб мы сейчас и здесь устроим, — решительно заявляет Кузнецов. Пошлем за докторами и сыграем в девятку.

— У докторов, должно быть, имеется запасец, — подхватывает Костров. — Эх, хорошо бы по единой уконтропить..

— Шкира! зови докторов! — командует адъютант.

Часам к двенадцати почи в старой усадьбе шумно как в ресторане. Комната с белыми колоннами вся уставлена накрытыми столами. Звенят ножи и тарелки, звенят стаканы и рюмки; и так не хочется думать о войне и грязных трясинах, когда кругом светло и уютно от лампы под абажуром, а раскрытое пианино говорит воображению больше, чем самая обольстительная музыка. После двух месяцев бродячей, военной жизни при виде хорошо сервированного стола даже беззастенчивый циник впадает в мечтательность. Особенно в предвкушении выпивки:

— Ныне отпущаеши раба твоего... Воскресаю телом и духом, — кричит подвыпивший Кузнецов. — Сердце мое тает, яко воск от пламени. Клянусь тенью повешенных предков нашей очаровательной хозяйки...

...Проснулся от сердитого брюзжания командира.

— Поздравляю вас с сочельником. Игривый предвидится денек! Приходил старый пан, криком кричит, жалуется: у него, говорит, сын в армии служит, а мы своим постоем в конец его разорили: сено забрали, овес забрали, картошку забрали, лошадь с конюшни увели, амбары разграбили. Требует, чтобы я сам посмотрел, что они там натворили. Как же! Не насмотрелся еще?.. Этакие прохвосты! Двух часов не дадут почувствовать себя порядочным человеком. Так великолепно наелись, выпили, о философском поговорили. Полное, можно сказать, ублаготворение души и тела. Только дыши и радуйся на собственное благородство. Так вот тебе!.

За дверью шумят женщины, громко требуя, чтобы их допустили к командиру

— Ну, чего я к ним выйду? — разводит руками Базунов. — Мазать их по губам хорошими словами? Очень им нужно. Какие ж еще лекарства могу я им предложить? Не платить же мне за солдатские грабежи. Да почем я знаю, кто грабил. Тут ночью Сурский полк проходил. Люди не обедали пять дней, — мне командир полка сказал. Остановились на четыре часа и отсюда пошли окапываться. Вот и дознавайся, кто грабил.

— Нет, почему об этом в газетах не пишут? — оживляется Базунов, оседлав свою любимую тему. — Им все тр-рагическое подавай: гр-руды тр-рупов, гор-ры окр-ровавленных тр-ряпок, озер-ра кр-рови в тр-раншеях. Нет, вы про то напишите, как на войне мародером делаешься, конокрадом, грабителем, извергом, как детей на холод выгонять приходится, у мужика отбирать последнюю корову, последний кусок хлеба изо рта вырывать... вот вы о чем, подлецы, напишите! Про замученных постоем баб, про их вечные вопли, про необходимость ютиться у тех самых людей, которые осиротели по вине наших войск, и которых ты и сегодня, и завтра, и до тех пор будешь убивать, пока тебя самого, подлеца, не убьют...

Шестой день в пути без дневки. Передвижение идет и днем и ночью. Падает мокрый снег. От шоссе ни следа. Глубокие выбоины затянуты черной, липкой грязью, которая ровной поверхностью перерыла все дороги; и только застревающие повозки и зарядные ящики, да барахтающиеся лошади и люди свидетельствует о глубине этой трясины. Люди, измученные бессонницей, едва бредут. Поминутно приходится бросать повозки, двуколки и зарядные ящики. Все дороги забиты артиллерией, парками и обозами, идущими в разных направлениях и нередко силой пробивающимися вперед.

— Куда мы идем? — пристают офицеры к командиру.

— А чорт их знает! — раздражается Базунов. — Приказано: спешно итти на Янов. Вот и все. Указать точный маршрут не могут.

Нам всем хорошо известно и без пояснений, что спешат перейти через Вислок и Сан. Ибо кто-то неведомый взрывает

мосты. И чем погода ужаснее, тем легче это удается противнику. Холод сгоняет караульных к кострам. И тогда внезапно неизвестно кто бросает пироксилиновую шашку, динамитный патрон — и мост взлетает на воздух.

Солдаты совершенно осатанели. Страшно смотреть, с каким остервенением они полосуют вспухшие спины лошадей. Молнией прорезывают воздух их едкие выкрики:

— Ну-ну!.. мать твою б-дь! И жрать не жрешь, и везти не везешь!

— Сворачивай, черти!.. Куда ни плюнь — везде санитарные отряды. Надо бы выдумать против них порошок какой, что ли. Сворачивай говорят тебе, м... вша халатная!

— Ишь расхорохорилась деревянная артиллерия!

— Откормилось воронье на наших костях! У-у, рожу-то как разнесло, жиркотлеты поганые.

Офицерские лошади давно припряжены к выносам, и даже командиры парков плетутся по пояс в грязи.

— Идем пехом, как маршал Ней, — мрачно иронизирует Пятницкий.

— Игривая история! — покручивает ус Базунов.

— Шикарно! Шикардос! — басит немногоречивый Кордыш-Горецкий.

Наконец, мы у опушки леса, на более плотном грунте.

— Привал! — командует адъютант.

— Земля, земля! — радостно размахивает руками прапорщик Болконский, и тут же, растянувшись на бурке, лепечет с блаженной усталостью:

— Еле-еле в *селе* волки церковь съели.

— Ребята! порции получай! -- свежими, бодрыми голосами кричат солдаты.

— Гляди, как у них! — завистливо бросают проходящие пехотинцы.

— А вы разве обеда не получаете? — спрашивает Костров.

— Дэж вiн, той обiд? — угрюмо отвечает солдат.

— Яво в Кромском полку никогда не было и не будет. — подтверждает другой. — Может вы от своего отольете? — говорит он, поднося котелок.

— Проходи, проходи, кругом! — отмахиваются кашевары.

— И у самих в брюхе мыши; кишка кишке рапорты пишет, — весело паясничает Блинов, помахивая котелком.

Неприятель наседает. Мы продолжаем стремительно откатываться от Сана. Безостановочно, без дневок и передышки, катится гигантская лавина, состоящая из лязгающих цепей, из тяжелых колес и кованых копыт, из кнутов, зубов, желудков, смердословия и помета; катится с криком и грохотом, раскинувшись на сотни верст в ширину, на сотни верст в глубину, по трясинам и топям, втаптывая в липкую, вонючую землю годы и годы кропотливого, стойкого и прекрасного человеческого труда и превращая в разоренную пустыню города, деревни и пашни. Эта лавина движется как железный поток, не зная ни жалости, ни сострадания. Конные не обращают внимания на пеших, передние на задних. Никому нет дела ни до тебя, ни до твоей жизни. Каждый занят собой, своим спасением. Если бы я сейчас упал, закричал умоляющим голосом, захлестываемый грязью, — никто бы, я знаю, не обернулся! Да как же иначе? Ведь мы — живое тело войны. Винты и гайки беспощадной машины смерти. Она должна воевать. Это значит: топтать, покорять, истреблять. Сейчас машина расслаблена, разболтались все рычаги, и энергия, ее заряжающая, со свистом и бешенством вырывается наружу. «Бранная» энергия без удержу прет из глотки, — острят офицеры.

Под давлением контр-пара машина мчится назад — по пути, который называется отступлением. Завтра умелой рукой того же или нового машиниста ослабленные гайки подвинтят, смажут колеса, заменят рычаги — и с той же истребительной силой, круша, ломая и втаптывая в грязь, машина двинется в обратную сторону. И это будет называться — наступлением.

Сегодня мы отступаем. С трудом добрались до Янова. Только-что прошла, вернее промчалась, через город четвертая армия. Теперь движется вся пятая армия. Население в панике. Больше всего оно напугано слухами о предстоящих боях под Яновым. Говорят о каких-то шестнадцати корпусах, разбитых под Сандомиром; и о других шестнадцати корпусах, идущих через Анаполь в Красник. В Янове тесно и грязно. Длинные улицы,

похожие на аллеи. Много сожженных домов — следы недавних сражений. И обширное, прекрасное кладбище.

— Наш город в опасности? — читается в испуганных взглядах обывателей Янова. И многие уже вяжут свои вещи и узлы и возятся с ящиками, которые они переправляют куда-то в безопасное место.

Для жителей Янова мы просто грабители. Испуганно сторонятся они даже, когда вызываемся помогать им по хозяйству. Особенно боятся нас евреи. Вспоминается утренняя сценка. Мы шли по сонным улицам города. Было светло и морозно.

— В такое утро, — мечтает вслух Кузнецов, — ничего человеку не стоит быть счастливым. Сюда бы только ружье охотничье, да бутылку вина, да хорошенькую женщину.

— Вот как эта красавица, например, — указал рукой Базунов.

По улице нам навстречу шел старенький еврей с мешком за плечами, неся под мышками по гусю; впереди его ковыляла ветхая старушонка. Завидя нас и истолковав по своему жест Базунова, старушка выхватила гуся из рук еврея и бросилась наутек. Старичок за ней, но пробежал шагов пять, запыхался, скинул мешок и остановился.

— Беги! — отчаянно кричит ему старушка.

Старичок стоит, смотрит на нас слезящимися глазами.

— Продай гусей, — предлагает командир.

Старичок залепетал и закланялся.

— Пане, мине семьдесят лет. Одного гуся продам, а это на праздник.

— Не бойся, мы заплатим.

— У нас праздник завтра. Свенто. Я сам заплатил 1 руб. 50 коп.

— А сколько ж ты хочешь?

— Пане, пане! — затрясся старичок. — Мине семьдесят рокив...

Вокруг нас столпилась масса евреев и евреек (и был у них такой вид, точно перед их выпученными от страха глазами вставали картины времен крестовых походов — с набегами сарацин и кострами святейшей инквизиции).

Мы поторопились пройти дальше.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПО ТЫЛОВЫМ ДОРОГАМ

1914 ГОД

ОКТЯБРЬ

1

Мы приближаемся к Краснику. С утра до ночи грохочут пушки. Ночуем в крестьянских хатах, где нас встречают недружелюбно, враждебно. В деревне Зарайцы решительно отказываются впустить на ночлег. Ни угрозы, ни просьбы не помогают. Старики объясняют:

— Дюже обижают нас обозы. Весь день молились, чтобы постоя не было.

Пришлось заночевать под открытым небом. Ночью пошел дождь, и мы насильно ввалились в избы. Оказалось, живут зажиточно, даже богато. На кроватях перины и пуховые подушки. У многих швейные машины, стенные часы, фаянсовая посуда, пышные иконостасы. Во дворе — пасеки, хорошие амбары. Солдаты возмущаются:

— Своим жалеют, для гéрмана берегут. И нисколько стыда у них нет. Не надобно о плохом думать, только промеж таких мужиков немало шпионов водится.

...Днем получено предписание двигаться безостановочно до Красника. Идем боковиной, крепко перетянув сапоги, чтобы они не остались в болоте. Грязь, просачиваясь сквозь платье, липнет к телу. От усталости еле дышим. Шагаем по скользким горбакам, ежеминутно рискуя скатиться в канаву, в которой жижи по горло. Раза два срываюсь, падаю, лечу с откоса. Рука исцарапана в кровь. С час плетусь какой-то странной до-

рогой: под ногами шуршат большие твердые шары. Это — капустное поле. Мы давно отбились от части. Идем небольшим отрядом: адъютант, два доктора, человек десять солдат, два писаря, трубач и фельдфебель. Часам к десяти вечера доплелись до копны пшеницы, под которой кучка пехотинцев развела костер.

Гремят пушки, вспыхивают огненные бороздами выстрелы с разных сторон. Греемся у костра и обмениваемся стратегическими соображениями.

— Быдто, слыхал от ординарца, — за Сандомиром бой сильный идет, — объявляет пехотинец, посасывая цыгарку.

— Яво за Вислу прогнали, а теперь через Сан не пропускают.

— Ишь ты! — удивляется другой. — И ему деть себя некуда. Не перескочит.

— Как по-вашему, одолеем мы немцев? — спрашивает адъютант.

— Надо бы осилить, — неопределенно тянет щетинистый пехотинец.

— Только, вишь, орудиев у него много. Как почнет крыть шрапнелью, неба не видно.

— Чаво там орудия! — откликается кто-то новый. — На какие хитрости ни подымайся, а ничего против силы не сделаешь. Наша сила сермяжная — земляным нутром тянет. Против нашей силы — терпения яво не хватит.

— Ну, это ты зря, — возражает щетинистый. — Немца соломинкой не осилишь. Яво-то разве так учат, как нас?.. Пущай там война, аль не война, немцы сызмальства до всего приучены, что да как. У них и одежа, и пища, и орудия другая. И ладится у них не по-нашему!.. Не! немец не провоюется!

— Значит, по-твоему, проиграем мы войну? — допытывается адъютант. — И придется нам оторвать кусок России и немцам отдать?

— Ничем меня немец не обидел, — дипломатически уклоняется спорщик, — и воевать нам не за́ для ча.

Потом он медленно развязывает мешок, достает большой ломоть хлеба и отщипывает краюшку.

— Может и вам, ваше благородие, хлебца урезать? — обращается он добрдушно к адъютанту.

— Давай.

Мигом вытаскиваются мешки, и пехотинцы угощают нас хлебом. Минут десят жуем и чавкаем. Некоторые выдергивают снопы из копны и тут же устраиваются под стогом. Гремят орудия, гулко раскалывая небо и выбрасывая потоки пламени. Издали клокочет шоссе железным лязгом. Вдруг из темноты появляется фигура солдата. На нем рваная шинель в накидку. Шапка лихо нахлобучена на голову — козырьком к затылку. Лицо бойкое, цыганское. Из-под шинели виден гриф мандолины. Забубенная головушка. Осмотрев нас всех, он остановил взгляд на адъютанте.

— Дозвольте, вашбродь, к вашему шалашу!

Из темноты выплывают еще три солдата, такие же рваные и без винтовок.

— Садись. Кто такие?

— Ранёные. Из госпиталя. К своей части добираемся. Дивизии гренадерской, полка московского, — сыплет он театральным говорком.

— Где ранены?

— Под Травниками. Шесть дён друг из дружки сок пускали. Испила земля и ихней, и нашей кровушки!

— Эх! — протяжно вздыхает кто-то, ворочаясь на снопах. — Хуже зверя облютел человек. На каждом кровь чужая засохла... И кто ее придумал эту войну? Ни врагу, ни нам от нее ни проку, ни корысти.

Гренадер с мандолиной долго щурится на огонь, ухмыляется, показывая белые зубы, и бросает тоном привычного балагура:

— Чего дядя, карежишься? Война всем нужна.

— А какая в ней польза? Я в ево целюсь, он в меня целится. Как два разбойника. Вот и польза.

— А может и от разбойника польза? Про Тишку-разбойника слыхал?

— Вот!.. Едет раз мужичок. На возу клади сто пудов. И на хорошей бы лошади — ни тпру, ни ну. А у мужичка лошаденка плохонькая и поклажа барская: с которой стороны чужую кладь ни поверни — всё тяжело!.. Едет мужик с возом.

рычит, кряхтит — помереть впору. А! навстречу ему шестериком сам барин. Поравнялся с мужиком:

« — Стой! — кричит барин. — Отчего у тебя, сукина сына, лошадь не везет?

«И давай греметь и костить.

«Ан, глядь, — вырос из-за куста мужик, снял шапку, поклонился барину до земли да и говорит:

« — Пожалуйста барин, ваше благородие, окажи ты такую милость мужику-дураку, подари ему левую пристяжную.

«Как взъерепенится, загремит барин:

« — Как ты смеешь, дурак ты этакий, мне говорить такое? Да я тебя!..

« — Уж сделай милость, барин, — пристает мужик, — подари мужику левую пристяжную.

«Еще пуще разоряется барин:

« — Да как ты смеешь?! Да знаешь ты, что я с тобой сделаю? Да кто ты такой?

« — А осмелюсь вашей милости доложить, человек я простой, да маленький, а прозываюсь я Тишка-вахлак.

«Как услыхал барин, что перед ним Тишка-разбойник стоит, куда и прыть вся делась.

« — А, — говорит, — здравствуй, Тишенька! бери лошадь, какая нравится. Пусть мужичок доедет с богом до дому: а я и пятериком доберусь, лошади ничего не сделается... После только пусть назад приведет.

« — Нет, уж, барин хороший, подари, пожалуйста, мужичку совсем лошадку! Не изволь, барин милостивый, отнимать лошадку у мужика. Не для себя прошу, прошу для твоего же здоровья.

« — Изволь, Тиша, изволь! Я для тебя, Тишенька, и совсем могу это сделать, могу совсем подарить. Изволь, изволь, миленький!

«Припряг мужик к возу левую пристяжную, взмахнул кнутом и в полчаса до дому доехал. Да еще и после сколько на той барской лошади ездил...».

— Мудреная сказка, — ухмыляются солдаты.

— Ай невдомек? — спрашивает рассказчик, лукаво поглядывая на адъютанта, и добавляет задорно:

7*

— Может война-то и есть тот самый Тишка-разбойник, что от барской шестерки левую пристяжную мужику отдать хочет...

И, польщенный успехом, гренадер ударяет рукой по мандолине и поет на мотив «барыни», с замысловатыми вывертами и коленцами:

Ты прощай, моя сторонка,
И зазнобушка и жонка.
Обнялися горячо —
И ружьишко на плечо,
Уж как нам такое счастье —
Служим мы в пехотной части.
Будь хучь ночью, будь хучь днем —
По болоту пешки прем.
Только ляжешь — невтерпеж:
Под сорочку лезет вошь.
Уж и гложет, и сосет
Цельну ночку напролет.
Вечер поздно из лесочка
Герман бьет шрапнелью в точку.
Уж такой талан нам, братцы,
Просто некуды податься.
Хучь и влепят пулю в лоб,
Да с Егорьем ляжем в гроб.

— Веселый ты парень! На все руки мастер,—говорит адъютант.

— Рад стараться! — вскакивает солдат и кричит, весело заясничая: — Человечек я махонький, мужичонка плохонькой...

— Так вот в кого ты целишься... в левую пристяжную... Ну, нам пора! — поднимается адъютант. И мы пускаемся в путь.

Издали долетает еще голос веселого гренадера.

— От этого ждать можно, — вкрадчиво произносит фельдфебель Гридин. — Этот научит...

2

На войне — страшно, любопытно и занимательно.

Страшно видеть действие огнестрельных орудий, страшно прислушиваться к хриплому грохотанию пушек, которые с регулярностью часовых механизмов выбрасывают снаряд за снарядом, и наблюдать, как все кругом превращается в кладбище и развалины.

Любопытно это зрелище пылающих в воздухе ракет из рас-

плавленной меди, этих взвизгивающих шрапнельных горошин, которые приковывают к себе исполненные жадным испугом взгляды и удерживают людей под огнем, несмотря на смертельную опасность. Тут любопытство оказывается сильнее страха. Сотни людей следят с разинутым ртом за германским аэропланом, который методически, в известные часы появляется над Красником и бросает сверху свой смертоносный подарок глазеющей толпе, прямо и жадно дожидающейся этого удара.

И глубоко интересно присутствовать на состязании человеческих честолюбий, которые и здесь умудряются превращать каждый штаб, каждую батарею и каждый полевой лазарет в питомник интриг и карьеризма.

Сейчас идет незаметная, но напряженная борьба вокруг реорганизации парков. Победа осталась за Базуновым. В Люблине намечается устройство ветеринарно-питательного пункта, как бы некой санатории для слабосильных лошадей, которые после приведения в годность пойдут на укомплектование износившихся парков. Заведующим назначается Базунов, представивший обширный проект по реквизиции конского состава и устройству мастерской для изготовления и починки парковой амуниции. Это очень сложное хозяйственное сооружение, требующее для обслуживания свыше 800 человек команды. Несение медицинской работы на пункте возлагается на меня. Сегодня Базунов весьма торжественно объявил мне об этом. По его словам, наше пребывание в Люблине продлится около месяца. В течение этого времени обязанность командира бригады будет исполнять капитан Джапарадзе, которому дано предписание двигаться с двумя первыми парками (укомплектованными за счет временно расформированного третьего парка) в направлении Люблин — Уржендов — Новая Александрия — Ивангород. До Люблина передвигаемся все вместе. Миновали Сладков, Вильколас, Клодница-Горне. Приближаемся к Люблину. День великолепный. Солнце, которого мы так давно не видали, светит и даже греет. Идем боковиной. Дорога подсохла. Теплый ветер обдувает лицо. Иду без шинели, затерявшись в солдатской массе. Откуда-то слева, с запада, доносится гул орудий. Над нами все время реет германский аэроплан. Высоко сверху долетает певучее жужжание мотора. Не видно. Солнце ударяет

в глаза. Слышится резкая пальба пачками. Кажется, это какой-то обоз стреляет по аэроплану. Высоко. Не попадет. А в нас попасть могут. Но лень свернуть с твердой дорожки. Не верится, чтобы шальная пуля подкосила меня теперь, когда мы направляемся в тыл. Не может этого быть. На душе так легко и спокойно. И каждый раз ударяет в голову, как вино, горячее радостное сознание — месяц полного отдыха. Все громче хохочут пушки. Я почти не замечаю их гула. Кто-то мчится лесом, мелькнуло несколько всадников. Но в голову даже не приходит, что это может быть неприятельский разъезд. Да и не все ли равно? Разве может кто-нибудь помешать моему месячному отдыху? Спрашиваю у встречных казаков: хороша ли дорога до Люблина?

— Тут пока хороша, а дальше низцой пойдет, болотиной.

— Болотина так болотина... как-нибудь доберемся, — говорю я беспечно и обращаюсь к нашим солдатам:

— Опять мы тут в грязи поныряем.

Меня самого поражает мой беспечный тон.

— Да уж это так водится. Поныряем, — добродушно отвечают солдаты.

По бокам дороги пестрые леса. Сочными пятнами выделяются багряноржавые вершины грабов, прорезанные светлоизумрудными пирамидами елей. Золотистыми купами мягко лучатся молоденькие сосны. Ласково серебрятся березки.

— Хорошо! — говорю я вслух.

— Это в тебе сердце радуется, — отзываются солдаты, — что после грома-то здешнего душу на волю выпустили... У нас маятно. И птица к нашим местам охоту теряет. Как в котле кипим. Дома́ — как хлевок. Все загажено. Да на глазах у смерти. А там тебе, в Люблине, и кровати чистые, и шкапы, и диваны, и киятры, и нужники, и ресторанчики.

— Так-то так, только жалко вот с вами расставаться, — смущенно оправдываюсь я. — Хоть не надолго, а жалко. Вместе мучились, вместе б и отдыхать.

— Ничего. Мы привычные. И в беде посидим.

...Ночуем в Себащапах. Остановились в зажиточном доме. Опрятные полы, набело вымазанные стены, горы белых подушек

с вензелями и вышивками. Чистые дети. На всем печать достатка и сытости, а в глазах хозяйки страх и отчаянье.

— Чего плачешь, хозяйка? — спрашивает ее адъютант.

— Говорят, немцы людей режут.

— Ге́рман не пшидe, — утешаем мы ее, но слова наши не внушают ей доверия. Она пугливо прислушивается к грохоту пушек и, заливаясь слезами, причитает:

— Гремят пушки, придет немец, глаза выколет.

— Да будет тебе хныкать, карга, — раздражается Растаковский. — Шкира, ты бы ее как-нибудь утешил... по-своему.

— Пущай плачет. Бабе глаза только для слез и надобны.

— Спой ты ей про Вильгельма, — подзадаривает денщика адъютант.

— Вали! — подбадривают другие денщики.

Шкира, довольный общим вниманием, снимает со стены балалайку и весело заводит:

Эх, ты, герман, герман-шельма,
Наплевать нам на Вильгельма.
Австрияцкому мы Францу
Наведем на рожу глянцу.
А у Франца ножки гнутся,
Все поджилочки трясутся.
А Вильгельма, дурака,
Раздерем мы до пупка...

Как всегда, пенье Шкиры является только увертюрой к офицерскому концерту. Кузнецов и Болеславский вооружаются мандолинами. Запевало Кордыш-Горецкий взмахивает рукой. Корпачев и Растаковский подхватывают, и воздух оглашается одной из тех похабно-солдатских песен, слова которой не дерзнет воспризвести на бумаге ни одно перо в мире.

Сложив руки на животе, стоит с разинутым ртом хозяйка и смотрит с заплаканными глазами на отступающее русское офицерство, воюющее за «польскую независимость».

3

В Люблин вступили вечером. После суровой походной жизни все показалось обаятельным. Два месяца мы провели в лесах

и на поле сражений. Ночевали в крестьянских избах или разграбленных замках. Кругом ничего, кроме слез, нищеты и могил. А здесь широкие мостовые, многоярусные дома, пролетки на резиновых шинах, сады, бульвары, магазины, женщины в изящных нарядах, и этот яркий, волнующий электрический свет. Но не прошло и пяти часов, как от всего этого шумного разгула на нас пахнуло обидным вызовом фронту. Опротивели и рестораны, и автомбили, и крашеные сестры — весь Люблин с показными, искусственно раздутыми тыловыми учреждениями, этими гнойниками войны, куда устремились фавориты, лакеи, кокотки и всякого рода патриоты и патриотки. Я с радостью согласился на предложение командира отправиться в Холм для подыскания более подходящего места нашему будущему пункту.

В двенадцатом часу я уже сидел в поезде на Холм. Моими соседями по вагону оказались пожилой холмский священник и директор учительской семинарии в Холме. Оба — весьма словоохотливы и самоуверенны, как полагается русским чиновникам. Говорят они, главным образом, для меня. Говорят о немецких зверствах, о бездействии интендантов, о геройстве офицеров и предательстве евреев; убеждают меня ненавидеть и бояться евреев как самых лютых и лукавых изменников.

Помещения для ветеринарно-питательного пункта в Холме не нашлось. Возвращаюсь в Люблин. Сижу в вагоне, переполненном тыловым офицерством. Офицеры все время закусывают и ведут оживленные разговоры. Воздух отравлен юдофобством, ненасытной животной злобой.

4

Опять в Люблине. Наш пункт и вся команда разместилась в деревне Быстржицы, в 5 верстах от города. Канцелярия в Люблине. Командиру предоставлено помещение из трех комнат, в которых мы расположились по-барски: в одной комнате — Базунов, в другой — я, в третьей—денщики. Хозяйство ведет Юрецкий, повар командира. В сущности, я свободен от всяких обязанностей, если не считать осмотра команды. Весь день болтаюсь по городу, осматриваю окрестности Люблина, дворцы,

костелы, старинное гетто, Саксонский сад. Как легко отвыкаешь на войне от удобств и привычек большого города, и последний скоро становится чужим и даже враждебным, так же легко происходит и обратное превращение в горожанина. Всего четвертые сутки, как я живу в Люблине, а все минувшее уже кажется промелькнувшим, как сон: леса, болота, трудные переходы, бабий плач и безуникмое грохотание пушек. Город снова влечет своей крикливой суетой: газеты, споры, ожидания. Из уст в уста передается: Перемышль пал; потом — осада Перемышля снята; потом — опять: взят... Но это никого не смущает. Слухи возникают и лопаются, как мыльные пузыри. Никто не знает источника этих слухов. Но чем нелепее, чем фантастичнее слух, тем больше данных за то, что в него уверуют. Тыл целиком во власти слепой и непреодолимой заразы. Свирепствует истерическая доверчивость на ряду с эпидемической ложью.

Ложь — официальная и газетная — овладела всеми умами и поступками.

И еще одна особенность этой породы, которую на фронте окрестили названием «тыловая сволочь»: она предается какому-то стихийному разгулу. Тыл становится поставщиком и питомником небывалой, массовой проституции.

Проституируются в одинаковой степени и города, и деревни.

Вчерашний день я провел в Быстржицах, где 800 здоровенных артиллеристов с утра до ночи азартно играют в карты, бражничают и гоняются за деревенскими бабами. Вечером я наблюдал любопытную картину.

Солдаты возвращались из бани. На артиллерийских возах рядом с загорелыми молодцами восседали красные, распаренные бабы. Крепкие, смеющиеся, они сидели живописными парами в позах, не оставляющих ни малейших сомнений.

Спрашиваю наших артиллеристов:

— Вы уж тут, кажется, обвенчаться успели?

Бравые, кряжистые, они выпячивают грудь и отвечают. покручивая ус:

— А что нас не любить? Чем плохи?

— И солнце на ночь к бабе уходит, — острит Блинов.

— Человеку здоровому без бабы тягости здешней не поднять.

— Всякая баба ласку любит; хучь наша, хучь полька — всякую бабу жалеть надо.

— Сперва вы, — говорю я, — за вами другие, третьи, четвертые, так до конца войны: кто на постой придет, тот и будет бабьим пособником.

— Кому охота — пущай, — смеется Блинов. — Баба не мыло: не вымылится.

...Второй день ползут неясные слухи о боях под Новой Александрией. Источник слухов — солдаты. Со слов «солдатского вестника», как любят говорить офицеры, или, выражаясь по-местному, «пантофлёва почта» передает, будто под Новой Александрией идет жестокий бой, в котором участвует и наша дивизия. Говорят, что именно наша дивизия явилась застрельщицей в этом сражении, понесла большие потери и сейчас совершено выведена из строя. Называют много убитых и раненых из нашей бригады. Говорят о разгроме, которому будто бы подвергся наш головной эшелон, подававший снаряды на батарею...

Слушаешь, слушаешь, стараешься ничему не верить... Вечером держу военный совет с денщиком Коноваловым, и оба единодушно решаем: здесь делать нам нечего, надо ехать к «себе» в свою бригаду. Командиру не особенно нравится такая воинственность.

— Кто же останется врачом при команде? — говорит он довольно хмуро. Но тут же дает нам разрешение в своей обычной иронической форме.

Весь день провели в суете и приготовлениях: закупали вино и закуски для бригады. В пятом часу мы уже были на вокзале. Базунов с двумя денщиками пришел вслед за нами, хотя до отхода поезда на Ивангород оставалось около часа. Базунов был в игривом расположении духа и, поглядывая на часы, говорил зловещим голосом:

— Смерть приближается к ним все ближе и ближе.

Или спрашивал трагическим шопотом:

— Как вы изобразите ваше теперешнее умственное состояние в дневниках?

Но время шло. Пробило шесть, семь, восемь, девять, десять часов.

Мы успели поужинать, дважды напиться чаю. Коновалов успел сообщить мне растерянным голосом: «ваше благородие, я шашку загубыв», потом успел сбегать за шашкой к нам на городскую квартиру, а мы все ждали отхода. Только в два часа ночи поезд погрузился, и в 6 часов 20 минут утра мы двинулись с места. Базунов в последний раз насмешливо прокричал мне вдогонку:

— Смотрите там, чтоб ваш Санчо Панса не погиб.

Через минуту я спал крепким сном на груде наших покупок. Проснулся в Новой Александрии. Оставив Коновалова на вокзале, я пошел в штаб нашего корпуса. Было восемь часов вечера. От дежурного офицера я узнал, что головной парк находится по ту сторону Вислы, и если я пойду по шоссе, то скоро настигну его.

Когда я вернулся на вокзал, то наткнулся на страшное зрелище: вся платформа кишела ранеными. Их только-что выгрузили из вагонов, и они валялись на голом, цементном полу. Валялись, метались и выкрикивали непонятные слова. У многих судорожно стучали зубы; измученные глаза; серо-пепельные лица. Большинство из них не могло самостоятельно передвигаться.

Они испытывали невероятные муки, и, хватая за ноги санитаров, обращались к ним с мольбами и жалобами. Несколько докторов в халатах носились с криками по платформе и с отчаяньем повторяли:

— Ну что нам делать? Что делать?

Один из них крепко за меня ухватился.

— Я вас не отпущу! Вы должны нам помочь, коллега. Разве мы в состоянии сделать столько перевязок?.. А ведь их будут подвозить всю ночь, всю ночь!

Не прошло и пяти минут, как, облаченные в белые халаты, мы с Коноваловым очутиились в полной кабале у докторов санитарного пункта. Мы таскали раненых из вагонов, снова грузили их в вагоны, снимали с них обувь, платье, перевязывали, развязывали. Нас ругали, толкали, просили жалобным голосом. Тошнило от приторно-кислых испарений пота и крови. Ныли

ноги, спина и плечи. Беспомощные пальцы скользили по лицу, хватались за халат, цеплялись за шею. А количество серых шинелей и стонущих глоток на платформе не уменьшалось. Время от времени кто-то грубо набрасывался на нас: чего трупы тащите? отшвыривайте в сторону!

И мы с тупым безразличием бросали наземь неподвижную груду мяса, чтобы заменить ее другой, такой же неподвижной, но еще кричащей и мучающейся от боли.

Только на рассвете к нам явились на смену, повели нас на пункт, дали умыться, обогрели и напоили чаем. Какой-то доктор в кожаной куртке нервно шагал из угла в угол, выкрикивая раздраженным голосом:

— Это не война, а кабак. Десятки госпиталей стоят неразвернутыми в тылу. Сотни врачей шатаются без дела. А мы здесь падаем от усталости... На кой чорт нам кавалерия? Какая от нее польза? Надо снять ее с лошадей и погнать всех кавалеристов в окопы. А на коней посадить докторов и создать из них санитарную кавалерию. Летучие санитарные отряды. И бросать их с места на место по мере надобности...

Рано утром, в начале восьмого, сдав вещи на хранение санитарному пункту, мы отправились в путь-дорогу. На переправе тьма войск. Мост длиною с версту, понтонный. Висла мутна. Течение быстрое. На другом берегу Вислы сразу бросаются в глаза следы жестокого боя. Здесь наши войска были вовлечены в ловушку. Неприятель отступил очистив поле сражения верст на пять, и укрепился за вторым рядом окопов. Его пришлось выбивать шаг за шагом.

Со звоном и грохотом скатывались с моста телеги, и люди вливались в водоворот, гудевший на шоссе. Но уже на третьей версте от Вислы все эти грохочущие волны схлынули куда-то в сторону и исчезли. Мы нагнали небольшой пехотный отряд под командой прапорщика. От него мы узнали, что бой тянется четвертые сутки. На второй день немцы отошли за вторую линию окопов. Пропустив нашу дивизию, которая первая ринулась вперед за уходящим противником, неприятель открыл жестокий огонь. Дивизия оказалась окруженной со всех сторон и прижатой вплотную к Висле. Бросились ей на помощь. Но

мост, подожженый снарядами противника, пылал. Кавалерия, много раз пытавшаяся перейти через мост, не выдерживала огня и отступала с большим уроном. Кромский полк, дравшийся впереди всех, дрогнул и начал подаваться назад. Тогда противник, осыпаемый огнем наших батарей, пошел в атаку. Бывшие поблизости части приняли бой, но не выдержали и отступили. Наперерез отступающим бросился Сурский полк. Тогда повернули и кромцы, и противник был опрокинут.

Сейчас идет бой во-всю. Все кругом точно растоптано и смято каким-то бешеным ураганом. Всюду валяются символы войны: сотни пробитых пряжек, тысячи картечных осколков, груды жестянок, гильз и патронов. Развороченные снарядами окопы зияют свежими ранами земли. По бокам шоссе множество холмиков с торчащими наружу ногами и руками. Судорожно скрюченные пальцы измазаны запекшейся кровью. А солнце горит и сверкает на медных пряжках, на банках из-под консервов, на патронных гильзах и матовых обоймах. Вся земля усеяна белыми тряпками и длинными марлевыми бинтами, пропитанными свежей кровью. Тут и там валяются изуродованные трупы неубранных автрийцев. Навстречу нам тянутся сотни раненых. Понурые, усталые, с белыми перевязками, сквозь которые алыми пятнами проступает свежая кровь.

Подхожу к одному, другому, спрашиваю:

— Не видали, где тут парки стоят?

— Никак нет.

— А далеко до позиции?

— Верстов пять-шесть будет.

Сделали верст восемь. Вот мертвые мадьяры, похожие теперь на японцев. У всех трупов вывороченные карманы: все обшарены и обобраны санитарами. Валяются кучи австрийских ранцев и сотни неприятельских ружей, расставленных широкими пирамидами по краям шоссе. Длинными змеями извиваются брошенные пулеметные ленты.

— Страшно? — спрашиваю я Коновалова.

— Ни, я не жалкую, що пийшов.

Без конца бредут раненые. Спрашиваю:

— Далеко до позиции?

— Верстов пять-шесть будет.

— А как дела?

— Там за рекой, ваше благородие, что народу побитого лежит! — возбужденно заявляет один. — Нашего брата как песку; а ихнего — еще больше; как грязи!.. Ой, и бьют же его!..

Усталые и голодные, мы сворачиваем с шоссе и забираемся в лес. Издали доносятся чьи-то хриплые стоны. Подхожу ближе: срезанные снарядами деревья придавили группу солдат; они умирают в страшных мучениях. Головы измазаны кровью, руки и ноги перебиты, искалечены. С ними возятся в ожидании санитарной двуколки несколько пехотинцев и казак-ординарец.

— Навоевались! Эх, пальнуть бы раз из винтовки! Чего зря людям мучиться? Видишь, сами смерть кличут, — угрюмо говорит пехотинец.

— Разрядить недолго, — вздыхает казак, — да как бы беды не нажить. Им-то, конечно, чего зря томиться?

Снова идем по шоссе.

Вечереет. Накрапывает дождик. По полю рыщут санитары с носилками. Солдаты раскапывают землю и вытаскивают ящики с патронами, наскоро зарытые туда отступившими австрийцами. Десятки трупов. Множество подстреленных лошадей. Неожиданно слышу радостный возглас Коновалова:

— Доктор Костров идут!

— Ой, елки зеленые! Как вы сюда попали, — кричит Валентин Михайлович.

Оказывается, Пахну Волю мы давно миновали. Неприятель только-что отступил, и парку дано предписание перейти на 4 версты вперед! Валентин Михайлович с воодушевлением рассказывает о боях, о наших победах. «Висла долго была красной от крови», — повторяет он много раз. В нашей бригаде есть много пострадавших. Ранены — Яблонский, Грогин, Гудим-Левкович. Убит разрывной пулей поручик Терентьев, молодой талантливый композитор. Валентин Михайлович вытаскивает из кармана разряженную разрывную пулю и показывает мне цилиндрическую капсулу, наполненную гремучей ртутью.

Такая белая, красивая штучка, философствует Костров, — а хватит по башке, — хуже господа бога поразить может.

Вдруг он останавливается среди дороги, смотрит пристально мне в лицо и произносит с печальной укоризной:

— Из Люблина едете и не могли догадаться...

— Е! — радостно отзывается Коновалов. — Усэ е: и водка, и колбаса. На пункте.

— Да ну? — Эх, родина, великое дело!.. Отпразднуем победу над немцем! Укоптропим!

5

...Возвращаюсь в Люблин. Сижу в Новой Александрии в ожидании поезда. Каждый час отходят в Люблин поезда-теплушки. Каждый увозит тысячи раненых. Уже больше шести часов сижу на платформе. Давно перевалило за полночь, а санитары все приносят раненых. Платформа, вокзал, станционные комнаты, эвакуационный двор, все пути завалены ранеными, которые тихо стонут и терпеливо дожидаются очереди. Каждый поезд увозит тысячи, а взамен увезенных приходят с позиции сотни и тысячи новых — усталые, изнуренные, землисто-серые. Умоляюще смотрят они на санитаров и докторов. Во втором часу ночи над нами сжалились и пустили в почтовый вагон. Кроме пяти почтовых чиновников, в вагоне находились несколько офицеров, врачей и священник.

Лица у всех неприветливые и злые. Фрондируют, ругают начальство и русские порядки. Всех больше горячится доктор-грузин.

— Скажите, это порядок? — выкрикивает он своим гортанным акцентом, — это порядок, когда у нас триста санитаров, а кухни походной нет! Я говорю: дайте мне кухню, а они говорят: на триста человек закон не позволяет. Это закон? Такой закон надо сжечь, а того, кто исполняет этот закон, — повесить!

— Знаете, а я вот читал... — пытается вставить старший почтовый чиновник.

— Где вы читали? В газетах? Не верю газетам, — азартно отмахивается доктор. — Пишут в газетах, что немцы голодают,

не-эт! Немцы не голодают! У каждого пленного в сумке — прессованные сливки, размешал в горячей воде — вот тебе молочный суп. У каждого немца — грибы сушеные, разные консервы. Это мы голодаем! У других на сучок в глазу показываем, а у себя бревна не замечаем. А какая у нас медицина? Аспирин — такое дешевое... вещество — и того нет. Если бы мне пятьсот рублей в месяц предложили в мирное время, я лучше сдохну, как собака, а военным доктором не пойду.

— А я вот читал... — робко настаивает почтовый чиновник, — многие офицеры пишут...

— Где вы там читали? — горячится грузин.

— Да знаете, в дороге скучно, делать нечего, и вот читаю открытые письма господ офицеров...

— Вы видите, какие порядки, — вскакивает доктор — За это еще Гоголь ругал Россию... как он там? Почтовый чиновник Шпиков...

— Шпекин, — вежливо поправляет московский прапорщик. По мирному времени это скромный буржуа: у него фабрика обоев. Сопровождал эвакуированных пленных в Сибирь. Теперь направлется в четвертую армию за назначением. На лице его полное внимание, но глаза лукаво поблескивают. Время от времени он вставляет ядовитые реплики:

— Русскому солдату по фунту хлеба в сутки дают. Кабы он свой не прикупал, давно бы вся армия с голоду околела.

— И хлеб на свои деньги, — пылко подхватывает грузин, — и сапоги на свои деньги. Разве можно в казенных сапогах такие переходы делать?

Мой сосед, поручик с наивными голубыми глазами, произносит с суровой сосредоточенностью:

— А у меня брата убило... На моих глазах... В одном окопе сидели... Осколком в живот!.. Как вилами проткнуло. Слышу: кричит не своим голосом. Смотрю: кровь меж пальцами хлещет... За живот держится. На моих глазах умер. А я два дня после этого пробыл в окопе и стрелял. И Вася тут же. Вот уж которая неделя, а все забыть не могу...

Артиллерийский офицер все время тихо переговаривается со священником. До меня долетают обрывки этой беседы.

— В армии теперь Пуришкевич, — сообщает священник. — Он устроил санитарно-питательный пункт... как же, как же... Энергичнейший, редкий человек... Свой поезд с кухней... Во время последних боев шесть тысяч человек накормил... И в сферах всемогущ... Железнодорожные власти трепещут... Чуть что — летит телеграмма принцу Ольденбургскому... Собирается писать книгу о войне, под заглавием: «Что я видел».

— Интересно. А что же он напишет? — спрашивает артиллерист.

— Все, — важно отвечает священник.

— Да, он молодчина, Пуришкевич! — воодушевляется офицер.

Понемногу вагон погружается в дрему. Только священник с артиллеристом все еще беседуют.

В почтовом отделении задули свечу, и стало совершенно темно в вагоне. С минуту длилось молчание, потом послышался печальный голос поручика:

— Сколько дней в окопе вместе сидели. Бывало взвод засмеется, а они сейчас же на звук — тр-р-р — из пулемета. Опасно пошевельнуться. И вдруг «чемоданом» ахнуло... Я к нему... кровь хлещет, а он уж мертвый... Надо бы хоронить — нельзя: бой идет. Два дня стрелял, а Вася тут же... Хотелось гроб сделать... Да где уж... Опустили в землю и хоть лицо платком закрыли... Не хочется, чтобы грязь в лицо... Который вот день, а все не могу привыкнуть...

— Привыкнете, — зевая говорит артиллерист. — На войне ко всему привыкаешь.

— А я вот, знаете, читал, — робко начинает почтовый чиновник, — офицеры пишут: пока еще с ума не сошел, но ад такой, что многие уже помешались...

Но его уже никто не слушает... Вагон спит: доктор-грузин, окаменелый поручик, окаменелый чиновник...

6

В Люблине меня ждало предписание — немедленно отправиться в Киев за медикаментами.

Киев кипел тыловым разгулом и патриотическим умилением

В «Киевской мысли» за эти несколько месяцев образовался сильный разнобой. Там были и патриоты, и скептики, и пораженцы.

Я убедил редакцию отправить вместе со мною на фронт кого-либо из сотрудников. Выбор пал на Александра Яблоновского как наиболее ретивого защитника газетно-патриотической «крючковщины».[1]

Сидим в большом уютном номере люблинской гостиницы. В гостях у нас два офицера: Болеславский и вновь назначенный прапорщик — поляк Виляновский. Через час царь проедет под окнами нашей гостиницы.

На тротуаре под окнами гостиницы масса народу в ожидании царя. Царь промчался в закрытом автомобиле.

— Это будет позором для человечества, если Вильгельм умрет своею смертью, — услыхал я вдруг голос Яблоновского.

— А Ника-милуша? [2] — спросил я.

Он взглянул на меня с испугом и показал глазами на прапорщиков.

Обедаем с Базуновым и адъютантом инспектора артиллерии М. М. Червинским. Он только-что с позиции. Говорит очень много и все разговоры приправлены обычным душком.

— Я завтра уезжаю в Киев, — обращается Яблоновский к Червинскому, — и мне бы очень хотелось знать, в каком положении наши военные дела?

— В блестящем, — отвечает адъютант. — Вся армия победоносно идет вперед. Наш корпус продвинулся к югу на триста верст. Идем мы на Краков; и всего вероятнее, что нашей дивизии поручена будет осада Кракова. Штаб корпуса сейчас в Скальмерже, верстах в сорока от Кракова.

Яблоновский кряхтит и охает. Все щупает пульс и меряет температуру. Ночью Яблоновский жалуется с отчаяньем в голосе:

— У меня температура поднялась на четыре десятых. Это

---

1 Кузьма Крючков — знаменитый герой казенной патриотической печати.

2 Ника-милуша — прозвище данное царю Амфитеатровым в его известном сатирическом фельетоне «Семейство Обмановых».

все от холодного клозета... Послушайте, скажите по чистой совести, как вы можете все это выносить на протяжении стольких месяцев? Неужели вам так нравится пушечная пальба?

— Да, нравится. В грохоте орудий есть своя правда. Как бы это объяснить вам? Война отнимает у мира все тайны. Она разрушает стены, дома; она добирается до самых потайных уголков и выволакивает на вольный воздух все, что замуровано в железо и камень. Мне ясно, что война не только разрушительница. Что под ударами пушек из пепла сожженных городов рождается новый мир.

— Но ведь раньше всего нужна победа; мечтать будем после, — говорит сонно Яблоновский. — Иначе чорт знает что получится. Вспомни Пушкина: «Не дай нам бог русский бунт, бессмысленный и жестокий».

— Когда бунтовщик вооружен дальнобойной пушкой, то он превращается в революционера. Хотите видеть, как это делается — поезжайте со мною на фронт.

— Спасибо. Итти на каторгу вы меня не уломаете. Покойной ночи.

Решено: Яблоновский возвращается в Киев, а я в бригаду. До Холма едем сегодня вечером вместе. В Холме получу машину из автомобильных мастерских, которая и доставит меня на фронт. Базунов еще остается на месяц в Люблине.

НОЯБРЬ

1

Трое в автомобиле: я, мой денщик Коновалов и шофер. Холодно, ветряно. Проезжаю местами, где происходили октябрьские бои. Только нераспаханные поля и сожженые избы говорят о недавней бойне. А люди уже все успели забыть. На улице Новой Александрии и Зваленя кипит суета. В Звалене ярмарка. Площадь стонет от грохота телег. На возах поросята, кабаны, битая и живая птица. Люди орут, торгуются, спорят. Сотни зипунов, кожухов и свиток сбиваются в кучу и расступаются, чтобы дать дорогу автомобилю; и потом вновь рассыпаются по площади.

К трем часам в Радоме. Грязные мощеные улицы. Двухэтажные каменые дома.

За Радомом сразу попадаешь в царство старины и ветхой истлевающей жизни. Странное впечатление производит крепкое, точно стальное шоссе, которого не сумели испортить даже немцы. Сейчас оно в полной исправности и весело бежит от одного средневекового польского городка к другому: Ильжа, Купов, Нетулиско, Островце, Опатов. Высоко на горе, еще задолго до въезда в Ильжу, виднеется серая круглая каменная башня старинного баронского замка.

К сожалению, в своем настоящем виде Ильжа мало похожа на поэтическую легенду, которой она окружена. Это очень прозаическое местечко, состоящее из грязных домиков, жалких и ветхих, которые в два ряда расположились вдоль длинной, узенькой улички. Но серая каменная башня невольно настраивает на фантастический лад. Вблизи она еще величавее. Угрюмая и неприступная, она высится, как каменная баллада, и в ее мертвых развалинах таится какая-то волнующая тайна. Неудивительно, что вокруг этой башни наслоилось много таинственных рассказов.

Пока шофер возился с лопнувшей камерой, старый ксендз успел расказать мне некоторые из этих преданий.

Этот старый ксендз, эта причудливая башня и эти ветхие оборванные евреи на улицах Ильжа — все показалось мне так мало похожим на современность, что я невольно воскликнул:

— У вас, достопочтенный каноник, наверно, имеется напиток из корня мандрагоры, который сильнее камня, смерти и тайны?..

Ксендз хитро подмигнул мне и сказал:

— Не, я сам не держу. Но у жидов найдется, у жидов все есть.

Опатов еще фантастичнее Ильжи. При въезде в город древний костел, у таких же дряхлых городских ворот. Костел этот связан в преданиях с именем пана Твардовского. Внутри городка чрезвычайно ветхие домики с заплатанными крышами, гнилыми крылечками и подслеповатыми оконцами. На заборах кучи тряпья. И люди, населяющие этот нищенский городок, такие же

дряхлые и убогие, как их дома. Весь городок с пятитысячным нищим населением напоминает декорацию из ветхого театрального реквизита. Запуганные евреи тревожно услужливы. Стоит вам обратиться к одному из них с вопросом, как десятки других наперебой стараются ответить, бегут за автомобилем, показывают дорогу.

Зато Кунов и Нетулиско сразу низводят с романтических небес на бедную землю, побывавшую в руках немецких завоевателей. Кунов — небольшое местечко, почти деревня. Сижу в корчме, пью чай и беседую с хозяйкой — белобрысой и краснощекой полькой. С большим раздражением рассказывает о немецком постое: простояли тут пять недель, сожрали на сто пятьдесят рублей сала — и всё даром, ни гроша не заплатили. А сколько добра попортили! Было их тут шестнадцать тысяч. Две недели германцы стояли, а три недели австрийцы. Артиллерия, пехота и обозы. Обращались с жителями как с быдлом (скотом). И всё забирали: лошадей, коров, птицу, хлеб, сало, перины, одеяла. Чуть что — приставляли револьвер к голове и грозили убить.

— А русские стояли в Кунове?

— Раньше стояли. Когда пришло русское войско, его все кормили. Отдавали последнее. Русские солдаты не обижали. Только казаки. Да и те брали без денег у евреев; а у поляков мало брали.

— Немцы женщин не обижали?

— Не, женщин не трогали, — тех, что с мужьями. А без мужей — крепко обижали.

От Опатова до большого села Кобыляны и дальше мимо Иваниско, Батории и Сташова тянутся колоссальные окопы и фундаментальные земляные укрепления. Но боя здесь не было. Немцы отошли, даже не пробуя защищаться.

В штабе, который уже перебрался из Скальмерже в Перкошицы, тревожно. Обширный двор экономии, в котором разместился штаб, весь усыпан навозом. По двору шатаются казаки, шоферы, караульные. Стоят двуколки, экипажи, автомобили, лошади. Ищу адъютанта, дежурного офицера, телефониста, перехожу от группы к группе, спрашиваю: как добраться до головного парка? Никто не знает. Справьтесь у командира

телефонной роты, — советует кто-то. Телефонная рота помещается в дымной халупе. Стучат аппараты, несколько человек разговаривают со штабом дивизии, передают приказания полкам и в бригаду. Двое спят у самых дверей В халупе все время заходят бабы, и, не обращая на них внимания, телефонист передает секретные распоряжения: ударить в такое место под прямым углом; дожидаться смычки с 21-м корпусом и т. д. Однако, вид у всех чрезвычайно конспиративный, и только с большим трудом мне удается узнать, что головной парк находится в Грушове.

— Далеко это?

— Верстах в пятнадцати.

— На дворе ночь. Штаб занят своим делом. Какое ему дело до того, куда я денусь и как доберусь до парка. Какой-то штабс-капитан бросает мне на ходу:

— Обратитесь к жиду: у него в сарае есть лошади.

Долго уговариваю хозяина: нашлась, наконец, свободная запряжка, и мы выезжаем на дорогу, освещенную заревом далекого пожара.

2

Как и следовало ожидать, в Грушове парка не оказалось. Головной парк стоит в Скальмерже. В Грушове я застал дивизионный лазарет в полном составе. Там я узнал, что шестые сутки на нашем участке идет отчаянный бой. Сейчас обнаружилось, что нас обходят с левого фланга. 83-я дивизия отступила и обнажила нашу дивизию. Кромский полк оказался окруженным и был частью перебит, частью сдался. Остальные части нашей дивизии сильно пострадали. Раненых без конца. За последние шесть дней через дивизионный лазарет прошло 1200 человек.

Но это капля в море. Перевязать всех нет никакой возможности. Врачи падают от усталости.

С утра дали знать по телефону в Скальмерже о моем приезде. Меня сразу охватила позиционная атмосфера. Трещат пулеметы. Хлопают орудия. Пачками рассыпаются ружейные залпы. Позиция совсем близко. В Грушове заехали за мной солдаты головного эшелона головного парка. Второй день они

не у дел: снаряды все вышли. В местном парке[1] в Стопнице — снарядов нет. Послали эшелон в Мехов — и там нет. Говорят, завтра из Пинчова привезут. Нехватает ни снарядов, ни патронов. С батарей все время присылают с запросом:

— Можно ли открыть непрерывный огонь?

А снарядов нет. Два дня тому назад, за два часа расхватали весь парк. И солдаты злобствуют:

— Не на кулачки же драться?!

В Скальмерже среди офицеров настроение не лучше. Все повторяют:

— Есть и люди, и мужество, а снарядов нет.

С негодованием рассказывают такой случай. Вчера наши эшелоны метались по всем направлениям в поисках ружейных патронов. По дороге встретился им местный парк, переезжавший из Стопницы в Мехов. Стали просить у них снарядов. Ответ: «Не дадим!»

— Да выручите, — просят солдаты. — Совсем не хватает, придется из-за этого отступать.

А им преспокойно: «Никак нельзя. Не дадим. В дороге мы не парки, а транспорты».

Это напоминает классический ответ лазарета одного из госпиталей под Шахэ. Шли толпы раненых. Навстречу им лазарет. Просят: возьмите нас, — кровью истекаем. А им в ответ: «Невозможно. В пути мы не госпиталь, а транспорт. Возим шатры, а не больных».

3

Проснулся от непривычного грохота: казалось, кто-то огромной дубиной колотит по железному барабану, и от этого бешеного грохота содрогаются окна, дома, телефонные столбы и все предметы. Это бухали тяжелые австрийские пушки вперемежку с беглым огнем полевых орудий. В комнате стоял шум людских голосов. Ругались, кричали и требовали снарядов. Некоторые

---

[1] Местными парками называются базисные склады, откуда получают питание парковые бригады, доставляющие снаряды на батареи и в полки. Обыкновенно местные парки устраиваются в районе ближайшей железнодорожной станции, в товарных вагонах.

солдаты чужих (не нашей) дивизии кланялись в пояс и жалобно просили:

— Много их; без конца. Бьют из тяжелых орудий по окопам. А у нас всего одна цепь. Не выдержим, отступим, если артиллерия не поддержит. Христа ради, снарядов, хоть малость...

Потом в помещение вихрем врывается офицер в романовском полушубке:

— Здесь парк такой-то дивизии? Где командир бригады Базунов?

— Зачем вам? Он в Люблине.

— У вас много снарядов. Мне начальник нашей дивизии поручил узнать, почему не отпускаете?

Ему объясняют положение вещей.

Он ругается, неистовствует, угрожает судом и всякими карами.

Прапорщики Растаковский и Болконский, отправленые за снарядами, не давали о себе никаких сведений; и на запросы батарейных командиров, когда ожидаются снаряды, приходилось отвечать чрезвычайно уклончиво, что приводило их, конечно, в негодование. В то же время вследствие непрерывного движения создалась крайне тяжелая обстановка для парков. Люди не обедали по два дня. Лошади также оставались без корма, нечищенные и почти не разамуничивались ни днем, ни ночью.

Полупарк, находившийся в Климантове, подвергся жестокому обстрелу.

После обеда прибыл прапорщик Растаковский с эшелоном из Мехова. В течение нескольких минут все привезенные гранаты и винтовочные патроны были разобраны. Неприятельские орудия не затихают ни на минуту. Офицеры режутся в карты. Время от времени из полков присылают за патронами, и мне приходится давать пространные пояснения. Все роли давно перепутались: доктора дают стратегические советы, отпускают снаряды и патроны, если есть, а офицеры вмешиваются в медицинское дело, прописывают лекарства и дают врачебные наставления. Все это считается в порядке вещей, и не только нами, но и солдатами принимается, как нечто совершенно законное.

Игра в карты продолжается до рассвета, и всю ночь не смолкает австрийская канонада. Из-за темных гор, сотрясая морозный воздух, удар за ударом доносятся пушечные раскаты. Бьют из тяжелых орудий и мортир. Полевые пушки молчат. Через каждые полчаса стучатся солдаты за патронами. Но патронов нет. Солдаты со злобой спрашивают:

— Неужто с голыми кулаками драться?!

И глухо ворчат о каком-то генерале, продавшемся немцам и задерживающем доставку снарядов.

Просыпаюсь, засыпаю и вновь просыпаюсь. Идет жаркая игра в карты. Лица нервные, напряженные. Перед каждым кипа бумажек. Выкрикивают крупные ставки 200, 300, 500 рублей.

В выигрыше заночевавший у нас артиллерийский капитан из Чернигова. Джапаридзе первый встает из-за стола и, вытянувшись во весь свой гигантский рост, ударяет энергично кулаком по столу:

— Баста! С сегодняшнего дня я больше в азартные игры не играю.

Командир 2-го парка Пятницкий меланхолически замечает:

— У меня такое настроение еще вчера было.

— Теперь и умереть не страшно, — восклицает Костров. — До нитки очистился. Яко наг, яко благ.

— На войне умереть никогда не страшно, — говорит, позевывая, Джапаридзе. — Мне кажется, на войне о смерти не думают. Некогда: или воюют, или в карты играют. Сплошной азарт. Мысли о смерти, это — принадлежность мирного времени.

Согласно диспозиции, нашим паркам приказано разбиться на полупарки и эшелоны. Создалось чрезвычайно странное положение. Полученные в ничтожном количестве снаряды были израсходованы с молниеносной быстротой. Требования из полков совершенно не удовлетворялись. От командиров 1-й и 3-ей батарей беспрерывно получались запросы: можно ли открывать огонь и не будет ли недостатка в снарядах? Не добившись ответа и забрасываемые неприятельским огнем, обе батареи, повидимому, решили отодвинуться. И действительно, видно было простым глазом, как батареи меняют позиции и все ближе и ближе придви-

гаются к Шклянам. Вскоре головной эшелон уже стоял на одной линии с батареями, и неприятельские снаряды стали ложиться невдалеке от зарядных ящиков.

Между тем от прапорщика Болконского получилось новое донесение.

В Пинчове столпотворение вавилонское. Съехались 4 парка почти в полном составе:

2-й парк нашей бригады,
1-й „ 83-й бригады,
2-й „ 83-й бригады,
1-й „ 46-й бригады.

Снаряды доставляются автомобилями из Кельц в очень ограниченном количестве. Все парки набрасываются на них, как голодные волки. Приходится брать патроны с бою.

Сейчас послано 17 патронных двуколок и 10 зарядных ящиков. Остальные надеюсь добыть завтра, хотя большой уверенности в этом нет.

Все, что получу, немедленно отправлю.

Прапорщик Болконский.

Из Мехова от прапорщика Растаковского получались сведения еще более печальные. Там в ожидании очереди скопилось 14 парков.

Слухи о полученных нами семнадцати патронных двуколках и десяти снарядных ящиках мигом распространились. Примчались из всех соседних дивизий. Солдат 46-й бригады со слезами на глазах упрашивал:

— Коленопреклонно молю вас, господа начальство! Хоть один ящик шрапнели.

Пришлось тронуть неприкосновенный запас...

В это время между командиром нашего корпуса и командиром дивизии шла оживленная телеграфная полемика. Командир дивизии доносил:

Согласно В приказанию остался на месте. Кромского полка не существует. Весь почти погиб в штыковом бою. Прошу вторично разрешения отступить. 83-я дивизия обнажила левый фланг моей и без того ослабевшей дивизии.

В ответ на это последовала следующая лаконическая телеграмма:

Никакого обнажения дивизии нет. Приказываю собрать полки и перейти в наступление.

Одновременно по всему корпусу был разослан следующий боевой приказ:

Приказ № 712. 8 часов утра.

Дерзкий враг решил сегодня напрячь все усилия, чтобы сломить наше мужественное упорство и смять левый фланг нашей армии. С божьей помощью я верю, что мы исполним свой долг до конца.

Да здравствует наш царь, родина и армия!

С богом на врага!

Генерал-лейтенант Р.

Приказ читался вслух и сопровождался офицерскими комментариями.

— С богом, — сквозь зубы произносит Джапаридзе, — но без снарядов.

— Да-а, — усмехается адъютант Медлявский. — Теперь на запросы батарейных командиров, можно ли открыть непрерывный огонь, будем отписываться: попробуйте, только не шрапнелью, а «божьей помощью».

— Ой, елки зеленые! — громко хохочет Костров. — А хорошо бы зарядить пушку... кой-кем... Хор-рошо!

4.

Какое удивительное утро! Седьмой час. Солнце чуть зарделось, как вспыхнувшая граната. В прекрасной торжественной чистоте стоят холмы, покрытые морозной пылью. Вдали, за холмами, лежит еще утренняя тьма, в которой задорно и весело перекликаются мортиры. Странно сказать, но эта музыка услаждает ухо.

Не надо обладать талантом, ни красотой изложения, надо только с полной правдивостью рассказывать все, что сейчас совершается кругом, — и для каждого станет ясно, что это не просто бой, а какой-то сатанинский поединок, не нами начатый и в который мы втянуты помимо собственной воли.

Слепое буханье пушек победоносно и радостно перекатывается из долины в долину. Голова теряет власть над чутко настороженным телом, которое жадно прислушивается к свирепой музыке батарей. Я чувствую, как с канонадой и трескотней пулеметов на меня накатывается волна какой-то боевой хлыстов-

щины. Мне хочется гаркнуть, чтобы грозно прокатилось по всем холмам:

— Сибирь едет, етитная сила, держись!..

Так кричали сибирские стрелки, пришедшие на защиту Варшавы и прямо из вагонов бросавшиеся в бой.

— Шевелись! — лихо покрикивает фельдфебель. И весь захмелевший от собственного крика порывисто повторяет в каком-то буйном азарте:

— Эх! — Хорошо бы теперь выкатить на позицию и скомандовать: Первое! Второе! Лупи! На, получай, мерзавец!..

Канонада все крепнет; захлебываясь, трещат пулеметы. Ружейные залпы рассыпаются лихорадочной дробью.

— Снарядов! — орет взбудораженным голосом батарейный. — Чего копаешься? Ползешь, как мокрая вошь...

— А много «яво» набили? — любопытствует кто-то из солдат.

— Как клопов, — солидно отвечает батарейный. И тут же, загораясь, выкрикивает:

— Окоптил души чортов Вильгельм! Да дай ты мне его, сволочь смердящую, сюда, я бы ему голыми руками семь смертей сделал!

Без конца тянутся раненые и пленные. Выглянул в окно за обедом: вся улица запружена австрийскими шинелями. Лица измученные, синие, как шинели. На плечах белые одеяла. Ежатся и подпрыгивают от холода. Все столпились вокруг нашего обоза: везет на позицию сухари. На глазах у всех происходит откровенная мена. Наши солдаты прикладываются к австрийским манеркам, а австрийцы жадно грызут наши сухари. Выхожу на крылечко.

Вереницы раненых с землистыми лицами и окровавленными жгутами на руках и ногах сеют тревогу своими рассказами. По их словам, положение безнадежное. Окопы завалены трупами, масса убитых офицеров: убит командир Лохвицкого полка Фотиев, убит штабс-капитан Переяславского полка Баташов, прапорщик 4-й батареи Филонов. А снарядов все нет, и батареи все время вынуждены задерживать и ослаблять огонь.

Среди пленных оказались тяжело раненые. Их вместе с нашими ранеными поместили в заброшенной хате и оставили на

произвол судьбы. К утру половина из них скончалась. Меня поражает равнодушие солдат перед трупами, и я не знаю, результат ли это фатализма или военной обезличенности? На наших глазах подъезжали телеги с трупами. Трупы сваливались в разрушенной избе, — без окон, без крыши. И никто даже не полюбопытствовал заглянуть, кого привезли. К трупам относятся так же, как и к письмам, которые валяются в окопах. Иной раз подберет кто-нибудь такое письмо, прочитает несколько строчек, скажет небрежно: от жены, от брата, матери — и снова бросит на землю. Это не столько эгоистическое равнодушие к чужому горю, сколько желание отгородиться от слез. Страховка собственных нервов. Кругом трупы, трупы и трупы. Развороченные внутренности, запекшаяся кровь,, раздробленные черепа. А живые солдаты проходят мимо, словно не замечая ни крови, ни мертвых. Они улыбаются, смеются, поют и между трупами выгребают картошку. В их шутках — намеренная бравада.

Из жажды жизни рождается боевой фатализм. Из боевого фатализма вырастает равнодушие к чужой смерти: так суждено, так полагается на войне!.. Это закон природы. Вот отрывок интересного офицерского письма, подобранного в окопе:

Только-что вернулись с позиции и уже второй день отдыхаем. Девятнадцать дней мы были в бою. Жаркий и непрерывный бой днем и ночью, днем и ночью... Сколько жизней угасло! Но не нами предначертан закон, потому что война — закон природы. Иначе представить себе нельзя. Прохожу мимо убитых — и хоть бы что. Вид их не трогает меня, как будто так и должно быть. Они уж мне не кажутся людьми. Т. е., понимаете, совсем не такими людьми, как я, вы... Они жертвы рока. И этих обычных при взгляде на мертвых вопросов они уже не пробуждают во мне. Или у меня уж такой характер? Но ведь раньше, бывало, проходишь мимо трупа — и зажимаешь нос, гримасничаешь или приходишь в ужас, а здесь, на позициях, совсем не то: как-то по-особому черствеет душа, и мертвых просто не замечаешь...

Страшная обезличенность воюющих еще резче подчеркивается борьбою с невидимым врагом. Сражаются люди, сражаются механические орудия. День и ночь, день и ночь извергают они с бешеным грохотом потоки свинцовой лавы. На сотни верст простирается власть грохочущих чудовищ. Дикий вой пу-

шек, трескотня пулеметов и свист пуль сливаются в единую огненную песнь. Не пехота, не кавалерия, не армии решают судьбу сражений, а пушки, мортиры и пулеметы, устилая трупами землю, разворачивая окопы и окрашивая кровью Вислу и Сан. Люди, миллионы людей, стоящих друг против друга, — только беспомощные пешки в этой дьявольской игре. Как гигантские глыбы, сталкиваются враждебные армии, и в этом стихийном столкновении нет места ни воодушевлению, ни личной отваге. Солдат стреляет, убивает и умирает, не видя в лицо своего врага. Так проходят дни, недели и месяцы. Измученный бессильным ожиданием смерти, солдат начинает смотреть на себя, как на игрушку в руках жестокой судьбы. И бойню, устроенную людьми, он принимает за глубокое таинство. Рычание мертвых механизмов и раскаленные ядра — за трагическое веление свыше.

На этой почве и вырастают всевозможные легенды и страхи, которые обыкновенно приносят раненые с полей сражения. Помню, после боев на Висле, услыхал я солдатскую легенду о белом всаднике, который в ночь перед боем заговаривал наши окопы. «Емки слова его и забористы, — рассказывал с воодушевлением старый солдат, — крепче щита булатного, жестче железа каленого, и ножа вострого, и когтей орлиных...» Это он послал нам победу на Висле. Он знает, кому суждено умереть в бою. Когда он объезжает окопы в ночь перед боем, тот, перед кем остановится его белый конь, останется цел. Есть солдаты, которые встречались с ним лицом к лицу: те в бою никогда не будут убиты.

5

Временами я смотрю на себя как на участника какого-то феерического маскарада: меня нарядили в форму военного врача и заставляют присутствовать при самых необычайных зрелищах. События мелькают передо мною с такой молниеносной быстротой и в таких потрясающих картинах, что я почти забываю, кто я. Иногда я чувствую странную приподнятость и воинственность, вся земля из конца в конец наполнилась рычанием пушек и жужжанием шрапнелей.

Но бывают дни, когда каждый выстрел больно ударяет по нервам. И хочется очнуться, хочется сорвать с себя погоны и

пашку и втоптать их в грязь. Вот стоит солдат с перебитой рукой и тупо, как грязная свинья, трется боком о дышло: раненая рука не дает ему возможности расправиться с назойливой вошью. Вот куча солдат у костра выжигает вшей из рубах и тут же, над котлами с картошкой, вытряхивают полуобгорелых паразитов. Может быть, следует сердиться на солдат за их отвратительную нечистоплотность? Может быть, еще более отвратительно то, что за братскими могилами, за буграми, где почивают в терновых венцах вчерашние герои и мученики, их боевые товарищи сегодня устроили отхожее место? Может быть, матерная брань под грохот мортир и пушек носит особенно кощунственный характер? Но когда молодые и сильные тела, как падаль, сваливаются в ямы, когда жирное воронье справляет радостный пир, а миллионы людей — обездоленные, голодные и неоплаканные — умирают в грязных и холодных окопах, когда прекрасные, крепкие тела покрываются струпьями и гноем, когда собственными глазами видишь, что на смену XX веку быстро надвигаются XV, XIII, XI века, не веришь ни слуху, ни зрению и ко всему относишься с полным безразличием.

Давно стоят крепкие морозы, а наши солдаты раздеты и разуты. Я раза два заговаривал об этом с Джапаридзе. Сегодня он с первобытной откровенностью объяснил мне:

— Придется солдатам мерзнуть. В пехоте другое дело: там с мертвых можно снять — с кого сапоги, с кого полушубок. А у нас на это рассчитывать нельзя. Придется всю зиму мерзнуть. А впрочем, знаете что? Поезжайте в Люблин к Базунову и доложите ему об этом.

Вечером после беседы с адъютантом Медлявским решено было привести в исполнение план Джапаридзе: я еду с донесением о бедственном положении бригады.

6

...И вот я опять в тылу, в Люблине.

Предо мною снова люди, ведущие счет неделям и дням и мечтающие о любви, о театрах, о жалованье. Снова улицы с экипажами, дамскими шляпками и вывесками нотариусов, парикма-

херов, портных, адвокатов и акушерок. Вижу красиво освещенные рестораны, кокоток, похожих на раскрашенные манекены, трогательно-веселые лица детей.

Но я знаю, что все это — сплошной маскарад, пестрая кукольная комедия, фальшивая яркость которой померкнет от первого соприкосновения с нами — с теми, которые не считают ни дней, ни недель, ни жизней. Ибо нас ведет смерть.

Базунов молчит и как будто что-то обдумывает. Ему не особенно нравится донесение Джапаридзе. Он не любит указаний со стороны, но в нем достаточно такта, чтобы не сердиться на такие вещи. Сегодня, на третий день после моего приезда в Люблин, он впервые вернулся к своему обычному ироническому тону:

— Пришла мне в голову одна игривая комбинация. Не хотите ли проехаться в Киев?

— Зачем?

— За полушубками для бригады.

— Но... ведь у бригады нет денег.

— Но... имеетесь вы. У вас там теперь союз союзов, свобода свобод.... Одним словом, не удастся ли вам выклянчить для бригады... в разных ваших комитетах... теплых подарков к Рождеству? Что вы на это скажете?

— Это идея. Ручаться не могу, но попробую.

7

Сижу в Киеве: добываю теплые вещи для солдат. Какая это мерзость — наш тыл. У всех тут такой парадный вид и такие юбилейно-торжественные лица, как будто на свете совсем не существует ни зловонья, ни вшей, ни зубовного скрежета позиций. Лик и душу войны узнаешь на позициях, но истинные пружины ее раскрываются только здесь, в тылу. Тут сразу ясно: не война, а рынок. Рынок любви, орденов, наживы. И при этом пошлая мелочность. Искренней жалости ни в ком. Большинство втайне радуется безопасности и филантропически миндальничает с фронтом. Для многих это путь к ордену или дорога в передние чиновных особ. В неумении организовать снабжение армии обнаружилась вся бездарность и непрактичность наших крохотных

демократов, тщетно порывающихся доказать свою гражданскую зрелость и общественную мудрость.

...Наконец-то мы едем. Везем полушубки, валенки, шарфы, рукавицы, сало и окорока. На фронт вместе со мною отправляется в качестве лица, сопровождающего посылаемые подарки, старый партийный работник, социал-демократ К. П. Василенко.

ДЕКАБРЬ

1

Ветеринарно-питательный пункт свертывается, и мы с Базуновым отправляемся в бригаду. Вместе с нами едет и Василенко. Сегодня я весь день осматриваю команду, и меня поражает дикая, непонятная грубость командующих прапорщиков. У некоторых это принимает характер злобного издевательства. Особенно гнусно ведет себя прапорщик 46-й бригады Прусецкий. В его окриках чувствуется нескрываемая ненависть к солдатам.

— Только остается, что морды бить! — хлестко повторяет он на каждом шагу.

Физический осмотр команды производится в его присутствии. Один солдат заявляет:

— На мне третий месяц тельная рубашка не мèняна, вся истлела и вшами проточена.

— Ну что ж? — свирепо отчеканивает Прусецкий. — Это уж дело твое. Добывай, как знаешь!

— Кабы я вольный, — говорит робко солдат, — а то где ж я добуду?

— Разве в Люблине мало жидовских магазинов? — усмехается прапорщик.

В ожидании очереди солдаты теснятся в передней.

— Чего лезете? — нагло орет Прусецкий. — В морду бить буду. Вот еще скоты неумытые!

Прислуживает при осмотре краснощекий, чистенький, умильный и гаденький бригадный фельдшер, который при каждом окрике прапорщика почтительно и сладко улыбается. Показывает ездовой отмороженный палец, который не сгибается и немеет на холоде. Просит дать ему рукавицы.

— А твои где? — набрасывается Прусецкий.

— За два месяца изорвались, ваше благородие.

— Изорвались? Что ж тебе новые заказывать? Для тебя одного по особому заказу!.. Публика!

У другого правая кисть не действует, пальцы не сгибаются и всегда растопырены. Прапорщик презрительно обрывает его жалобы:

— На печку захотел?

— Никак нет, — солидно заявляет солдат. — Я от работы не отказываюсь, если бы только за номера. А за конем ходить не могу без руки.

— Знаем, знаем! Все вы, бездельники, так поете! — кричит прапорщик, и в каждом слове его кипит свирепая злоба к солдату. Она проявляется с такой беззастенчивой откровенностью, что мне становится жутко. Я теряюсь и совершенно не знаю, что мне делать.

— Ради бога, не кричите так, — говорю я Прусецкому. — Вы мне мешаете работать.

Солдаты молчат. Лица у них безучастные, равнодушно-презрительные.

Что думают они в эти минуты о своем начальстве?

2

С утра погрузились и ждем. Уже пять часов стоим, но надежды на скорую отправку нет. Обратились к коменданту станции с просьбой поскорее отправить наш эшелон. Комендант — картавый барин, лет тридцати пяти, весь издерганный, вспыльчивый — сразу вскипел:

— Ну что я сделаю? Все требуют: отправляйте не в очередь. Вот видите этого полного полковника? Личный адъютант военного министра! Везет царские подарки! Надо его не в очередь пустить? Да этот еще ничего: человек воспитанный. А вот другой такой же, вон тот высокий. Воображает, что на нем весь свет держится. При всем народе орал на меня; грозит: — Вам худо будет!.. Я ему не смолчал. Я на него сам напустился: — Не грозитесь, господин полковник! Можете жаловаться на мои неисправные действия. Только да будет вам известно, что есть

правила для комендантов. Если вам они незнакомы, могу вам дать: почитайте! — Вот такие-то господчики, — патетически восклицает комендант, — чины получают, а работнички думают, как бы из-за них под суд не попасть.

Проходит еще три часа, и еще три часа. Обращаемся к дежурному офицеру по станции:

— Скоро нас пустят? Ведь мы с утра ждем.

— С утра? — пренебрежительно удивляется офицер. — Здесь некоторые эшелоны по две недели стоят.

Через три часа обращаемся к помощнику дежурного по станции:

— Есть надежда выбраться нам отсюда?

Тот хладнокровно заявляет:

— Бывает, что по пятьдесят дней дожидаются!

Наконец, является Базунов и в радостном возбуждении кричит:

— Едем! Нашелся старый приятель, инженер Корольков. Научил, как говорить надо: везем-де теплые вещи на позицию и едем по требованию корпусного командира. Как сказал коменданту эту магическую фразу, так все как по маслу пошло. Один взглянул, другой черкнул, а третий добавил: дайте им сопровождающего чиновника, чтобы дальше задержек не было.

— Где же этот ангел-хранитель?

— Уже в вагоне сидит.

В одиннадцать ночи двинулись. Но не успели отъехать и двух верст — внезапный толчок и остановка. Стояли, стояли. Уже спать полегли.

Как вдруг поезд отчаянно дернулся и пошел скорым ходом вперед. Проехали верст десять и к ужасу своему заметили, что едет только паровоз и наш классный вагон, а остальные сорок две теплушки оторвались во время толчка и остались сзади. Добрались до станции и бросились к машинисту:

— Твоя как фамилия?

— Риль.

— А, вот как! Ты немец?

Тот затрясся:

— Какой я немец? Я — поляк. Тридцать лет служу на дороге.

— Ну ладно, поезжай за оторвавшейся частью.

Посадили на паровоз прапорщика Кузнецова, и помчался наш Риль на всех парах. Через час привезли весь состав и покатили дальше, заручившись обещанием Риля, что к четырем часам дня будем в Ивангороде. Вдруг Базунов срывается с места и кричит на весь вагон:

— А где же чиновник, который должен сопровождать наш поезд до Радома? Понимаете, какой прохвост! Германский агент — наверно!

Бросились искать по теплушкам: как в воду канул. Фантазия бурно всколыхнулась. Посыпались догадки, предположения. Неожиданно чиновника обнаружили на верхней полке: он сладко спал, ничего не подозревая о происшедшем. Его моментально разбудили и поставили на ноги.

— Для чего вы сюда назначены? — накинулся на него Базунов.

— Следить за временем: чтобы поезд не застаивался на станциях.

— Хорошо вы исполняете свои обязанности!.

— Третью ночь не сплю, — смущенно оправдывался чиновник.

К четырем часам, согласно обещанию Риля, поезд пришел в Ивангород.

По дороге от Ивангорода до Радома к нам в вагон подсела группа гвардейских офицеров. Разговор идет о кавалерийской разведке. Вниманием владеет молодой ротмистр, живо передающий один из боевых эпизодов.

— Нам сказано было переправиться через мост. Мы были уверены, что немцев там нет. Только успели мы переправиться, как прямо в нас — тра-та-та-та-та...

«Затрещали пулеметы. Бросились кто куда. Совершенно инстинктивно я ринулся в канаву — вдоль шоссе. За мной солдаты. А пулемет так и жарит. Пули ударяются об шоссе, разбивают камень. Подождали, пока затих пулемет; выбрались: все целы.

«Приказываю двигаться шагом. Потому что, если скомандовать рысью, — только в Петергофе эскадрон соберешь.

Едем. Поглядываем по сторонам. Вдруг сзади — та же музыка с двух сторон. Тра-та-та-та-та-та-та... Омерзительное трещание! Эскадрон без приказания полетел во весь дух. Казалось мне, летим мы часа два. Хотя на самом деле больше трех минут не прошло. Слышу — пулеметы стихли. И только ружейные выстрелы со всех сторон. После пулемета от ружейной пальбы ни малейшего впечатления. Но назад обернуться, посмотреть, что там сзади — сил нет. Так и гонит вперед без оглядки. Слышу, кто-то сзади кричит не своим голосом. Вижу, падают люди с лошадей. Знаю, что-то надо бы сделать, разобраться. Да не могу! Наконец, собрал все остатки своей порядочности — оглянулся. Вижу, догоняет нас пеший солдат. Бежит, вопит не своим голосом. Остановил я лошадь. А он добежал, за стремя цепляется, лезет ко мне на седло. Останавливаю его, кричу:

— Да куда же ты лезешь, дурак? Вот лошади без седоков, которые от убитых остались. Садись на любую.

А он ухватился за стремя и все одну фразу повторяет:

— Ваше благородие, подсоби: жить хоцца!..

Насилу дурака успокоил. А как опомнились — оказалось: неприятеля давно и след простыл. А летим мы сломя голову сдуру».

Другой офицер, начальник обоза рассказывает:

— Под моей командой сто шестьдесят девять подвод из Киевской губернии и двадцать шесть солдат из запаса — охранная команда. При каждой подводе хозяин и пара лошадей.

«Дисциплины никакой, и все поголовно воры. Друг друга обкрадывают. Харчи и фураж им от казны полагается. Если им чего не додашь — беда. Первому встречному генералу в ноги бухаются:

« — Ваше превосходительство, овса не дают, хлебом не кормят.

« А где взять, когда нет? Как попали в Галицию дядьки — так принялись за хищения. Пробовал их уговаривать — слышать не хотят. — А зачем их царь нашему войну объявил? Надо их разграбить!»

— О, что касается грабежа, — вставляет другой гвардеец, — лучше наших мужиков на всем свете не найдется. В газетах все пишут, что немцы Польшу разграбили. Так ведь это ноль по сравнению с тем, что мы в Восточной Пруссии сделали. Мы там все в пепел превратили.

— Порядок такой, — продолжает свой рассказ начальник обоза. — Объявляют по деревне, что нужны охотники, по добровольному найму. Ну, разумеется, никто не идет. Тогда волостной писарь составляет список хозяев, которые обязаны дать лошадей и повозки. Конечно, богатые мужики откупаются, а идут такие, у которых по восемь душ детей и лошадей одна пара. Понятно, они о том только и мечтают, как бы вырваться и домой убежать.

«Почему-то пошел среди них слух, что каждые четыре месяца их будут сменять другими. А сейчас перед праздниками от них житья нет, требуют: пиши бумагу о замене. Главное, обовшивели все.

«Началось это так: заболел у меня один мужик падучей. Положил я его в Сташове в госпиталь. Утром прибежал, весь трясется!

« — Ваше благородие, дозвольте назад в обоз!

« — Что такое?

« — Не могу. Всю ночь обеими руками вшей отгребал. Загрызли.

«И вот с того времени пошло. Наш обоз теперь прямо рассадник вшей. Избавиться от них — никакой возможности нет; разве сжечь весь обоз дотла». А ведь возим мы хлеб, и продукты, и одежду солдатскую».

Некоторое время лежим молча. В вагоне темнеет. Холодно. Кто-то опять начинает говорить:

— Пройдоха этот Мезин! Слышали! — в ремонтной комиссии состоит. По 5 000 лошадей в год пропускает. Этакий плут! Это вы считайте только по 5 рублей на лошадь и то 25 000 рублей в год. Богатейший, должно быть, человек. Выйдет после войны в отставку — сразу большое имение купит. А теперь ходит в рваном пальто и очки всем втирает. Рассказывает, что

во время мобилизации в первый раз большие деньги увидел и на радостях погребец себе купил. Знаем мы таких!

— Взятки, что ли, берет? — любопытствует чей-то голос.

— Зачем взятки? Он в ремонтной комиссии состоит!

— Приведут ему лошадей, продержит их лишние сутки — вот и вскочило за прокорм. А кормит он, нет ли — это уж его дело. Только в кармане, смотришь, лишняя сотня и завелась.

Мимо Радома проехали, не останавливаясь. В Кельцах тревожно. Часто и гулко бухают тяжелые орудия. Под Хенцинами, верстах в двадцати от Келец, идет жестокий бой. Но улицы переполнены публикой. День ясный и солнечный. И все ждут появления немецких аэропланов. Два дня тому назад аэропланы сбросили более 10 бомб, не причинивших, однако, никакого вреда.

Днем часа в три над городом показался аэроплан и сбросил над казармами пачку прокламаций. Через полчаса мы проходили мимо казарм. Стоял взвод солдат с ружьями наготове. Но аэроплан летал высоко и, плавно кружась над Кельцами, снова бросил прокламации.

С трудом добыли 8 фурманок у уездного начальника. Три фурманки захватили на большой дороге.

Завтра отправляемся походным порядком в Галицию, где сейчас находится наша бригада.

Ветряно. Глухо грохочет канонада. Говорят, неприятель отошел на 6 верст после неудачной попытки прорвать фронт.

Вторые сутки обоз наш находится в пути. Нам предстоит сделать около 300 верст. Дорога твердая, крутая, звонкая и слегка скользит под ногами. Идем пешком за обозом. Злой колючий ветер швыряет миллионы острых снежинок, которые хлещут в лицо, слепят глаза, бьют в нос и в рот, так что захватывает дух. Белая прыгающая пурга застилает дали и треплется огромной кисейной пеленой перед глазами. Возчики — босые, закутанные в тряпьё, угрюмо шагают у возов. Кто-то уверил их, что раньше как через два месяца их не отпустят. Деревни — верст на тридцать кругом — почти все опустели.

На ночь расположились биваком в Лисовье, в доме ксендза. Ксендз — мужчина лет сорока, чисто выбритый, умеренно полный, очень дипломатичный. Нас называют «российски жолнежи». Кажется, отлично говорит по-русски, но с нами все время объясняется по-польски. Лишь изредка вставит русское слово, которое произносит легко и без акцента. В выражениях крайне осторожен. Рассказывая о казачьих грабежах, говорит как-то неуловимо-сдержанно. Чуть усмехаясь, передает он ласковым тоном:

— По ночам приходят в крестьянские дворы, забирают телят, гусей, птицу; ищут в молитвенниках денег. Кто такие—не знаю, не скажу. Может быть, это казаки, а может быть, воры, переодетые в казачье платье.

— То есть не воры, а грабители?

— Да, злодеи, похожие на казаков. И не знаешь, кому на них жаловаться. Казачье начальство как-то внимания не обращает. У меня стояли четырнадцать казачьих офицеров. Так они такое вытворяли, что я решил уйти из своей квартиры. Кричат, танцуют, пьянствуют всю ночь. Гостей полон дом. Заняли всю мою квартиру.

Об австрийцах говорит сдержанно. Но иногда в разговоре прорываются такие замечания:

— У меня 4 морга земли. Австрийские офицеры верить не хотели. Думали, что как у ихних ксендзов — по 200 моргов надел. А я уже четвертый месяц жалования не получаю. Чем жить, когда население совсем обнищало? Да и нет его, разбежалось. А кто стался — в разгоне: кто с фурманкой взят, кто дорогу чинит, окопы роют или убитых хоронят.

Всякий раз в беседе ксендз возвращается к казакам и в полунамеках дорисовывает истинную картину:

— Конечно, если платят за корову 50 рублей, когда цена ей 150, и одного доходу за год даст она не меньше 50 рублей, то это достаточное разорение для мужика. Но армия смотрит на корову как на мясо, до остального ей дела нет. С своей точки зрения она права. Но с какой точки зрения смотрят казаки, когда они ничего не платят, я не понимаю... Вообще, понять их довольно трудно, — говорит, усмехаясь, ксендз. —

У всех у них были кровати, но почему-то они приказали натаскать в мои комнаты соломы...

Ксендз очень любезен с нами, ходит за нами по пятам и больше всего опасается, чтобы мы не заглянули в боковые комнаты, где иногда мелькают женские юбки за занавеской.

Любопытство у ксендза колоссальное. Неотступно расспрашивает: куда идем, зачем, какой части? А где стоит такая-то дивизия? А скоро ли будут двинуты новобранцы? и т. д., и т. д. Кто-то во время разговора, шутя, посоветовал ему:

— Знаете, народу у вас ежедневно бывает тьма. То наши, то австрийцы, то германцы. Новостей вы от них получаете множество. Вы бы газету начали издавать.

Ксендз хитро улыбнулся и сказал с нескрываемой иронией:

— Разве вы думаете, что у меня мало шансов быть повешенным и без газеты?

Наши спят. По дому крадутся чьи-то легкие шаги. Экономка? Неистово лает дворовый пес. Ксендз приоткрывает двери.

— Чего это собака лает? — спрашиваю я

— Это она так приучена: как только издали заслышит запах солдатского полушубка, так сейчас лай подымает.

Бедный ксендз! Он все перепутал. Эта шутка, вероятно, имела успех у немецких офицеров. Повторять ее русским гостям — довольно рискованно. Но что прикажете делать, если деревня эта переходит из рук в руки, и он, как женщина, легко меняющая привязанности, незаметно начинает путать имена и привычки своих любовников. Кто знает, чем кончится сегодняшняя ночная канонада? Может быть, завтра в этой комнате уже будут ночевать австрийские офицеры? И ксендз, уходя в свою опочивальню, будет вежливо говорить им:

— Добра́ ноц!

Война с каждым часом все глубже внедряется в жизнь страны. И это выражается не только в том, что больше становится безлошадных, голодных и разоренных, но, что гораздо страшнее, — в полной психологической неустойчивости. Население ко всему начинает относиться с апатическим безразличием. Оно теряет устои, понятия о чести, теряет привязанности

к месту, стране, жизни. Оно ни во что не верит и знает лишь одно: есть пушки, которые бухают, и только их надо бояться. А все остальное — трын-трава.

От Хмельника до Буска шоссе идет по крутым подъемам и скатам. Непрерывной лентой вьется широкая каменная тропа, окаймленная рвами, и то исчезает в сосновой чаще, то опять вырывается на широкий простор, где сыплет колючими иглами пурга, и жалобно стонут телеграфные провода; где тонким куревом стелется седая поползуха; где сидят рядами, нахохлившись, черные грачи.

Ветер сбивает с ног и устилает дорогу скользкой крупой. Холодно. Мутная пелена застилает небо и землю, и кажется, будто все это какой-то странный, тяжелый сон, который будет длиться еще дольше, долгие дни. С изумлением думаешь: для чего мы здесь? Куда идем? Неужели это война? Со стороны никто не поверит, что так воюют. Но именно это и есть война. Вы все, сидящие за тридевять земель от полей сражений и жадно глотающие с утренним чаем эффектные реляции о победах, вы хотели бы всюду видеть мужество и героизм. Но их нет. Есть лишь усталые, полуголодные солдаты, продрогшие возчики, скрипучие возы, скользкие или грязные дороги, зябнущие от холода лошади, испуганные жители и бухающие пушки. И только на узенькой линии, где соприкасаются две воюющие армии, серые будни войны на мгновение вспыхивают смертоносным энтузиазмом, который устилает землю грудами человеческих трупов и духом опустошения и скорби наполняет сердца.

Когда подъезжали к Буску, вечерело. Исхлестанные колючей крупой, продрогшие и голодные, остановились в старом нетопленном доме, в квартире, брошенной на произвол судьбы и холодного ветра. Из сеней дует. Двери не прикрываются. Топить нечем. Ничего не поделаешь: надо смотреть сквозь пальцы на ловкую работу артиллерийских тесаков, разрубающих на топливо обывательские заборы. Две чашки горячего чаю и несколько бутербродов проясняют настроение. Все снова смеются. Раздражение и усталость улетучиваются. Двадцатичетырехверстный переход начинает казаться пикником, после которого теперь по жилам переливается сладкая истома.

На дворе потеплело. Сквозь незавешенные стекла ясно видны темные силуэты телеграфных столбов и далекие крыши, покрытые синеватым снегом. Издали глухо доносятся редкие удары тяжелой артиллерии. Как не хочется умирать в такую ночь, и сколько жизней угаснет сегодня под этим звездным небом. Во имя чего?..

...Утро, тихое, ласковое. Длинным цугом вытянулся наш странный обоз. Впереди командирский кучер Драчев на двуколке, за ним Базунов, потом управленские возы с фуражом, и, наконец, одна за другой крестьянские фурманки. Фигуры возчиков печально-комические. Большинство без сапог. Трое в солдатских полушубках. Люди всех возрастов — от седоусых стариков до безбородых юношей. Шагают понурые, угрюмые. Каждое утро они выдумывают десятки новых болезней и просятся домой. Падает мягкий, крупный, пушистый снег. Деревья, осыпанные снегом, стоят длинными, ровными рядами, как на оперных декорациях. Мы подъезжаем к пограничной переправе.

3

22 декабря, в половине второго по петербургскому времени, мы перешли через понтонный мост и очутились в Галиции. Кучками стояли солдаты, теснились военные и обывательские подводы, валялись груды обтесанных бревен для строящегося моста. От переправы сразу же начинается ровное, австрийское шоссе, идущее вдоль Вислы. По бокам шоссе толстые, короткие ветлы с сердито растрепанными верхушками из голых прутьев. На повороте белая, большая доска, на которой четкими буквами обозначено по-польски: «Королевская область Галиция. Уезд Домбровский. Местечко Щуцин».

Щуцин — небольшое галицейское местечко с двухэтажными, каменными домами, старым костелом и большими лавками. Но все это в прошлом. Сейчас Щуцин — совершенно мертвый поселок, по которому, как по кладбищу, блуждают наши солдаты. Дома все разрушены, окон нет, печи разворочены, на полу сено, рваные еврейские молитвенники, много битой посуды, тряпки и зловонная грязь. Лишь кое-где, на задворках мелькают робкие,

обывательские фигуры. И дальше, за Щуцином, такая же мертвая тишина. Деревни покинуты. Над крышами ни дымка, в окнах пусто. На дворе ни гусей, ни скота, ни телег. Даже на деревьях, растущих вдоль шоссе, — ни одного воробья. Изредка встречаются обывательские фурманки с молчаливыми польскими мужиками, приветствующими нас низкими-низкими поклонами. На одной фурманке, погоняемой поляком, сидел чернобородый галицийский еврей. Один из наших молодых возчиков, проходя мимо него, хлестнул его батогом, о чем радостно сообщил нашим солдатам.

Часам к четырем добрались до Ривана — большой деревни, расположенной перпендикулярно к шоссе. Свернули и пошли вдоль узкой речонки, обсаженной ветлами. Остановились в просторной крестьянской хате. В доме порядок: большие, коричневые, кафельные печи, деревянный пол, крашеные скамьи. Во дворе — сараи с навесами для лошадей, бетонный колодец, чистый, деревянный клозет. Хозяйка, баба лет сорока пяти, плачет и громко вздыхает.

— Чего ты?

— Да у меня уж стояли и наши войска, и русские, и казаки. Забрали лошадей, коров, гусей. С тех пор, как русские солдаты пришли, житья не стало. Достать ничего нельзя. За керосином надо за Вислу ходить и платим по 25 копеек за фунт.

Спрашиваю Кубицкого:

— Нравится тебе здесь?

— Да, во всем порядок. Каждая каморка — всё хозяйственное.

— Хорошо живут, — вмешивается Драчев. — Отчетливо. Только зачем бежали? Здесь бы жили — от нас нажились бы.

— От нас не разживешься! — смеется Кубицкий.

— А все их император, — солидно продолжает Драчев. — Не схотел жить в мире, весь свет взбаламутил. Вот как бы бог помог в колодки его заковать — знал бы, как войны устраивать.

Кроме нас, в Риване стоят две роты Седлецкого полка. Солдаты угрюмо советуют:

— Какая уж тут дневка, тут и ночью ничем не разживешься.

Едем дальше. Дорога размытая, грязная и скользкая. Лошади подвигаются с трудом. Гнилой ветер гонит густые, рыхлые

облака. На полях талый снег. Бегут потоки талой воды. На проталинах зеленая травка. Вообще весь пейзаж таков, каким он бывает у нас ранней весной, в начале марта. За два часа с трудом сделали восемь верст, заночевали в Домброве.

И здесь та же картина. Жителей почти нет. Дома заняты нашими войсками: понтонным батальоном, госпиталями, хлебопекарнями и обозами. Сунулись в магистрат, в аптеку, в комендатуру — везде битком набито. Дома разграблены. Из лавок все вынесено, и они превращены в конюшни.

4

Подъезжаем к Тарнову. Грохочет страшная канонада: позиции верстах в трех от дороги. Над Тарновым дымки разрывающихся снарядов. По временам — вспышки наших пушечных выстрелов.

Издали Тарнов похож на Владивосток: те же голубоватые горы и сбегающие вниз по уступам каменные дома. Живописно раскинутые предгорья Карпат; а за ними — вдали, теряясь в облаках — синеют карпатские вершины. Вся обстановка — точно батальные декорации Верещагина: горные хребты, котловины, дымки шрапнелей, блеск пушечных выстрелов, зажженные домики... Над ними все время реют два моноплана и один биплан. Биплан желтого цвета, кажется, австрийский.

В Тарнове мы разыскали второй парк нашей бригады — под командой Пятницкого. Он расположился за городом на дальней окраине.

Ночью, часу в одиннадцатом, послышалась чрезвычайно сильная канонада. Казалось, что снаряды рвутся над городом и падают где-то совсем близко. Это длилось минут восемь. Базунов выскочил из своей комнаты:

— Послушайте, вы держите связь со штабом? А то ведь теперь время такое, что каждую минуту надо быть на-чеку.

— Да мы здесь уже двенадцать дней и, и каждую ночь такая же стрельба. Днем молчат, а ночью палить начинают. Ведь здесь два штаба стоят. Столько частей. Если что-либо случится, мы сразу увидим.

Часа через два стрельба опять повторилась. На улицу высыпали жители. Всюду тревожные голоса: такой пальбы еще не слыхали здесь. Вскоре распространился слух, что по городу стреляли из броневого автомобиля, прорвавшегося сквозь наше сторожевое охранение.

...Нашли квартиру недалеко от парка, на Львовской улице. Три хорошо меблированных комнаты с ванной, электрическим освещением и всякими удобствами. Хозяйка, пожилая еврейка, говорит по-польски. Обратилась к нам:

— Дам все, что хотите: кровати, дрова, подушки, перины, лампы; все бесплатно; денег мне не надо; только пусть все будет цело. Дети мои уехали. Дочь у меня красавица. Испугалась, все бросила и утекла с мужем. Я одна осталась. Квартиранты все выехали.

— Будьте спокойны: у вас ничего не тронут.

Она посмотрела на нас благодарными глазами и протянула руку полковнику:

— Благодарю вас, очень.

Но сейчас же вслед за хозяйкой явился плутоватый, угодливый, немолодой еврей и, галантно расшаркавшись, объявил:

— Совладелец дома. Русский подданный. Служу у князя Сангушко. Так как князь Сангушко также русский подданный, то и все служащие ясновельможного пана Сангушко тоже русские подданные.

При этом он извлек из кармана какую-то бумажку, в которой за подписью сотника Павлова сообщалось, что предъявитель сего документа Гриншпан должен быть освобожден от всяких повинностей и действительно является совладельцем занятого нами дома. Документ был написан вполне грамотно и снабжен печатью воинской части.

— Чего же вы собственно хотите? — обратился к Гриншпану Базунов.

Тот ласково улыбнулся и, угодливо извиваясь, ответил:

— Я ничего... Я так...

И мгновенно ретировался. Цель его визита так и осталась невыясненной.

Роскошествуем и отдыхаем. Утопаем в плюше и бархате.

Всюду зеркала, диваны, мраморные умывальники, белые ясеневые стулья, часы, безделушки, электрические ночники и множество портретов на стенах.

С утра бродим по городу. На улицах грязно. Привлекает внимание курьезная афиша кинематографа «Гелиос», на которой аршинными русскими буквами напечатана такая программа:

1. Ижасное преступление, сенсацющая драма с угощиа (с участием?) в главной роли Шерльока Шолмеса.
2. Железная дорога с натура.
3. Пыль страсйшь, веселая комедiа в 3 ак.
4. Первая забава, очем комiчная.

Преобладающий элемент среди оставшегося населения — старики и дети. Днем город не кажется таким пустынным: много открытых магазинов, в витринах пестрый товар, грохочут извозчики. Но с вечера сразу бросается в глаза городское безлюдье. — Большинство домов утопает во мраке. Улицы кажутся испуганными и мертвыми. Лишь кое-где из офицерских квартир струятся полоски света, да в мелких лавчонках зажигаются робкие огоньки. Только рестораны, биллиардные и кофейные озарены по-праздничному, и во мраке безлюдных улиц горят их полузавешенные окна. Самое большое оживление на вокзале, где сосредоточены лазареты. Идет погрузка и перегрузка раненых. В воздухе носится крылатая матерщина санитаров. Щеголевато семенят по перрону сестры. Чинно прогуливаются доктора. Подъезжают и отъезжают штабные автомобили. А ночью почти всегда, около половины двенадцатого, начинается адская канонада. Неприятельская артиллерия развивает ураганный огонь, зловещие вспышки каждого выстрела мелькают широкими зарницами в небе, обливая трепетным светом далекую окраину города. Тогда из ворот выбегают испуганные жители, слышится хриплый лай собак, и офицеры начинают тревожно прислушиваться к гулу орудий. Но через полчаса все успокаиваются, и город погружается в мирный сон.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В ЗАВОЕВАННОЙ ГАЛИЦИИ

1915 ГОД

ЯНВАРЬ

1

Сегодня канун нового года. Временно все три парка собрались в Тарнове. С утра раздаем привезенные подарки. Солдаты очень довольны. Смутил нас только Асеев своей сектантской несговорчивостью. Для него отобрали отличный романовский полушубок, валенки, ватные шаровары, папаху и рукавицы — полное зимнее обмундирование. В подборе вещей участвовала вся бригада. Отбиралось самое лучшее, но Асеев сурово заявил:

— Не возьму. Не надобно мне.

Его уговаривали, упрашивали, но он твердо стоял на своем:

— Не для ча. Не надобно мне.

— Ну, Асеев, вы просто обижаете нас, — обратился к нему Василенко, — мы из Киева подарки везем, а вы отказываетесь.

Асеев подошел к Василенко, отвесил ему поясной поклон и сказал твердо и решительно:

— Нехорошее мы дело делаем: людей убиваем, грабим, малых детей, как кутят, на мороз выбрасуем, а нам за это жертвенные вещи шлют. Разве ж можно?..

Всем стало неловко. Даже Базунов промолчал. Только фельдфебель Гридин не утерпел, чтобы не вставить тоном Иудушки ехидного словечка:

— На что Асееву шуба? Он у нас праведник ангельский. Ему и на холоду как в божьем раю.

Адъютант Медлявский, втайне питающий некоторую слабость к толстовству, резко набросился на Гридина:

— Гридин, отчего лошади вспотели?

На что тот ответил со своею обычной вкрадчивостью:

— Это, ваше высокородие, оттого, что лошадки два дня на холоде стояли. А теперь из них холод и выходит, в свое состояние они входят.

После раздачи подарков мы с Василенко до вечера бродили по городу и осматривали кафедральный собор. Собор был заперт. Мы обогнули его кругом. Заходящее солнце ярко освещало окна собора, и он горел как огромный фонарь. Обошли второй раз собор. Вышел пан пробощ — полный, высокий, благообразный ксендз, похожий на бабу. Обратились к нему — он вежливо отворил двери и согласился быть нашим провожатым. Вначале был любезен, но холоден. Понемногу разговорился и стал рассказывать:

— На постройку собора, — объяснил он нам, — затрачено больше миллиона крон. Достроен он пять лет назад. Жертвовали все три Польши. В настоящее время на нем еще сто тысяч долгу. По грандиозности это первый собор в Польше. Такого нет ни во Львове, ни в Кракове. Строил собор львовский профессор доктор Зубржицкий, оконная живопись по проектам Стефана Матейко. Два больших окна обошлись по шести тысяч крон. До сих пор бог миловал: собор не пострадал. Но, говорят, швабы подвозят сюда свои тяжелые орудия, и собору грозит серьезная опасность.

— Для чего вы запираете собор? — спросил Василенко.

— Собор запирается с двенадцати часов дня, так как был случай, что кто-то взобрался на колокольню. Во избежание неприятностей, я сам просил о назначении стражи. Недели две тому назад мне пришлось пережить очень печальное столкновение с вашим офицером. Дело было вечером, уже стемнело, вдруг врывается ко мне на квартиру офицер с револьвером в одной руке, с нагайкой — в другой и в сопровождении солдат.

« — Вы ксендз этого собора?

« — Я.

« — Вы сигнализируете огнем! Я застрелю вас!

И нацелился револьвером.

« — Господин офицер! Я не младенец. Меня запугать нельзя. Если вы имеете право и основание меня застрелить — стреляйте. Только я хотел бы знать, в чем дело?

« — Это мы сейчас увидим. За мной — на колокольню! Там сигнализируют.

« — Но этого быть не может. Ключи у меня, костел заперт. Наконец, повторяю вам, я не ребенок и не стал бы сигнализировать, сидя в городе, посреди ваших военных частей.

« — Марш на колокольню! За мной!

« — Я отворил собор и стал взбираться по лестнице, но почувствовал себя дурно.

« — Господин офицер, я не могу итти.

« — Нет, ты пойдешь!

« — Я старый человек. У меня слабое сердце. Я не могу.

« — Молчи!

«И снова направляет на меня револьвер, размахивая у меня над головой нагайкой.

« — Господин офицер! Я итти не могу... Не забывайте, что вы имеете дело со служителем церкви, с человеком культурным. Я два года обучался в Льеже — том самом Льеже, который варварски уничтожен швабами; два года — в Париже... Ведь вы имеете полную возможность приставить ко мне стражу, чтобы я не удрал, пока вы будете обыскивать собор.

«Офицер подумал и смягчился. Приставил ко мне двух солдат, а с остальными полез на хоры и колокольную. Шарил часа два и, разумеется, ничего. Стал я его расспрашивать, и выяснилась очень простая вещь: мимо собора проезжал освещенный автомобиль и сквозь широкие оконные стекла фонари автомобиля осветили внутренность костела. Проезжавшему с другой стороны офицеру показалось, что это огненные вспышки, которые он принял за сигнализацию. Отсюда и весь сыр-бор загорелся. На другой день я поехал с жалобой к коменданту, полковнику Беру. Это гуманная и весьма культурная личность. «Кильтуральный чло́вік!» — произнес несколько раз с ударением пан пробощ. Спрашивает меня: «как фамилия офицера? какой части?» Но разве я знаю? Человек грозит нагайкой и револьвером. Станет он при этом рекомендоваться?.. Обидно, что я совершенно не заслужил такого обращения. Да и подобает ли такой образ действий русскому офицеру? Ведь это не грубый шваб!»...

Когда мы вышли из собора, было уже темно. Но по улицам сновало еще множество еврейских детишек, оборванных и гряз-

ных, которые настойчиво предлагали прохожим пряники, булочки, какие-то подозрительные конфеты, папиросную бумагу, сыр, махорку, старые газеты, пуговицы, свечи, открытки, испорченные батареи и крашеные патроны. Старухи протягивали руку за подаянием. Те, которым удается выпросить несколько гривенников на покупку муки, завтра же из нищих превращаются в торговок и с той же настойчивостью, с какой сегодня просили милостыню, завтра будут навязывать прохожим свой товар. Улицы кишат нищими. «Жить нечем» — этой фразой по-польски преследуют офицеров десятки старых евреек и детишек.

...Вечеринка в полном разгаре. Налицо все наши офицеры и множество гостей. Публика разбилась на три группы в трех комнатах. Большинство играет в карты. Центром вниманья является Кордыш-Горецкий; разговоров он не любит, и весь его несложный словарь исчерпывается вне служебных отношений четырьмя выразительными словами: «шикарно!», «шикардос!», «слабеджио!» и «пардонато». Во второй комнате собрались любители выпить. Отсюда поминутно выскакивает денщик Болконского, неуклюжий Момут, и растерянно докладывает скороговоркой заведующему хозяйством:

— Так что ошибка вышла, ваше благородие, стакан разбился.

— Как же он разбился?

— Так что я почти-что уронил его на землю.

В третьей комнате идет нескончаемый спор при участии Базунова, Кострова, Джапаридзе, Василенко и нескольких гостей. На этот раз застрельщиком выступил Медлявский.

— А ведь, знаете, Асеев ведь прав... Он только смелее многих...

— Дурак ваш Асеев! — резко вмешивается Джапаридзе. — По совести его бы надо под суд отдать.

— Нет, по совести говоря, за что его под суд?.. Вы только подумайте, из-за чего мы воюем? Отчего безропотно плетутся по колено в снегу обозы? Отчего бредут, спотыкаясь, раненые? Отчего покорно гниют и зябнут в окопах солдаты? Даже лошадь — и та вдруг ляжет — и ни с места! А мы, нехотя, против воли, зябнем, мерзнем, голодные, вшивые, раскалываем

друг другу черепа, лезем на штыки и не выпускаем до самой смерти винтовки из коченеющих пальцев. Отчего?

— Отчего, отчего?.. От страха, — с оттенком брезгливой иронии в голосе говорит Базунов и, по обыкновению, пускается в язвительное резонерствование. — Вы думаете, когда солдаты прут друг на друга в штыковом бою, это делается из молодечества? Как бы не так! Это — храбрость отчаяния. Не пойдет — расстреляют, а пойдет — может быть уцелеет. Да он и не рассуждает. Страх подсказывает ему, что надо повиноваться. Вы думаете, если у нас не стреляют свои же по отступающим из пулеметов, — все равно: каждый солдат постоянно чувствует за своей спиной наготове такой же пулемет.

2

Первому парку вместе с управлением приказано передвинуться в селение Рыглицы. Идем вдоль фронта по крутым подъемам и скатам Карпатского предгорья. Первые 5 верст — довольно сносные. Потом начинаются топи, измолотое шоссе, выбоины, засасывающие колеса и лошадей. Едем со скоростью двух верст в час местностью, напоминающей юго-западную часть Келецкой губернии, с холмами и крутыми провалами. Чем дальше на юг, тем выше холмы и громче удары пушек. Обычная человеческая жизнь, «штатское положение», как говорят солдаты, отходит куда-то в сторону, прячется; и начинается откровенный быт войны: ряды резервных окопов, земля, развороченная фугасами, каменные скелеты сожженных домов, группы пленных, уныло подгоняемых сзади, вперемежку с группами раненых, ковыляющих по колено в грязи, скрипучие артиллерийские возы, всадники, едущие с фуражировки и еле видные между двух вьюков сена, зарядные ящики, шестерики, выбивающиеся из сил, ядреная солдатская брань, хмурые, серые солдаты, возвращающиеся с ночевки в окопы, и, наконец, стрекотание пулеметов и отчетливая пальба пачками.

Война, таинственная в тылу, для нас давно потеряла это свойство. Жажда волнующих настроений утоплена и исчерпана до дна. Чувствуешь только необходимость беспрерывно продвигаться вперед, жить готовым приказом, убивать поня-

тия и желания, таящиеся где-то в глубине души, умалять до ничтожества свою личность и довольствоваться древними радостями человека, необходимыми нам по свойству нашей животной природы. Это не так ужасно, как кажется. Ломая инерцию привычки, человек легко приучается жить не думая. Смотришь сквозь пальцы на грабительскую работу солдат на стоянках. Какое нам дело до этой худой и слезливой бабы с подвязанной щекой, раздражающей нас своими плаксивыми причитаниями: «чиста руина, хлеба нима, соли нима, люди знищены...»[1] Какое нам дело до этой группы грязных оборванцев в сапогах, обмотанных тряпками, бледных, измученных; которые называют себя изборским полком. Или что нам до того, что такая масса солдат без сапог, в одних портянках, шагает по холодной грязи? Разве мы сами не выбиваемся из сил, и ветер не сбивает нас с ног?

В два часа дня мы подъехали к Тухову, местечку, где накануне еще были австрийцы. Они установили свои орудия на горе, за костелом, и наши, обстреливая их позиции, совершенно разгромили местечко. Уцелели только костел, магистрат и аптека. Остальные здания сожжены и разбиты снарядами. Повсюду снесенные и развороченные крыши, высаженные рамы и двери, груды жести, камня и балок. Людей не видно. Лишь кое-где попадаются растерянные фигуры обывателей, да мелькают военные санитары. Здесь помещаются санитарно-питательный пункт Государственной думы и два лазарета. Но едва мы устроили привал на краю дороги, в сравнительно уцелевшей хатке, как десятки детишек столпились вокруг нашей походной кухни. Они стояли с разинутыми ртами и жадно, как собачонки, набрасывались на каждый кусочек хлеба.

Из Тухова двинулись в Седлиску. Дорога лежит через мост на реке Бяле. Но самый мост взорван, и переправляться приходится пониже, в стороне от насыпи, по очень топкому месту. Потянулись мучительные часы. Лошади валились в грязь и, обессиленные, надорванные, ни за что не хотели подняться. Кричали, били, подталкивали — не встают. Собралось десятка три понтонеров и принялись словесно подбадривать лошадей.

[1] Сплошное разорение, хлеба нет, соли нет, все обнищали.

Но и это не помогло. Упавших лошадей пришлось выпрячь и оставить, пока наберутся сил в грязевой ванне. Только к вечеру дружными усилиями артиллерийских кнутов и понтонерских увещаний лошади были вытянуты из грязи, и мы двинулись дальше.

Едем где-то близ самого фронта. Щелкают ружейные выстрелы. Дзынкают пули.

Вечереет. Чем гуще тьма, тем злее солдатские слова.

— Говорят, царь в главнокомандующие хочет, — доносится злобно из темноты.

— Ага! Егория захотел, — поясняет другой голос.

— Кому что: царю Егория хочется, а царице Григория (Распутина)...

Проехали версты две и опять очутились в непролазной грязи. Темно. Дороги не знаем. Люди и лошади измучены. Решаем вернуться в Тухов и там дожидаться рассвета. Совершенно случайно в Тухове набрели на дряхлый домик, в котором одна половина — комната с кухней — отлично сохранилась. Выбиты только наружные стекла. Внутри тепло, уютно и чисто. Хозяйка, 67-летняя старушка, почему-то чрезвычайно обрадовалась нам, уступила нам все помещение, и только выпросила себе за гостеприимство свечку, так как ни в Тухове, ни в окрестностях ни свечей, ни керосину достать нельзя. Детей у нее нет; все близкие померли. С шести часов вечера ей приходилось оставаться одной впотьмах и молча прислушиваться к канонаде. О чем думает старушка в эти долгие сумеречные часы?

В десятом часу я был уже на ногах. Разбудил меня странный шум: суетились, кричали.

Выглянул на улицу — пожар. Горит потребительская лавка. Густые темные клубы дыма легко подымаются кверху и, чуть-чуть колеблемые ветром, колыхаются, как черный султан, над домом. Пламя медленно расползается по дверям, по оконным рамам и ставням. Возле дома столпилась кучка солдат и равнодушно потягивает цыгарки.

— Может от папироски загорелось? — высказывает свои соображения один.

— Верно, не иначе, как от ней, — соглашаются другие.

— Может костер палили? — продолжает первый свои догадки.

— Искрой вдарило — и готово! — подтверждают хором другие.

Жители уцелевших домов испуганно суетятся.

— Яка біеда, яка біеда! — повторяет в страхе наша хозяйка. Ей кажется, что пламя сейчас перебросится на ее домик. Она рассыпается в жалобах, которых я понять не могу, и сердито упрекает за все несчастия «российско войско».

Я успокаиваю старушку и мимоходом делаю попытку «вразумить» ее.

— Напрасно вы гневаетесь, хозяйка, на наших жолнежей. Не нам воевать хотелось, а вашему Францу.

Старушка горячо возражает:

— Не, не, наш старушек не́ хтцял войны. Цалэ нещѐнстье иде от Вильгельма пру́ске́го (нашему старичку не хотелось воевать, все зло от Вильгельма).

До выхода еще остается полчаса.

Заглядываю в разоренные дома. Везде навоз, так как большинство помещений превращено было нашими войсками в стойла. Кой-где разбиты шкафы, обломки посуды, кучи мерзлой картошки. Среди обгорелых камней и бревен валяются металлические части седел, телег, домашней утвари, швейных машин. Тут же помятые и закоптелые рукомойники, чайники, дверные ручки, гвозди, замки и масса патронов; целые пачки нераспечатанных патронов. Вероятно, солдаты, роясь в мусоре пожарища, клали все, что находили, в подсумки и для этого разгружали их от патронов.

Выступили в начале двенадцатого.

День был морозный, ясный. За ночь сковало лужи, и дорога плотной черной лентой вилась между гор, сверкающих белоснежной гладью. Несмотря на мороз, солнце грело как летом. Мы шли пешком в расстегнутых шинелях. Воздух, насыщенный озоном, опьянял как вино. Гулко перекатывались орудийные выстрелы. Четко потрескивали винтовки. Откуда-то из-за гор вылетело и повисло в солнечном воздухе молодецкое ура, по-

вторенное стоголосым эхо и дружно подхваченное другими частями. Бросились в атаку? Или это вспомнилось сидящим в копах, что сегодня 1-е января? Все равно. Горы, потрясенные новыми залпами, уже глотают и перекатывают с холма на холм другие звуки.

Мы весело подвигаемся вперед. С крутой вершины на фоне чернеющего леса виден Тухов с тонким шпилем уцелевшей костельной колокольни и красной ратушей. Особенно приветливо выступали сводчатые ворота чьей-то красивой виллы, казавшиеся издали входом в какой-то волшебный грот. В действительности внутри и около виллы расположился головной перевязочный пункт, где люди задыхались от вони и грязи и где в нетопленных комнатах на полу матрацы кишели вшами.

Но можно ли думать о вшах, о навозе, об изувеченных пальцах, когда кругом на сотни верст все горит таким великолепием? Когда и горы, и воздух, и могучие хвойные леса дышат неукротимой радостью жизни? Когда так возбуждающе... грохочут пушки, и высоко над головой, как царственная птица, в потоках света кружится с дробным жужжанием аэроплан?

Справа от дороги, почти не отставая от всех ее изгибов долго путалась и кружилась узкая глубокая речка Бяла, которая повернув под мостом, разлилась озерами по долине и побежала на запад.

Мы шли на юг. Дорога становилась все живописнее и круче. Точно из-под земли неожиданно вырастали одинокие хуторки. Журчали горные речки. Пыхтели и постукивали молотилки. Шипели и, сверкая, вертелись мельничные колеса. Над конскими трупами черною кружевною сетью кружились стаи ворон. И бодро грохотали горные пушки. Сколько раз видел я эти картины, и красота их все еще не исчерпана для меня.

3

В Рыглицу пришли часа в два. У входа в местечко стояла красивая молодая полька лет семнадцати, и, улыбаясь, смотрела, как мы шагали по грязи, с трудом вытаскивая калоши.

— Далеко до местечка? — обратился я к ней.

— Да это и есть местечко.

— А квартиры свободные имеются?

— У нас стоят офицеры, все помещение занято. — Девушка кокетливо улыбалась, и улыбка ее как будто бы лукаво добавила: «Я знаю, что тебе хочется поселиться поближе ко мне, но это тебе не удастся... Не удастся!»

Мы отошли. А девушка продолжала смотреть нам вслед с той же хмельной улыбкой на губах. И вид у нее был такой завоевательно-дерзкий, как будто не мы, а она вступала в завоеванный город. Может быть, она так же, как и мы, захмелела от солнечного света и горного воздуха?

Поселились мы — втроем с командиром — в просторной опрятной комнате маленького мещанского домика. На стенах зеркала, картины, ковры; по углам мягкие кресла, на комоде безделушки, открытые письма, цветы, статуэтки, молитвенники, часы. Говорят, здесь жила учительница, которая уехала из Рыглицы с переходом местечка в наши руки. Но вещи ее и платья остались, и вся комната носит живой и уютный вид. Я затрудняюсь, однако, определить по обстановке и украшениям комнаты возраст хозяйки. Судя по старым истрепанным молитвенникам, это скорее старушка. О почтенном возрасте их обладательницы говорят и ветхие часы на комоде. В антикварной лавке за них уплатили бы большие деньги.

Вечером заглянул к нам главный врач Новиков вместе со священником и доктором Железняком. Новиков — толстый, огромный, прожорливый, с крошечным черепом хитрого пигмея. Младшие врачи изображают его каким-то чудовищем. Он позволяет себе самые гнусные вещи:

— Я могу вас заставить полы мыть! — кричит он им.

— По какому праву? — возмущаются младшие врачи.

— А вот! — указывает он торжественно на увесистый том дисциплинарных взысканий. — В этой книге все так написано, что я могу с вами сделать все, что мне вздумается.

Он почему-то считает себя либералом и потихоньку от врачей передает мне секретные приказы. Сегодня он всунул мне незаметно секретную телеграмму Радко-Дмитриева о подбрасываемых неприятелем прокламациях.

Все время грохочет пушечная пальба. Протяжным рычанием разносятся выстрелы горных орудий. Изредка долетает с севера, вероятно, из-под Тарнова, глухое буханье тяжелых снарядов.

Приехал ординарец из Тарнова и передал, что по городу стреляли. Выпущено было восемь снарядов. Некоторыми из них разрушен вокзал. Штаб корпуса передвинулся: осколок снаряда упал возле почты. Над городом все время кружился неприятельский аэроплан. Не выяснено, были ли это выстрелы из тяжелых орудий или бронированному автомобилю снова удалось, как в первый день нового года, прорваться сквозь нашу цепь.

4

Ночь была беззвездная. Вместе с Виляновским и Василенко бродили мы по сонному местечку.

Незаметно мы перешли через мостик и очутились на окраине местечка, где расположились обозы. Перед нами развернулась картина, полная глубокого настроения. Неподвижно стояли темные очертания гор. В густом мраке, прорезанном огнями костров, шевелились и плавали людские тени. Фыркали лошади. Гремел по камням ручей. Пугливо вздрагивал воздух от орудийных залпов. То тут, то там обрисовывались отдельные возы, конские морды и серые солдатские группы, выхваченные пламенем из темноты. Мы прошли к костру. На большой охапке сена, завернувшись в шинели, дремали два бородатых солдата, а над головами у них кружили тысячи искр. Трое других сидели на корточках вокруг костра. Четвертый поддерживал огонь, подкладывая заборные колья, и оживленно рассказывал:

— Только мы разгрузились и отъехали с полверсты — как загрохотало и прямо через дорогу бухнуло. Ну, ладно. Едем мы дальше. А оно опять как загудит будто под нашими ногами. Глянули, а уж на вокзале что-то горит. Ну, ладно. Узнали, куда попало, и дальше. Так четыре раза оно грухнуло, и от разу до разу минут по двадцать. Два снаряда через дорогу перелетели, а двумя в вокзал попало. После сказывали, он по городу стрелять начал. Только нам уж не видать было.

Слушали, молчали. Подошел бородатый солдат, покряхтел и неопределенно бросил в пространство:

— Хорошо бы полежать у огня.

— Ложись, где снегу побольше: мягче бокам будет, — шутливо ответил голос из темноты.

Подходили другие солдаты, с тяжелыми бревнами на плечах, складывали у костра свои ноши и молча смотрели в темноту, где огненными волнами колыхались такие же костры, вокруг которых сидели такие же бородатые фигуры. Вдруг, щемя и волнуя, поплыла печальная песня:

Ой не спится в ночь осеннюю,
Льются слезы, слезы частые,
Подкатилось горе лютое,
Подкатилось, присосалося.
Сирота ль ты, сиротинушка,
Горемычная головушка,
Да ты спой-ка с горя песенку
Про житье свое военное.
Не крута гора, не горушка,
Ты тяжка-высока крученька;
Середь поля-долу чистого
Из костей мужицких выросла,
Где катилась речка малая,
Берег с берегом не сходится:
Опоили землю-матушку,
Опоили кровью русскою,
Кровью русской солдатскою.
Уж ты смой, вода студеная,
Ты, студи нам раны жгучие,
Припокровь, сосна зеленая,
Ты головушки победные.

Пение оборвалось. Раздался внезапный треск: это осел домик, откуда таскали бревна.

Фыркали лошади. Гремел ручей. Чутко вздрагивал воздух, сотрясаемый тяжелыми выстрелами.

5

С раннего утра грохочет горная артиллерия. Позиции как будто придвинулись ближе. От каждого удара вздрагивают оконные стекла и отчетливее слышны разрывы. Из-за гор долетает урывками ружейная трескотня. С каждой минутой я все больше вживаюсь в быт войны. Знаю, что где-то за горами, окружающими наше крохотное местечко, тянутся грязные дороги, соединяющие нас с остальным миром. Но с каждым днем эта связь становится призрачнее.

Расхаживаю молча из угла в угол и слушаю, как Евгений Николаевич фрондирует по адресу Брусилова:

— Надо взять под уздцы Брусилова. Это он все зарывается. На кой чорт мы полезли сюда?..

Слова не доходят до сознания. Я мотаюсь по комнате, ловлю бессознательно удары орудий и жду наступления вечера. Я знаю, что в этом теперь будет заключаться вся моя жизнь в Рыглицах: днем я буду ждать ночи, а ночью наступления дня.

За ужином адъютант рассказал о суде над «шпионом». Несколько солдат задержали на позиции человека с бомбами в руках. Доставили его в штаб корпуса. На допросе выяснилось, что он австрийский солдат. По его словам, он лежал в русском госпитале, куда попал после боя. Потом его выписали и отпустили. Выдали ему штатское платье. Надумал бежать. Набрел на наши позиции. Увидел бомбы и взял, чтобы отнести своему офицеру, но был схвачен.

Так как не было никаких улик, на основании которых можно было думать, что он собирался кому-либо причинить вред своими бомбами, и бомбы, действительно, были русские, австрийца оправдали и приказали доставить его в качестве военнопленного в штаб дивизии. По дороге он был убит казаком, которому надоело с ним возиться.

...Прибыл последний эшелон 1-го парка (он тоже шел через Кельцы). Ему приказано расположиться в двух верстах от Тарнова — в деревне Воля Ржепьдинска. 2-й парк по предписанию из штаба попрежнему остается в Тарнове. Не взирая на это распоряжение, Базунов настаивает на переходе 2-го парка в Шинвальд, так как иначе, по его мнению, парк неминуемо будет взорван.

Вообще, настроение у всех довольно унылое. Жалуются на плохие дела и повторяют в один голос, что не видят основания, почему бы им стать лучше.

На питательном пункте в Тухове имеются какие-то сановные сестры. С их слов передают, что до февраля не предвидится никаких перемен: война будет оставаться позиционной. Среди высшего командного состава, говорят офицеры, существует твердое убеждение, что война будет длиться еще долго, но никак не дольше осени.

6

Второй день Тарнов с окрестностями обстреливается из 42-сантиметровых орудий. По счастливой случайности повреждения от снарядов чрезвычайно ничтожны. За обедом получено следующее донесение командира 2-го парка:

Сегодня около 4-х часов дня в 10—15 саженях от парка упал и взорвался неприятельский снаряд весьма крупного калибра. Благодаря тому, что парк был защищен двухэтажным зданием, поражений осколками не было, за исключением одной взводной повозки, в которой разбит бок; люди и лошади были в это время в парке, где происходила вечерняя уборка, и благодаря этому, кажется, потерь, в людях и лошадях не было. Переклички еще не делал, поэтому утверждать не могу. Выяснив, донесу. В силу того, что имею предписание штаба корпуса, в случае обстрела парка немедленно перейти, — я перешел в деревню Ладна, на старый бивак, где жду ваших распоряжений.

Шт.-кап. **Пятницкий.**

Ординарец, привезший донесение, передает, что в городе началась невообразимая паника. Каменный двухэтажный домик впереди парка разрушен. В нем погибло семь человек — евреев. Говорят, внизу в сарае находилась свинья. Сотрясением воздуха ее перенесло на крышу соседнего дома, но не убило. На следующий день стрельба по Тарнову повторилась. Было выпущено четыре или пять снарядов в районе вокзала и центральных улиц. «По слухам» замечена была сигнализация с купола синагоги. Арестовано несколько евреев, президент магистрата и два поляка. С трех часов канонада утихла. Дорога подмерзла. К вечеру наступила мертвая тишина. Местечко как будто вымерло. Кое-где мерцают в домиках тусклые огоньки. Угрюмо затихли горы, и странным, загадочным кажется это молчание после недавней канонады. Офицеры с изумлением спрашивают друг друга: отчего не стреляют? Не подготовляется ли ими прорыв?

Рано разошлись по домам, рано легли в постели. Всю ночь душили кошмары. Снились мне какие-то скрюченные трупы, непролазные дороги, стрельба. Но, когда я просыпался, попрежнему царила мертвая тишина. В пять часов утра я оделся и вышел. Падал снег. Вся земля и горы, и крыши, и деревья были

покрыты белым ковром. Почва подмерзла, и вчерашняя грязь затвердела, как камень. Только шесть-семь часов назад все кругом увязало в непролазных болотах. Грузли зарядные ящики, повозки, лошади. Люди выбивались из сил, чтобы восстановить движение по раскисшим дорогам. Но огромные колдобины и лужи немедленно всасывали бревна, камни, землю, вязки, лозы, хвойные настилки, и по всем направлениям попрежнему тянулась одна сплошная непобедимая жидкая трясина. И вот пришел пятиградусный мороз, дохнул, пронесся холодным ветром и сковал размякшую землю, перекрыл из конца в конец огромным, прочным, устойчивым мостом.

Я шел по дороге. В морозном воздухе гулко разносились мои шаги. Никто не окликал меня в темноте. Ни на площади, ни у парков не было ни одного часового. И мне самому ни на минуту не приходило в голову, что мы в неприятельской стране, что в нескольких километрах от нас расположены неприятельские части, что австрийские разъезды и австрийские разведчики-шпионы шпыряют по всем направлениям и каждое мгновение могут взорвать на воздух и нас, и наши парки, и всю безмятежно спящую деревушку с нашими войсками. Быть может, это молчание было тайным и бессознательным перемирием... И если бы я тут же повстречался с вооруженным австрийцем, мы, вероятно, оба спокойно прошли бы мимо. Долго бродил я по дороге без цели, без мыслей и, придя к себе, уснул крепким сном.

Проснулся в начале одиннадцатого. На столе лежала книга приказов. Между прочим приказ генерала Иванова о шпионах-евреях. Раз пускаются в ход приказы об еврейских шпионах, значит где-то, без сомнения, завелась сильная червоточина и прикрыть ее надо испытанной заплатой — еврейским шпионажем. Старые «козлы отпущения» извлекаются из старых средневековых могил без отвращения, несмотря на то, что они насквозь прогнили. Напрасный труд. В мирное время это, пожалуй, еще вполне пригодный политический громоотвод, привлекающий к евреям молнии народного гнева. Но на войне с такими аргументами далеко не уйдешь, и самая свирепая, самая убийственная антисемитская декларация не в состоянии заменить ни одного пулемета. Пробую заговорить на эту тему с Базуновым, — конечно, дипломатически отмалчивается.

За обедом явился юный прапорщик из 2-й батареи нашей бригады, по фамилии Кучмин. Он был ранен в ногу (случайно, выстрелом из револьвера), лечился в Буске и подъехал с нашим первым парком до Тарнова.

Пригласили к обеду. Стал рассказывать об обстреле Тарнова. Говорит, что стреляют из 16-дюймового орудия.

— Почему вы так думаете?

— Очень просто. Из таких же точно орудий нас обстреливали, когда мы были под Краковом. Там меня и капитана Карпенко оглушило таким снарядом. Снаряд упал в пяти саженях от нас. Мы упали навзничь, головой вперед, и я почувствовал, как меня тянет в воронку. Встал как ни в чем не бывало. Впереди — огромная яма, целая канава. Кругом все живы, только попадали наземь. А саженях в 80-ти в пехотных окопах оказались раненые осколками. Снаряд весом в 47 пудов летит со страшным грохотом высоко вверх и рвется широким веером. В Тарнове я видел воронку, вырытую таким же снарядом: 5 саженей ширины и в 6 аршин глубиною.

Во время обеда пришел Кромсаков — прапорщик двадцати трех лет, член киевского атлетического клуба. Статный, крепкий, веселый, с повадками трактирного остроумца. Был адъютантом нашей артиллерийской бригады, но за самовольную отлучку на пять дней в Тарнов разжалован в обозные. Теперь живет с товарищем у монахинь и лечится от последствий тарновского гульбища. Очень забавно говорит о польской религиозности.

— Везде у них понаставлены идолы. И с такими ужасными лицами, что дьяволу впору, а не святым угодникам.

«А тут, недалеко от Рыглицы под Шипвальдом, на перекрестке, сидит в часовне компания святых, один так руку поднял, как будто по банку хлопнуть собирается.

«Жил я у одного здешнего мужика: старый, больной, жрать нечего, а каждые полчаса на колени бухается.

«Оттого они и голодные, что только богу молятся и костелы строят. В каждой деревушке у них костел, да еще какой богатый, — с двумя ксендзами. Сами с голоду пухнут, а у ксендзов тройные подбородки и шелковые сутаны.

Низкопоклонство у польских крестьян ужасное. Лижут руки, как собаки. В одной хате шестнадцатилетняя девчурка — хорошенькая, прелесть — потянулась к моей руке! Я ей шутя подставил, а она в щеку чмок... Чорт ее знает! Что я — святой?»

У Кромсакова красный темляк и два Георгия. Но он как-то удивительно небрежно говорит о наградах.

— Конечно, всякому Георгия заработать хочется. Но в конце концов это пустяки. Все от того зависит, как написать. Где командир умеет расписать, там и сыплются Георгии. А, может, ничего того и не было, что написано командиром... Вот вы мне лучше помогите подпрапорщика выкурить. Поселился он рядом с нами у монашек и только мешает. Прихожу я к нему сегодня:

« — Убирайтесь-ка вон отсюда! Вы, мол, дисциплины не знаете, в моем присутствии курите.

« — Никак нет, — отвечает, — как же я дисциплины не знаю, если я первый, можно сказать, по чинопочитанию во всем Бендерском полку. Я чинопочитание даже очень знаю.

«И не уходит. Хоть тащи его за шиворот — не иначе».

7

Вечером все вместе пошли в гости в дивизионный лазарет, к докторам. Живут они в доме ксендзов, которые отвели им две комнаты. В комнате ординаторов застал младшего ксендза, — викария, молодого, белокурого, в очках, лет двадцати пяти. Зовут его Марьян Габэла. Лицо бледное, добродушное, мягкое. Сразу располагает к себе и внушает доверие. Кажется, — искренне верующий. Пытается говорить по-русски. Отношения с врачами товарищеские.

Шутят, смеются, похлопывают друг друга по спине, борются, говорят друг другу в лицо печальные истины. Доктора спокойно иронизируют. Молодой ксендз легко горячится и впадает в патетический тон.

— Когда вы в первый раз шли под Краков, — говорит он, волнуясь, — все население Галиции приветствовало вас. Вы забирали скот, лошадей, овес, сено, хлеб. Это было тяжело. Но вы относились к нам хорошо. Мы понимали: война есть война. Не станете же вы возить с собой сено и мясо,

когда все это можно достать в Галиции. И мы давали, а вы за все платили.

Теперь вы все превратились в грабителей и мародеров. Вы забираете последнюю корову и обрекаете на голодную смерть несчастных малюток. Посмотрите на наших детей: они бродят как тени, — голодные, тощие, бессильные. Они тают на наших глазах — и мы не в силах помочь им. Вы вырываете у них изо рта последнюю корку хлеба. Вы издеваетесь над нами. На моих глазах вчера солдаты ваши взяли пару волов и предлагали за них сто рублей. Мужик заплакал: бога вы не боитесь. Тогда солдаты ударили его по лицу и угнали волов, ничего не заплатив. Вся Галиция содрогается при мысли, что вы можете победить. День вашей окончательной победы будет днем революции в Галиции. Вас ненавидят теперь все слои населения. Вы поступаете, как лютые звери. В Дембице ваши солдаты изнасиловали шестьдесят девушек. Это не слухи. Их привезли в Тарнов для освидетельствования, и позор их удостоверен вашими же врачами. У нас в Рыглицах десять солдат в течение ночи насиловали 32-летнюю женщину, к утру она умерла, замученная ими. А вот уже подлинное варварство, от которого пахнет чистейшим гунном: в пяти верстах отсюда ваши солдаты изнасиловали 60-летнюю старуху!».

У ксендза выступают слезы на глазах. Доктора, чтобы рассеять неловкость, отшучиваются:

— Как бы там ни было, а победа останется за нами.

— Кто знает? — уже шутливо в тон им отвечает ксендз.— Был я сегодня в Тухове. Рассказывали мне там, что наши пошли в атаку и захватили батальон ваших новобранцев.

— Держи карман, пан викарий, — смеются доктора. — Это ваши все в плен сдаются.

— Сдавались, а теперь конец. Больше на это не надейтесь.

Я оставил пикирующихся докторов и пошел на другую половину — к пану пробощу. Я сразу узнал его: это тот самый ксендз, которого мы повстречали два дня назад при входе в костел. Личность чрезвычайно интересная. Тип иезуитского ксендза старинного склада: нервный, умный, насмешливый, превосходный спорщик и талантливый актер. У него прекрасно наметавшийся глаз, сразу прицеливающийся...

к собеседнику. Беседовать с ним — громадное наслаждение. Ни одной ложной интонации, ни одного фальшивого звука вы не услышите от него. Говорит он уверенно, ярко, как искусный оратор. И кажется, что кудрявая, черная, чуть посеребренная сединой голова его битком набита интересными мыслями.

В разговор он берет человека сразу, психологически оглушает его, так сказать, своей неожиданной прямотой, в которой все великолепно обдумано и рассчитано.

Едва я вошел к нему, он обшарил меня своими живыми, блестящими, черными глазами с головы до ног и, вежливо сгибаясь, сказал густым, приятным, ласковым баритоном:

— В Кракове есть комендант, полковник Альбори, командир 2-го гвардейского корпуса. Если бы вас поставить рядом с ним, то родная мать не отличила бы, который из вас обоих ее сын. Вы итальянец, конечно?

Ксендз перехватил мою улыбку, отразил ее в собственных глазах и продолжал с эффектной торжественностью:

— Быть может, вы сами того не знаете. Но ваш римский профиль раскрывает ваше происхождение под платьем русского капитана. Кто знает, не потомок ли вы одного из тех воинов, которые под командой Юлия Цезаря истребляли белокурых германских варваров? Или, может быть, предки ваши произносили зажигательные речи к народу на римском форуме? Вы не чувствуете их присутствия в себе в настоящую минуту?

— Итальянец я или нет, пане ксендже пробоще, я обладаю римским носом и профилем на законном основании. Но откуда у вас, скромного галицийского служителя церкви, облик и темперамент испанского тореадора?

Ксендз мечтательно посмотрел на меня, и, точно доверяя мне сокровеннейшую тайну, сказал с подчеркнутой искренностью в тоне:

— Меня зовут Якуб Вырва, и предки мои все Вырвы — чистейшие поляки. Но в числе моих прабабок имеется одна «жидувка» — крещеная еврейка, в жилах которой, весьма возможно, текла испанская кровь.

— Так что, кто знает, пане Вырва, — быть может, вы не только духовный сын, но и прямой наследник одного из князей святейшей инквизиции? В настоящую минуту вы не

чувствуете ли в себе присутствия ядовитого духа святейшего инквизитора Торквемады?

— Пан капитан смеется. А я скажу вам, что дух Торквемады господствует теперь над всем миром. Вся Европа видит дурные сны, которые навеяны инквизиционными ужасами древнейших времен. И сны эти хуже самой мрачной действительности. С тех пор, как началась эта проклятая война, я точно чувствую себя укушенным ядовитой ехидной. По утрам, когда я встаю, я избегаю смотреть на себя в зеркало. Мне стыдно смотреть себе в глаза. Я спрашиваю себя: в какие времена мы живем? Кто мы? — монгольская орда? язычники? варвары? И это называется культурой? Для чего же все исторические, политические и религиозные жертвы? Куда девались все бескорыстные служители идеалов? Где принципы 30-го, 48-го года? Для чего были пролиты потоки лучшей человеческой крови во имя свободы, гуманности и братства? Что же, стало быть, цивилизация, — это только завоевательные наклонности, захват, коварство и взаимное истребление? До чего дошел мир, если от интеллигентных людей ежедневно, ежеминутно слышишь: «О, это культурная нация! Посмотрите, какая у них армия, какой флот!».

«Символ современной культурности — скорострельная пушка!

«Сотни и тысячи лет стоит мир, сотни лет человечеству проповедуют о боге, о справедливости, о любви, а в результате — пушки, мортиры, пулеметы. Деньги, взятые с нищих и голодных, под видом налогов и податей, — превращают в чудовищные снаряды для истребления таких же нищих и таких же голодных, но одетых не в синие, а в серые шинели. Каждому хочется других заставить, принудить, запугать. Для этого люди врываются в чужие города, превращают костелы и училища в конюшни, обрекают на голодное умирание крошечных детей и с утра до ночи сотрясают леса и горы грохотом пушек. А вы пробовали подсчитать во что обходится миру один день такой канонады? Я подсчитал. И я скажу вам, что денег, растрачиваемых воюющими державами на море и на суше в течение одних только суток, хватило бы на покрытие школами, библиотеками и приютами всей Галиции.

Пусть люди перестанут стрелять друг в друга, и деньги, расходуемые на снаряды и пули, превратят в полезные знания, на защиту угнетенных и слабых, — тогда на земле тотчас же настанут блаженные времена; воцарится тот золотой век, о котором мечтают все религии мира».

И вдруг, уставившись на меня с таким выражением, как будто он обращался ко мне за окончательным разрешением всех сомнений, сменив восторженный тон на будничный и чрезвычайно смиренный, он осторожно бросил:

— Согласны вы со мной, пан капитан?

— Во-первых, я не капитан, а доктор, а во-вторых... во-вторых, почему вы знаете: может быть, мы оттого и воюем с вами, представителями скорострельной культуры, что перед миром вдруг обнаружились с такой мучительной фальшью разрушительные и разлагающие силы милитаризма? Если вы сами, будучи служителями церкви, уже не верите больше, что людям дано укрепляться духом в страдании, то не значит ли это, что старая вера умерла? Что среди разрушительных элементов старой культуры зреют какие-то новые семена? Что люди предчувствуют нечто новое, во имя которого стоит проливать потоки человеческой крови...

Я вдруг остановился. Ксендз смотрел на меня злыми ироническими глазами и громко, язвительно, откровенно хохотал мне в лицо. Но тут же, вежливо изогнувшись, он заговорил с прежней страстностью:

— Так вот что означает это избиение младенцев и насилование старух? Насаждение новой культуры? Так! И это вы, русские капитаны и русские полковники, в союзе с русским казачеством несете Германии и Австрии свет истины? Извините, пан доктор! Я знаю: в России есть много благородных и высоко образованных людей. Вы очень талантливы от природы. Но ведь вы еще обретаетесь в зародыше. По сравнению с нами вы — дикари, вы — варвары! Вы не доросли еще до грязной, изношенной обуви на наших ногах. Вы барахтаетесь еще в тине татарского невежества. Я расскажу вам небольшой эпизод. Пусть это останется между нами. С месяц назад у меня остановился проездом один очень известный ваш генерал. Мы разговорились, разоткровенничались. И вот я обратился к нему

с откровенным вопросом: отчего вы не строите школ в России? Отчего не даете вы просвещения вашему умному, крепкому, но такому еще темному народу? Знаете, что он мне ответил? — «И Вавилон, и Греция, и Римская империя, — заявил он с величайшим апломбом, — были счастливы и могущественны лишь до тех пор, пока просвещение не коснулось низов. Дорога к потрясению государственной мощи лежит через народную школу. И доколе мы в силах, мы постараемся уберечь наш народ от ваших европейских бацилл».

«Вы понимаете, пан доктор, что я далек от желания уподобить вас этому генералу. Но поверьте, много еще русских ученых, писателей и бунтарей разобьют себе головы о медные лбы ваших Пуришкевичей. Да и что все ваши отрицатели, нигилисты, журналисты, либералы, скептики, социалисты по сравнению с этой генеральской твердыней?.. Вся Россия, это — тюрьма. Замкнутая, заколоченная, без света. Где люди сплотились и доросли до силы каменной глыбы, но еще не доросли до понимания простейших человеческих истин.

«Когда я слушал рассуждения вашего генерала о судьбах Вавилона и Греции, я — признаюсь вам откровенно — думал: и эти господа сулят нам освобождение Польши! Нет, такого освобождения нам не надо».

— Вы очень верно судите и чувствуете, пан каноник. Ваши мысли единят вас с лучшими людьми моей родины. Но не старайтесь же затушевать основу вопроса. Ведь именно ваша Европа не верит ни этому благородству, ни этому великодушию. Она верит только в могущество капитала и пушек. К этой заветной цели она движется твердо и неустанно, пуская в ход бесчестность, коварство, истребительные машины и беспощадную ненависть. И надо же положить конец этому новейшему варварству... Не так ли?..

— О, конечно, пан доктор. Не думайте, что вы видите перед собою наивного поклонника Европы. Я ненавижу немцев не меньше, чем они нас: они не забыли Грюнвальда и до сих пор со страхом косятся в нашу сторону. Но я изучаю их язык, потому что это вручает мне ключ к тем знаниям, которыми они владеют. Приобщаясь к их нравам, к их культуре, я овладеваю их собственным оружием. И напрасно вы думаете,

что Германию можно победить теми средствами, которыми владеете вы. Вы — только пушечное мясо в этой игре, где Англия играет вашими головами. И если победа останется на вашей стороне, то плодами ее воспользуется только Англия.

«Мне даже кажется, что Россия совсем не задумывалась над мыслью, зачем она воюет? Ну, скажем, вы, затратив миллиарды денег и миллионы жизней, получите, наконец, Галицию. К чему она вам? Мне говорили, что если поехать от австрийской границы до конца ваших владений на Камчатке, то путешествие это будет длиться 48 дней. 48 дней и 48 ночей железнодорожного пути будет тянуться все Россия, Россия... Какое же значение может иметь для вас прирезка Галиции? Это все равно, что второй носовой платок для моего костюма. Нет, вы просто игрушка в руках коварной Англии».

8

Жуткое впечатление пережил я сегодня в брошенных окопах. День был солнечный, светлый. Мы шли по горным дорожкам и широким межам, нырявшим из ложбины в ложбину. Просторные дали то свертывались, задвинутые холмами, то опять раздвигались. При свете солнца ясно голубели горы, покрытые темнеющими лесами; глянцевито-белым блеском сверкали далекие снега. И совсем далеко впереди, на высотах, виднелась ровная, убегающая цепь горбатых окопов. Высоко над нами раскинулось небо — голубое, спокойное, торжественное. В ушах раздавалась странная музыка: это рвались шрапнели.

Мы шли по холмистым уступам, вдыхая вольный воздух Карпат. Навстречу нам попадались крестьяне, учтивым поклоном спешившие выразить свою покорность. Вереницей тянулись горные парки со снарядными лотками через седло. Неожиданно вырастали отдельные домики, в тесной ложбине. Вдруг на гребне горы, чуть прикрытые ельником, развернулись двумя огромными цепями окопы. Они были оставлены совсем недавно. Всюду валялись патроны, гильзы, рваные патронташи, отрезанные солдатские рукава и голенища, штыки, винтовки, подсумки, осколки снарядов, обоймы, коробки из-под консервов, шрапнельные стаканы, обрывки писем и свежие насыпи

с крестами. На некоторых крестах простые надписи: «Рядовой 280-го Сурского полка, крестьянин Таврической губ., Мелитопольского уезда, Афанасий Позняков и фельдфебель Григорий Червонихин. Убиты 20 декабря». Возле одного из окопов возвышался могильный холмик, отмеченный небольшим сосновым крестом. На кресте висела простреленная солдатская фуражка, а под ней полустертая надпись карандашом: солдат Кромского полка. Умер геройской смертью 22 декабря, спасая друга. Оба убиты».

Сейчас же за двойной цепью наших окопов, шагах в шестистах расположились окопы австрийские — с характерными коридорами, брустверами и траверсами. Здесь была совершенно такая же картина. Только вместо серых лохмотьев валялись обрывки синих шинелей; вместо белых узких обойм — двойные, широкие, из черной жести, вместо трехгранных штыков — плоские, широкие ножи, вместо желтых консервных банок — белые, вместо русских писем — немецкие и польские, но с теми же нежными словами: дорогой, коханый, милый, любимый. Сколько солдатских писем разметано ветром по всем ложбинам Карпат, по грязным галицийским дорогам...

Мы подобрали несколько писем в окопах, грязных, измятых. Одно из них большое, во многих местах сильно перечеркнутое — не отправленное письмо офицера. Или, может быть, набросок письма, черновик. Оно очень длинное, писано под новый год и набрасывалось второпях. Думаю не совершу нескромности, если приведу несколько отрывков из этого письма. На нем лежит печать того фатализма, которым отмечена психология всех воюющих.

...Прошу вас, внимательно прочтите это письмо. Я не ожидал, что вы напишете... Удивляюсь. Но получил: значит, вы меня помните. Это хорошо. Но этого мало. (Боже, как мало!). Мне казалось: мы с вами два разных магнитных полюса. Виноват, я не магнит и вообще нечто совершенно противоположное вам. Я живо помню мое знакомство с вами... Я тогда способен был совершить что угодно, лишь бы разговаривать с вами. Я ушел от вас, опьяненный восторгом. Встречаясь потом с вами, я всегда находился в особенном состоянии: я горел... Всего этого я не в силах забыть даже здесь. Только вы (вы одна) так действовали на меня. Больше никто, никогда. Вы не старались так сжигать меня — выходило независимо от вас. Все это вышло само собой. Не вы того хотели, этого хотела сама судьба.

Во время мобилизации вы встретили меня — и таким тоном, как будто я для вас самый обыкновенный знакомый, бросили мимоходом: едете?.. Может быть, вернетесь калекой? — Это было грубо. Если это так—оставьте меня, с моими страданиями. Или вы мне скажите: я хочу быть с вами безгранично-искренней. Или я услышу от вас: я вам не компания, и умирайте, не достигнув того, чего жаждали всей душой. Другого исхода у нас с вами быть не может. Поймите: мы не принадлежим к обывательской породе... Вот чего я жду всем существом своим. Простите банальную чувствительность: вы для меня дорогое воспоминание виденного издали рая. Тот сад, благоухающими цветами которого я любовался издали. Но меня не пустили в этот сад: я там был лишний. Теперь великое мировое дело. И я участник этого тяжелого дела. Но вас не могу забыть. Я часто вспоминаю о вас. Вспоминал вас вчера, вспоминал то письмо, которое вы написали мне еще из Курска. Перебирал все наши встречи, и страшно; сегодня получил от вас новое письмо, которое, я считаю, написано только из любопытства и... все наши встречи, и странно: сегодня получил от вас новое письмо, которое, я считаю, написано только из любопытсва и... спешу удовлетворить его. Поздравляете с новым годом? Благодарю вас — и вас так же поздравляю. Интересно вам от нечего делать узнать, что со мною? Я еще жив, и кто знает, быть может, и буду калекой. В Гомеле я сформировал полк и теперь командую им. Много людей, лошадей, пулеметов, а боя никакого. Раньше было мучительно много дела. Бились у Новой Александрии, бились у Кракова. А теперь находимся около Т—ва. В горах. Живу уже три недели в одной халупе (так называются сельские домики в Польше), у поляка-слесаря! В одной тесной комнатке нас шесть человек офицеров; раньше было много движения, почти каждый день и ночь. А теперь отдыхаем. Людям много теплых вещей присылают. Денег тоже много. Корм хороший. Теперь стоим против противника, окопались, и идет маленькая перестрелка. Не то было прежде: гром пушек, непрерывная трескотня ружей и пулеметов. Сейчас затишье. Довольно сильные морозы и большой снег кругом. Описать вам Карпаты? Нет, лучше признаюсь в маленькой нескромности: иногда я позволяю себе мечтать, что после войны мы побываем здесь вместе с вами. Теперь я ношу костюм австрийского офицера. Этот маскарад тоже считают одним из условий нашей победы... Нас не забывают. Это внимание сердечное, искреннее, безкорыстное, эта память о людях, из которых многие не вернутся, — трогает сильно. Необходимо, чтобы мы победили теперь. Хотя бы стоило это потрясающих жертв. Иначе все время будем находиться под угрозой сильного противника. Понемногу учусь говорить по-венгерски и по-польски. Моим успехам содействует хозяйка. Молодая, бойкая женщина. (Мы

с ней большие приятели. Часто говорим о любви. Но это флирт безопасный.) В нашем полку есть много раненых. Временами нам приходится очень плохо. Русские совсем не такие орлы, как это изображают наши газеты. И война совсем не такая приятная забава, как это рисуется нашим генералам.

Кажется, ваше любопытство удовлетворил? Это для вас сделал я исключение. Я пишу только тем, которые мне пишут не только из любопытства или из вежливости, а действительно интересуются мной. Если хотите, напишите, и я буду с вами переписываться так, как с моим другом-женщиной. Это письмо много продумано моим слабым мозгом. Потому, прошу вас, прочтите внимательно и отвечайте тоже совершенно искренне. Если не поймете, это будет означать «нет». А если поймете, должны написать «да». И тогда мы будем до встречи жить воображением, которое будем корреспондировать друг другу; а потом встретимся. Если судьба разделит нас физически, если буду убит — я верю: вы все-таки сохраните для меня в горе о потерянном. Вам это непонятно? Вы знаете, здесь, на войне, человек о многом научается думать по-иному. То, что вам, далеко от грома пушек и ежеминутной возможности умереть, кажется пустым и неважным, то для нас... Впрочем, не буду нагонять на вас... Ведь вы...

Итак, с новым годом!

Дома застали приказ из корпуса: в срочном порядке приготовить и сдать «журнал военных действий». Пишу всю ночь напролет: некогда оторваться от стола. Вспоминается весь пройденный путь: бесконечные отступления, паническая суета под Красноставом, шрапнели над парком, величественные летние ночи под звездным небом, изрытые окопами поля, тысячи раненых, братские могилы, дождливые осенние ночи, сожженные города, деревни, посады, фольварки, избы, мучительные дороги, лесные дебри, непролазные топи, головоломные кручи, пески, овраги, и опять леса и болота, леса и болота без конца, изнуренные и голодные люди, груды конских и человеческих трупов, валяющихся придорожной падалью, вонючие, грязные стоянки, хилые дети, испуганные крестьяне, заплаканные и трагически-безропотные евреи, погромы, голь, нищета и глухие проклятия войне, солдатам, судьбе и жалкой человеческой доле.

После обеда явилась депутация стариков к Базунову. Кланяются в пояс.

— В чём дело?

— Из окрестных деревень. От солдат житья нет. Все ломают, грабят, по ночам врываются в дома — требуют денег, угоняют скот, лошадей, воруют подушки, вещи, ни одной бабе проходу не дают, даже старухам.

Базунов послал рапорт в дивизию с извещением, что для охраны населения в Рыглицах им приняты меры, но оградить окрестное население от солдатских грабежей он не в состоянии и просит командировать в его распоряжение полуроту солдат, для несения караульной службы в окрестностях.

— Вот теперь-то и взвоют жители, — заметил Базунов, — эта полурота всю ночь грабить будет.

— Зачем же вы хлопочете о присылке?

— А что же прикажете делать? Не напишешь рапорта, еще под суд попадешь.

Отношение жителей резко изменилось: они стали менее разговорчивы и иногда отпускают какие-то загадочные замечания. В прошлое воскресенье ксендз-пробощ обратился к прихожанам с проповедью: о хранении секретов. Я не слыхал этой речи, но, как передавали лазаретные доктора, говорил он с обычным театральным подъемом и в порыве ораторского увлечения сравнил болтливых женщин с убийцами, которые поражают из-за угла доверчивых друзей. Доктора много смеялись над патетическими гиперболами проповедника, хотя тут же добавили:

— Ксендз Якуб Вырва даром не увлекается.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что под секретами он разумел, конечно, не семейные тайны пани Сикорской или похождения панны Компельской со старым Вуйком. Вероятно, им имелись в виду другие «секреты» и другое «предательство». И слушатели отлично понимали, на что намекает ксендз.

Я пробовал расспрашивать жителей, о чем проповедывал им ксендз, но они сурово отмалчивались. Дочь нашей хозяйки на что-то намекала в разговоре с Базуновым. Спрашиваю у нее:

— Что вы рассказывали полковнику об австрияках?

Вздыхает и говорит с сокрушением:

— Австрияки тут совсем близко. В Журове уже пули летают. Жители удирают оттуда. А с востока вас обходят мадьяры: хотят отрезать всю вашу здешнюю армию

— Кто это вам сказал?
— Говорят.. Говорят, все обозы и парни скоро уйдут отсюда.
— Кто же может сказать про это и кто это вам сказал?
— Это, пан доктор, секрет. Этого я вам сказать не могу.

9

— Ну-с, сегодня 17-е, а мира все нет. Будем ждать, что принесет нам 18-е, — полуиронически, полусердито бросает в пространство Базунов.

Я молчу. На душе пасмурно. За дощатой перегородкой, в кузнице слышны солдатские разговоры. Молодой, веселый голос:

— Завтра мир будет.

Кто-то угрюмым басом отвечает:

— Дурак скажет!

— Сам дурак, — весело огрызается первый.

— А ну, побожись!.. А ну, побожись!.. Не хочешь? — торжествует пессимист.

У бойкого солдата чешется язык. Он вдруг меланхолически заявляет:

— Что-й-то мне баба не такое пишет.

— Поела вареников и тяжелая стала? — угрюмо иронизирует пессимист.

Минута проходит в молчании. Веселого малого поддразнивают, и он затягивает разухабистую песню:

По улице мостовой
Ходит парень молодой.
С виду парень — тыща тыщ,
Между прочим гол как прыщ.
Носит драповый бурнус
Да на рыбьем на меху-с.
Ветер дует-поддувает
И карманы надувает.
Блещет рыбья чешуя,
А в кармане ни шиша.

У кузни собираются солдаты. Слышатся одобрительные возгласы:

— Ой, елки зеленые, палки дубовые!..

Пример веселого солдата заразителен, и три голоса затягивают хором любимую артиллерийскую:

Выходил приказ такой:
Становиться бабам в строй.
  Эй, Тула, пер-вернула,
  Подходи-ка, баба, к дулу!..

Становитеся, мадам,
Поровняйтесь по рядам!
  Эй, Тула, пер-вернула...

Пятки вместе, носки врозь,
Гляди весело, не бойсь!..
  Эй, Тула пер-вернула...

Бабы-дуры хлопотали
На поверку опоздали,
  Эй, Тула, пер-вернула...

Та, пошла за ездового,
Та за номера второго
  Эй, Тула, пер-вернула...

Прицел тридцать, трубка три,
В середину наводи.
  Эй, Тула, пер-вернула..

Пушка первая палила —
Баба землю носом взрыла.
  Эй, Тула, пер-вернула..

А в орудии втором
Пер-вернулась кверху дном.
  Эй, Тула, пер-вернула...

А Матрона баба-дура,
Привязала ногу к шнуру.
  Эй, Тула, пер-вернула...

А у тетушки-Малашки
Нет ни пояса, ни шашки...
  Эй, Тула, пер-вернула...

К поющим присоединяется несколько новых голосов. Одни и те же куплеты повторяются по многу раз. Гремят кузнечные молотки. Бьют копытами лошади. Звенит в воздухе ругань. Горланят пушки. Дребезжат проезжающие ящики, обозные телеги, кухни. Срываются с коновязи лошади, приведенные для ковки. Слышится топот солдатских ног и бешеные крики вдогонку:

— Держи, лови!

Ординарцы лениво покачиваются в седлах, ожидая пакеты,

и сквозь зубы величественно делятся сведениями «из штаба».

— Китай поне войну объявил.

— Вчера шпеопа пымали.

Кто-то торопливо передает на бегу:

— Их благородию, прапорщику Левицкому, умыться дай!

В воздухе непрерывно слышится:

— Хлеб Переяславскому!.

— Гони, ребята, за сеном!

— От Кромского? получай!

Грохот, суета, конское ржанье, скрип, треск разламываемых заборов... Боевой день на биваке в полном разгаре.

...В окружающей жизни не чувствуется никаких перемен. Все так же скрипят обозы, все так же постреливают мортиры и пушки. Снуют ординарцы. Лениво плетутся фуражиры с сеном. Только на лицах крестьян читается скрытая насмешка, и нет в поклонах прежней учтивости. Или это нам только кажется?

От скуки едем кататься. Бугристые снежные поля. Овальные уступы, вздувшиеся как огромные, белые пузыри. На молочно-белом снегу резко чернеют щетинистые леса. Свернули с дороги в целину. Освещенные потоками солнца волнистые дали горят миллиардами серебряных искр. Ветер обжигает лицо.

Сани мчатся. Сильные, рослые лошади крепко бьют по скрипучему снегу. Солдат-ямщик молодецки гикает. Обгоняем обозные возы, ординарцев, лазаретную линейку. Сани быстро скользят по крутому спуску, взбегают вверх по холмам, и мы в гостях у лазаретных врачей.

10

Всю ночь грохотали пушки. Часа в три я проснулся от каких-то звуков. Было тихо. Только где-то совсем близко, как будто над самой головой отчетливо потрескивали ружейные залпы: та! та-та! та-тà! та-та-тá! Под эту трескотню я вскоре уснул. Проснулся в начале девятого. Гремели горные орудия, сотрясая воздух хриплым, гортанным ревом. Казалось, по огромному чугунному котлу кто-то гулко ударяет молотом, и котел, издав протяжный стон, шурша, как лавина, катится с высокой горы, и где-то далеко внизу разбивается на тысячи осколков.

Не могу решить, позиции ли придвинулись ближе или ветер разносит горное эхо. В окнах светит яркое солнце. Лужи талого снега покрывают шоссе. Ветер треплет деревья. Как всегда, стрельба рождает нервное возбуждение в людях. Первыми откликаются наши соседи-кузнецы. Молотки их как-то особенно звонко стучат по железу и, прилаживая подковы к копытам, они с грозным азартом набрасываются на лошадей:

— Чего расходился, леший! Мало учили тебя, стерва!..

Возле кузницы, по обыкновению, клуб. Надо, не надо и конные и обозные замедляют перед кузницей шаг, обмениваются новостями, расспрашивают о дороге, о землях, об убитых и едут дальше. Ординарцы также считают своим долгом «на минуточку» спешиться перед клубом, и пока кузнец оценивает опытным глазом, скоро ли понадобится перековать лошадь, ординарец делится содержанием диспозиции или приказа, который он везет на позицию из штаба.

Сегодня перед кузницей особенно сильное оживление.

— Ноне всю ночь «он» по всей позиции страсть как наседал, — говорит какой-то солдат с явным намерением поскорее вызвать на откровенность ординарца.

— Мир заключают, — иронически вставляет другой.

Слово «мир» моментально развязывает языки, и кто-то из кузнецов солидно и деловито обращается к ординарцу:

— А что, про мир ничего не слыхать в дивизии?

— Про мир сказать не могу, — отвечает ординарец с Георгием, — а что бой ожидается — это верно. Гонят сюда два полка на подкрепление, из-под Келец идут. Я вон приказ привез из дивизии, чтобы тут их разместить по халупам.

— Где же тут два полка, здесь и роте деваться некуда, — протестуют обозные.

— Верно придется обозы на позиции передвинуть, — с насмешкой отзываются пехотинцы.

— Эге! — с воодушевлением вмешивается артиллерийский солдат, дожидающий очереди у сломанной повозки, — тут такая теснота скоро пойдет: сюда, слышь, 5 батарейных резервов гонят, да 21-го дивизиона мортирный парок идет. Один мортирный в 33-й дивизии остался, а другой — к 70-й придали, да на позицию выкатили. Вот его парок и сюда, значит.

— Тут и донская сотня из 10-го корпуса стоять будет,— заметил казачий ординарец.

— Из чужого корпуса? Ишь ты!.. Не шей дубленой шубы — попадешь ко псам в зубы...

— Вот гусь моржовый! — обиделся казак. — Меня для связи сюда прислали. Для штаба донской 10-й дивизии помещение занять здесь приказано!.. Понимаешь, дурак?

— В тебе ума много, да дома не ночует... Вишь, что придумал! — заволновались обозные. — Еще казаков сюда?! Тут и самим нам голой соломы нехватает. За пятнадцать верст за фуражом ездим. Ни скота, ни сена, ни дров. И пекарни тут, и батареи тут, и парок, да обоз Переяславского, да Кромский обоз. Еще донскую сотню туды к чортовой матери!..

Между тем бой разгорается. В воздухе точно щёлкают тяжелые, металлические бичи. И от этих ударов все быстрей и быстрей закипает движение людей, повозок, зарядных ящиков, обозов, кухонь, лазаретных фургонов, артиллерийских двуколок, денщиков, ординарцев и проезжающих офицеров. Все подтянулись, подбодрились, спешат и обгоняют друг друга. Вдоль шоссейной дороги, позади и впереди несется непрерывный скрип колес, цокают подковы, хлопают кнуты, звенят оглушительные ругательства. Среди всеобщего грохота и гула вдруг вырывается неистовым воплем:

— Шагом! шагом! распротак-то и так твою мать!..

Выделяются одиночные, пронзительные голоса. А затем опять катится дальше по шоссе и по всем боковым дорогам плотная, гулкая лавина колес, копыт и ящиков, подстрекаемая ругательствами и резкими ударами пушек. С каждой минутой настроение тревожнее.

— Понимаете, как гвоздят! — перебрасываются отрывистыми замечаниями офицеры.

— Да. Уж это недаром. Ишь, как «чемоданами» кроют!

И все жадно всматриваются в каждого ординарца: уже не везет ли приказ о передвижении?

За обедом опять тоскливые вздохи. Базунов предается юнкерским воспоминаниям.

— Да скоро ли война кончится? — вырывается чей-то вздох.

Базунов таким тоном, как будто об этом и шел все время разговор, меланхолически заявляет:

— То-то и оно, что не скоро. Тут двести раз околеешь прежде, чем война кончится. А мира-то никакого не будет. Десять лет будут воевать, подлецы! Им что? Главное артиллерийское управление — на театре военных действий... в Киеве! Каково придумали, подлецы! На театре военных действий в Ки-е-в-е!

Офицеры апатично потягиваются. Кто-то обращается к денщику Базунова:

— Кубицкий, ударь меня по затылку!

Кубицкий улыбается простецкой улыбкой и плутовато рапортует:

— Як бы водка була — пьяный напывся б — може осмiлився б мужик и вдарив бы их высокородие. [1]

— Ну, не хочешь, — тебя ударю.

— Тэж я и кажу: вдарьтэ меня враз по хребту, ваше высокородие! Нам, мужикам, цэ — найлучше ликарство, щоб язык ны телепкался дуже худко. [2]

— Молодчина! — говорит Медлявский.—А что тебе подарить за это, чего хочешь?

— До дому хочу, — смеется Кубицкий.

— Скажи на милость, — говорит Базунов, — и Кубицкому воевать надоело.

...Вечером, вернувшись с прогулки, я застал пакет на мое имя, присланный с экстренным ординарцем и помеченный: весьма спешно. Пакет заключал в себе краткое предписание: «выехать немедленно в сопровождении фельдшера в штаб дивизии». Было уже после девяти. Я устал, хотелось отдохнуть. Но делать нечего. Приходили в голову всякие тревожные мысли. Через двадцать минут была подана артиллерийская повозка, устланная соломой, и пара рослых жеребцов—Шикарный и Шикардос — умчали нас из Рыглицы.

---

[1] Кабы водка была, напился бы я допьяна и, пожалуй, осмелился бы мужик—ударил бы ваше благородие по затылку.

[2] То-то и я говорю: ударьте меня как следует по хребту! Для нашего брата, мужика, нет лучшего средства, чтобы язык чересчур не шлепался.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОД ТАРНОВОМ

1915 ГОД
ФЕВРАЛЬ

1

— Извините за выражение, дозвольте вас спросить — вы же юрист, господин доктор, вы же в газетах пишете — по причине каких препятствий брошены мы без полного предписания насчет распоряжения касательно срочной командировки?

Так фельдшер Тарасенко, со свойственной ему витиеватой изысканностью, выражает свое недоумение по поводу нераспорядительности дивизионного врача. Третий день мы находимся при штабе дивизии, двадцать раз обошли все канцелярские столы, но нигде не можем добиться, для чего нас сорвали с места. Отсылают к дивизионному врачу, который находится в безвестной отлучке.

— Вы бы, Тарасенко, узнали у писарей, куда он девался.

— Узнавал.

— Ну и что?

— Извините за выражение, как говорится, чорт его знает. где он есть. Толкуют, в командировке.

Живем «на съезжей», как называют офицеры просторную избу, в которой скопилось человек десять таких же неудачников, как мы. Из обозов, из полков, из бригад. Все дожидаются назначения. «На съезжей» грязно, накурено и шумно. В одних рубахах, засучив рукава, за длинным столом офицеры режутся в карты. Банкомет — пехотный полковник с лисьей мордочкой Тут же сестра милосердия, — полная, круглая, румяная; «свеже покрашенная», как говорят о ней офицеры. Она разыскивает пропавшего мужа. Ночует она у хозяйки за перегородкой и несет

обязанности офицерской экономки «на съезжей». Два молоденьких подпоручика, давно проигравшихся в пух и прах, уныло потренькивают на балалайке и, не считаясь с сестрой, угощают друг друга похабными прибаутками.

— Господа офицеры! Складывайте ваше оружие, кушать будем, — громко приглашает сестра.

На стол подается дымящаяся кастрюля. Откуда-то появляются графинчики и стопки. Офицеры крякают, потирают руки и весело чокаются.

— А вы, сестрица? — лукаво подмигивает полковник с лисьим лицом.

— Не пью.

— Воспрещено по болезни?

— Сроду не знала я болезней и теперь не знаю, какие-такие болезни бывают, — не смущается сестра.

За обедом она чувствует себя царицей собрания, хохочет, кокетничает и тараторит. Язык ее работает с расторопностью пулемета, и речь ее отливает всеми цветами патриотической радуги.

— Ах, в последнее время, — говорит она, презрительно поджимая губы, — я совсем потеряла веру в немцев. Их пушки, их машины — все это чепуха. Нашлепают их, нашлепают — а они со всеми своими пушками удирают. Вот русские наши — каждый герой!

— А по-моему, — басит усатый штабс-капитан, — по-моему немцы молодцы! Идут густым строем, но молодцы!

— Великая штука, — презрительно парирует сестра, — пьяные! От каждого немца воняет эфиром. Хлороформ их совсем не берет.

Офицеры смеются:

— Ну, так немцы от трусости пьют.

— От трусости? Я этого не думаю.

— Да, это верно, положим, — сразу сдается сестра и горячо продолжает: — знаете, сколько я работаю в госпитале, с начала войны работаю, а пленных я не видала немцев. Раненых, тяжело раненых — видела. А пленных — ни одного! Вообще, немцы молодцы! Немцы, мадьяры. Мадьяры — на перевязках — вот выносливые! Евреи — всегда евреи. Польские, русские,

итальянские евреи — начнешь ему иодом смазывать пустячную рану, а он—вай-вай-вай... Мадьяр зубы стиснет — ни слова не вымолвит... Выносливые мадьяры и немцы—в плен не сдаются. В каких местах была — под Опочно: там ведь все немцы. Пленных вот не было! Не было. Сколько я не работаю...

— Значит, и за границей не все дураки да трусы, — иронически замечает широкоплечий артиллерист.

— Удивительно как за границей хорошо — тьфу! Ну, пускай разорили города. А станции — какая же это мерзость! Вы только взгляните. Так все чуждо, так отвратительно.

— У немцев все раздуто, все рекламно. Тарнов, например, что это за город? Все старьем пахнет, вонь. А так называемые бани здешние — суньтесь. А вагоны? Фу! Какая-то мерзость. А концы- то какие? Шесть часов едешь и — уже! приехали. А хвастовства-то!.. На целый месяц. Вот наш сибирский экспресс — это красота! Едешь, как в салоне. Даже в Бродах красиво — потому что это русское! А Львов? Русские все хвастают: мы Львов забрали! Приехала я во Львов — наш Житомир в десять раз лучше! Вот уж как у нас говорят — хоть гирше, абы инше... Все раздуто, рекламно. Из-под палки все делают, по приказу! А такой культуры, чтобы сама природа делала — нету! И не будет у немцев!

— Пустяки комбинация! — задорно смеется артиллерист. — Да вы, сестрица, кушайте, не огорчайтесь. Ведь зато во Львове и в Тарнове сестричек сколько! И какие хорошенькие!

— А вы в Тарнове бывали? — оживляется сестра. — Я часто в Тарнове ходила. Видели меня, вероятно? Я всегда в беленьком. Гуляла. От полноты. Я страшно пополнела. Вот представьте — что такое? Все на войне пополнели. Я двадцать семь фунтов на войне прибавила.

— Мне кажется, что женщины далеко не так мягкосердечны, как думают, — говорит похожий на лисицу полковник.— Вы слышали такие стоны, присутствовали при таких операциях. Ваше сердце должно было разорваться. А вы двадцать семь фунтов прибавили.

— Это вы правду говорите, полковник, — грустно вздыхает сестра. — Как сестра я должна сказать, что у нас много самозванок. Да, да. Гуляют по Тарнову днем и ночью.

— В беленьком? — вставляет один из проигравшихся подпоручиков.

— А вы раненых не боитесь? — насмешливо пристает к ней артиллерист.

— Раз не выдержала, — расплакалась. А доктор как закричит: «Сестра! Один обморок — и вас здесь не будет. Что вы делаете? Как больной на вас смотреть будет!» С тех пор, как издали раненого увижу — сейчас смеюсь.

— Для разнообразия хорошо и однообразие, — смеется артиллерист.

— А вы видали раненых? — обращается сестра к артиллеристу.

— Ну, а как же, — улыбается он.

— Страшно?

— Да, страшно.

— Я — страшно храбрая. Ничего не боюсь... Под Хенцинами наш поезд несколько раз обстреливали. Но когда вчера услыхала 16-дюймовую — господи твоя воля! Вот страшно стало. Шла я к вокзалу. Вдруг снаряд за снарядом. Моментально все стекла вылетели... Ни за что не могла бы остаться в Тарнове.

— А вы где служите?

— В Львове.

— Ваш муж прапорщик? — ядовито осведомляется полковник.

— Извините, пожалуйста, прапорщик, — в тон ему отвечает сестра.

— Вы такая патриотка, я думал, что ваш муж из настоящих военных.

— А ведь война-то на прапорщиках держится, полковник. А полковники в штабах в картишки дуются.

— Ха-ха-ха! Пустяки комбинация! — гремит артиллерист.

— Я вам больше скажу, — неожиданно вмешивается пехотный поручик, — кабы прапорщики в штабах сидели, — больше порядка было бы.

— А у вас нет Георгия? — неожиданно обращается к нему сестра.

— У меня? — За что мне Георгия? — обрывает он ее. — Что я штабной или интендант? или сестра милосердия? Вот у нас корпусному интенданту пожаловали Анну с мечами — за переправу скота через Вислу. А в 25-м корпусе — Владимира с мечами и с бантом — за своевременную доставку икры из Петрограда в штаб корпуса.

— Пустяки комбинация, — весело смеется артиллерист.

— А вы какой офицер — кадровый или из запаса, — сухо и строго обращается к поручику полковник.

— Ка-адровый! И отец мой военный.

Полковник демонстративно зевает.

В комнату входит ординарец из штаба с кипой приказов и передает их полковнику. Тот, отобрав одну из бумажек, оглашает для всеобщего сведения. И читает медленным, внятным голосом, смакуя каждое слово:

Телеграмма начальнику штаба 25-го корпуса.

В виду развившегося шпионажа евреев и немецких колонистов и пришельцев, командующий армией приказал: 1) ни тех, ни других, кроме особо надежных поставщиков, к войскам не допускать; при встречах на пути принимать меры к тому, чтобы эти лица не могли просчитывать количество войск и обозов или узнать название частей. При попытках же сопротивления или к побегу действовать без промедления оружием решительно. 2) Вблизи расположения войск воспретить жителям зажигание огней в сторону неприятеля, разведение костров, звон колоколов, вывешивание флагов, влезание на колокольни, крыши, деревья, а без особого разрешения также выезд и выход из городов и селений. 3) С неповинующимися указанным требованиям поступать по силе законов военного времени.

Люблин № 1545.

Гулевич

— Браво, браво! — первая воскликнула сестра. Пора положить конец жидовскому шпионажу.

— Правильно! — откликнулось несколько голосов. — Пойманного жида — на месте! Чего с ним канителиться.

Я отхожу в сторону и перелистываю другие приказы. В списке убитых читаю знакомую фамилию: прапорщик Кромского полка Антон Петрович Васильев. Память остро подска-

зывает: нервная, хрупкая фигурка, большие, усталые глаза, звонкий, срывающий голос:

— Я к вам по делу, доктор... Пишу, знаете, стихи. И печатать их негде, и читать некому. А я, быть может, скоро помру. Вот, возьмите на память. Авось, когда-нибудь, прочитают, когда меня уж в живых не будет...

Помню, стихи поразили меня своей скрытой взрывчатой силой. Я сохранил их.

В поход

Прощай, жена! Не так бывало
Твои глаза я целовал,
Когда клонилась ты устало
И первый сон нас разлучал.
А здесь... Да ты ль, голубка, полно,
Стоишь у поезда,—бледна,
И безнадежна, и безмолвна,
Близка... и так отчуждена?..
Мы—те же, любим, как любили.
Так чьей же силой решено,
Чтоб мы друг друга схоронили?..
Ну, с богом... Грозно и темно
Глядит мой путь... за ним забвенье.
Не будет жизни там былой!..
Борясь со страхом, в озлобленьи
Припав к брустверу головой,
Я тупо ждать приказа буду...
Мне ласк твоих не вспомнить там...
Прощай, живи и... верь, как чуду,
Что может быть свиданье нам.
А там, вдали—в чужой траншее
Не те же ль слезы и мечты?..
Так для чего ж мы клоним шеи
И гибнем тупо, как скоты?

...Готово. Едем!

Первым примчался Коновалов.

— Доктор Прево приїхав.

Прихожу к дивизионному. Изящный мужчина, с приятным лицом и вьющейся шевелюрой. Любезно осведомляется:

— Чем могу служить?

Показываю предписание. Доктор явно смущен и не знает, как выйти из неловкого положения.

— Может быть, для осмотра нестроевых частей, — подсказываю я ему.

— Да, да. Раз вы приехали, то осмотрите хлебопекарни Там, кажется, много больных. Я прикажу приготовить вам маршрут и предписание.

— А средства передвижения?

— Гм!.. Доберетесь как-нибудь до ближайшего парка.

— Второй парк стоит в Тарнове, а другие еще дальше.

— Как-нибудь доберетесь. На обывательских, что ли.

— Слушаю-с.

Пешком добрались до Тукова. Сунулись тюда-сюда. Ни одной подводы. Только к вечеру попались нам навстречу широкие русские сани, запряженные парой.

— Кто такой?

— Возчик Владимирской губернии. Сполнял грузовую повинность. Четвертый месяц в отлучке. Снаряды возил на позицию.

Кое-как уломали за три рубля довезти до Тарнова. Решающим доводом оказалась бутылка спирту.

— От, ты чудак! Ты бы давно сказал, — обрадовался возчик.

Заворотили коней и поехали.

Вторые сутки я, как Чичиков, странствую по Галиции и знакомлюсь с хлебопекарнями нашей дивизии. Заведующие хлебопекарнями — это сплошь какие-то допотопные гоголевские фигуры. От хлебопекарни до хлебопекарни верст сорок. Уже за много верст от хлебопекарни бросаются в глаза огромные столбы густого, черного дыма. Подъезжаем ближе Какие-то странные шатры, напоминающие ханскую ставку. Сквозь клубы дыма бьет жаркое пламя. Выходит верный хранитель этого пламени, заведующий хлебопекарней № 630 — огромный детина без фуражки, в больших сапогах раструбами, и басом осведомляется:

— Что надо?

Я объясняю. Прошу созвать команду. Меня ведут в канцелярию, куда понемногу сходятся мохнатые распоясанные бородачи в сорочках с засученными рукавами. Все предусмотри-

тельно прячут руки за спиной: у них достаточно оснований бояться держать их на виду.

— Руки моете?

— А как же.

— Сколько раз в день?

— Как водится: вставши.

— Мыло есть?

— Вышло.

— Отчего ногтей не стрижете? По фунту грязи под ними. В баню ходите?

— А где ж баня-то?

— До-ветру впору сходить — не поспеешь. С утра, как прокинулся, как почнешь месить, так до поздней зари спины не расправишь. В поту, как в купели, купаешься.

— Скиньте рубахи.

— И скидывать не для ча. Истлели рубашки-то, как труха сыплются.

У большинства тело в чирьях. Масса чесоточных, с экземами. Есть сифилитики. Процентов десять больных тяжелой чахоткой. И все густо покрыты огромными вшами, которые лениво переползают с места на место, вызывая свирепый зуд.

Докладываю заведующему: ваша хлебопекарня в санитарном отношении — преступное гнездо; ваши люди больны всевозможными болезнями; разве можно такими запавоженными руками хлеб месить? Заведующий смотрит на меня с изумлением и с состраданием пожимает плечами:

— А кто ж мне даст здоровых людей? Здоровые на фронте нужны.

— Больных надо лечить, а не отправлять в хлебопеки. Они заразу разносят. Вы в хлеб вшей запекаете, мокроту чахоточную, сифилитический пот. А какими руками вы месите хлеб? Да и руками ли только.

— А хоть бы ногами, так что? — вызывающе бросает заведующий. — Ведь мы не сырой хлеб выпускаем; а на нашем огне всякие бациллы сгорают.

— Вас за такую хлебопекарню под суд отдать надо.

— Вы из запаса, доктор? Вот то-то и оно. А я старый гусар. Давайте-ка лучше чайку напьемся. А тем временем

вам закусочку изготовят. Повар у меня знаменитый — в вашем вкусе: и ногти стрижены, и с колпаком. Я сам наблюдаю. Я, батенька, старый гродненский...

Тает. Лошади мотая головой и похрапывая, хлюпают по талому снегу.

И опять все просто и ясно. Едем, дышим и радуемся. Вдруг дорога раскалывается. Лошади бегут по крутому спуску в лесистую ложбину. Зигзагами вьется лесная дорожка среди седых и молчаливых елей. Вытянулись мохнатые руки, и сквозь колючие пальцы струится легкая жуть. Кто знает, чьи зоркие глаза наблюдают за нами из запущенной сумрачной мглы? А впрочем, не все ли равно, откуда ударит пуля.

— От-то кроют! Как вальком колотят! — говорит Коновалов.

И голос денщика, спокойный и веский, возвращает меня к трезвой действительности.

— Хар-рашо! — вздыхает полной грудью Коновалов.

— Еще бы! Это тебе не тыл, где все тайком да на цыпочках. Тут, брат, вся душа нараспашку. Убивай, сколько хочешь! Пали! Руби! Гори душа радугой! Вот только начальство дурацкое... Не сковырнуть ли его к чорту?.. А?..

Жду и прислушиваюсь, что скажут Коновалов и Дрыга. Но крепко сжаты солдатские губы, и ключ к солдатским мыслям заброшен в глубину безмолвного бора.

Вечереет. Лениво тащатся лошади в гору, выбираясь из лесного оврага. Молчат пушки. Молчит небо. Молчит земля, как терновым венцом, оплетенная колючей проволокой. Молчат Коновалов и Дрыга, и треплются склоненные головы в папахах, точно решают какую-то трудную задачу.

Стемнело. Холодный ветер лизнул размякшую дорогу. Громко зацокали копыта, далеко разбрасывая тяжелые искры. Торопливо забегали тени. Вдруг огненный пояс опалил безмолвные ночи и исчез, наполнив сердце страшною вестью: сейчас ударит. Куда?.. Загремели тысячи взорванных мостов, загрохотали сотни гигантских камней — ахнула 16-дюймовая «берта». Лошади шарахнулись в сторону и понеслись без оглядки.

— Тпр-ру! Нечистая сила!

— От-то сила! в благоговейном восторге воскликнул Коновалов.

Дрыга презрительно цыкнул сквозь зубы.

— Какая там, к чорту сила? Морозу — вот кому сила богом дадена! Дыхнул — и всю землю скрозь в камень сковало.

— А может немец такое выдумает, что и морозу твово не стапет, — сонно бормочет Коновалов и начинает сладко храпеть.

Дрыга, лениво цыкнув, резонерски бросает в пространство:

— Не толкуй обо ржи, а карман шире держи.

— Это к чему же, Дрыга?

— Да так... Всему свое время... И войне, и начальству... Эх-эх... Н-ну! С-волочь паршивая! Вожжу под хвост тянет...

И огретые неожиданно кнутом лошади рванули и понесли в холодную даль.

Заночевали в хлебопекарне № 269. Та же грязь, те же вши, экзема, чесотка. Заведующий Иван Дмитриевич Бобков, невзрачный, суховатый поручик, выслушав все мои претензии, сердито нахохлился и объявил:

— Меня все это, знаете, не касается. Я ведь не пекарь и не булочник. Этим всем у меня помощник заведует. На мне другие обязанности...

И не без гордости протянул:

— По секретной инструкции.

Бобков порылся в столе и, вытащив небольшую брошюрку в зеленой обложке, торжественно протянул мне:

— Не угодно ли?

На обложке значилось: «Современная Галичина. Этнографическое и культурно-политическое состояние ее в связи с национально-общественными настроениями. Записка, составленная военно-цензурным управлением генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями юго-западного фронта. Походная типография штаба. 1914 г.». Книжечка содержит всевозможные жандармские поучения: как обращаться с завоеванным населением, кого считать друзьями и врагами России, как выведывать политические секреты, как подбрасывать прокламации и как их составлять, какие песни поют и как одеваются сторон-

ники России («Народный совет Галицкой Руси») и что поют украинофилы-«мазепинцы» и т. п. и т. п. Особое внимание уделено прокламациям, которые неизменно заканчиваются призывом:

«Кидай оружие и отдавайся православному воинству, которое приймет тебя не як военного пленника, а як родного брата, вертаючего с неволи под стреху родной хаты. Кидай оружие, щобы в велику хвилю освобождения Галицкой Руси не лилась кровь брата от руки брата».

— Как же вы, сидя в хлебопекарне, умудряетесь вести свою пропаганду? — удивился я.

— Именно сидя в хлебопекарне! — воскликнул Бобков. — Ведь население голодает. Старики и дети с утра к сараям бегут, хлеба просят. Вот и суешь им с хлебом бумажки наши.

— Ах, вот как. Вы, значит, районную пропаганду с тайной благотворительностью соединяете... А нашим в придачу к хлебу ничего не даете?

— Даем! — радостно хохочет Бобков. — Даем вот эти приказы, и он сует мне кипу уведомлений начальника штаба 3-й армии о немецких зверствах в отношении пленных.

— Значит, вам здесь скучать не приходится?

— Э, батенька, скоро еще не то будет. Про секретный приказ № 71 о собаках слыхали? Придется нашему брату в дрессировщики поступать.

— Это что за приказ № 71-й?

— Не знаете? А вот прочитайте:

Начальник штаба 21-го армейского корпуса сношением от 6/I с. г. за № 75 уведомил, что верховный главнокомандующий выразил желание завести в войсках сторожевых собак, хотя бы простой породы. Командующий армией приказал указать на возможность применения собак к строевой службе, приручая, подкарауливая и науськивая на пленных. В виду сего командир корпуса приказал во всех частях вверенной мне дивизии завести сторожевых собак, возложив дрессирование их на лиц, прикомандированных для несения секретной службы в войсках.

...Заезжаю в третью хлебопекарню (№ 80) и застаю там полную идиллию. Команда вся в сборе. Казарма сияет чисто-

той. Нары прибраны. Руки начисто вымыты, ногти острижены, на людях чистое белье. Заведующий — прапорщик из уездных адвокатов, — игнорируя мое появление, продолжает о чем-те беседовать с солдатами:

— А у тебя что, Кюрдюмов?

Встает плечистый, рослый солдат и молча переминается с ноги на ногу.

— Ну, говори! Тебе о чем из дому пишут? — настойчиво допытывается заведующий.

— От отца письмо, ваше в—ие!.. Просил у меня сосед 100 рублей. Я ему сказал: давай сделаем вексель.

« — На что нам вексель? — говорит. — У нас бог вексель. Я не откажусь.

«Ну, он мужик очень капитальный. Я и поверил. А теперь отец обижается, не при чем жить. У нас на трех братьев — пять десятин».

— Что же сосед не отдает 100 рублей? — интересуется заведующий.

— Так точно. Отказывается.

— А свидетели есть у тебя?

— Есть.

— Ну, так пиши ему, что в суд подашь.

— А у тебя, Меринов, какая беда? — обращается к другому солдату заведующий.

Меринов солидный, черноглазый мужик, с черной окладистой бородой. Он долго собирается с мыслями и, наконец, заявляет:

— Жена от меня ушла, с другим живет. А при мне шестой год другая баба. Невенчанная. Обижается, способия не дают.

— А законная жена получает?

— Так точно. Законной способие отпускается, а моей-то бабе обидно.

— Не знаю, что посоветовать, — задумывается заведующий. — Разве написать кому на деревню, чтобы старики по совести рассудили и отобрали пособие для настоящей жены.

— Что это у вас за судилище происходит? — обращаюсь я к заведующему.

— Да так, знаете... Сам я адвокат по профессии... ну, вот

юридические советы даю... Все — польза будет... Не угодно ли закусить с дороги?

Адвокат исчезает, и казарма наполняется насмешливым гулом:

— Ох-хо-хо-о!.. Ни пеньев, ни кореньев.

— Всем потрафил.

— Гребцы по местам, весла по бортам, все в полной исправности...

— Он еще с вечера учуял, что из дивизии доктор едет. Всю ночь скоблили и парились.

— А что он за человек? — спрашиваю я.

— Худого не скажешь. Только за себя не ответчик он.

— Прямо сказать: загульный человек. И сам не знает, чего язык брякает.

— С утра, как встамши — сейчас руку в шинель, и нету его: с обозными водку щелкает.

— О чем это он вас расспрашивал?

— Это в ём спирт мутит. Не его выдумка — спиртова. Письма, вишь, наши к нему допрежь попадают. Он про сё да про это ухватит, а потом требует, в башке мужицкой копается.

— Пакостей никаких не делает?

— Не, грех клепать. Он во хмелю худого не помнит; только и трезвый он ни к чему. Я, грит, всё по закону. А какая в ём польза? Сапоги свои, рубашка своя, полотенце свое, одна вошь казенная... Вот те и законник.

2

Продолжаю вести кочевой образ жизни. Побывал еще в двух хлебопекарнях. Отослал подробный отчет дивизионному врачу. Заехал во второй парк, где застал предписание командира бригады — «немедленно возвратиться к месту службы». Но офицеры решительно объявили:

— До обеда лошадей не дадим.

Было раннее утро, когда я приехал в парк. Офицеры еще лениво потягивались на койках, вспоминая сны.

— Позвольте, а где ж командир Пятницкий? — спрашиваю я.

— Тю-тю! Поминай, как звали. На батарею ушел. А на его место назначен капитан Иннокентий Михайлович Старосельский. Три месяца командовал 5-й батареей 33-й бригады, 4 месяца — 2-й батареей. А теперь к нам назначен. Сейчас в голобном парке находится, представляется Базунову.

— А больше нет новостей?

— Нет. Разве то, что австрийцы зашевелились: то тут, то там ураганный огонь открывают. А у нас снарядов нет и не будет.

— Почему вы знаете, что не будет?

— Заезжал к нам личный ординарец командира 33-й бригады, штабс-капитан Петрусенко. Рассказывал, что к нам в штаб дивизии прикомандирован полковник Каллантаев — состоит в личной переписке с царем и получает от наследника телеграммы. Так вот с его слов Петрусенко рассказывал, что снарядов нет и не будет.

После завтрака шатаемся с прапорщиками в окрестностях Шипвальда. Совершенно весенняя погода: почерневшие горы, глыбы талого снега, сизые леса и волнистые дали.

Сегодня праздник. Из костела толпами возвращаются окрестные жители. Девушки прячут лицо в большие платки, а старухи весело поблескивают глазами и низко кланяются:

— Дзѐнь добрый.

По дороге бродят солдатские патрули. Вид у них отъявленно мародерский. Идет починка шоссе. В большие выбоины кладут огромные бревна и засыпают сверху кучами щебня. Работа ведется хищнически. Срубают придорожные ветлы, посаженные вдоль шоссе с обеих сторон. Уничтожены уже сотни деревьев. Кропотливый и старательный труд многих поколений втоптан без надобности в грязь. В нескольких саженях от дороги тянется прекрасный еловый лес, гораздо более пригодный для утрамбовки шоссейных впадин.

Говорю укоризненно солдатам.

— Люди трудились, трудились. А вы зря столько добра изводите. Разве мало в лесу деревьев и без этих ракит?

— Так что не приказано, — отвечают апатично солдаты.

— Что не приказано?

— Так точно, не приказано, — с деланно-глупым видом мямлют солдаты. — Фить-фебель, ваше высокородие.

— Да что вы дурака валяете? Какой там «фить-фебель»?

— Так точно, фить-фебель, — хором рапортуют солдаты и стоят, приложив руки к козырькам с выражением ленивой покорности.

Я торопливо отхожу под пристальными взглядами солдат. Идем дальше по шоссе. У хлебопекарных складов столпилась куча возов. Одна телега съехала с дороги и загрузла правым боком в грязи. Два солдата, стоя по бокам лошадей, равнодушно стегают их кнутами по ногам. Лошади мучительно тянут, но телега не подается. Десятки солдат тут же стоят без дела и, лениво посасывая цыгарки, смотрят на истязание.

— Разве ж вам не жалко скотины?

— Так точно, — отвечает десяток голосов, и, не двигаясь с места, вся толпа орет:

— Но-о, но-о-о, распротак твою мать, сво-о-лочь!!!

И я не знаю, к кому относится эта свирепая брань, — к лошадям, ко мне или вообще ко всякому начальству, которое шляется по дорогам, вмешивается, куда не просят, и лезет с ненужными наставлениями.

За завтраком стук в дверь. Входит молодой черноусый офицерик с маслиноподобными глазами. Рекомендуется, звякнув шпорами:

— Ординарец из штаба армии. Ротмистр Кинбурнского драгунского полка — Гоголихидзе. Прислан за справками, проведена ли через Тухов — Шинвальд телеграфная линия?

Спрашиваем, что слышно.

Ротмистр делает предостерегающий знак глазами в сторону денщиков. И так как он старший в чине, обращается к ним повелительным тоном:

— Марш на кухню!

Денщики краснеют и выходят с опущенной головой. А ротмистр, важно цедя сквозь зубы, говорит:

— Ничего пока. Думаем наступать, но опять придется сидеть?

— Почему?

— Снарядов нет. Ведь мы почти совсем не стреляем из орудий. Одна пехота за всех отдувается; на ее плечах держимся. Где у «них» пять батарей работает, у нас две-три мортиры по выстрелу в час делают. Горных орудий почти совсем нет. Полевые пушки в резерве: нехватает гранат. А будь у нас снаряды сейчас, мы бы им показали. Ведь мы уже пополнены. На-днях восьмая армия вдребезги расколотила австрийцев. В Венгрию тьма нашей кавалерии переброшена. Третья донская сюда идет. Только бы снарядов побольше!..

После завтрака пошли осматривать шинвальдские окопы. Холодный ветер дул в лицо. Кругом перекликались ружейные залпы, и высоко гудел невидимый аэроплан. Мы подошли к небольшой лощинке, похожей на искусственный грот. На дне ее в беспорядке толпились белые тоненькие березки. А по краям оврага, как суровая стража этого белого хоровода, вытянулись высокие сосны. Вдоль покатой степы, под бугристыми сосновыми корнями притаилась короткая цепь окопов, даже вблизи почти незаметная. Дошли до парапетов и заглянули в первый окоп. На дне его было сухо. Под кучей патронов лежал сероватый конверт, залитый ржавой присохшей кровью. Мы подняли письмо и прочитали. Оно написано было старческой рукой по-польски.

«Дорогой сын наш! Мы бесконечно счастливы, что небо было милостиво к тебе и до сих пор выводило тебя целым и невредимым изо всех испытаний...» и т. д.

А вот другое письмо, покрытое такими же пятнами.

Письмо было русское и коротенькое:

Дорогой мой братишка! Я горжусь тем, что ты грудью своей защищаешь нашу родину от немецких злодеев, и желаю, чтобы ты дрался с врагами так же храбро и смело, как Кузьма Крючков, который покрыл свое имя бессмертной славой.

Горячо любящий тебя брат *Пигасий Синицын.*

— Я бы предпочел, чтобы Пигасий Синицын лежал на месте убитого братишки, — сказал с досадой Болконский и швырнул письмо наземь.

3

— Поздравляю вас с генеральской ревизией, — встретил меня Базунов. — Получил бумажку из дивизии: приехал специальный ревизор из Петрограда для осмотра конского состава нашей бригады. Будут завтра к двенадцати.

— По какому случаю?

— В Петербурге-то люди постарше чином сидят да поумнее нашего. Знают, что делают... До них, должно быть, только теперь бумажка моя из Люблина докатилась — о ремонте парковых лошадей.

— Так это вы поэтому меня вытребовали?

— Само собою. Офицеры от меня на батарею просятся... Слыхали? Джапаридзе и Пятницкий уходят. На место Пятницкого уже капитан Старосельский прислан... А тут и доктора нет. Скажут: хорош командир, от которого весь состав разбежался.

С утра готовятся к встрече петербургского генерала. Всюду расставили конных ординарцев. В начале двенадцатого примчался Ковкин.

— Едет!

Выскочили все офицеры с командиром. Со стороны штаба дивизии медленно двигался огромный польский рыдван, запряженный шестеркой лошадей тремя выносами. Впереди казак-ординарец, позади казак-ординарец. На козлах два солдата с винтовками. Поровнявшись с офицерами, экипаж остановился. Из фаэтона выглянул тучный генерал с Георгием на груди. Откозыряв офицерам и размяв затекшие ноги, генерал объявил:

— Редлин, генерал для поручений. А это мой адъютант, — указал он на юркого поручика, выскочившего вслед за генералом из кареты.

Генерала повели в офицерскую столовую. Пыхтя и отдуваясь, он медленно приступил к опросу:

— Как работает интендантство? Доставляет ли сено, овес, хлеб, сухари и пр.? Сколько людей? Лошадей? Всего ли хватает?

Каждый вопрос он раза три повторял шамкающим голосом и потом обращался к адъютанту:

— Запишите.

Адъютант писал, а генерал скучно расспрашивал, задавая ненужные вопросы.

— Ну-с, а теперь покажите лошадей, — сказал он, вдруг оживившись.

Офицеры бросились ко взводам отдавать распоряжения, и мы остались втроем с генералом и адъютантом. Генерал встал, поглядел на ковры на стенах, на металлические распятия и прошамкал с улыбкой:

— Везде люди живут... Ну, как жители?

— Терпят, — ответил я.

Адъютант нахмурился и посмотрел на меня исподлобья.

— Понемногу привыкают? — переспросил генерал.

— Поневоле...

— Да, да, — зашамкал генерал и обратился к адъютанту:

— Запишите: жители привыкают к нашим войскам.

В комнату на цыпочках вошел Коновалов и бросил мне шопотом на ходу:

— Спытайте, чи буде колысь кінець? (Спросите, кончится ли когда-нибудь война?)

— Что, что? — заинтересовался генерал.

— Солдаты спрашивают, скоро ли война кончится?

— А! — усмехнулся генерал и, пожевав губами, добавил: — Кто знает? Со снарядами плохо. Всего у нас выделывают по двести пятьдесят тысяч снарядов в сутки, а это выходит по десять снарядов на орудие.

— Так что же будет? — спросил я.

Генерал пожал плечами:

— Пока англичане нам снарядов не подвезут, ничего не будет.

Наконец, вывели лошадей. Генерала усадили в кресло посреди площади. Отобрав самых крепких лошадей, ездовые по пять раз проводили одних и тех же мимо размякшего генерала. По установившемуся порядку каждой воинской части присвоены для всех конских названий одна или две буквы, названия эти в нашей бригаде начинались на буквы «Ч» и «Ш». Всех лошадей

было свыше 1 000. Придумать тысячу названий на Ч и Ш задача весьма нелегкая. Поэтому некоторые имена поражали своей пикантной неожиданностью. Держа лошадей под уздцы, ездовые, подходя к генералу, выкрикивали с надрывом:

— Конь Чихирь.

— Конь Чембурлом (Чембэрлен).

— Кобылица Шельма.

— Кобылица Шлюха.

— Конь Шапкир.

— Жеребец Шикардос.

Были и более острые названия. Генерал при каждом новом названии прикладывал руку к козырьку и слюняво шамкал:

— М-молодца!

Вдруг сверху отчетливо донеслось гудение неприятельского биплана.

Ездовые всполохнулись и задрали головы кверху. Базунов резко распорядился:

— Ездовые, на коней! По конюшням.

Генерал заерзал в кресле:

— Нельзя ли воды напиться?

И живо заковылял к офицерскому собранию, поддерживаемый своим адъютантом. Базунов, глядя им в спину, подчеркнуто громко соображал:

— Прямо над головой кружит. Сейчас, подлец, бомбу шарахнет...

...Сидим на крылечке и беседуем с денщиком командира Кубицким, который посвящает меня в подробности рыглицкой жизни:

Прапорщик Болеславский напился и мандолинку об стол разбил.

Из Кракова в Рыглицу пробрался польский профессор, который по-русски хорошо разговаривает.

Племянница старого Вуйка заболела дурной болезнью от подпрапорщика Грибанова.

Пан Сикорский опять во Львов ездил и вернулся очень довольный.

Пан Сикорский — тридцатипятилетний толстяк с румя-

ным лицом и наглыми глазами, оказывает какие-то тайные услуги нашему штабу. Он часто шушукается с пехотинцами, у которых скупает за бесценок австрийские кроны, снятые с убитых, и отвозит кроны во Львов.

Самую важную новость Кубицкий приберегает к концу. Он приближает ко мне лицо с расширенными глазами и говорит таинственным шопотом:

— Мертвяки знов тупоталы. (Опять мертвецы шагали).

Перед большими боями (это знают жители всех прикарпатских местечек и деревень) начинается по ночам движение мертвецов на Карпатах.

Из могил выходят все убитые солдаты и офицеры, собираются по старым частям и идут, рота за ротой, полк за полком, вверх по крутым дорогам.

— А от кого ты слыхал, Кубицкий?

— Стара Юзефа сусідкам казала (старая Юзефа соседкам рассказывала).

— Что же она говорила?

— А кто их знае? Як воны худко засверкочут, я нычого не разберу. (А кто их знает? Когда они начинают шибко стрекотать, я ничего не понимаю).

— Ну, ладно. А какая погода стояла? Туманы?

— В ярах вітра нэмае, а на горбаку — дуе (в лощинах ветра не было, а на кручах дует).

Кубицкий не признает этнографических тонкостей. Весь мир он спокойно рассматривает с точки зрения собственного села, перекраивая и быт и природу Галиции на свой полтавский солтык. Роскошные парки при замках он упорно называет садочками, а глядя на высокие резные решотки, окаймляющие стальной оградой парки, Кубицкий лениво спрашивает:

— На що им такой залізный тин здався? (К чему им такой железный забор понадобился?).

Карпаты он раз навсегда измерил своим украинским глазом и разбил их на горбаки и ярочки (холмики и ложбинки).

— Хотел бы тут жить, Кубицкий? — спросил я его как-то.

— Хиба ж тут людям жить можно? Тут тілько зайчикам бігать.

Впрочем, не в одном лишь Кубицком живет эта домотканная заскорузлость. Нигде с такой отчетливостью не выступает профессионально-классовое нутро человека, как на войне. Это особенно сказывается на офицерах; царская армия вся пропахла духом крепостной николаевщины. Солдат — раб, холоп «по приводу». На службу он смотрит, как на барщину, и до сих пор уныло поет:

В воскресенье раным рано
Во все звоны звонят —
На солдатскую на службу
Наших парней гонят...
Вы тоску родной сторонки
Разносить по ротам —
Вам винтовка будет жонкой,
Плётка — помолотом.

Офицер душой — крепостник. Конечно, это не прежний секунд-майор и кнутобоец; но даже самый либеральный из военных говорунов за порогом офицерского собрания немедленно превращается в плантатора или негритянского королька. «Руки по швам! Руки по швам!» — Этой формулой исчерпывается все мировоззрение офицера. В переводе на казарменный обиход она обозначает глубочайшее презрение к «нижним чинам», издевательство, зуботычины и жестокость, доходящую до садизма. Ведь ни один народ в мире, кроме русского мужика, не додумался до «заговора на подход к лютому командиру». Сколько нужно было выстрадать солдатскому сердцу, чтобы, идя к начальнику, шептать трясущимися от страха и ненависти губами:

«... От синя моря силу, от сырой земли резвоты, от частых звезд зрения, от буйна ветра храбрости ко мне... Стану раб божий, солдат негожий, благословясь и пойду перекрестясь, из казармы дверьми, из двора воротами, пойду я, раб божий, солдат негожий, с полками да с ботами, с солдатскими заботами, на чистое поле, под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные облака... И буди у меня, раба божьего, солдата негожего, сердце мое — лютого зверя, гортань львиная, челюсть — волка порыскучего... И буди у начальника моего, супостата болотного, капитана пехотного, брюхо

матерно, сердце заячье, уши тетеревиные, очи — мертвого мертвеца, а язык повешенного человека; и не могли бы отворятися уста его и очи его возмущатися, не ретиво сердце бранитися, ни рука его подниматися на меня... »

— Ты от кого научился этому «заговору»? — спросил я Окулова, солдата Олонецкой губернии.

— Не могу знать, — ответил он равнодушно и лениво добавил:

— Окулов что знат...?.. что темно, что светло... У нас людей нет — одни олешки бегают...

Кадровый царский офицер проводит весь век свой между колодой карт и бутылкой водки. У него такой же масштаб, как у Окулова и Кубицкого. Только вместо аграрно-шаманской мерки у него своя — трактирно-амурная установка. При обсуждении военных событий то-и-дело слышишь от офицеров такие даты — в духе чеховской «Живой хронологии»:

— В боях при Тэнгобоже... помните?.. это там, где нас «старкой» ксендз угощал...

— Это там, где мы помещика на триста рублей накрыли...

— Это там, где мы с паненкой танго в темной комнате танцовали, и т. д. и т. д.

Всякий раз, как я слушаю эту живую офицерскую хронику, мне вспоминается разговор с аптечным фельдшером Шалдой:

— В Галиции книжки хорошие, — объявил он мне.

— Разве вы читаете по-польски?

— Нет; для порошков бумага хорошая.

4

Прибегает какой-то оборванный, лысый, бородатый еврей, кланяется в пояс, просит к больным детям:

— Пане, пане, хворы дуже.

Прихожу. Восьмеро ребят. Старшей девочке лет 14. Две девочки помоложе — в постели. Бледные, тощие, испуганные. Прячутся от меня под одеяло. Кое-как осмотрел: тиф. В доме шестнадцать солдат. Хозяин просит: уберите хоть половину. У дверей мать-старуха хватает меня за рукав и кричит на жаргоне, уверенная, что говорит по-немецки:

— Ратуйте, доктор: что делать? Умираем с голоду. Работы нет, денег нет, дети хворают... Что делать? Только солдатами и держимся.

— Какими солдатами?

— Ваши жолнежи... хлебом деток годуют (кормят).

Странный народ эти солдаты: днем кормят население своим хлебом, а ночью ломают клети, растаскивают заборы на топливо, грабят, насилуют...

Дорога залита черной, густой, вонючей жижей. Лошади вязнут по колено в грязи. Люди тяжело ступают по лужам за хлюпающими возами. Над местечком нависла остервенелая брань, такая же мерзкая и противная, как брызги вонючей грязи. Огромный обозный солдат хлестал кнутовищем лошадь и вопил, задыхаясь от бешенства:

— Не скидай, мать твою так, я тебя научу скидавать! Тяжче смерти сделаю, стерва окаянная!

Другой с пеной у рта разносил кучку пехотинцев, расположившихся тут же на дороге.

— И чего вы тут, черти, лодыри, шляетесь? Сидели б в своих окопах и не мешали б людям дело делать!

На что пехотинцы с ленивым презрением отвечали:

— Ишь, развопялась кишка обозная! Раскрой шире хайло-то: пулей заткну.

Десятки солдат, распахнув полушубки и сдвинув папахи на затылок, надсаживаясь, обливаясь потом и сотрясая воздух градом каленой матерщины, вытягивали из грязи застрявшие возы.

Бочком, в стороне от дороги идет группа евреев — старики и женщины. Пугливые, безмолвные, нищие.

— И жалко, глядя на них, — говорит громко солдат, — и душа не знай-чего злобится. Только у них и дела, что плачут.

— Со страху больше, — вставляет другой. — Дух у них хлипкий. Ты к ему с лаской, а у него поджилки трясутся, и верезжит по-песьи.

Путаясь в своих долгополых кафтанах, плетутся, сгорбившись, старики, и к ним пугливо, как овцы, жмутся худые,

обмызганные женщины. Ни разу не привелось мне здесь видеть евреев вместе с поляками. Евреи довольно редко показываются на улице. Но когда их видишь, они цепляются друг за дружку — отдельно от поляков. Даже дети еврейские и польские никогда не сходятся вместе. А если поляки говорят о евреях, то всегда с усмешкой, неприязнено и обидно. Дети и молодые девушки говорят иногда по-польски, старики — никогда: друг с другом — по-еврейски, а с нами — охотнее по-немецки.

— Разве вы не говорите по-польски? — спросил Джапаридзе пожилую еврейку Шифру Блюм.

— Говорим, — ответила она, — но нам приятней разговаривать по-немецки. Мы друг друга не любим. Зачем же нам говорить по-ихнему?

У костела повстречался с двумя ксендзами. Оба взволнованы. Рассказывают такую историю. На базаре в праздничный день жители обступили обозного солдата, продававшего в небольших пакетиках чай — солдатские порции. Тут же стояли оба ксендза, наблюдая за торговлей. Проходил мимо обозный офицер, увидал эту сцену, ударил солдата по лицу и рассыпал пакетики с чаем — в том числе несколько проданных и оплаченных. Ксендз пробощ загорячился и начал укорять офицера. Тот грубо оборвал:

— Уходите отсюда, а то и сами того же дождетесь.

Ксендзы, конечно, ушли.

Вечером обозный капитан пришел к докторам на пульку и застал обоих ксендзов. Ксендз пробощ стал журить капитана.

Капитан свирепо выругался и пригрозил выселить обоих ксендзов из Рыглицы.

— Это за что же? — заволновался пробощ.

— За распространение ложных слухов о русской армии. Вы и туховский ксендз все время распускаете о нас всякие небылицы и мутите все население.

С трудом удалось успокоить капитана.

— Пришлось проиграть ему три красненьких, — сказал на прощание Якуб Вырва.

Молодой викарий проводил нас до собрания.

— Отчего вы, ксендзы, революции не сделаете? — сказал ему по дороге Базунов. — Как вы выносите безбрачие?

Ксендз улыбнулся и рассказал забавную притчу:

— Когда бог закончил сотворение мира, он приказал мужчинам: приходите за женами. Первым примчался турок и набрал себе кучу жен. Потом шли другие народы. Наконец осталась последняя жена. Бог сказал служителям церкви: берите ее себе. Бросились поп и ксендз. Оба в длинных подрясниках — бежать очень трудно. Но попу все же легче, чем ксендзу в узкой сутане. Прибежал поп первый и захватил себе последнюю жену. Тогда ксендз взмолился богу: господи, как же я проживу без жены. Бог и сказал ему: поступай, как знаешь; предоставляю это твоему собственному уму.

— Ну и что же? — заинтересовался Базунов.

— Вот с тех пор ксендзы и устраиваются по своему разумению... Ведь каждая женщина всегда немножко Далила.

5

За утренним чаем ко мне обратился Джапаридзе.

— Вы даете какие-нибудь поручения канониру Павлову, который едет сегодня в Киев?

— Да. И письма посылаю.

— Заберите ваши письма: он в Киев сегодня не поедет, — многозначительно подчеркнул Джапаридзе.

— А что случилось?

— Скоро узнаете. Сегодня будет день больших неожиданностей.

Между тем Павлов продолжал энергично собираться. Побывал у всех офицеров, получил заказы от заведующего собранием, заклеил все письма в один пакет.

Когда Павлов сидел уже на возу, Джапаридзе позвал его к себе и спросил:

— У тебя есть какие-нибудь деньги?

— Сто рублей — офицерских и своих двадцать пять.

— А больше нет?

— Никак нет, — ответил тот.

— Разденься! — приказал ему Джапаридзе и, обращаясь к фельдфебелю Удовиченко и Гридину, распорядился:

— Обыщите его.

Под двумя теплыми фуфайками, в тельной рубашке нашли зашитыми 900 рублей.

Павлов, — бывший фуражир, недавно отставленный. Дня три назад он принес письмо с известием о смерти жены и стал проситься домой.

— Откуда у тебя деньги? — спрашивал Джапаридзе.

Павлов молчал.

— Позовите сюда Новикова, Горелова, Полякова и Фетисова, — приказал Джапаридзе.

Приведенных (все фуражиры) немедленно обыскали и нашли: у Новикова — 1 122 р., у Горелова — 570 р., у Полякова — 590 р., Фетисова, считавшегося самым честным фуражиром и заведывавшего покупкой скота, на месте не оказалось. Он пришел через полчаса и принес счет на покупку коровы. — Был он бледен и очень смущен. Джапаридзе резко обратился к нему:

— У тебя есть свои деньги?

— Так точно, рублей 50.

— Покажи.

Он протянул кошелек, в котором оказалось 190 р. казенных денег и две двадцатипятирублевки.

— Тебя предупредили? — спросил Джапаридзе.

— Никак нет!

— Врешь! Раздевайся!

При обыске в карманах нашли несколько расписок на проданный скот.

— Что за расписки? Признавайся! — закричал Джапаридзе. — Я тебе верил, считал тебя честным солдатом. Докажи хоть теперь, что ты лучше других. Говори правду!

— Это, ваше высокородие, записки ненужные. Их хуть спалить можно.

— Зачем же они у тебя?

— Упомнил порвать.

— Говори правду! — кричал Джапаридзе. — Я ничего не понимаю. Я должен под суд тебя отдать за подлог и мошенничество. Что за расписки? Ты что-нибудь понимаешь? — обратился он к Гридину.

Гридин (бывший жандарм) сладко протянул:

— Так точно. Отлично понимаю. Он, ваше высокородие, брал расписку от пана, у которого корову купил, правильную расписку, за сколько купил — скажем за 30 рублей, а потом шел к другому пану, и тот другой мужичок за двугривенный давал ему другую расписку, неправильную, подложную, не на 30, а на 40 рублей. Вот и барышей десятка.

— Так это было, Фетисов? Гридин правильно говорит?

— Так точно. Правильно.

— Сколько же ты приписывал к каждому счету?

— Когда рубль, когда два.

— Почему ж у тебя так мало денег? Значит, у тебя своих не 50 рублей, а больше.

— Никак нет. 50 рублей только.

Фетисов стоит красный, с опущенной головой. Офицерам, присутствовавшим при этой сцене, было совестно и неловко, но жалости к пойманным фуражирам не было. Все превосходно понимали, какие жестокости, какие солдатские расправы над бедными жителями скрывались за этими награбленными деньгами.

— Господа офицеры, — обратился к присутствующим Джапаридзе, когда ушли фуражиры, — я не нахожу выхода. Простить? Тогда фуражиры попрежнему будут грабить и воровать в надежде на снисходительность начальства. Предать суду? Это — расстрел или каторга.

Наступило тяжелое молчание.

— Давайте судить их собственным судом, — предложил доктор Костров.

— Что ж, это можно, — неопределенно протянул Базунов.

— Хар-рашо! Сегодня вечером суд! — отчеканил своим гортанным голосом Джапаридзе. И обратился к Гридину:

— Созвать офицеров из всех трех парков.

Вечером собрались все офицеры. Было душно, накурено: всем хотелось поскорее отделаться от этой тяжелой процедуры. Фуражиров не было, суд начался заглазно. Первым заговорил вновь назначенный командир второго парка капитан Старосельский. Невысокого роста, плотный, широкоплечий,

с бритой головой, небольшими зелеными глазами, под тяжелыми веками, он говорил веско, холодновато и скупо:

— Надо отобрать деньги. Это прежде всего. Пока не докажут, что деньги не награблены, а собственные. Набить хорошенько морду — и конец. Под суд отдавать не следует.

— Под суд не следует, но и бить не надо, по-моему, — заявил доктор Костров.

Старосельский заволновался:

— В мирное время я ни разу солдата не ударил. А теперь иначе нельзя.

— Это гадость, — вставил Костров.

— Да, это гадость, это уродливо — бить солдата. А вся война не уродство? У меня теперь твердая система. Во время боя хороший тумак по голове, это лучший способ спасти человека от обалдения. А мародерство? Я не знаю другого лекарства от мародерства, как крепкий стэк. Не предавать же суду солдата за каждого уворованного курчонка. Огрейте его хорошенько хлыстом, и он сразу проникнется уважением к чужой собственности.

— Надо позвать фуражиров и добиться от них признания, — предложил адъютант Медлявский, — тогда судить будет легче.

Вошли фуражиры. Первым выступил Новиков, взводный 3-го взвода, у которого нашли 1 122 руб. Умный, кряжистый мужик, Курской губернии, Льговского уезда. По занятию прасол, торгует птицей и яйцами. Имеет капитал в банке (тысяч пять, — говорит). Оборотистый, ловкий и решительный. Я видел его в трудные минуты: взвод повиновался ему беспрекословно.

— Признавайся! — обратился к нему Джапаридзе. — Все равно будет произведено следствие у тебя на деревне.

— Что ж, я не отказываюсь. Деньги мои, не казенные. Только об них никто не знает в семействе: ни брат, ни отец, ни жена. А случилось это вот как. Была у меня кобыла, хорошая лошадь, как жену любил. Продал я ее, как на войну уходил. А сколько взял, утаил. Деньги с собою взял, чтобы после войны лошадей закупить и продать с барышами в России. Вот откель деньги мои.

— В последний раз говорю тебе: повинись! Признаешься, деньги отдашь, не отдам под суд. А будешь врать про кобылу, пропадешь как собака!

Новиков побледнел, задумался и, махнув рукой, объявил:

— Хучь жалко денег — свои ведь, кровные — да что делать? Вы нам, как отец родной. Как знаете — пожалейте: не предавайте суду.

С другими пошло легче. Они отдавали деньги, кряхтя и смущаясь, и больше для видимости прибавляли:

— На войне делить нечего: все казенное.

— Только бы душу сберечь.

Один Фетисов не сдавался:

— Больше 50 рублей не имею.

Но, когда сверили с найденными при обыске расписками, оказалось, что к каждому счету он по 5 рублей приписывал. Подсчитали: рублей 400 должен иметь.

Джапаридзе выходил из себя:

— Я тебя в карцере сгною! Все равно денег не получишь. Прямо отсюда прикажу увезти и запереть.

Наконец, сознался: дал деньги на хранение ездовому Миронову, а тот схоронил их в седле — между ленчиком и подушкой.

Едва удалились фуражиры, как началась жестокая перебранка. Большинство офицеров требовало:

— Деньги зачислить за командой — на улучшение довольствия, а фуражирам морду набить.

— Кто же бить будет? — спросил адъютант.

— Как кто? Офицеры, — ответил Старосельский.

— Этого не будет, — крикнул Костров и, стуча кулаком по столу, бросал задыхающимся голосом:

— Вся армия занимается грабежом! И больше всех офицеры! Из Тухова штабные офицеры все люстры вывезли, серебро, зеркала, посуду, картины!.. Капитан Кравков пять экипажей домой отправил. Полковник Скалон два автомобиля к себе в имение отослал. Мебель, рояли, лошади — все разворовано у населения!..

Свирепо размахивая кулаками, Старосельский наседал на Кострова:

— За это по морде бьют... под суд... оскорбление мундира...

— Капитан Старосельский, — холодно заговорил Базунов, — обращаю ваше внимание, что у нас в бригаде врачи пользуются такими же правами, как офицеры. Они принимают участие в суде и имеют право высказывать свое мнение. Дело собрания принять то или иное решение.

— Слушаю-с, полковник, и принимаю к сведению, — протянул обиженным голосом Старосельский и, щелкнув каблуками, вытянулся в струнку.

Часа через два после ужина в собрании царило дружное «винопийство». Хохотали, шутили, играли в карты. Костров с Старосельским, как ни в чем не бывало, резались в девятку. Из-за стола их ежеминутно долетали шумные выкрики Кострова:

— Ах, елки зеленые! Уконтропил!

Выигрывая, Старосельский аккуратно запихивал бумажки в большой кошелек на цепочке у пояса.

Ночлег Старосельскому отвели у меня. Уже лежа в постели и загасив свечу, он обратился ко мне:

— Вы очень дружны с Базуновым?

— Да, я считаю его очень интересным человеком.

— Смотрите, не очень с ним откровенничайте. А то...

— Что такое?

— Ведь он... в дворцовой охране служит.

— Что это за дворцовая охрана?

— Не знаете? Особая жандармерия, которая следит за настроением офицеров. Раньше во главе ее стоял великий князь Сергей Михайлович, а теперь — барон Фредерикс.

— Откуда вы знаете про Базунова?

— Посмотрите его послужной список. Больше трех лет он нигде не служил. Бросают его и в Сибирь, и на Урал, и в Воронеж. Для наблюдения назначают.

Разбудил нас радостный крик Кострова:

— А что! Читали новый приказик главнокомандующего? Недурственно. Не в бровь, а в глаз вам, Иннокентий Михайлович. Не угодно ли почитать?

— Читай, а мы послушаем.

Захлебываясь, прищелкивая и пересыпая приказ сочувственными восклицаниями, доктор Костров читал:

Секретно. Копия с копии на имя начальника штаба главнокомандующего армиями юго-западного фронта генерала от инфантерии Алексеева.

18 января 1915 г. Кыров.

Ваше высокопревосходительство, глубокоуважаемый Михаил Васильевич!

Долг офицера и порядочного человека, для которого дороги честь и доброе имя русской армии, повелевает мне написать вам это письмо и сообщить вам о весьма печальном явлении в нашей армии. Не совсем корректное отношение некоторых офицеров к чужой собственности мне приходилось иногда наблюдать, и я боролся с этим по мере сил. Теперь до меня дошли совершенно определенные слухи о том, что офицеры посылают много награбленных вещей в Россию, своим семьям. Посылаются экипажи, сервизы, даже ценная мебель. Какой позор, какая гадость! Все это идет через Львов и, вероятно, пересылается под видом казенных грузов. Можно это все сразу пресечь, установив досмотр грузов, направленных в Россию, да, вероятно можно установить, что и куда было вывезено, особенно такие вещи, как экипажи. Писать об этом официально я не считаю возможным, почему и обращаюсь к вам с этим частным письмом, будучи уверен, что вы поймете и мое возмущение этими недостойными поступками некоторых офицеров, бросающих тень на всю армию. Не думаю, что я мог ошибаться, так как получил сведения из нескольких совершенно разных источников. Прошу извинить меня за беспокойство и верить, что любовь к нашей армии и обида за нее заставили меня прибегнуть к этой мере.

Искренно и глубоко уважающий вас и расположенный к вам

А. Хвостов.

Копия секретного отношения начальника штаба III армии от 12 февраля 1915 года за № 32817.

Командиру 21-го армейского корпуса.

Препровождая копию письма на имя начальника штаба главнокомандующего армиями юго-западного фронта, уведомляю, что командующий армией полагает, что в 3-й армии случаев, подобных изложенному в письме, не было, но его

высокопревосходительство считает необходимым поставить о сем в известность всех начальствующих лиц для предотвращения возможности подобных случаев в будущем.

С копии верно:

Старший адъютант Управления инспектора артилерии XXI армейского корпуса капитан *Карпов*.

— Каков приказик-то! Ась? — радостно захлебывается Костров. — Нутка, Иннокентий Михайлович, шуганите-ка генерала Алексеева; под суд... оскорбление мундира!.. Ох-хо-хо, палки зеленые, елки дубовые! Недурственно, ась?..

— А все-таки вашим фуражирам сегодня морду наклопаем! — жестко усмехается Старосельский.

... Прививаю оспу солдатам. Возле меня куча бородачей. Один, усмехаясь, тянет:

— Видать, и об нас господь печется: какого начальника послал.

— Это о ком вы?

— Известно о ком: об командире об новом — из второго парка который.

— Не по душе пришелся?

— У-ух! Лицом темный, глаз вострый...

— С батареи ребята сказывали: драться лютый. Жалости ни к чему не имеет.

— Бьет без обману, — насмешливо долетает со стороны. — Уж как тебе лютовал сегодня над фуражирами... Отстрадались!

— Разве их били?

— Ну, как же! Всю команду построили — глядеть...

— Их благородие, капитан Джапаридзе, — поясняет кто-то, — раз-два по морде Фетисова хлеснули — и будет. А энтот... всех наградил. Смертным боем бил! Одну руку в карман, а другой лупит да лупит. Уж кулак побоев не принимает, а он все тешится — аж трясется... Не будет ему доброго конца...

— Вдвоем били или еще кто?

— Наш-то больше для видимости... А энтот — не для ради порядка, а по злобе.

— Из чужого парка драться приехал.

— Ничего... доиграется...

— Может и наш кулак на что-нибудь нужен... Разве по-другому не будет...

... Весь день избегаю Базунова, невольно его сторонюсь. Случайно сошлись на кладбище. С первых же слов Базунов ворчливо обрушивается на Старосельского:

— Вот человек призвания своего не оттадает. Ему бы в тюремных надзирателях или привратником в аду состоять: колотил бы себе грешников по тощим бокам — и был бы счастлив. А то извольте радоваться — бородатых мужиков по щекам хлещет... Ишь ты, прохвост! Если на место Джапаридзе мне такого героя посадят, то это получится хорошенький Порт-Артур... Вы-то... того... посдержанней с ним беседуйте...

— О чем это?

— Да о чем хотите... Он, ведь, с жандармским ароматцем... У него там, в Самаре или в Саратове, в пушку-то погромном рыльце оказалось. Даже из бригады выгнать хотели... Да!

Прямо с кладбища бегу к Джапаридзе:

— Милый Ной, будьте великодушны, извлеките занозу из сердца: что вы знаете о Базунове? Верно ли, что он в придворной охране служит?

— Кто вам сказал? Старосельский? — смеется Джапаридзе. — Верно. Об этом говорили в бригаде. Но, сказать по правде, офицеры все друг друга боятся и друг друга в тайном шпионстве подозревают.

— А на самом деле?

— На самом деле, ей богу, ничего, кроме хорошего, о Базунове не знаю. Четвертый год под его командой служу... А, впрочем, чорт его знает... Между жандармом и офицером, сами знаете, разница, во всяком случае, не больше, чем между Ветхим и Новым заветом...

— Будто?.. Но к вам это не относится...

— Не относится... И я такой же. Пошлют меня в карательный корпус мужиков усмирять — пойду и буду расстреливать.

— Даже мужиков вашей прекрасной Грузии?

— Все равно. Хоть брата родного... Эх, друг мой... кто к чему приставлен!

6

Второй день живу в Шинвальде — прививаю оспу солдатам 2-го парка. Жесткая рука Старосельского прижимает и команду и офицеров.

— Н-ну, команди-ир, забодай его лягушка! — почесывается жизнерадостный прапорщик Кириченко.

— Н-ну, командир, задави его гвоздь! — повторяет со вздохом прапорщик Болконский и поет на мотив из «Синей птицы».

Прощайте, прощайте, прощайте навсегда,
Веселые дни Аранжуэца...

— А пьет? — спрашиваю я.

— Не пьет, не поет, не смеется, — отвечает Кириченко. — Как петух, честь свою бережет и в строгости соблюдает.

— Одним словом, — добавляет Болконский, — дух Ханова воцарился в нашем несчастном парке.

Ханов — самая мрачная фигура в нашей бригаде.

«Потомственный почетный мизантроп» — называет его Болконский и любит пускаться с Хановым в долгие прения, чтобы вызвать «реакцию на пессимизм».

— Ханов, — спрашивает он, — хорошая у меня лошадь?

Это великолепная статная кобылица прекрасных кровей, предмет зависти всей бригады. Ханов долго осматривает ее критическим взглядом и, не найдя ни малейшего порока, заявляет с печальным вздохом:

— У нас во Льгове на конской ярмарке такую самую лошадь макомобиль задавил.

— А груша эта хорошая? — указывает Болконский на дерево за окном.

— Чего? — презрительно вскидывает Ханов. — Через двадцать лет загниет.

— Почему так?

— Потому всякое древо уход требует. Тут почва жидкая. По началу древо шибко растет. А как корни вглубь кинутся и до воды доберутся, тут по древу антонов огонь пойдет.

— И спасти никак невозможно? — говорит Болконский.

— Спасти? Здешние садоводы разве так дело свое понимают? Фруктовое древо с понятием ростить надо! Груша, к примеру: десять лет ждать надо, чтобы пущать ее в ход. Каждый год цветы обрезать на ней. Как весной начинает наливать соком, надо обновление делать коры. Есть таки щетки стальные. Не сдирать надо, а таскаешь щетки туды и сюды... Здесь такого древа и не видать. Здесь — гниль, а не груша.

— А ваши льговские груши долго живут?

— Где грунт позволяет — так, чтобы чернозем на аршин, а под спод глина — полтораста лет жить может.

— Значит, дерево больше человека живет?

— Разве можно человека к древу ровнять? — пренебрежительно усмехается Ханов. — Древо, ваше благородие, крепче железа будет: его ржа не берет. Оно ни холоду, ни воды не боится. В ём самом жар какой согревает. Без древа и житья бы нашего не было. А человеку смертный удел положен. Древо засохнет, рассыплется и духу от него никакого. А человек и живой-то смердит, а как помрет — подступить к нему невозможно. Разве может человек против дуба?

— Однако же, Ханов, ты не на дереве женился, а на бабе.

— А какая от ей польза, от бабы? — мрачно воодушевляется Ханов. — Весь век голосит — причитает, ревет белугой а работу взять — хвалить не за что. Древо и тень дает, и цветочки, и фрукту, и жар какой. Вот за что я до древа любовь имею. Без бабы лучше. От бабы всегда смерти ждешь.

...С утра осаждают меня жители окрестных деревень, узнавшие о приезде доктора в Шинвальд.

Входит мальчик лет десяти, худой, полураздетый, с большими недетскими глазами. Зовет к больному отцу, верстах в шести от Шинвальда.

— Ну, если он говорит в шести, значит верных десять считайте, — вмешивается Болконский.

— Едем со мною? — говорю я ему.

— Едем! — соглашается Болконский и отдает распоряжение Ханову:

— Вели седлать лошадей.

Расспросив о дороге, мы поехали крупной рысью.

Гремели пушки, играло солнце, и ветер вздувал наши мохнатые бурки.

В местечке нам указали квартиру Изоэля Гельдмана. На довольно чистой постели лежал больной, кудлатый, черный еврей с лихорадочно-воспаленным взглядом. Не обращая внимания на нас, он выкрикивал, как в бреду, по-еврейски:

— Мамэ, зинг! (мама, пой!)

У кровати сидела согбенная, морщинистая старушка с черным платком на голове и дрожащим голосом напевала печальную еврейскую песенку. Она повторила ее раз десять, а больной все кричал:

— Мамэ, зинг!

Слова и мелодия этой меланхолической песенки крепко врезались в память:

Унтер ди бэрглах, вен ир золт зейен,
Шитн зах бэйнер гур ун а шир.
Зей зонен гевезен ойх азой шейен,
Эфшер нох шенер, ви ир...
Айнт махен ди верем фин зей махулем,
Азой ви ди бридер гешвойрен...
Бридэр! дас лебен из нур а хулем:
Дер менч из цум штарбен гебойрен.

Я тут же набросал перевод для Болконского:

Там под землею, безгласны и немы,
Сыплются кости в могилах сырых.
Некогда были те кости, как все мы,
Даже прекраснее многих живых...
Ныне в них черви живут на постое,
Правят во мраке торжественный пир...
Братья! вся жизнь—сновиденье пустое:
Только для смерти приходим мы в мир.

7

... Вечерело. Я шел по размякшему шоссе в направлении Тухова.

Мягкие вечерние сумерки обволакивали небо и землю всепроникающей таинственной грустью. Все вдруг затихло. Затихло движение обозов. Затихли выстрелы. И люди шли по дороге какие-то прозрачные и затихшие.

Когда я отошел версты на две от деревни, я увидал, что с горы мне навстречу спускается лазаретный священник. Это высокий, плотный старик, монах Киево-печерской лавры, с душой простой и открытой, с лицом деревенского мужика. Большая борода на черной рясе придает ему красивую строгость.

Он шел усталой походкой, плотно прижав руки к рясе, и в его опущенной голове читалась смиренная покорность.

— Над чем задумались, батюшка? — сказал я, поравнявшись.

Он приоткрыл глаза, и, медленно отрываясь от размышлений, сказал с печальной улыбкой:

— Над делами мирскими думаю.

И, как будте растроганный красотой грустящего неба, добавил задумчиво и строго:

— Трепетание души человеческой, смертной тайной одетой, постигаю.

Я почувствовал, что в душе опечаленного монаха рождается какое-то тревожное смущение и, не желая выводить его из раздумья, хотел попрощаться. Но он поспешно остановил меня и тихо заговорил:

— Позвольте беспокойством своим отнять у вас толику времени... Хочу поделиться с вами большою тайной, которую господь и начальство доверили мне. Если никуда не торопитесь, послушайте меня, старика.

«Дней семнадцать назад приказало мне начальство явиться в Клодницу или в Клеповицу — не помню здешних названий — исповедывать солдата, присужденного к смертной казни. Напал он на жителя с целью грабежа. А тот с вооруженнем был. Оказал сопротивление. Солдатик возьми и пырни его ножиком в живот. Житель и скончался назавтра.

«Приказали мне явиться в два часа. Только шло тогда отступление от Тарнова: по дороге госпиталей и обоза масса. Простоял я часа четыре на месте. Приехал об эту пору.

«Вошел я к солдатику. Человек молодой, действительной службы. Руку вперед протянул: кругом, говорит, виноват. Плачет-разливается. Ну, совершил я духовную требу. Думаю уходить. Нет, — приказали мне в епитрахили с крестом итти впереди солдата...

«Пришли мы в поле... Об эту пору было... Рота солдат стоит. Комендант. Офицеров много. Тишина-а-а...

«Вырыта среди поля могила, а впереди могилы столб стоит...

«Подвели солдата к столбу. Показали ему яму и лицом к солдатам повернули. Еще горше заплакал...

«Вышел комендант. Прочитал приговор. 12 человек грабителей было. Кого в дисциплинарный батальон, кому каторга вышла, кому смертная казнь... Других раньше казнили. Моему последняя очередь...

«Плачет-плачет солдатик. Упав, поклонился миру. Крестное целование принял. Просит прощения: виноват... кругом виноват...

«Подошел я к нему, а у самого у меня руки трясутся, глаза закрываю...

« — ...Благословен господь в небесах. Тело твое виновно, а душа праведная есть...

«Привязали солдата к столбу, руки и тело веревкой перетянули...

«Перестал он плакать и сказал громко так:

« — Одна минута — и всей жизни конец...

«Потом на глаза повязку надели. Скомандовал роте офицер. И... как выпалили — все тело в кашу обратилось... Брызнула кровь на пять-шесть саженей кругом... Повалили тело со столбом в яму (столб подрубленный был) и засыпали.

«Пошел я к коменданту чай пить. Жалко так. Отчего бы, — говорю, — если положена человеку смерть, не послать такого в первые ряды боя...И его убили бы, и он бы скольких убил: отечеству польза.

«Нельзя, говорит. — Тогда сотни таких нашлись бы: все равно в бою помирать, так чего им бояться?

«Потом говорю коменданту: просил меня солдат перед смертью — забрали у него денег 16 рублей. Хочет, чтобы жене отослали. Жена у него и ребенок дома остались...

«Обещал: сделано будет:

«И вот, знаете: две недели прошло... И такое впечатление, что никак забыть не могу. Сижу — он предо мной. Лягу — тем более...»

Я молчал, потрясенный.

Мы шли тихим шагом. Наполненные туманом и талым снегом котловины и балки отблескивали умирающим светом. Небо потухло и почернело.

Мы шли тихим шагом и оба чувствовали себя ослабевшими и потухшими.

Справа, из придавленных сумерками домиков, неслась знакомая печальная песня:

... Нам не надобно ни сеять, ни пахать,
Ни цепо́м, ни ко́сынкой махать.
Уж как подати казенные все сполнены:
Солдатьём-то все могилки переполнены...
Прийми, господи, ты душеньки крещеные,
Прийми, мать-сыра,—ты слезыньки соленые...

... Сегодня у нас гостят командир 3-го парка Джапаридзе, адъютант бригады Медлявский и доктор Костров. За чаем я рассказал о встрече с монахом, который напутствовал растрелянного за грабеж солдата. Задумались.

— Но как же быть? — неуверенно произнес Медлявский. — Надо же наказать грабителей.

— А по законам военного времени — расстрел, — добавил Старосельский.

— Я сам чуть-чуть не предал одного солдата суду за кражу шубы у жителя, — задумчиво сказал Джапаридзе. — У меня так уж и было решено. Только избегал с ним встречаться. Вдруг столкнулся лицом к лицу. Хотел уклониться от разговора. А он перехватил мой взгляд и каким-то совсем не солдатским голосом, тихо-тихо сказал:

— Простите...

Не выдержал я характера и простил. Он-то в другой раз не сворует, но другие... других это развратит. Как офицер, я сознаю, что прощать не надо.

— Оттого-то иной раз лучше по морде дать, — заметил Старосельский.

— Ну, вы, конечно, за плетку, — едко бросает Костров.

— Да, без плетки нельзя, — запальчиво подтверждает Старосельский. — Может быть, имея в своем распоряжении человек пять или десять, вы еще добьетесь чего-нибудь миндальничаньем. Но мой десятилетний опыт меня научил: чтобы быть

командиром, нужен решительный тон, властность, железная дисциплина, а иногда удар по лицу. Два года я хотел действовать на солдата лаской и уговорами — и два года солдаты сидели у меня на шее. В моей батарее был форменный кабак. Теперь я считаюсь одним из лучших офицеров в бригаде. В батарее у меня порядок, знание дела, исполнительность. И я знаю, что я достиг этого только страхом. Наш солдат привык и дома к страху, и только страхом можно понудить его к исполнению долга. Дополняй пощечиной приказание, — таково мое правило, чтобы солдат сознавал, что ты сила, которая распоряжается им всецело.

— Бить в сердцах, — брезгливо вставил Джапаридзе, — позор для офицера. Но ударить — часто необходимо. Ударить открыто, перед всем фронтом. Как необходимо иной раз расстрелять.

— Дело совсем не в том, — говорит Медлявский. — Меня интересует, почему тысячи убитых на войне уже мало нас трогают, а расстрел одного солдата произвел огромное впечатление и на меня, и на всех?

— Очень просто, — отозвался Костров, — надо отличать наказание смертью и смерть от простого убийства. На войне мы *сражаемся*, т. е. выступаем в открытом поединке, и притом сражаемся во имя идеи. Отправляясь на войну, мы идем не убивать, а защищать свободу, родину, порядок и пр. И если мы убиваем, то это убийство освящено требованием всего народа и участием в нем миллионов таких же невольных убийц. А здесь, в этой казни солдата, человек, который за час до казни, быть может, десять раз рисковал своею жизнью «во имя родины» и тех самых начальников, которые осудили его на смерть, слишком чувствуется фальшь этого осуждения. Сколько жителей ограблено и убито офицерами в Галиции, а попал ли хоть один из этих офицеров под суд?

— Чепуха! — резко бросил Старосельский. — Конечно, если смотреть на войну глазами шестидесятилетнего монаха, то всякий выстрел — стыд и позор. А по-моему так: убил мирного жителя, как разбойник, — становись под расстрел. И кончено! Туда ему и дорога.

— Но почему же смерть этого солдата так взволновала меня? — спрашивает Медлявский.

— Очень просто: потому что вы тряпка; адвокат, а не офицер. И вы, и доктор Костров, и другие — вы все хорошие люди, но в офицеры вы не годитесь.

— Значит, по-вашему, чтобы быть офицером, нельзя быть хорошим человеком! — смеется Кириченко. — От-то, забодай его лягушка!

... С соседней батареи завернул к нам на часок капитан Герасимов. Молодой, статный, сильный. Он пользуется репутацией поразительно смелого человека. Имя его известно всем солдатам нашей девизии. Окинув быстрым взглядом столы, Герасимов небрежно указал на пачку газет:

— Неужели читаете?.. Я не могу: противно. У меня такое чувство, будто все лжесвидетели по консисторским делам подрядились в газетные писаки. Что ни бой, то картина из Верещагина. «Громит музыка боевая. Знамена реют в небесах...» А знамена-то несут позади, чуть не в обозе держат. Музыки никакой. Противника и в лицо не видишь. Ружье бьет на две тыщи шагов. В бой идут рассыпным строем. Вообще никаких парадов и фейерверков. Только зубами от страха клацаешь. В течение пяти дней и пяти ночей мы наблюдали издали наступление брусиловской армии. Канонада шла беспрерывная. На небе ни звездочки. Мы могли наблюдать, как полыхают молнии из пушек и танцуют в небе шрапнели. Это было очень красивое зрелище. Но хотя я был в полной безопасности, я думал, конечно, не об эффектах танцующих огней. Я думал о возможном исходе этого боя, о тех путях, которыми достигается победа, о последствиях поражения. И уж, конечно, все эти мысли исключали вопрос о пушечных фейерверках. Кто с беззаботным сердцем прислушивается к грохоту сражений и не стыдится кричать об этом в газетах, тот либо плут, либо нуждается в помощи психиатра.

— Как,—удивляется Болконский, — вы отрицаете геройство и храбрость? Энтузиазм, экстаз, опьянение боем — это все, по-вашему, газетная ерунда?

— Конечно, бывают минуты страшного возбуждения, когда гневно раздуваются ноздри, и ты готов кричать и метаться. Но это совсем не то великолепное чернокнижие, которое описы-

вают газетные Гинденбурги. Просто дикий порыв. Кидаешься в бой, как кидается бешеная собака, которая охвачена яростью и впивается зубами в первый попавшийся предмет. Но ведь к этому сводится вся военная подготовка. Когда офицер командует: пли! — то солдат уже чувствует перед собою врага, уже готов колоть, разрушать и драться. Война на том и построена, что она идет по бессознательным рельсам. Солдаты смотрят на взводного, взводный на фельдфебеля, фельдфебель на офицера. От одного к другому тянутся воинские нити, которые связывают всю армию с командным составом. Дернули ниточку в Варшаве, и по всему галицийскому фронту загремели тяжелые орудия, засверкали ружейные огни, и сотни тысяч солдат пришли в боевую ярость.

— Вы исключаете всякую инициативу в бою?

— Совсем нет. Чем больше личной инициативы, тем лучше для армии.

— Т. е. вы хотите сказать, что все зависит от личного мужества сражающихся?

— Вы опять не так меня понимаете. В том-то и дело, что никакого мужества нет!

— Ну, это, батенька парадокс, — хохочет Костров.

— Господа, вы знаете какую-то театральную храбрость, которая существует только в воображении газетных писак.

— Позвольте, но признаете же вы чувство храбрости у людей?

— Такого чувства не существует. Прошу меня выслушать. Храбрость не чувство, а результат многих чувств. Т. е. есть храбые люди, но их отважные поступки подсказываются не какой-то врожденной храбростью или чувством безграничного мужества. Такого чувства не существует. Люди храбры не оттого, что в груди их обитает какая-то природная благодать, которая повелевает громовым голосом: будь отважен и смел! А потому, что гнев, или ненависть, или сознание долга, или профессиональное самолюбие подсказывает им такие решения и такие поступки, которые мы определяем как смелые, героические.

— Но ведь это чистый софизм, — вставляет Болконский. — Не все ли равно, чем вызвано геройство? Вы говорите так: геройство вызвано гневом, а я утверждаю: гнев вызван герой-

ством. В конце концов это сводится к схоластическому спору: кто явился раньше на свет — яйцо или курица?

— О, нет, мои милые. Это совершенно не так. Храбрость из ненависти это — одно. Храбрость из чувства долга — другое. Храбрость из преданности народу — третье... Есть разные храбрости. И гнев, и ненависть это плохие советчики. Их храбрость дешевая, лубочная, газетная. Но это, впрочем, неважно. Важно то, что врожденной храбрости нет!

— Что вы этим желаете сказать?

— Что храбрость это не вдохновение, а трезвая математика, сухой расчет. Да, храбрость часто соприкасается с осторожностью. Храбр по-настоящему тот, кто может себя заставить быть храбрым. А безрассудная, стихийная храбрость не стоит ничего на войне.

— Я все-таки не понимаю, — говорит Медлявский, — почему вы так много значения придаете происхождению храбрости? Храбрость есть храбрость, из какого бы источника она ни происходила.

— Вот в том-то и дело, что вы знаете какую-то одну — фиктивную, театральную — храбрость. Из всех видов храбрости это самая лицемерная. Тогда как в действительности храбрость имеет тысячу ликов. Разрешите рассказать вам несколько отдельных эпизодов из моего собственного опыта на войне.

«Припоминаю такой, например, случай. Нас стояло восемь офицеров третьей батареи. Вдруг шагах в сорока от нас разорвался снаряд. Пули взвизгнули и рассыпались. И было слышно, как кружится и воет в воздухе шрапнельная трубка и летит прямо на нас. Мы все продожали разговаривать: и виду не хотелось подать, что мы боимся. Но разговор не клеился. Я все время думал: куда? в живот или в ноги?.. Трубка упала в шести шагах от нас. Все вздохнули.

« — А ты обратил внимание, какие у нас лица-то были? — спросил меня товарищ, когда мы возвращались в халупу».

— Вы хотите сказать, что рисковали из простого самолюбия?

— Какое тут самолюбие? Просто глупость. Вот как сестры милосердия ездят на батареи или в окопы лезут, чтобы пока-

зать офицерам, что и они не боятся. Офицер Бендерского полка рассказал мне такой эпизод.

«Отчаянным натиском были взяты австрийские окопы. В шестистах шагах от окопов стояла неприятельская батарея. Охранения никакого. Прислуга в панике билась и путалась с лошадьми. Двух залпов пятидесяти пехотинцев было совершенно достаточно, чтобы захватить все орудия. Офицер кричал, звал — никакого внимания: солдаты шарили в неприятельских ранцах и жрали австрийские консервы. Офицер добавил:

« — Эх, кабы не подлецы-солдаты!»

— Но ведь виноват-то он сам.

— О прапорщике Сибирякове слыхали? Вы знаете, как он обучает необстреленных новичков? — Бояться пули не надо, — говорит он им. — От пули не убежишь. Думай не о пуле, а о том, что сказал тебе командир. Исполняй свое дело. Ты вот с меня бери пример!

«И он спокойно выходит из окопа и идет ровным шагом до заграждений. И так же обратно. На солдат это производит огромное впечатление. Но когда кто-нибудь из них тут же выскакивает из окопа, чтобы проделать то же самое, он топает ногами: «Дурак! ты не имеешь права рисковать жизнью; она принадлежит не тебе, а полку!.. Такую храбрость я понимаю. Человек обдуманно рискует головой ради известного решения. Ему поручили сделать солдата храбрым — и он делает свое дело, не считаясь ни с опасностью, ни с риском».

— А много у нас таких храбрецов, как Сибиряков? — интересуется прапорщик Болконский.

— Нет, немного. Я знаю еще одного такого — полковника Нечволодова.

— Ну, этого мы все знаем!

— И у себя на батарее я знал такого телефониста.

— Солдата? — спрашивает Костров.

— Да, солдата, и, как ни странно, — еврея. Худой, лопоухий. В разговоре растерянный какой-то. А в бою удивительный молодец. Два Георгия получил.

— Расскажите о нем, — просит Медлявский.

— Извольте, расскажу.

«Это было ночью. Я сидел на наблюдательном пункте.

Ночью... Канонада ужасная. Шел обстрел переправы. Прожектор нащупывал мосты, а наша батарея стреляла. Вдруг — перерыв на телефоне. Нажимаю на Зуммер (телефонная кнопка) — никакого ответа. Нажимаю раз, другой, третий... Знаю, что дежурный телефонист иногда засыпает; но они ложатся ухом на трубку и просыпаются мигом... Ну, ясное дело: перерыв! Надо послать телефонистов осмотреть провода. А канонада страшнейшая. Нехватает духу сказать: ступай на верную смерть!.. И вот совсем неожиданно подходит ко мне солдатик, лопоухий Мошка, как прозвали его наши артиллеристы:

«— Ваше высокородие! Надо проверку сделать.

«Посмотрел я на него: худой, лопоухий; бородка жидкая; глаза черные, спокойные, светятся как жуки.

« — Твоя очередь? — спрашиваю. — Ну, ступай!

«Отсутствовал он минут 20. Как ахнет очередь, я все прислушиваюсь — не ранен ли? не кричит ли?.. Ну, пришел. Вид такой же. Даже не побледнел. Докладывает спокойно:

« — Ваше высокородие, в шести местах провода испорчены. Надо ждать до рассвета: ночью никак исправить нельзя.

«Посмотрел я на него и подумал: — Врет! Никуда он не ходил и ничего не видел.

«А он тем же спокойным голосом продолжает:

« — Дозвольте пойти на соседнюю батарею: оттуда передать можно.

« — Ступай.

«Утром неприятель ушел. Канонада затихла. Осмотрел я провода: действительно шесть разрывов, и как раз в тех местах, о которых докладывал мне Мошка. У меня сердце так и дрогнуло. Какой подвиг. И так спокойно, просто, не по-газетному».

— Как имя солдата? — спрашивает Болконский.

— Шулим Бельзер.

— А где он? У вас же на батарее?

— На батарее его нет.

— Убит?

— Нет... арестован.

— За что?

— Не знаю... как будто за пропаганду.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

РАЗГРОМ НА ДУНАЙЦЕ

1815 ГОД

МАРТ

1

Ночью холодно, а днем каплет с крыш. Пахнет весной и талым снегом.

Попрежнему веду кочевой образ жизни.

Среди жителей были случаи оспы. Ожидается тиф. Необходимо сделать прививки. Но ни в дивизионном лазарете ни в лазарете Государственной думы в Тухове нет ни вакцины ни тифозной культуры. А главное — еще нет соответствующего приказа.

Ежедневно сталкиваясь с нашими казенными специалистами, видишь, до какой степени обезличен русский интеллигент и как мало у него знаний и веры в собственную пригодность. Доктора, саперы, артиллеристы страшатся иметь свое мнение и суеверно ждут предписаний начальства.

— Да это так и должно быть, — по обыкновению иронизирует командир бригады Базунов: — у русского человека чужепахучая душа. Иностранная политика его всегда занимала больше, чем собственное дело.

...Еду сегодня в Здзяры по срочному вызову вновь назначенного командира третьего парка, штабс-капитана Калинина. Оттуда — в штаб дивизии — хлопотать о получении лимфы. Заранее рисую себе изящного доктора Прево, который на все мои требования ответит с вежливым изумлением: «Но разве есть приказ о прививках?».

Базунов, весело потирая руки, расхаживает из угла в угол и обучает меня правилам казенного непротивления:

— Послушайте... Надо брать жизнь такою, какая она есть. Нет вакцины? Не надо! Нет снарядов? Не надо! Рапорт направил по начальству — и баста. Дальше — хоть плетями стегайте — ни тпру ни ну!.. Что толку в том, что вы будете метаться из управления в управление, как сто тысяч чертей? Всё равно, — ничего не получите, пока не будет приказа из штаба армии.

— Так точно, господин полковник, — поддакивает саркастический Кузнецов, — как ни ширься, шире зада не сядешь.

— Коновалов! Лошади поданы? — кричит охваченный хозяйственной прытью Базунов.

— Никак нет. Дрыга пытае: чи закладать коней, чи ни? (Дрыга спрашивает: пора ли запрягать лошадей?).

— Ну, вот, — вспыхивает Базунов. — Оттого нас и бьют на всех фронтах. У немца каждая минута рассчитана. Пока мы запрячь успеем, немцы пять железных дорог проложат, да построят миллион двести тысяч крепостей!..

...У Калинина — дым коромыслом. По случаю вступления в должность — гостей тьма. Прапорщики, доктора, артиллеристы. Сам Калинин, — высокий, узкогрудый блондин, — похож на человека, только-что выскочившего из холодной проруби. Он добродушно жмурится, и на подвыпившем лице сияет растерянная радость:

— Хар-рашо... И во сне такое не снилось... Как архиерей на покое.

И поясняет с виноватой улыбкой:

— С Пятницким поменялся... Здорово пожалеет, бедняга!..

...Гремят стаканы... Летят под стол пустые бутылки... То тут, то там из общего гула выделяются отдельные голоса.

— Терпеть не могу пропоиц! — кричит прапорщик Кириченко. — Я пью только раз в году: на пасху... Христос воскрес!..

— Ну, Джапаридзе я понимаю: холост, горяч, за репутацией погнался, — доносится с другого конца срывающийся

голос Калинина. — Но Пятницкий?.. Нищий!.. У него жена и ребенок... Так рисковать собою... Вот помяните мое слово: его судьба накажет!..

— А я не верю! — азартно кричит какой-то бравурный прапорщик. — Чтобы раненых добивали?.. Этого, извините, нельзя! Как по-вашему, доктор?

— Можно, — иронически отзывается доктор Железняк. — Ученик немецкого философа Ницше, Симеон Пищик, проповедует, что даже фальшивые бумажки делать можно.

...Дымно, накурено и смрадно. Лица красные, потные. Вестовые заметно пошатываются и невероятно гремят посудой. Тарахтят жестянки из-под консервов. Перекатываются пустые бутылки. Калинин, с расстегнутым воротом, без тужурки, но с той же блаженной улыбкой на лице, говорит расслабленным голосом:

— Н-нет, п-послушайте... какое нам дело?... к чему нам в европейскую драку путаться?.. Мы — народ мирный, по чужому не тужим... Нам это все без надобности... Не так ли, Костецкий?..

— Золотые твои слова, голубчик. Хоть убей, понять не могу, за что нас заставляют страдать? — разводит растерянно руками Костецкий.

...Вечереет. На лицах — грустные сумерки. Охватив руками наклоненную голову, Калинин жалуется пьяненьким голосом:

— П-послушайте... Яблонский убит... И Пчельников убит... А мы останемся живы... По воскресеньям будем надевать ордена... И земля от крови хорошо родить будет... Надоело... терпение мое лопнуло... К черту... к черту газеты!..

— Брось, Володя!.. Пустое, — успокаивает его Костецкий.

— Ты думаешь, я не понимаю?.. — всхлипывает пьяными слезами Калинин. — Сбежавшая собака... А Пятницкого убьют...

...Светает. Исчерпаны все запасы «до последней слезы». Лежим на проплеванном полу, среди окурков и банок, с лихорадочным гулом в ушах и с закрытыми глазами. Хочется слу-

шать про чертей, про вулканических женщин и всякую небывальщину.

— Уважь, Петруша! — взывают со всех сторон к Кромсакову.

Прапорщик Кромсаков — беспардонный враль и похабник. Помесь Ноздрева с сутенером.

— Меня нянька в детстве ушибла: не могу без «мата» двух слов сказать, — с похвальбой говорит он о себе.

Своей репутацией непобедимого сквернослова и вральмана Кромсаков чрезвычайно дорожит.

— Вышел на-днях я на батарею. Смотрю: австрийцы совсем близко. Увидали меня, — давай палить. А я стою на виду и сухарь грызу. И вдруг, пуля — бац! Полсухаря отбила. Продолжаю грызть половинку. Опять, — бац! бац! Выбила сухарь изо рта. Разозлился я страсть, и давай матить и калить.

На протяжении добрых пяти минут льются стремительные каскады совершенно неслыханной, виртуозной, скабрезнейшей казарменной матерщины.

— И не поперхнется, каналья! — завистливо восхищаются прапорщики.

Мерно бухают пушки. Вяло сочатся мутные потоки давно приевшейся кромсаковщины.

Бурно храпят, сотрясая стены и окна, истомленные «воины».

2

...Изящный мужчина в английском френче, с ровным пробором на голове, с французской бородкой и черными лакированными глазами, — не то румын, не то итальянец, — говорит бархатным баритоном:

— Да, да, да... Понимаю. Но что прикажете делать, если у нас слишком много людей и слишком мало культуры... К тому же и приказа о прививках еще нет!

— Но среди населения — случаи тифа.

— Да, да, да. Понимаю... А впрочем, вот что... Вам придется съездить во Львов. В главное санитарное управление. Возможно, что там получена лимфа.. Вам сегодня изготовят срочное предписание.

...Опять вчетвером на артиллерийском возу. Сонно покачиваясь, как в лодке, едем час, другой, третий. Сочатся мутные сумерки. Седой туман оседает серебристыми звездочками на шинелях, на усах, на конской сбруе. Свистит ветер. Тёкают селезенки. Цокают крепкие подковы. Дорога тянется, длинная и скучная, как благонамеренная немецкая повесть.

— Тпру!..

Дрыга соскакивает с воза, щупает кнутовищем конские бока, поправляет шлеи, постромки, поощрительно посвистывает раскорячившим ноги лошадям и неожиданно объявляет:

— Так что ошибка вышла. Не на тую путь попали.

— А куда же нам ехать надо?

— Не могу знать.

— Ошибся малость: рядил в Арзамас, а попал на Кавказ. Ну и рохля! — волнуется Шалда.

— А я виноват? — почесывается Дрыга.

— А то с меня взыскивать?.. Один у кучера подвиг, по положению: дорогу помнить.

— Что ж, я не знаю, что ли? — обижается Дрыга. — Нам до столба до рыглицкого, а там — не глядя доеду.

— С тобой доедешь, — раздраженно фыркает Шалда. — Слов таких нет, чтобы тебя, дурака, пронять...

— Что ж, я в первый раз езжу? — оправдывается Дрыга.

— Не в первый раз едешь, а под пули к немцу везешь!

— Из крику дела не выкроишь, — равнодушно почесывается Дрыга. — Нам бы по плантам округ себя посмотреть.

— Стой!—вспомнил я.—Кажется, в сумке у меня компас.

Пошарили в сумке: есть!

Вчетвером долго возимся! Намечаем север, запад, восток. Совещаемся. Наконец, решаем: вперед!

Снова тёкают селезенки. Цокают подковы. Фыркают усталые кони. Ветер сменяется метелью. Вечер — холодной ночью. Мы изголодались, продрогли. А кругом — все та же пустынная дорога, холмы, отвесы, ложбины. Чувствую, что доверие к компасу подорвано не только у Дрыги и Коновалова, но и у меня самого. Вдруг — лай собак, огни и какие-то воинские биваки.

— Что за селение?

— Местечко Пильзна.

— Восемьдесят четвертой.

— Какой дивизии части?

Вот-так штука! И дорога, и местность, и дивизия, — всё чужое. Верстах в сорока от Рыглицы очутились. Благо, что не к австрийцам попали.

...В Пильзне разбитые каменные дома, мощеные улицы и много запуганных евреев.

Приютился в резерве 316-го пехотного полка. Ночую с дюжиной офицеров. Остатки потрепанного батальона, дожидающегося пополнения. Живут грязно, тесно, по-арестантски. «Чтобы не распускаться», как поясняет командир батальона. Никто не интересуется, — кто я, зачем в Пильзне, какие люди со мной? Все равнодушно-гостеприимны и твердо уверены в душе: от хорошей жизни в Пильзну не попадешь. Командир басит, лаконичен и пытается делать либеральные мины за столом. Вся полнота власти, видимо, у заведующего хозяйственной частью — тощего рыжеватого капитана с поджатыми губами и чахоточным голоском.

...Небо сизое, насмурное. Падают медленные хлопья. В комнате грязно, накурено и жарко. В раскаленную печь денщики беспрерывно подбрасывают целые бревна. Из сеней захлестывает едкая тыловая муть. Кто-то, задыхаясь от бешенства, кричит по-польски:

— Не вольно, пся крэвь, остатне сяно брацьǃ..

Потоки занозистой русской матерщины окатывают дерзкого протестанта. Злобный голос отчеканивает с непоколебимой уверенностью:

— Не лезь, хуже будет! Кричать будешь меньше — проживешь, пан, дольше... Я по приказанию государя императора беру! Понимаешь, поляцкая морда!..

И слышно, как отброшенный сильной рукой протестующий «пан» стремительно отлетает к стене. В дверях показывается солдат, рослый и толстый, и спокойно рапортует:

— Позвольте доложить: так что за два воза сена не заплатил.

— Почему?

— Я ему тридцать рублей — по положению — даю, а он, вишь, не берет: «Я, грит, для вашей Рассеи сена не готовил».

— Ишь ты, сволочь! — возмущаются офицеры. — Это из какой деревни?

— Деревня Мало, верстов за тридцать отсюда. Он за мною прибег. Я деньги забрал, — вот они.

— И хорошо сделал, — говорит заведующий хозяйством. — Это он разоряется? Гони его в шею, подлеца!

— Так точно, — оживляется фуражир. — Ругается: «У меня, грит, и коней забрали, — тоже не заплатили. Берите, берите. Все равно скоро погонят вас. А я вашими деньгами не нуждаюсь».

— Не нуждается, — и не надо! А нам панское сено пригодится, — ехидно сипит заведующий хозяйством.

— Так точно. Там у яво сена четыре копны осталось и шесть коров. Богатый пан. Прикажете забрать?

— Без нас заберут, — ворчит офицер. — Ступай!

— Там какой-то пан добивается, — докладывает вестовой.

— Зови!

Входит, кланяясь до земли, крестьянин лет сорока. На нем русский овчинный полушубок и новые фланелевые шаровары. Заведующий хозяйством осматривает его с ног до головы и тоном гоголевского городничего швыряет ему в лицо:

— Жаловаться?.. Я тебе покажу, прохвосту! Штаны из солдатских портянок носишь. И полушубок — наш!.. С мертвого спял!.. Убирайся, сукин сын, пока цел...

Мужик молча кланяется до земли и не трогается с места.

— Тебе деньги давали? Сам не взял! Чего же ты хочешь? — въедливо кричит заведующий хозяйством. — Надо мне людей кормить или нет? Надо, чтобы лошади были сыты? Сам понимаешь. Уходи к чортовой матери!..

— Там еще один пан дожидается, — докладывает вестовой.

— Зови.

Входит старичок в польской поддевке и — бух в ноги. Всхлипывая и сморкаясь, он жалуется на солдат, которые вырубили пять больших сосен и отказываются заплатить за убытки.

— Вот чудак! — смеются офицеры. — А твой Францишек нам платит за убытки?

И вестовой тихонько выталкивает старика.

— Да там их сегодня до чорта! — говорит вестовой. — С мальчонкой хохол какой-то.

Входит ободранный русин, ведя за собой голубоглазого мальчика лет девяти.

— В чем дело?

Русин низко кланяется, крестится и начинает рассказывать по-украински, как он шесть месяцев назад бежал из Перемышля с женой и детьми, как обносился, оборвался, изголодался. Настойчиво подчеркивая, что он — русин, православный и всей душой предан русскому царю, он долго повествует о полковниках и генералах, которых он выручал из опасности и из плена — и под Равой Русской, и под Львовом, и, вздыхая, протягивает свою торбу.

— А документы есть у тебя? — строго обращается к нему заведующий хозяйством.

Но в двери неожиданно вваливаются несколько плачущих баб. Визг, шум. Бабы бросаются на колени, тянутся губами к офицерским рукам. Вестовые стараются водворить тишину и беспощадно одергивают баб.

В голубых глазах мальчугана загораются радостные искры, и он, дергая за полы отца, неудержимо хохочет.

— Батько! Бачь!..

Молодой прапорщик хватает со стены мандолину и кричит мальчику:

— Танцуй!..

Два других офицера, заглушая завывания баб, залихватски напевают под аккомпанимент мандолины гривуазную польскую песенку:

Ой чи дашь, чи не дашь?
Чи весёля почекашь?
Ой ти дам, али не вёле:
Бо прендзёй бендзè веселе...

— Что за кабак! — вопит заведующий хозяйством. — Гони их в шею, Садырин!..

...Вокруг меня юлит батальонный письмоводитель, который в качестве подпрапорщика чувствует себя полуправным гостем в офицерской среде.

— Хотите послушать наших песенников?

— Каких песенников?

— У нас в команде хорошие песенники есть.

Письмоводитель суетится, сговаривается с адъютантом, посылает в команду денщиков. Через полчаса мы сидим на койках, прихлебываем горячий чай с ромом. Четверо изрядно наугощавшихся ротных писарей, под аккомпанимент прапорщицкой балалайки, бойко «выкомаривают» армейские частушки. Голоса свежие, сильные, но частушки беззубые и скучные.

Куплеты тянутся без конца, — один другого бездарнее. Писарям снисходительно подносят. Они кланяются, «покорнейше» благодарят, крякают, вытирают усы, закусывают. Потом снова поют, ухают и паясничают.

Было что-то глубоко унизительное, холопское, скоморошеское и в этих кривляющихся писарях, и в угодливом письмоводителе, и в бутафорских частушках. Я поспешил распрощаться с гостеприимными резервистами. Когда я сидел уже на возу, до меня донесся визгливый голос заведующего хозяйством:

— Садырин! Пошвыряйся там у жидов, — не найдется ли еще бутылки рому?

...Опять я, как Чичиков, качу со своими Петрушкой и Селифаном по снежным ухабам.

— Эй, птицы! — нахлестывает вожжами Дрыга.

В голове у меня надоедливо путаются гостеприимные прапорщики, плачущие бабы и мужики, запуганные евреи, тонающие городничие, ревизоры, дровяное довольствие, сальные свечи, денщики, скоморохи, великокняжеские самодуры... Уж и впрямь, — не воскресшая ли это гоголевская Русь, с перекладными, жирными кулебяками, дворовыми песенниками; с ноздревщиной, хлестаковщиной, прекраснодушной маниловщиной; со Скалозубами и Репетиловыми времен очаковских и покоренья Крыма?.. Только Чичиковы наших дней стали куда загребистей прежнего — спекулируют не мертвыми душами,

а кровью. Да, Чацкие в полковничьих погонах изрядно повылиняли, обросли скептическим жирком и наставительно внушают подчиненным:

— Жизнь надо брать такою, какая она есть...

3

Беру жизнь такой, какая она есть.

Сижу за печкой в офицерском вагоне, битком набитом военной «рухлядью»: интенданты, сестры милосердия, доктора, «земгусары» [1] и прапорщики. Паровоз, хрипло посвистывая, несется мимо молчаливых и разрушенных станций. Нищие, оборванные детишки и голодные старухи костлявой рукой стучатся в окна вагонов, делая жалобные гримасы. Это мало кого интересует. На фронте нет неврастеников, людей с избытком слезливой жалости. К «бытовым явлениям» фронта давно привыкли и стараются не замечать ни разорения ни слез. Каждый думает только о себе и готов вцепиться в горло каждому, буде оне понадобится для сохранения живота своего. Грохотом орудий давно раздавлены всякие сантименты. Люди злы, бесцеремонны и грубы. Открыто и раздраженно высказывают все, что накипело в душе.

В вагоне дымно, угарно. Воняет олифой и жестью. Кругом храпят, кашляют и плюют. Раскаленная докрасна окопная печь ежеминутно потрескивает от неосторожных плевков. Без утайки вытаскивают наружу «души оскорбленной занозы». Обогащаю новыми черточками свои дневники... Сверчок за печкой...

Говорит пожилой интендантский чиновник 25-го корпуса, обращаясь нето к соседу, нето ко всему вагону:

— Час от часу тяжеле... Извольте радоваться, — новый приказ по интендантству... Не приказ, а семидесятипудовая «берта». Предписывают заниматься фуражировкой только в районе собственного корпуса!.. Не угодно ли?.. Пятый месяц на одном месте стоим. Все деревни на пятьдесят верст кругом до тла очистили!.. Вот вам, — в районе собственного корпуса...

[1] Земгусарами называли щеголеватых молодых людей со шпорами и во френче, служивших в союзе городов и земском союзе.

А попробуй, заикнись, — под суд отдадут. Командир корпуса знать ничего не хочет: загоняй экономию — и баста!.. А какая тут к чорту экономия?! Из всех частей срочные требования: хоть тресни, а подай! Штаб армии свое талдычит: покупать по справочным ценам! Вот и вертись, как бес перед заутреней...

— Что ж вы будете делать? — интересуются слушатели.

— Ума не приложу!.. Не угодно ли? С населением кончено. Ни лаской ни силой — пылинки не выкачаешь. Сами с голоду дохнут. С «панами» лучше не связываться. Это, — такие, доложу я вам, живодеры, каких свет не видывал. Стоит для них, прохвостов, кровь проливать...

— А как же вы до сих пор обходились?

— Очень просто. Подрядчикам сдавали. Засылали в чужие районы фуражиров... Из прифронтовой полосы давно все выкачали.

— Это кто же, всё Радко-Дмитриев старается? — задает вопрос прапорщик.

— Уж не знаю, кто там старается, а Радко-Дмитриеву не усидеть, — угрюмо соображает интендант.

— Давно пора! — соглашается прапорщик.

— Это ж за какие провинности? — ехидно спрашивает полная сестра милосердия, окруженная баулами и картонками.

— Не верят ему солдаты, — уклончиво отвечает прапорщик.

— Верно! — вмешивается новый прапорщик. — Я сам слыхал. При мне говорили: «Командующий у нас ненадежный». — Почему? — спрашиваю. «Чудак ты, — говорят. — Ровно ты дитё малое. Сам рассуди: ён кто? болгарин?» — Да. — «Как же так? Что ж он один против своих воюет?..»

— Возмутительно! — негодует сестра. — Расстрелять такого солдата!.. Я бы...

— А вы здесь при чем? — обращается к ней с вызовом первый прапорщик.

— Не для того я столбовая дворянка у своего государя, чтобы такие гадости слушать, — запальчиво отвечает сестра и отворачивается к окошку.

...Говорит врач в пенснэ, нервно теребя небольшую бо-

родку. Он бросает слова, как камни, с явным желанием задеть и больно ударить:

— А я утверждаю, что штыковых боев нет! С начала войны работаю в полковом лазарете. Сотни, тысячи раненых пропустил. Штыковой раны не было!.. Ни одной!..

— Как же так? — вежливо удивляется земгусар. — У других врачей были...

— Спрашивал! — резко бросает доктор. — Сорок хирургов опросил. Никто не видал!

— Однако ж факт налицо: штыковой бой существует, — снисходительно улыбается собеседник.

— Я вам русским языком говорю: штыковых боев нет!

— Ну, знаете, — пожимает плечами земгусар, — значит, врут все официальные донесения?..

— В штабных донесениях, конечно, существуют, — злобно выкрикивает доктор. — Да только все это че-пу-ха! Выдумки тыловых болтунов и газетных щелкоперов. Да-с... Ни та ни другая сторона штыкового удара не при-ни-ма-ет! Слышите! Не принимает.

— Позвольте! Вы спорите против очевидности. Не дальше, как на прошлой неделе, высота 104 была выбита у противника штыковым ударом. Это известие облетело все газеты.

— Ага!.. Высота 104, — обрадованно зарычал доктор. — Молодецким штыковым ударом... высота 104... Как же, как же...

Доктор протер пенснэ, собрал в горсть бородку и ехидно рассмеялся:

— А вот не угодно ли послушать, как это происходило в действительности. Смею вас заверить, что располагаю точными сведениями. Да-с. Имею честь состоять врачом 115-го полка, который б р а л высоту 104.

Он с особенным ударением остановился на слове «брал».

— Три раза ходили наши части в атаку и три раза отошли с огромным уроном. А штаб дивизии все шлет телефонограмму за телефонограммой: «Во что бы то ни стало занять высоту 104». Командир полка нервничал, волновался. Наконец, собрал все свои потрепанные резервы и в четвертый раз бросил свой полк в атаку. И с таким же печальным результатом.

— У вас кто командир полка?

— Полковник Курдюмов. Человек упрямый, решительный и смелый. Получив в пятый раз приказание «занять во что бы то ни стало», — он протелефонировал в штаб дивизии: «Высоту 104 атаковать без усиленной поддержки со стороны артиллерии — невозможно». Из штаба дивизии ответили: «Предать суду офицеров полка и немедленно бросить полк в атаку и занять высоту 104». Делать нечего. Боевой приказ. Ослушаться невозможно. На другой день в штаб дивизии полетело срочное донесение: «Сего числа 115-й пехотный полк молодецкой ночной атакой под командой батальонных и ротных командиров в штыковом бою опрокинул противника и занял высоту 104». Из штаба дивизии получилось немедленное распоряжение: «Представить к наградам и боевым отличиям весь наличный состав 115-го полка».

Доктор обвел глазами слушателей, которые с недоумением смотрели на него. Он медленно протер пенснэ, хихикнул и продолжал с торжествующим злорадством:

— А через шесть часов полковник Курдюмов послал новое донесение: «Собрав превосходные силы и поддерживаемый огнем своей тяжелой артиллерии, противник атаковал высоту 104 и заставил нас отойти на прежнюю линию».

— Но ведь это — просто шантаж!..

Грубый голос, произнесший эти слова, ворвался в сумеречную тишину вагона, как общий единодушный вывод.

— Ну, что ж?.. — насмешливо протянул доктор. — А вам все подвигов хочется?..

И угрюмо закончил:

— О подвигах пускай мечтают в тылу. А здесь об одном все думают: как бы шкуру спасти.

...В вагоне мертвенно тихо. Страшный рев разрушения не так пугает, как его зияющее безмолвие. Все кажется погруженным в черные воды Сана, в мрачный холод пустынных улиц с заколоченными домами... Ни смехом ни страстной любовью не оживить эту умерщвленную тишину... Только красотою печальной песни...

На войне душа человека торжествует только в песне. Нигде никогда не поют с таким глубоким волнением, как на

фронте. Недаром солдаты говорят: «Никому так спасибовать не надо, как тому, кто солдатам песни придумал».

Как хорошо поют прапорщики! И песня так страстно протестует своей возвышенной грустью. Высоко плывут тенора, оторвавшись от земли, и тяжело, с каким-то раздирающим стоном, клонят песню к земле басы:

Покрыты костями карпатские горы,
Озера мазурские кровью красны,
И моря людского мятежные взоры
Дыханьем горячим полны.
Зарницами ходит тут пламя пожаров,
Земля от орудий тут в страхе дрожит;
И вспаханы смертью поля боевые,
И много тут силы солдатской лежит.
Как свечи, далекие звезды мерцают,
Как ладан кадильный, туманы плывут,
Молитву отходную вьюги читают
И быстрые реки о смерти поют.
Тут синие дали печалью повиты,
О родине милой тревожные сны,
Изранено тело и души разбиты,
И горем, и бредом тут думы полны...

4

Во Львове, при входе в общую залу на вокзале, наталкиваюсь на странное зрелище. За длинными столами сотни три австрийских офицеров при шашках и в самых непринужденных позах. Русские офицеры чуть вкраплены поодиночке. Выделяется группа из шести человек — за отдельным столиком у окна. Между ними бросаются в глаза два австрийских генерала: один — худой, высокий, с лицом улыбающегося ястреба; другой — черноусый, приземистый, еврейского или итальянского типа. Рядом с высоким — горбоносый молодой офицер с собакой, которую держит на привязи. Все трое иронически оглядывают зал.

Оказалось, — офицеры только-что сдавшегося перемышльского гарнизона.

Судя по лицам сдавшихся офицеров, — в большинстве краснощекой, упитанной и начисто выбритой молодежи, не выше лейтенантского чина, — трудно предположить, чтобы гарнизон сдался от голода.

За столом весело разговаривают. Молодой русский поручик обращается по-немецки к своему соседу:

— Как вы полагаете, окажет падение Перемышля существенное влияние на ход дальнейших событий?

— Трудно сказать, — уклончиво отвечает австриец.

— А легче нам теперь достанется овладение Краковом? — допытывается наш офицер.

— Если у вас хватит силы, — с легкой иронией парирует собеседник.

За другим столом беседа идет между нашим полковником и австрийским лейтенантом.

— Среди вас много поляков? — интересуется полковник.

— Офицеров очень немного, — отвечает австриец. — Гораздо больше других национальностей: немцы, венгры, румыны, евреи.

И вопросительно добавляет:

— Среди вашего офицерского состава, кажется, нет евреев?

— Нет.

— Но среди солдат евреи имеются?

— Конечно.

Австрийцы встают из-за стола, расхаживают по залу, курят и весело пересмеиваются. Ежеминутно вбегают оборванные детишки и просительно протягивают к ним руки:

— Подаруйте, пане ласкавий...

...В смежном зале третьего класса столпилась кучка солдат и с суровым любопытством посматривает на австрийцев.

— Вы кто такие? — спрашиваю я их.

— Охрана, — лениво отвечают бородачи. — Пленных офицеров ведем.

Тут же группа калек, только-что выпущенных из львовских госпиталей и возвращающихся на позиции — в свои части. Они сидят на полу у дверей и перебрасываются едкими замечаниями:

— И немец, видать, не обидчив: на хлеб-соль нашу навалился, — не хуже нашего брата убирает.

— Война всем не мила; всем нутро-то повыела...

— Своя шкура кажному дорога...
— Прокормить такую ораву тоже не дешево стоит...
Крестясь и позевывая, они вытаскивают из мешков хлеб и, медленно жуя, продолжают тихо переговариваться:
— Для них война кончилась...
— Лехкий тютюн, — смеется краснощекий украинец.
— А нам из-за них вот — опять на позицию...
— Мені тільки два массажа зробили тай казали: годі, іди!..
— Зато Львов повидал. Разве мало?
— А вже ж побачів, — объясняет под общий хохот украинец. — Там як тільки за ворота війдешь, комендант морду набье тай зараз: на позіцию!
— Что я на позиции такой рукой делать буду? — с печальным недоумением показывает искалеченную руку молодой пехотинец. — Тут и пояса не наденешь, не то что стрелять...
— А я что? — откликается другой. — У меня девятнадцать зубов во рту не хватает. Не то что сухаря, арбуза вареного не укушу. Голодать буду... Так голодной смертью помру.
— Байдуже (пустяки), — утешает его украинец. — Там і зубатому немащо кусати.
— Ты бы молока себе покупал, — насмешливо советует кто-то, — да кашку варил.
— А мое дело — мед! — говорит высокий солдат с оторванной ягодицей. — Мне немецкий царь полж... откусил, а другую половину оставил. Будет теперь господам ахфицерам немецким куда целовать. Вон их какая рать до нас привалила...

....Руссифицированный Львов распластывается с холопской угодливостью. Городовые, газетные киоски, гостиничные лакеи плещут избытком патриотической ретивости. Улицы переполнены полицейскими, матерной бранью и русскими факторами. На вывесках — полотняные ленты с выразительными надписями: «Петроградский базар», «Киевская кофейня»... Мальчишки бойко выкрикивают названия русских газет. Много погон, аксельбантов и звякающих шпор. Много автомобилей и шелка. Всюду — искательные глаза и зазывающие улыбки.

Тротуары переполнены спекулянтами, юркими маклерами, крикливыми газетчиками. Все это орет, налезает, наскакивает, цинично лезет вперед и точно намеренно стремится врезаться грохочущим клином между тылом и фронтом, чтобы раз навсегда заглушить всякую попытку последнего грубо напомнить о себе.

...Мне выпало счастье поселиться в гостинице «Бристоль» — с собственной прачечной и ваннами. К сожалению, в этот день на гостиницу «Бристоль» обрушился ряд горестных неожиданностей: в прачечной лопнули трубы, в ванной испортились все краны, а электричество не действовало.

Лежу в полутемном номере на переполненной клопами кровати. За стеной визгливо хохочут пьяные голоса. По коридору бренчат гусарские шпоры. Перебираю в памяти впечатления тыла. В ресторанах, на улицах, в магазинах, в гостиницах, в учреждениях и на вокзале — всюду одно и то же: замордованность, нищета, побои и тучи тыловых полководцев. И надо всем — торжественное гудение колоколов в украинском соборе... Церковь, казарма, банк и острог — четыре фундаментальных камня капиталистической цитадели. А внутри — беспросыпное пьянство и повальный разврат.

Спускаюсь в «кавярню» (кофейню). Оркестр визгливо наяривает «На сопках Манчжурии». За столиками — дельцы с жуликоватыми лицами, одновременно похожие и на актеров, и на шпионов, и на биржевых аферистов. Рядом со мною густо подмалеванная дама лет тридцати пяти, полная, румяная, с золотыми зубами, ведет разговор глазами с двумя бритыми господами с соседнего столика. В углу — группа длиноволосых мужчин в бекешах, с санитарной повязкой на рукаве. Повидимому, — журналисты. У одного лицо знакомое: один из тех, что печатают свои фотографии на открытках, а боевые корреспонденции «с полей сражений» — на столбцах «Русского слова». Между ними — офицер с забинтованной головой. Утопают в облаках табачного дыма и среди опорожненных бутылок и забинтованных офицеров набираются приподнятых чувств для своих патриотических корреспонденций. В качестве признанных руководителей общественного мнения они время от времени посы-

лают в публику не совсем трезвые, но решительные афоризмы:

— Если бы человек не пил и не ел, то ничего бы не было...

— Журналист — это нечто среднее между горизонталкой и лакеем...

Большинство посетителей кавярни — проститутки и тыловая военщина, поддерживающие между собою довольно тесное общение, если судить по репликам, перелетающим от столика к столику, и по приторному запаху иодоформа в кавярне. Очевидно, «безопасные и верные средства» оказываются недействительными по отношению к местному офицерству. Львовские венерические госпиталя переполнены есаулами и корнетами, что, конечно, не мешает последним разыгрывать роль самоотверженных героев, пострадавших на поле брани. Об одном из таких львовских подвижников рассказывают, что, лежа в палате для сифилитиков, он получал очень трогательные письма от своей наивной жены, которые все заканчивались восторженной припиской: «целую твои священные раны».

Не следует, впрочем, увлекаться. Не следует обрушивать все громы небесные на бытовых саблезвонов. Увы! И окопная братия платит не малую дань Венере медицинской или, как выражаются офицеры, святому Бобонию безносому.

У войны своя особая психология.

На войне долго видишь мужчин и только мужчин. И когда мечтательный прапорщик или скромный бригадный адъютант прямо из душной землянки попадает в омут женских соблазнов, у него в глазах появляются огненные круги.

— Я не знаю, кем и когда построен Львов, — говорил мне тихий прапорщик Болеславский, — но он, наверное, построен на развалинах Содома и Гоморры.

Так чувствует каждый окопный обитатель. Он готов ринуться за первым призраком счастья, хотя бы счастье это называлось крашеной Зосей или Минкой. Главное, чтобы счастье было податливо и доступно. Долгая осадная война приелась офицеру в окопах. Ему нужны быстрые стратегические движения. Миг — и готово! И дым коромыслом — в ресторане. И в номере — Содом и Гоморра...

А Львов переполнен, Львов живет, наживается и торгует на всех бульварах и перекрестках этим податливым счастьем.

Я никого не желаю опорочить. В славной столице Галиции нет, разумеется, недостатка в добродетельных женщинах. Но когда сдвинуты с места все границы, кто в состоянии поручиться, что он знает в точности, где кончается крашеная Минка и где начинается строгая львовская матрона?..

Выхожу из ресторана на вольный воздух. Еще светло, но пустынно. Кое-где мерцают одинокие огоньки. Трамваи не ходят.

На улице Иоселевича присел на скамейку против памятника Берко-Пинхусу Иоселевичу, некогда освободившему Львов от нашествия иноплеменных завоевателей.

По тротуару торопливо постукивают женские каблуки, удирающие от офицера. Женщина стремительно подходит к моей скамье и произносит запыхавшимся голосом по-украински, опускаясь возле меня:

— Разрешите, будь ласка, присесть...

Офицер проследовал дальше, усиленно гремя палашом. Женщина продолжала, волнуясь:

— Дозвольте мне пройти с вами до моего дома. Теперь разъезжают патрули и меня могут забрать.

— Почему?

— Потому, что после войны нельзя ходить по городу. А я задержалась в одном месте и теперь боюсь возвращаться.

Я посмотрел на неё.

Миловидное, тонкое лицо, стройная талия, изящная обувь.

— Я русская, — продолжала она, — русинка... Дом мой на улице Шептыцкого... Здесь близко.

— Раз вы русинка, — у вас нет основания бояться: к русинам наша администрация, кажется, необычайно внимательна.

— Я не администрации боюсь, а ваших офицеров... Не сочтите, пожалуйста, за дерзость, — оборвала она и поднялась со скамейки.

Мы пошли.

Дама шла торопливым шагом. Крашеные девушки перебегали с тротуара на тротуар. Подвыпившие офицеры заглядывали им под шляпки.

— Вы видите, что творится, — бросила моя спутница. —

Ваши офицеры назойливы, как крапива... Боишься нос высунуть на улицу... Если бы муж это видел...

— Ваш муж москофил?

— Нет, мой муж офицер. Он в православном легионе, на Карпатах.

— Что это за православный легион?

— Это наши русины выставили... Русинская кавалерия...

— Русины австрийской ориентации?

— Да... Не люблю я наших русинов... Фальшивые, двойственные люди: и туда и сюда... Они мне все говорят, что когда придут сюда немцы, — меня повесят за сочувствие русским.

— Ваш муж дерется против нас на Карпатах, а вы нам сочувствуете?

— Ну так что?.. Уж лучше русские, чем германцы.. За австрийцев одни евреи стоят... Только им и жилось хорошо при австрийцах.

— Лучше, чем полякам?

— Конечно.

— Но, кажется, теперь и им не сладко живется?

— Кому теперь хорошо? Если война затянется еще на полгода, — придется пустить себе пулю в лоб.

— Отчего?

— Разве это жизнь? Во что превратился Львов? Пьянство, мерзость, разгул... Боишься прикоснуться к трамвайной ручке, на скамью опуститься, чтобы не заразиться бог знает какою пакостью... Фи!.. А дети? По улицам шляются четырнадцатилетние проститутки...

— Это от голода?

— Какой там от голода... От войны! Война к легкому хлебу приучает и к легким мыслям о жизни.. Сегодня жив, а завтра — неизвестно, что будет. Так буду ж я жить, как вздумается!.. С проституцией еще полбеды: дело личное. А сколько воровства развелось, сколько отчаянных грабежей!.. В Каменке у меня разграбили дом, до нитки все унесли... Только голые стены...

— Наши войска?

— Нет, не войска, а мужики. Я сама видела свои костюмы на хлопах. Что ж, солдаты, вы думаете, им подарили?.. Не бес-

покойтесь, лучше ваших солдат умеют грабить и жечь... Все наши русины. Теперь они все за русских. А придут германцы — они за германцев будут.

Она ускорила шаг и как бы в оправдание пояснила:

— Ужасно спешу домой. Там у меня мать и дочурка... Должно быть, очень волнуется... ждет не дождется мамы... А мама засиделась у заболевшей подруги...

И как-то незаметно незнакомка перескочила на тихое, голубое небо в Карпатах, на имение под Закопанами, с таким великолепным озером Фильстер, на котором плавают белые лебеди и где она, хозяйка, целыми днями ныряет и плещется, как русалка...

— Выйдешь из воды, — мечтательно улыбнулась она, — и серебристые капельки так и горят на теле, а тело, как пена, белое... як кiпень бiлэ, — повторила она дважды...

— Как у богини, вышедшей из пены морской, — вставляю я.

— Ой, — смущенно спохватилась она, — как же я разболталась... просто неловко...

И, вздохнув, поясняет:

— Так сладко помечтать о прошлом в это гнусное время... Сидишь весь день, как прикованная... На улицу выглянуть боишься... А я привыкла так много странствовать... Я и в России вашей бывала... в Киеве... у родичей мужа... Вам не приходилось там бывать?.. Чудесный город.

— Бывал. Как фамилия ваших родственников?

Она назвала фамилии двух видных украйнофилов.

— А вот и мой дом... Вы, может-быть, не откажетесь зайти ко мне?

— Благодарю вас. Я очень тороплюсь.

— Как хотите, — сказала она обиженным тоном. И спросила деланно-равнодушно:

— Вы где служите?

— Под Тарновом.

— Под Тарновом? — оживилась она. — Вот странно!.. И муж мой сейчас под Тарновом.

— Насколько я знаю, против нас под Тарновом нет кавалерии.

Она загадочно улыбнулась:

— Есть!.. Теперь есть!..

И добавила очень выразительно:

— Советую вам — идемте ко мне... Вы не пожалеете... Я сообщу вам такое, что вас очень, очень заинтересует... Не дальше, как сегодня, мне доставили письмо от мужа с вашего фронта...

«Проститутка, авантюристка или шпионка» — мелькнуло у меня в голове. И я сухо откланялся.

— Вот вздор, — звонко рассмеялась она. — Вы не думаете ли, что я к вам для легкого хлеба подошла?.. Нет, слава богу, к этому я еще не должна прибегать... Так не хотите?.. Ха-ха-ха... Ну, так знайте: вы в Тарнов не попадете... Там наша кавалерия действует... Православный легион!... Когда будете удирать через Львов, — милости просим... Запомните: улица Шептыцкого, номер 89... Мой муж — австрийский писатель.

И она скрылась в подъезде одноэтажного особняка.

Комедиантка или матрона?.. разбери!

...Набрехала моя уличная Кассандра. На всем протяжении фронта — тишина и спокойствие. В главном санитарном управлении тоже спокойно. О прививках пока не думают. Речь идет о переходе на летние квартиры. Собираются передвинуться в Любачов, куда уже направлены некоторые отделы.

— Кстати, — сказал мне один любезный чиновник, — съездите в Любачов: там у них, кажется, есть лимфа.

...Любачов — чудесный старинный городок, особенно пленительный издали. Резные терема, крылечки, башенки. Колоколенки, церковки с зелеными маковками. Крохотные избушки на курьих ножках. Все какое-то игрушечное, лубочное. В роде древне-русского Нюренберга, затерявшегося среди польских городов и костелов. И люди — как живые игрушки. Что-то делают, мастерят, суетятся. Не люди, а кукольных дел мастеришки.

Вхожу в санитарное управление. Такая же кукольная игра.

— Ба! Старый знакомый! — кричит мне издали доктор Попов.

Попов — тот самый генерал, который некогда, в начале войны (как давно это было!), отечески наставлял меня в Холме,

внушая, что на войне нельзя заниматься благотворительностью и делать перевязки своими индивидуальными пакетами солдатам чужой дивизии — величайшее преступление по службе.

В кабинете Попова застаю почему-то инспектора артиллерии 25-го корпуса, генерала Вартанова.

— Никакой лимфы нет! И детрита нет! Когда будет, сами пришлем... Вот, в лазарете Государственной думы, — там есть.

Я объясняю Попову, что я уже везде побывал и нигде ничего не получил.

Начальство хмурит чело:

— А вы попрежнему шляетесь в погоне за дисциплинарным взысканием...

— Ваше превосходительство! Я действую по предписанию своего непосредственного начальства — дивизионного врача.

— Однако ж другие остаются на местах!.. А у вас часть без врача... Советую вам безотлагательно отправиться к месту службы и дожидаться предписаний из центра!

— Слушаю-с.

— А у вас там на позициях тихо? — осведомился он более благожелательным тоном.

— Тихо.

— А кругом?.. вообще?.. Присядьте.

Я подробно рассказываю о своей встрече с австрийскими офицерами на вокзале, о пьянстве, о всеобщем разгуле, о солдатском недовольстве и, признаться, не скуплюсь на густые краски.

Генерал слушал, хмурился, тер переносицу костлявым пальцем и вдруг выпалил, обращаясь к генералу Вартанову:

— Ваше превосходительство! А не пора ли нам пойти с красным флагом?..

5

Тесно, грязно и шумно.

В Шинвальде, в Рыглицах и во всех окрестностных деревушках под Тарновом — от солдат повернуться негде.

Ежедневно подбрасывают свежие охапки человечьего хво-

роста. Корпуса, батальоны, эскадроны. Вместе с пушечным мясом вливается пушечная медицина. В Тарнове целые улицы забиты госпиталями. Базунов ворчливо посмеивается:

— Скоро Радко-Дмитриеву, [1] как Куропаткину, придется посылать слезные телеграммы в ставку: «Довольно сестер и ваты!..».

Шопотом поговаривают о каких-то нажимах и «кулаках». Но вся эта военная бутафория никого уже не занимает. Было время, когда бомбардировки, шестнадцатидюймовые «берты» — пугали, тревожили и волновали. А теперь все надоело. Нельзя же вечно думать о смерти. В конце концов, не все ли равно, умереть ли от пули или от рака? Надо брать жизнь такой, какая она есть. Какое нам, в самом деле, дело до озверелого пафоса тыловых щелкоперов? Кого теперь тронет такая газетная смердяковщина:

«Окопы противника очищены; уничтожены две колонны пехоты, половина переколота штыками, другая половина загнана в реку...».

Нельзя же испытывать вечную неловкость от того, что кто-то кого-то обобрал, что у кого-то украли одеяло, что кто-то кого-то ранил, убил, зарезал... На войне вообще нет воровства, а есть добыча; нет злобы и ненависти, а есть патриотизм. Грабитель, разбойник, мародер — это слюнявая терминология мирных времен. Теперь другие слова: не жестокосердие, а храбрость; не разбойник, а победитель.

Да и вообще нашему брату, вояке, не пристало размышлять. На войне каждый берет свое добро там, где находит, не заботясь о мнении потомства. Если лавка заперта, солдат сбивает замок.

«На войне замки ржавые, а ребята бравые».

Если под боком нет молодой, вояка не брезгует старушкой.

«На чужой стороне и старушка — божий дар».

В пороховом дыму разглядывать некогда. Зато и бабы здесь не кобенятся.

Командир первого парка, штабс-капитан Кордыш-Горецкий, после двухнедельной артиллерийской подготовки объявил своей квартирной хозяйке коротко и ясно:

---

[1] В то время командующий третьей армией.

— Два воза дров и пуд мяса! А не хочешь, — съеду с квартиры и к тебе поставлю солдат.

Баба покорно вздохнула. Только Павлов, жуликоватый денщик Горецкого, еще от себя накинул полвоза дров. Пригодится в хозяйстве. В Тарнове теперь полено гривенник стóит.

Под грохот орудий такие делишки облаживаются еще проще. В Шинвальде батарейные обозы стоят рядом с позицией. День и ночь грохочут орудия. День и ночь у заведующего обозным хозяйством, капитана Ширвинского, идут картеж и попойки. Вечером пришла старуха-хозяйка выпрашивать гостинцев для внучки. Офицеры играли в шмоньку. Стол ломился от вина и закусок.

Ширвинский, — ленивый и рыхлый, с заросшим, одутловатым лицом архиерейского баса, — сердито гаркнул на старуху:

— Пошла вон, карга!.. Что ж мне за тебя под суд итти, что ли?.. Казенное имущество тратить?!

А минут через пять пришла веселая дочка.

— Прошу пана полковника цукру для дзьетко, — сказала она, играя боками, как кордовская кобылица.

— А-а!.. — приветливо обернулся к ней капитан. И, обшарив гостью глазами, поощрительно крякнул: — Сахарку?.. Изволь!.. Да куда же тебе всыпать?

Баба горстью сложила руки.

— Да ты что?.. Подол подставляй!..

Баба уверенно шагнула к столу, подняла край платья и обнажила крепкие, молодые ноги.

— Выше, дура! — захохотал капитан. — Гони выше колен!

И в подол полетели сахар, хлеб и бисквиты.

— Эх, ядрёна-зелёна! Два пуда сахару не жалко за такие голяшки, — крякает прапорщик Кромсаков.

— Шикардос! — поглядывает завистливым оком Кордыш-Горецкий.

Баба конфузливо переминается и все дальше оттопыривает руки и платье.

— Подымай, подымай!.. Чем выше подымешь, тем больше влезет! — поощряет ее Ширвинский. И, не стесняясь присутствием гостей, звонко цапает бабу за голые места.

...Все те же серые будни войны. Где-то на горизонте, по гребням Карпат, тянутся земляные холмики — неприятельские траншеи, — регулярно выбрасывающие в нашу сторону груды медных осколков. Так было вчера, так будет сегодня и завтра. Ничего зловещего, острого, непонятного. Все ясно, как циферблат.

Утром — воздушная разведка десятка гудящих аэропланов.

Днем — порция снарядных осколков.

Вечером — передвижка резервов и пулеметная трескотня.

В промежутках — реквизиция и пустота, наполняемая никому не нужными разговорами и чтением дурацких приказов.

Сегодня мы все в Шинвальде, во втором парке. Штаб бригады и офицеры трех парков. Из штаба дивизии вернулся Базунов.

— Что нового? — ринулись к нему офицеры.

Базунов медленно разгладил усы и, сбросив шинель на руки подскочившему денщику, иронически процедил сквозь зубы:

— Заседают... Проектируют меры по части упразднения человеческого рода... А впрочем, вот несколько секретных приказов... Материал для ваших секретных мемориалов, — кивнул он в мою сторону.

— Разрешите огласить, господин полковник? — официально осведомляется адъютант.

— Разумеется... Для закуски перед завтраком...

— Нет, нет! У вас зуб со свистом! — подскочил прапорщик Болконский и, выхватив папку у адъютанта, прочитал внятно и театрально:

«Генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 8 марта 1915 г. № 3945. Копия с копии. Секретно. Генерал-квартирмейстру штаба III армии.

«Главное управление генерального штаба сообщает, что сектанты, а именно так называемые евангельские христиане, стремятся использовать переживаемые военные обстоятельства для распространения идей сектантства в войсках. В этих целях, пользуясь свободным доступом к находящимся на излечении в лазаретах воинским чинам, упомянутые сектанты, под видом раздачи книг святого Евангелия, в действительности снабжают их разного рода сектантскими произведениями, не упуская при

этом случая вступить в беседу с ранеными на религиозные темы, с призывом к переходу в сектантство. В виду того, что современное сектантство проникнуто противогосударственными и, в частности, антимилитаристическими тенденциями, оно представляет собою один из опаснейших видов пропаганды и может оказать крайне вредное влияние на воинских чинов. Сообщаю для сведения и соответствующего распоряжения. Подлинное за надлежащею подписью».

— Ой, елки зеленые! — хохочет доктор Костров.—Евангелие под цензуру!..

— Тише! — машет рукой Болконский. — Ягодки впереди!.. Приказ — «весьма секретно»:

«Генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 20 марта 1915 г. № 4212. Копия с копии. Весьма секретно. Генерал-квартирмейстеру штаба III армии.

«Главное управление генерального штаба сообщает, что за последнее время замечено усиление шпионской работы со стороны населения в занятых нашими войсками, неприятельских областях. Среди жителей указанных районов, как поляков, так в особенности польских евреев, находятся предатели, которые не останавливаются перед самыми гнусными поступками. Так, было крайне гнусно поведение сына арендатора имения Тарноватки, — Гижицкого, двадцатилетнего юноши, который добровольно занимался шпионажем в пользу австрийцев и всячески натравливал местное население против представителей нашей власти. Означенным Гижицким делались неоднократные попытки сжечь в окрестностях несколько мельниц, дабы затруднить продовольствие русских войск.

«Гнусное поведение еврейских шпионов принимает еще более злостный характер. Так, среди еврейского населения указанных местностей занимаются шпионажем в пользу враждебной нам стороны не только лица мужского пола, но также многие женщины. В деревне Майден Крыницкий был сожжен зажигательным снарядом противника наблюдательный пост нашей батареи по указанию еврейки шпионки, имя которой осталось невыясненным.

«Лица, обслуживающие противника своей шпионской работой, по сведениям, полученным от наших агентов, имеют секретные приметы нижеследующего характера:

«Еврейские девушки, занимающиеся шпионажем в пользу противника, снабжены шифрованными документами австрийского штаба, по большей части зашитыми в подвязку, и носят шелковые чулки со стрелками.

«Мужчины хранят документы, полученные от австрийского штаба, в пальто, под подкладкой воротника и в качестве опознавательной приметы вшивают вместе с документами (под вешалкой) золотую монету пятирублевого достоинства чеканки 1909 года.

«Сообщается для сведения и соответствующего распоряжения. Подлинное за надлежащею подписью».

— Шикарно! — вырывается у Кордыш-Горецкого. — Теперь будем еврейчиков за шиворот ловить и искать золотые пятирублевки.

— А евреечек за ноги! — дополняет картину Растаковский.

— Мерзость! — брезгливо морщится адъютант Медлявский.

— Не приказ, а галиматья, — пожимает плечами прапорщик Болеславский.

— Ваше заключение, господин полковник? — задорно выкрикивает Болконский.

— Побольше бараньего рога и ежовых рукавиц! — в тон ему отвечает Базунов и лукаво подмигивает д-ру Кострову:

— А не пора ли уконтропить?

— Шикардос! — радостно ухмыляется Кордыш-Горецкий.

— Недурственно! — весело потирает руки Костров.

...Получена телефонограмма из штаба дивизии на мое имя:

«Произвести медицинское обследование частей 70-й и других дивизий, расположенных в Кжишове».

Кжишов — небольшое селение на линии нашей артиллерийской позиции, — с постоянно меняющимся составом резервных частей. Еду вдвоем с Болконским, в сопровождении фельдшера Тарасенкова и Ханова.

Сегодня весь день гремит канонада. Чем дальше от Шинвальда, тем сильнее грохот орудий. Стреляют беглым огнем.

Выстрелы все чаще и чаще, удар за ударом. Гремя и бешено нарастая, канонада становится сплошным, неумолкающим гулом. Грохот орудий сливается с треском шрапнелей. Кажется, где-то высоко в облаках перекинут огромный мост из пустых деревянных бочек. Гремя железными латами, мчатся тысячи всадников по мосту и отрывисто хлопают стальными бичами. И на каждый удар копытом, на каждый взмах стального бича со всех сторон откликаются металлическим грохотом стальные трещотки.

Кучером у нас пожилой солдат с русой окладистой бородой, недавно переведенный из глубокого тыла. Он оторопело поводит головой, через каждые две минуты беспомощно повторяет:

— Господи, господи, да что это такое?..

И, сняв папаху, усиленно крестится.

По пути — следы шагнувшей войны: перебитые снарядами деревья, сожженные избы, изувеченные окопами поля, ободранные австрийские ранцы, почерневшие от грязи конские трупы, цинковые коробки из-под патронов...

В Кжишове, несмотря на несмолкающий грохот орудий, все снова пахнет жильем и крепкими человеческим корнями. Мужики ковыряются в навозе. Во дворах суетливо и шумно гомозятся детишки. У каждой хаты — вызывающе выставленные круглые груди лукаво улыбающихся баб.

Остановились в здании школы. Хозяйка — строгая монахиня — «законница» с черной повязкой на голове («велюм») и синими умными глазами. Тут же — артиллерийский прапорщик Кромсаков, какой-то заезжий есаул и два прапорщика Херсонского полка. Один — угрюмый, как Ханов, с безнадежным жестом повторяющий каждую минуту:

— Мне что?.. Я человек конченный...

Другой — по фамилии Криштофович — нервный, размашистый, с лицом удивительной красоты. Узкая каштановая бородка, волнистые волосы и сверкающие иронической усмешкой выпуклые глаза.

Все они лениво валяются на койках, курят, скучают и нетерпеливо поглядывают на часы в ожидании обеда. Развертываю свою походную амбулаторию. Робко входят местные жители с неизменными жалобами на глову и бжух (голову и живот).

Каваливаются в полушубках солдаты с категорическими требованиями «доверия» (Доверов порошок) — от кашля, и рюмки очищенной — от ломоты. Витиеватый фельдшер Тарасенков по обыкновению суетится и путает:

— Так что дозвольте доложить, ваше высокородие! Как говорится, извините за выражение, ошибка вышла: заместо салицилки — гопекан [1] отпустил.

Скучное однообразие этой процедуры неожиданно нарушается появлением колоритной фигуры чубатого рослого казака:

— На причинном месте неладно.

— Раздевайся.

Плотная шанкерная язва с огромными железистыми пакетами в обоих пахах.

— У девки был? — спрашиваю я, больше для порядка.

— Никак нет... Не с девкой, а с барышней гулял... В шляпке! — не без достоинства объявляет казак.

— Ну вот, от нее ты и заразился: сифилис у тебя.

— Да что ты, ваше благородие?.. Окрестись!.. Шутишь ты, что ли?..

— Нет, казак, не шучу. Лечиться надо.

Казак свирепо ворочает глазами:

— Ну, попадись мне, гнида... Как вошь расщавлю!..

И, приведя в порядок свой туалет, бросает с негодованием по адресу нерадивого начальства:

— И для ча заразу такую на фронт пущать? Собрать бы их всех да расчекалить!.. Чего с такими сыропиться?..

— И тебя, значит, расстрелять?

— Меня? — с изумлением пялит глаза казак, — за что?..

— Ведь и ты — сифилитик.

— Да что ты, ваше благородие?.. с умом?.. Разве ж можно казака до девки равнять?!..

...Сумерки. Мрачный Ханов отводит душу в пессимистических пророчествах. Законница вяжет чулок, а Ханов развертывает перед ней картину грядущих бедствий, уготованных русскими войсками Галиции.

---

[1] Настой ипекакуаны.

— Теперь, — говорит он своим скрипучим голосом,—прошли те народы, что к вам поближе. Эти прогнали вас до Кракова. На той неделе татары тронулись — за две тыщи верст отсюда. А потом Сибирь пойдет — за сорок тысяч верст. Сибирь больше всей России. Оттуда как посыпятся поезда, так от вашей Галиции клочка не останется: все съедят.

Монахиня безропотно слушает и из вежливости вставляет:

— В Сибири зимно (холодно)?

— В Сибири? — оживляется Ханов. — В Сибири такие холода, что здешнему человеку ни одного часу не вытерпеть: околеет! Здесь что за холода! — презрительно машет он рукавом.— Там по̀ сто человек в день замерзает. Бывает так, что по триста человек в одну кучу смерзают, и их, как лед, колют!..

— Наше вам с кисточкой! — шумно влетает прапорщик Кромсаков.

— С пальцем девять, с огурцом восемнадцать! — в тон откликается Болконский. — С наблюдательного, Петруша?

— Так точно... Ни одного разрыва!

— Да ну? — удивляются офицеры.

— Вот задави меня бубон! Не рвется наша шрапнель. Солдаты говорят — липовая. Вместо пороха кашей набивают.

— Бывает, — говорит лениво Болконский. — У нас все липовое: и цари, и святые, и штабы...

— Так точно, — смеется Кромсаков. — И жены липовые. К подпоручику Пышкину жена в гости приехала, а спит с ней командир батареи. Солдаты говорят — в ускоренное производство попала: была под-поручиком, а теперь сразу под-полковником...

— Сказать по совести, — протянул задумчиво Криштофович, — все мы какие-то липовые, бесчувственные... Живем, как в тумане... По приказу стреляем, по приказу вшей в окопах плодим... Для чего воюем — не знаем... Ни о чем не думаем...

— И без того ясно... Тявкай да чавкай — чего тут думать? — говорит равнодушно есаул.

— А другие думают... Солдаты — те крепко думают...

— Сказал!.. дубовая голова,—хохочет есаул.—Сидит в окопе, курком пощелкивает и бормочет, как идиот: «Що це за війна?..

Сала немае... Хліб з песком... Хвельдфебель бьэться... Спати не дають... А він усе лізе, трясця його матері... Що замерзнешь у цієі ямі...»

— Эх, вы, ротозеи!.. в солдатской башке котлом кипит... Вот у нас в Херсонском полку забавная историйка вышла. Лишилась 8-я рота кухни. Кашевар в тумане дороги не разобрал — и прямо к австрийцам в лапы. Полковой командир — в дивизию. А там обозлились и отказались дать другую кухню. «Пускай, — говорят, — посылают к австрийцам за обедом».

— Ну и что же? — любопытствует есаул.

— Ночью всем полком в атаку пошли... До резервов пробилась и австрийскую кухню в роту приволокли.

— Без командиров? — удивляется есаул.

— В том-то и загвоздка!.. С фельдфебелями да взводными... Как у них такое придумалось, когда всем полком сговаривались, — никто не видел...

— Ладно! — срывается Болконский. — Той не блукае, хто пісні співае... [1].

Широко и грустно несется бархатный голос, вплетаясь в мягко трепещущие сумерки:

Что ж, братцы, затянемте песню,
Забудем лихую беду...
Ум, видно, такая невзгода
Написана нам на роду...

К Болконскому присоединяется Кромсаков, потом казачий есаул, прапорщик Криштофович и даже его мрачный товарищ. Спели «Колодников», спели несколько украинских песен.

— А я, вот, новую песню знаю, — радостно вспомнил Криштофович. — Под Козювкой когда стояли, четвертая рота принесла. Красиво поют ее херсонцы... Ну-ка, за мною разом:

Я ранен, товарищ, шинель расстегни мне,
Подсумку скорее сними...
Дай вольно вздохнуть и в последний разочек
Ты крепче меня обними.

Не в силах я дальше... изранены ноги...
Горячая пуля, как жало, впилась!..

---

[1] Не мечется тот, кто песни поет.

Кровавым туманом закрылись дороги,
И по небу кровью заря разлилась...

Да где ж ты, товарищ? Тебя уж не вижу...
Ты крест, что жена навязала, сними.
И, если не ляжешь со мною ты рядом,
Смотри, — повидайся с детьми.

Жену не увидишь, — недавно зарыли!
Остались сиротки одни.
Скажи им, чтоб знали... чтоб знали всю правду
Про муку про нашу они.

Скажи им: отец на далеких Карпатах
Засеял не мало земли...
И севом богатым в карпатскую землю
Солдатские кости легли.

Костями да громом, да гневом безмерным
Засеял и кровью полил.
И в час свой предсмертный, о вас вспоминая,
Он с верой в посев свой почил...

И если отец не собрал урожая,
Скажи им, — пусть знают и ждут,
Что мертвые кости с далекого края
Домой за ответом придут...

6

Штаб нашей бригады все еще в Шинвальде. Кажется, солдаты второго парка заявили жалобу Базунову на жестокое обращение Старосельского. Но последний попрежнему безжалостно прижимает и команду и офицеров. Капитан Старосельский, командир второго парка, невысокого роста, плотный, широкоплечий, с бритой головой, небольшими зелеными глазами под тяжелыми веками, твердо и с убеждением отвечает на все протесты.

— Вы, господа, штатские люди. А у меня на все совершенно другая мерка. Актер должен играть, писатель — писать, танцор — танцовать, а военный — воевать. Война есть прямое призвание офицера. Я стою за то, что, раз армия существует, она должна воевать. В мирное время мы кричим: я — храбрый офицер! Благодарите ж историю, что она дает нам возможность доказать свою храбрость на деле...

— Но быть храбрым вовсе не значит тянуть из солдат все жилы...

— Господа! Я — кадровый офицер. И после войны останусь кадровым офицером. На меня затрачено государством чорт знает сколько денег. Меня готовили в запевалы! И я не стану подтягивать паршивеньким дискантом ваши либеральные песенки... Я сделаю из своих мужиков настоящих солдат.

С раннего утра в парке начинается эта нудная муштра.

— На молитву! Шапки долой! — раздается команда Старосельского. — Накройсь!..

И потом долгое двухчасовое истязание:

— Да ты как стоишь, Тимошкин! Голову выше! Руки назад! Не переминайся с ноги на ногу, как медведь!

— Пснимаю, ваше высокоблагородие! — пучит глаза Тимошкин и запрокидывает голову до вывиха позвонков.

— Руками, руками не размахивай, Зеркалов!

— Отвык, — смущенно оправдывается 42-летний Зеркалов.

— Шесть месяцев военную форму носишь, а все деревней пахнешь! — и, тяжело размахнувшись, ударяет Зеркалова по лицу.

Но главная пытка — впереди, когда, вооружившись длинным хлыстом, Старосельский заставляет скакать по кругу отяжелевших сорокалетних ездовых.

— Да какой ты ездовой? — кричит он бешеным голосом. — Не ездовой, а каптенармус!.. Под ранец, язви твою душу! Под ружье!

Это зверское наказание Старосельский ежеминутно пускает в ход.

Солдат, поставленный «под ружье», испытывает неимоверные муки. В полном походном снаряжении, с винтовкой на плечо солдат стоит неподвижно, не смея пошевельнуться. Часто до двух часов кряду. Снаряжение вместе с винтовкой составляет тяжесть свыше 50 фунтов. Самые крепкие солдаты с трудом переносят эту пытку. Особенно мучительны последние полчаса, когда ранец оттягивает плечи и дрожащая отекшая рука не в силах держать ружье. Старосельский зорко следит за своей жертвой. В эти последние минуты Старосельский садится у окна и глаз не сводит с солдата. Стоит последнему переступить с ноги

на ногу, как Старосельский, задыхаясь от бешенства, кричит фельдфебелю:

— Камень!

И провинившейся жертве кладут на ранец заранее приготовленный десятифунтовый кирпич. Только вмешательство Базунова в состоянии прекратить истязание. Но Базунов умышленно избегает столкновения с командирами парков, а Старосельский с каким-то садическим упоением пользуется эти правом каторжных тюрем и крепостной старины. Два солдата не выдержали, стали проситься из парка на батарею. Старосельский цинично расхохотался:

— Хо-хо-хо... Слезу гонит, кал прёть... Ты, что, соплёй разжалобить вздумал?.. Вон!

И поставил обоих под ружье.

...Почему-то вдруг хлынули тревожные слухи.

В окружающей жизни — никаких видимых перемен. Все так же скрипят обозы и снуют ординарцы. Лениво плетутся фуражиры. Только пушки бухают с какой-то резкой настойчивостью. На лицах крестьян читается скрытая усмешка, и нет в их поклонах ни прежней учтивости, ни прежнего покорного страха. Или это только нам кажется?..

Боевая линия как будто придвинулась вплотную. Жизнь внезапно наполнилась множеством неприятных моментов; из них всего неприятнее — мысль, что кавалерия противника может внезапно появиться из-за угла...

Почему? Откуда эта назойливая тревога?.. Никто не видал ни одного австрийского улана, ни одного мадьярского разъезда в окрестностях. Но все говорят о внезапных набегах и налетах, о кавалерийских патрулях, о надвигающихся страшных боях. И солдаты и офицеры охвачены тоскливым чувством опасности и во всем суеверно читают какие-то грозные приметы.

В Сурском полку, на позициях, сидели в халупе пятеро солдат. Вдруг шрапнель высадила оконную раму, влетела в халупу, ударилась об стол, оттуда метнулась в печь и там разорвалась. Осколком разворотило печь, снаряд пролетел наружу и оглушил до полусмерти проходившего мимо офицера. Солдаты остались невредимы. Казалось бы, все так просто.

— Не спроста это, ох, не спроста обеспамятел офицер, — качают головами солдаты.

Ксендз Якуб Вырва опять обратился к прихожанам с проповедью о «неизреченном благе молчания», причем сравнивал болтливую женщину, не умеющую хранить чужие секреты, с убийцей, который поражает из-за угла доверчивого друга. Ксендз Якуб Вырва вообще большой любитель гиперболических метафор церковного стиля. Но офицеры зловеще перешептываются.

— Ой, не станет пан пробощ разоряться по пустякам, — не такой он человек...

Идет торопливая передвижка частей. С утра выступил конно-горный парк, переброшенный в Тарновец. Потом прошла кавалерийская сотня с обозом по направлению к Тухову. В десятом часу остановилась проездом чешская дружина, прикомандированная к 10-му корпусу и направляемая в Тарнов. В Тарнове с раннего утра стоит безумный грохот орудий. Обстрел ведется противником с удивительной точностью — в шахматном порядке. Намечены все выводные стрелки на железнодорожных путях. К полудню снарядами разрушены до основания все выводные линии на станции Чарна, где стоит местный парк [1] в составе сорока восьми вагонов. Остался невзорванным один единственный путь. Необходимо спешить с уходом. Но тут повторилась в точности та же история, что под Меховым и Кельцами. Даже и действующие лица—все те же. Начальство трусливо переваливает ответственность за решительность действий с себя на других. Заведующий местным парком, прапорщик Комаров, отправил срочную телефонограмму своему непосредственному начальству, в штаб армии (местные парки находятся в распоряжении штаба армии и без предписания последнего передвинуты быть не могут) следующего содержания:

«Местный парк на станции Чарна, в составе 48 вагонов, подвергся жестокому обстрелу противника. Выводные пути разрушены. Остался только один свободный выход. Обстрел ве-

---

[1] Местным парком называется поездной состав, в котором хранятся запасы артиллерийских снарядов, поддерживающих питание парковых бригад.

дется из тяжелых орудий. Кроме шрапнелей, фугасных бомб и ручных гранат, в парке имеются два вагона с пироксилином. Жду срочных распоряжений».

Но телефонный провод был занят, и телеграмма была доставлена с большим опозданием. Только через три часа пришел приказ из штаба армии:

«Обратитесь немедленно за указаниями к командиру 9-го корпуса».

Прапорщику Комарову с трудом удалось вызвать командира 9-го корпуса. Тот заявил:

— Здесь есть генерал старше меня — командир 21-го корпуса. Направьтесь к нему. В удостоверение посылаю с вами моего адъютанта.

Командир 21-го корпуса категорически отказался от дачи каких бы то ни было инструкций на том основании, что местный парк находится в распоряжении штаба армии. Пришлось повторить всю телефонную процедуру с начала. И когда из штаба армии снова ответили — обратиться за указаниями к командиру 9-го корпуса, генерал Шкинский, командир 21-го корпуса, разъяренно закричал:

— А-а! Раз так, — приказываю вам немедленно потребовать у коменданта станции паровоз и увести все вагоны со снарядами из Чарны и Тарнова на станцию Дембица.

Бросился прапорщик Комаров на вокзал, — там и коменданта и помощника давно след простыл. С большим трудом удалось раздобыть наряд. Едва парк отошел за версту, как тяжелый снаряд разорвался над местом бывшей стоянки. Вслед за этим туда же пущено было еще пятнадцать снарядов.

— Ковкин пакет привез, — мрачно докладывает Ханов.

Сегодня Ханов ликует. Его душа, как лебедь, величаво купается в потоках пессимистических слухов. Он знает, что Ковкин — ординарец связи при штабе дивизии и всегда приносит срочные вести.

— Должно быть, приказ — бежать что есть духу из Галиции, — мрачно соображает Ханов.

Пробежав мельком пакет, Базунов сердито пожимает плечами:

— Черт знает что!.. Какой-то секретный приказ о женах...

— Ковкин! В дивизии тихо? — интересуется адъютант.

— Никак нет, ваше высокоблагородие... Такая суетилка... Слыхать, немец со всех сторон ползет... Две дивизии потеснил... И нашу соседнюю — 48-ю: пособить просит...

— Ну, ступай, — говорит Базунов. — Если что срочное будет, — не задержись.

— Слушаю-с. У меня конь весь день под седлом.

— Вот и подохнет! — каркает Ханов. — Тебе начальник обязан запретить коня не расседлывать.

Канонада не стихает ни на минуту. Непрерывный грохот катится широким фронтом и приводит в дрожь оконные стекла, посуду и человеческие сердца. Базунов нервно шагает из угла в угол и раздраженно фыркает:

— Нет, вы подумайте, чем они заняты.... В такую минуту рассылают со срочными ординарцами секретный приказ... о женах.

— Что за приказ о женах?—любопытствует Болконский.— Разрешите вслух прочитать.

— Сделайте милость... Вероятно, и прислано для водевиля.

В глазах Болконского зажигаются веселые огоньки, и он читает под дружный хохот офицеров и денщиков:

«Начальник штаба третьей армии. По отделу дежурного генерала. Отделение инспекторское. 29 марта 1915 года. № 46205. Секретно. Коменданту города Тарнова.

«В последнее время в г. Тарнов прибывают из г. Киева и других мест России много дам и жен офицеров различных частей войск и учреждений, вследствие чего г. Тарнов с каждым днем приобретает все более и более внешность глубокого тыла со всеми его отрицательными сторонами. Командующий армией приказал принять немедленно меры к выселению из г. Тарнова всех приезжих дам и впредь, не взирая на выданные им во Львове разрешения на проезд в район военных действий, ни одной из приезжающих дам не разрешать проживать в г. Тарнове. Подлинное подписали: генерал-лейтенант Добровольский, исполняющий должность дежурного генерала полковник Бенсон».

— Ну, вот! Я говорил, — бросает с торжествующим видом Базунов, — что Радко-Дмитриев взмолится: «довольно сестер

и вати!..». По-болгарски выходит еще сильнее: ради бога, довольно женщин!..

— А по-моему, это — просто австрийская интрига, — говорит, сдерживая улыбку, Болконский. — Через полковника Барсова панна Зося добилась распоряжения дежурного генерала, чтобы устранить конкуренцию законных жен.

Панна Зося — тарновская Аспазия. Ее имя гремит по фронту всей третьей армии. Молва обручила ее с полковником Барсовым. Но это — злостная клевета. Она обнаженно расточает свои привязанности направо и налево, без всякого пристрастия. Правда, ее прозрачные шелковые платья цвета полевых васильков, по слухам, доставались ею без особых усилий из гардероба бежавшей пани Зарицкой. Но деньги, отданные ею старой Юзефе Почаптковской (Зося называет ее «мамуся») на устройство лучшего магазина готового белья по Краковской улице в Тарнове, без сомнения, заработаны собственным трудом, что и подало повод некоторым местным острякам распустить про нее весьма легкомысленный каламбур на тему о простынях...

Как-раз на днях на квартире у панны Зоси разыгралась скандальная история, имевшая хотя и отдаленное, но довольно печальное касательство и к нашей бригаде. Командир 2-го парка 33-й бригады вместе с двумя прапорщиками кутил у панны Зоси. Какими-то судьбами в их компанию затесался и прапорщик Болеславский. Через час все были пьяны (за исключением Болеславского) и начали оспаривать друг у друга право на обручение с панной Зосей. Командир ссылался на авторитет предоставленной ему государем императором власти. А прапорщики, ударяя себя по переполненным блаженством сердцам, доказывали, что при входе в обиталище красоты покорно слагает оружие всякая власть и дух преобладает над плотью. Тогда командир со словами: ultima ratio regis [1] — обнажил свою шашку. Мягкий прапорщик Болеславский, вооружившись стулом, встал между воюющими претендентами и был ранен в руку. Вид крови обратил в паническое бегство

---

[1] Ultima ratio regis — надпись, выгравированная на германских пушках — значит: последний довод царя

очаровательную тарновскую Лауру, и дальнейшее кровопролитие сделалось бесполезным. Но рана Болеславского оказалась довольно глубокой, и его пришлось определить в лазарет.

Когда вся эта история сделалась известной Базунову, он высоко приподнял свои полковничьи погоны и сказал, иронически разводя руками:

— Быть раненым на фронте русским офицером в драке за польскую проститутку... Нет, положительно у наших прапорщиков мозги набекрень.

АПРЕЛЬ

1

Миллионы кованых табунов... Миллионы железных барабанов... Хлопают чугунные пробки, из огненных бутылок льется смертельный ураган... Грохот, треск и безумие...

— Лошади оседланы, — докладывает Коновалов.

— Чорт знает что! — сердито фыркает Базунов.

Из штаба дивизии получено срочное предписание:

«Прошу немедленно командировать врача бригады в Тухов за оспенным детритом, в виду того, что в районе расположения воинских частей 70-й дивизии наблюдались случаи натуральной оспы. 247. Дивизионный врач Прево».

— Разрешите и мне с доктором, — просит прапорщик Болконский. — Мой взвод на отдыхе.

— Не возражаю, — говорит Базунов.

— Идет такая стрельба!.. — недовольно вставляет Старосельский. — Разве можно отпускать офицеров?

— Распоряжение сделано, — сухо бросает Базунов, который не любит критики со стороны парковых командиров, и добавляет в своем обычном полунасмешливом тоне: — Какая же это стрельба?.. Через два часа по столовой ложке... В парке больше офицеров, чем гранат...

Базунов прав. За снарядами ездят в Дембицу, — за пятьдесят верст от боя. Командир местного парка, прапорщик Комаров, с отчаянием жалуется офицерам:

— Последние снаряды расходуем...

Но у Старосельского — своя система. Он твердо убежден, что и в самые критические минуты «машина не должна давать перебоев». С раннего утра он летает, как угорелый, по парку и ищет, кого бы распечь. На глаза попадаются ездовые третьего взвода, только - что приехавшие с позиции, куда возили снаряды. Старосельский коршуном налетает на ездовых. Они еще не успели разамуничить лошадей и стоят, пугливо вытянувшись во фронт.

— Ты старший? — кричит он Федосееву.

— Так точно.

— Не в очередь в караул! Ездовых всех под ранец!

— Я, ваше высокоблагородие... — начинает оправдываться старший.

— Молчать!.. Я на перекличке говорил, как с лошадью обращаться. Хомуты не снимать! Сперва поводи! Двадцать раз рукой под хомут полезь! Возьми мокрую тряпку, потри!.. Вот постоишь в карауле, — будешь потом ездовым морду бить!..

— Я, ваше высокоблагородие, стараюсь! Но за всех отвечать не могу.

— Ну - ну! Смотри у меня! А то вы очень разбаловались... Чтоб я у вас не видал набивок! Я сам осматривать буду. Посмотрю, как хомут сидит... Чуть - что, — ты в ответе будешь.

— Ваше высокоблагородие! — говорит обиженно Федосеев, — не от боязни стараюсь. Я наказание отбуду. Перед ездовыми совестно... На что стараться тогда!..

— Ладно! Мне соловьем не пой. Я вашего брата насквозь вижу...

— Ну - с, в путь - дорогу! — говорит Базунов.

Едем рысью по узкой дорожке. Справа вьется горная речка.

— Лучше нам рощей ехать, — советует Коновалов. И мы сворачиваем на Ладно, чтобы попасть в еловую рощу. В роще тише. Гул снарядов не так свирепо колышет воздух. Отдыхают уши и кожа. Издали кажется, будто большие белые птицы сидят молчаливо на ветвях. Вечерело, когда мы выехали из рощи. Вдруг в воздухе совсем близко взвизгнула пуля... фтгюдзз... За ней другая, третья. Мы насчитали шесть.

— Вот черти! — выругался Болконский. — Это хлебопеки

бьют коз. Козы как-раз на водопой идут. Еще в нас попадут. Надо спуститься в балку.

Едва мы успели спуститься, как пули вновь назойливо завизжали с двух сторон. Стреляли справа и спереди. Можно было подумать, что поблизости завязывается перестрелка. Пустились вскачь, хотя трудно было сказать, где безопасней. Из темноты неожиданно вынырнули пять конных фигур.

— Кто такие? — крикнул Болконский.

— Казаки.

— Куда едете?

— За фуражом.

Странная фуражировка в такое время.

— Это вы стреляли?

— Никак нет.

Однако, после встречи с казаками ружейная пальба прекратилась.

... В Тухове — головной лазарет дивизии. Главный врач — Шебуев, человек независимый и смелый. Невысокого роста, коренастый, с бритой головой и густыми бровями. Одет во все кожаное. Шебуев очень обрадовался нашему приезду.

— Вот молодцы! В такой «ураган» прикатили. Ночуете?

— Придется. Я к вам командирован за вакциной. В Здзярах эпидемия развивается.

— Бросьте, голубчик. И детрита у меня нет, и на эпидемию начхать. Пускай с ней возятся те, что придут после нас. Ведь больше трех дней не продержимся.

— А если оспа завтра начнется?

— Тогда знаете что? Просите у Шульгина.

— Какого Шульгина?

— Знаменитого. Редактора «Киевлянина». Он тут начальство: питательным пунктом командует. Сидит у меня на голове...

— Как так?

— Да так. В самом буквальном смысле: надо мной, во втором этаже живет. От окопов спасается.

— Что же это за пункт?

— Юго-западного фронта. Штука важная. Четыре отряда,

два поезда. Во главе — генерал Можайский. Сам-то во Львове живет. А тут — генеральша, их превосходительства супруга всем заворачивает. Четыре «кузины» милосердия, два студиоза, рисовальщик, доктор и сам Шульгин. Сестрицы — все «нашего круга»: Балашова, Забугина, Гудим-Левкович, Можайская (племянница генерала). Прехорошенькая. Только у Гудим-Левкович носик немного подгулял, так что прапорщики даже говорят: две фамилии и ни одного носа. «Милорды» — тоже как на подбор: вольноопределяющийся Левенберг, сын испанского консула в Одессе; сэр Шульгин, рисовальщик Моделевский, сын соиздательницы «Киевлянина»; очаровательный эскулап. Последний по горло занят. Пункт-то ведь к нам прикомандирован. Но пока доктор, бедняга, у всех патронесс ручки перецелует, у него уж и времени не остается на работу по лазарету.

— Что ж они делают?

— Как что? Развертываются. Сегодня развертываются, завтра развертываются, второй месяц развертываются... Это как у нас в Калуцкой губернии говорят: день не едим, два не едим... долго-долго погодим — и опять не едим...

Доктор стремительно сорвался с места и раздраженно продолжал:

— Только другим мешают. Раньше мы в головном лазарете больных не задерживали. Сортировали и — марш по госпиталям: чтобы другим место очистить. А теперь приказано: раньше, как через три дня, никого не эвакуировать. Надо же «кузинам» предоставить возможность голодных солдатиков покормить... Вы подумайте: в головном лазарете по три дня больного держать! Ведь мы в горячие дни по две тысячи человек пропускаем. Слышите, что на фронте творится? С завтрашнего дня начнут нам раненых полками подваливать. Куда их денешь?.. Сестрицам в кровать положим?!..

— А сплавить их отсюда нельзя?

— Так они и пошли! Ведь место какое! Развадовского замок. Вы днем посмотрите. Это — настоящий музей. Теперь все разграблено, конечно, перебито, загажено. От резных буфетов осталась только обшивка, кресла — без спинок. Еще бы! Целый месяц полированными дровами топили. Столы, стулья, этажерки красного дерева, даже футляры от часов на растопку пе-

чей пошли. Из ковров попоны наделали. Картинами окна затыкали...

— Это ваши лазаретные поработали?

— Как водится. Все по програме. Сперва пришел штаб корпуса и выпил вино из погребов пана Развадовского. Долго пили! Вон сколько предков вино в погребах копили, — махнул он рукой на ряд портретов. — Потом пришли казачки, допили остатки вина, порезали ковры на попоны, унесли часы, граммофоны, сервизы. Там в углу и сейчас какой-то музыкальный ящик валяется — с инкрустациями на палисандровой крышке. За казачками — госпиталя. И придали маёнткам вельможного пана Развадовского тот самый вид, в котором застает их наше повествование...

— Кушать подано, — возвестил санитар.

— Пожалуйте, дорогие гости, к столу, — засуетился Шебуев, — и откушайте на остатках пышных сервизов. Каюсь, коллега. Когда мы пришли сюда, мы застали в буфетах груды саксонского фарфора. Такие чашки, вазы, тарелки, что глаз оторвать нельзя. Но разве нашему Кирилке внушишь уважение к саксонской вазе? Через неделю и черепков не осталось... А что осталось, — прибрали к ручкам «кузинки»...

В столовой довольно людно. Пять врачей, заведующий хозяйством, письмоводитель, два раненых офицера. Едят молча. Только доктор Шебуев говорит не переставая. Он перескакивает с предмета на предмет, точно подстегиваемый ударами пушек. Дрожат оконные рамы. Звенит посуда. Подскакивают ложки и вилки. Доктор громко выкрикивает каждую фразу, но многие слова теряются в грохоте орудий.

— Вы думаете, пушки зачем гремят? Чтобы убить одну-две тыщи народу?.. Ничего подобного. Стреляют, чтобы оглушить и ослепить живых... Вы посмотрите на меня: куда я, к чорту, гожусь? Тут в один день переживешь больше, чем дома за целое столетие... Да и там у всех в душе — пустота... Напечатают в газетах, что в Нью-Иорке дом обвалился... 16-этажный небоскреб... и 300 человек задавило... Господи, какой шум поднимется! А в тех же газетах каждый день печатают жирным шрифтом: наступление, атака, обстрел... Раненых 40000, уби-

тых 5000... И хоть бы кто бровью повел! А почему?.. Потому что пушки...

— Ну,какое сравнение? — говорит один из раненых офицеров. — Тут идет борьба за культуру...

— Послушайте, — набрасывается на него Шебуев, — вся ваша теперешняя культура — та же война. Война, притворяющаяся миром. Мира нет и не может быть там, где все решается штыком и насилием. Войны, как месячные кровотечения у женщины, повторяются с точной периодичностью через каждые 25 лет... И это называется культурой!..

...Утром, чуть свет, лазарет уже на ногах. Прибыли первые транспорты раненых — с землистыми лицами, с блуждающими глазами и запекшейся кровью на повязках. Иду на пункт за детритом. Ни Шульгина ни доктора нет: оба со вчерашнего дня во Львове. Какой-то краснощекий мужчина, в костюме земгусара с наплечниками, сурово внушает плачущей бабе:

— Ну, чего ты ревешь?.. Только тоску наводишь... Ничего не поделаешь... На войне, милая, ни шестой ни седьмой заповеди не существует...

— Нельзя ли у вас детрит получить для воинской части?

— Детрит? — с изумлением переспрашивает краснощекий мужчина. — Что это — лекарство или продукт?

— Это — оспенная вакцина.

— А!.. Нет, медицинские ящики не распакованы... Ведь мы еще только развертываемся.

...Снова в Шинвальде. Идет жестокий обстрел наших позиций на Дунайце. Противник бьет из орудий всех калибров. Но горластые «берты» покрывают все голоса. Дома трясутся, как в лихорадке. Пробую читать, — невозможно. Через минуту забываю прочитанное. Вижу, как шевелятся бледные губы командира. Слышу голоса офицеров. Но ничего не соображаю. Звуки отскакивают от сознания, как слова, произнесенные на непонятном языке. Делаю мучительные усилия, чтобы как-нибудь вывести из этого «омеряченного» состояния и себя и других. Ничего не выходит. Все с тайным трепетом ждут приказа об

отступлении. Все устали, замучены и больше всего на свете хотят тишины.

— Если это сегодня не прекратится, я начну выть, как собака, — говорит в отчаяньи адъютант.

Но ураганный бой все растет. Вторые сутки противник сосредоточенно бьет по нашим батареям. Адское пламя сметает с пути — как сор — дома, деревья, окопы. Тщетны усилия противника. Его бешеная настойчивость кажется нам безрассудной тратой снарядов. Мы отвечаем слабо, но природа сама позаботилась о нашей защите, разбросав на берегу Дунайца огромные скалы, за которыми скрыты все наши пушки. Вторые сутки неприятель гвоздит по этим скалистым заграждениям. Слышно, если приложить ухо к земле, как шестидесятипудовые «кабаны» гигантскими молотами опускаются на мертвые камни. И Ханов ежеминутно делится с нами своими наблюдениями.

— Гудут, как пчелы в дупле...

— Точат, как шашель древо...

И строит мрачные выводы:

— До вечера всех нас до одного перебьют!..

— Тебе хорошо, — лениво шутит Болконский, — у тебя и сад, и жена, и дети... все-таки работники остаются. А у меня, Ханов, ни сада, ни дома, ни жены. Одна мать-старушка.

— Кому умирать охота? — с обычной угрюмостью огрызается Ханов. — И жук, вон, о жизни просит... А без бабы лучше. От бабы всегда смерти ждешь... Да и нечего нам работать, ваше благородие! Чужие дела работать, хоть век работай, — это маловажно. Свое кабы было... Наша старость — котомка.

В комнату поспешно входит взводный Федосеев:

— От Кромского полка за патронами прислали. Просят хоть три двуколки отпустить.

— Отчего ж они к нам приехали, а не в головной эшелон? — удивляется Базунов.

— Из Кжишова головной эшелон доносит, что все патроны уж розданы, — объясняет Старосельский.

— В тыловом парке также снарядов нет, — вставляет штабс-капитан Калинин.

— Прапорщика Кузнецова я послал за снарядами в Дембину, — говорит Кордыш-Горецкий. — Он прислал ординарца с доне-

сением, что в местном парке снаряды получатся не раньше, как через сутки.

— Отпустить одну двуколку патронов из неприкосновенного запаса, — отдает распоряжение Базунов.

— Мало ваше высокородие,—говорит взводный.—Артиллерия работает плохо. Одними пулями отбиваются...

— Исполняй, что приказано! — резко вмешивается Старосельский.

— Слушаю-с, — произносит Федосеев и уходит.

...На войне нет места неврастении. Человек подбирается, как зверь для прыжка, и каждая жилка в теле кричит ему: подтянись!..

Попрежнему орут горластые пушки. Попрежнему вздрагивают домики. Но голова свежа после сна, и на душе уже нет вчерашней тоски. Солнце большим сверкающим кругом поднимается над землей. Ажурным узором раскинули деревья свои вспухшие почками ветки и, как сквозь плетеное кружево, пропускают снопы искристых лучей. Вестовые весело суетятся. Начисто моют полы, перетирают два дня не убиравшуюся посуду. Не хочется думать о канонаде, о смерти, о грядущих опасностях.

— Солнышко-то как разгулялось! — весело потирает руки доктор Костров. — Эх, родина — великое дело!..

Волконский извлек из своих бездонных сундуков какие-то необычайно вкусные сласти, с мармеладом и финиками, и потчует ими офицеров и денщиков.

— Гридин!—улыбается штабс-капитан Калинин,—нельзя ли раздобыть?

Гридин — штабной фельдфебель из жандармов, известный своим уменьем раздобывать водку из-под земли.

— Так точно, — отвечает он своим сладеньким голосом, — у жидов есть... И конфеточки киевские, и коньячку, не угодно ли?..

— Шикардос! — вскакивает в возбуждении Кордыш-Горецкий.

Вернувшийся из лазарета перевязанный прапорщик Боле-

славский деликатно отставляет пододвигаемые Болконским сласти и решительным голосом объявляет:

— Напьюсь я сегодня зверски!

— Только, пожалуйста, не в обществе панны Зоси, — иронизирует командир.

...Настроение, чуть подогретое водкой и коньяком, продолжает оставаться на прежнем градусе. Уже не хочется ни уединения ни тишины. Лежу и читаю «Женские письма» Марселя Прево (на французском языке), унесенные нами из какой-то разоренной библиотеки на брошенном фольварке. Офицеры играют в карты.

— Закончен труд, завещанный от бога, — весело вскакивает Болконский: — сделал подсчет по книге огнестрельных припасов. Знаете, сколько мы израсходовали за последние дни? Ровно столько, сколько израсходовано было за всю войну: 7200 шрапнелей, 2600 гранат и семь миллионов винтовочных патронов.

— Что в переводе на язык крови и трупов обозначает весьма игривое обстоятельство, — насмешничает Базунов.

— Не трудно сделать точное вычисление, господин полковник, — оживляется Старосельский. — Есть такая артиллерийско-биологическая формула: «чтобы убить человека, надо выпустить ровно столько металла, сколько весит тело убитого». Вот и произведите подсчет. Винтовочная цинка в 300 патроновв весит 15 фунтов, пушечная шрапнель — 22 фунта и легкая пушечная граната — 24 фунта...

— Есть, господин капитан! — подхватывает Болконский. — Честь имею доложить, что всего выпущено 70-й артиллерийской парковой бригадой около 35000 пудов свинца и меди. Так что на одну нашу бригаду за все восемь месяцев войны приходится от тринадцати до пятнадцати тысяч убитых.

— Ах, задави его гвоздь! — меланхолически почесывается прапорщик Кириченко, только-что вернувшийся из Кжишова с головным эшелоном.—Не сыграть ли нам лучше в преферанс?..

— Ординарец из штаба дивизии, — мрачно докладывает Ханов.

«Отступать!» — мелькает у каждого на лице.

— Да что они, подлецы, смеются над нами?! — раздраженно выкрикивает Базанов.—Как нарочно, прохвосты!.. Не только снарядов, и каши скоро давать не будут! Вот, не угодно ли ознакомиться?!

Болконский громко читает полученный приказ:

«Весьма секретно. Копия с копии. Начальник штаба III армии по этапно-хозяйственному отделу. 20 марта 1915 года. № 66054. Командирам корпусов и начальникам отдельных частей.

«Командированный в тыл и к начальнику снабжения интендант армии выяснил, что:

1) гречневой крупы уже нет в России; поэтому надо довольствоваться пшенной крупой;

2) овса очень мало в сравнении с потребностями армий (для всех армий требуется 1200 вагонов овса ежедневно); поэтому надо мириться с заменой овса ячменем;

3) продукты довольствия заготовляются в России не интендантством, а земством; поэтому качество продуктов ниже того, к которому армия привыкла в мирное время;

4) хотя солома в районе армии на исходе, но надеяться на доставку с тыла невозможно, так как заготовлено соломы земством на весь Юго-Западный фронт только сто тысяч пудов и, кроме того, железная дорога не может перевезти все нужное армии;

5) сукна уже недостает в России, почему обмундирование будет строиться из бумажных тканей;

6) кож большой недостаток, почему постройка сапог крайне медленна и затруднительна; снаряжение будет строиться из разных тканей; обувь надо очень беречь и широко пользоваться «опорками».

7) как известно, принципиально желательно, чтобы каждый корпус имел свою железнодорожную линию; мы же поставлены в необходимость одной линией пользоваться для двух, иногда трех армий, — притом с перегрузкой и ненадежными мостами; поэтому подвоз всего необходимого медлен и весьма ограничен в количествах; попытка помочь подвозу, пользуясь линией ж. д. от Люблина через Развадов кончилась тем, что на Сане прибыв-

шей водой снесло как временный, так и почти оконченный постоянный мост.

«Принимая во внимание все вышеизложенное, по приказу командующего армией, прошу терпеливо относиться к несвоевременности или неполноте снабжения. Подлинное за надлежащей подписью».

...Уже час ночи, но офицеры и не думают ложиться. Безумолчно грохочут пушки. Суетливо мечутся тыловые парки между Дембицей и Шинвальдом, головные эшелоны носятся в погоне за тыловыми парками, батарейные ящики — в поисках головного эшелона. Напрасная трата гнева и матерщины: в ящиках пусто. Офицеры не унывают. Благодаря ли коньяку, или в силу какого-то внутреннего хмеля, утреннее настроение все еще держится. Болеславский, Костров, Кордыш-Горецкий, Кузнецов и Калинин режутся в девятку. Прапорщик Болконский в наглядных сценках из солдатского быта вскрывает смысл сегодняшнего приказа:

« — Дерюгин! Как уберечься от венерических болезней?

« — Чтобы уберечь армию от голода и рваных сапог, надо прежде всего расставить часовых и дневальных, чтобы они не пропускали за черту лагерного сбора никаких блудных девок.

« — Колупаев! Как уберечь армию от голода и рваных сапог?

« — Чтобы уберечь армию от голода и рваных сапог, надо прежде всего расставить часовых и дневальных, чтобы они на пушечный выстрел не подпускали к воюющей армии никакого блудного земства, и терпеливо относиться к несвоевременности и неполноте интендантского снабжения...».

Широкие огненные зарницы полосуют ночное небо, и от тяжкого грохота орудий беспрерывно и жалобно повизгивают оконные стекла.

...За ночь нашу дивизию потеснили. Сурский полк окопался в двух верстах от артиллерийских позиций. Совершенно потрепанный Бендерский полк отодвинут в резерв. Сегодня у нас командир полка Нечволодов. У полковника Нечволодова репутация бесстрашного офицера. Об его неустрашимости из уст в уста

передаются окопные легенды. В газетных корреспонденциях его изображают каким-то Ричардом-Львиное-Сердце, заколдованным от пуль и снарядов.

У Нечволодова хлыщеватая, почти фатовская внешность. Когда солдаты лежат в цепи, он спокойно шагает по брустверу,[1] похлопывает себя стэком по ботфорту и, сюсюкая, бросает солдатам:

— Врага бояться не надо. Он — такой же солдат, как ты... Не о пуле думай, — о деле.

Но Нечволодов — не фанфарон, не позер и с усмешкой говорит о себе:

— Говорят, полковник Нечволодов не трус. Может быть. Но Нечволодов и не дурак. Он зря под пули башку не сунет. Он знает, когда по цепи прогуляться можно и когда нужно пойти проверить вторую полуроту (резервную, по которой не стреляют).

Солдаты относятся к нему с полным доверием. Они знают, что он ни одним человеком не пожертвует без крайней необходимости. Но там, где это нужно, не задумается поставить на карту и собственную жизнь. Его любят не за удаль, а за осторожность и рассудительность. В том же Бендерском полку есть капитан Радзивилл, который идет в атаку ни разу не наклонившись. Солдаты ползут на брюхе, боятся голову приподнять, а он во весь рост прёт, не сгибая головы, прямо на пулеметы. Воля железная. Но солдаты его не ценят: «Зря смерти ищет».

О Нечволодове этого сказать никак нельзя. За обедом он просто, обдуманно и без рисовки рассказывает, как надо вести себя в бою.

— Трус, — говорит он, — это человек, который боится несуществующих опасностей. Когда командир ведет свою часть бог знает какой дорогой, чтобы оттянуть встречу с противником, хотя столкновение все равно неизбежно, — это, разумеется, трусость. Но если нет надобности в жертвах, если, только щадя солдат, командир с предосторожностью, хотя бы чрезмерной, даже излишней, старается обойти неприятеля, — честь и слава такому командиру. О таком командире я заранее могу допустить,

[1] Бруствер — главная часть окопа, состоящая из рва и земляной насыпи, обращенных в сторону противника.

что в случае надобности он окажется большим храбрецом. Потому что храбрость в том и заключается, чтобы дело ставить выше себя. Это вовсе не так легко, как думают наши газетные корреспонденты. Это, — скажу вам прямо и откровенно, — мучительно трудно. Но в одолении трудности и заключается подлинная храбрость. Если бы храбрость давалась в руки без всяких усилий, как рюмка водки, то какое бы значение имела тогда храбрость?..

— А как узнаешь в бою, кто форсит и Георгия ищет, кто по-вашему храбр? — задает вопрос адъютант Медлявский.

— Не скажу вам, как это узнается. Не берусь советы давать. Но в одном я твердо уверен: нужна железная выдержка, чтобы оставаться на месте, когда над головою рвутся шрапнели; чтобы мужество и чувство ответственности не покинули тебя, когда вопли и стоны людей и лошадей покрывают даже бешеный рев орудий. Идешь вперед, командуешь, ободряешь, а самого точно в грудь толкает какая-то железная сила, и каждая пулька насвистывает в уши: наз-зад! наз-зад!.. Пускай другие похваляются своей храбростью, но я говорю вам прямо: не раз бывали моменты, когда я чувствовал себя отчаянным трусом... Ой, как много самообладания нужно, чтобы не дрожать, как в лихорадке, во время боя и не умчаться из-под огня. Недаром самым ненадежным элементом в бою считаются ездачи (верховые). Как удержаться бородатому Фильке от соблазна, когда стоит тронуть коня, чтобы он мгновенно унес тебя из ада?..

— Значит, то, что пишут о вас в газетах про вашу любовь к опасностям...

— Все это — сущие небылицы, — рассмеялся весело Начволодов, — беззастенчивая брехня. С каким наслаждением я написал бы в редакцию этих газет: «зачем вы печатаете все эти фальшивые глупости?» И под этим письмом, я уверен, подпишется каждый серьезный офицер... Ах, как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь из газетных корреспондентов, которые знают храбрость только по оперным героям,побывал в окопах и честно описал все, как есть. Он должен был бы рассказать без всяких прикрас, что в окопах так же пьют, едят, разговаривают, как и всюду, но — под вечным страхом мгновенной смерти. Что умирать никому не хочется. Что рад душой, когда приходит смена.

что, дождавшись вечера, с наслаждением бежишь на бивак. Что часто идешь в разведку, проклиная свою судьбу, войну, Европу; двигаешься, деморализованный страхом, по топким местам, по рытвинам и канавам, а связи нет, прикрытия нет, сердце ёкает, ноги вязнут в грязи, и даже не знаешь, где дерется дивизия, куда выпрешься, на кого наткнешься... И если мы все же исполняем свой долг, то только потому, что другого выхода нет. В голове ж и днем и ночью, и у храбреца и у труса гвоздит неотступно мысль: подстрелят, подстрелят, подстрелят...

— Но существует же героизм на войне? — настаивает на своем адъютант.

— В современной войне значат только массы людей, а не отдельные герои... Герои сидят теперь в далеком тылу и передвигают по карте эти массы туда и сюда и благодарят бога, что... массы еще покорны и повинуются их распоряжениям...

— А среди солдат попадаются настоящие храбрецы? — интересуется Болконский.

Нечволодов поёжился, помолчал и как-то неохотно, сквозь зубы, протянул по-гвардейски:

— Конечно, и среди солдат есть люди, обладающие большим хладнокровием и большой силой воли. Но, чтобы быть храбрым, надо верить в цели войны... А они... не видят в ней смысла...

...Война — это грязь, замешанная на человеческой крови. Кровь с обязательным воровством, мародерством, насилиями и убийством. Не так страшно всадить штык в чужое тело, как вырвать кусок хлеба из рук ребенка.

На-днях в беседе в Семенычем я услыхал от него такую фразу:

— Слушай, что я тебе скажу. Может, мы кого и осиротили... Что ж, для того и пригнали нас. Одна только радость у меня: на чужой земле топчемся, а чужого не брал. И детям обиды не делал...

А теперь и Семенычу придется. Значение вчерашнего приказа выяснилось вполне. Интендантство отказывается прокармливать армию и предлагает армии перейти на путь открытого мародерства. Солдаты Бендерского полка вчера же приступили к делу. Они рассыпались по Шинвальду и окрестностям

и организованно отбирали у населения хлеб, муку и картошку. Начальник дивизии Белов вызвал по этому поводу полковника Нечволодова, и между ними, говорят, произошел такой анекдотический разговор:

Белов, человек желчный и раздражительный, страдающий катарром желудка, долго распекал Нечволодова и раздраженно закончил:

« — Да вы знаете, как это называется? — Вы просто мародер.

« — Так точно, ваше превосходительство, — спокойно ответил Нечволодов. Я — крупный мародер. А вы — мародер мелкий.

« — Я? — опешил Белов. — Когда же я мародерствовал?

« — А помните: в Раве Русской, когда аптеку громили, вы наконечник клистирный взяли... Вам нужен клистирный наконечник, а мне нужен хлеб для полка...»

Стоящая рядом с нами обозная команда принялась за дело еще энергичнее. По предписанию из штаба дивизии, прихожу сегодня в обоз для производства телесного осмотра. В команде 500 человек. Спрашиваю командира обоза, пожилого полковника из запаса:

— А где же ваш доктор?

— Врача нет. Числится только по бумагам. Он, как выяснилось, умер еще в 1911 году и не был вычеркнут из мобилизационных списков. Хлопотали, хлопотали, но ничего не добились. Так и остались без врача.

— Кто же вас лечит?

— Ветеринарный доктор.

— Он здесь?

— И с ним, знаете, путаница вышла. Послали его за лекарствами в Киев. А он уже два месяца там сидит и не едет.

Приступаю к осмотру команды. Налицо только 300 человек. Спрашиваю:

— А где же еще двести?

— Я их вместе с моим помощником, прапорщиком, и с двумя зауряд-чиновниками послал в соседний район на фуражировку,— спокойно поясняет полковник.

— Как? Двести человек на фуражировку? Да ведь это — целая экспедиция!

— Ну, да. Но зато я уверен, что с пустыми руками не приедут...

...Невозможно уснуть ни на минуту. Немцы, повидимому, подвезли несколько новых тяжелых батарей. Жалкой детской хлопушкой кажется наша артиллерийская пальба рядом с зловещим грохотом этих потрясающих взрывов. Снаряды летят по воздуху с таким страшным гудением и рвутся с такой ужасной силой, что о их направлении можно следить по звуку. Временами треск разорвавшегося снаряда напоминает грохот падающих домов. С цепким вниманием следишь за каждым ударом, и кажется, что все кругом превращается в развалины, и вот-вот чудовищные «кабаны» обрушатся на Шинвальд.

2

...Канонада затихла. Оттого ли, что немцы потеряли надежду сломить скалистый упор нашей артиллерийской позиции, или оттого, что подвозят новые орудия, как утверждают солдаты?.. Но сразу все просветлело, и мы радостно ощущаем приход весны. Какое здесь удивительное солнце: стоит ему показаться на полчаса, как все кругом оживает. И еще приятнее воздух — чистый, светлый и звенящий, как арфа. Звонким делает его горное эхо. Офицеры выбегают греться на солнце и «смотреть, как растут деревья». Здесь такая буйная растительность, что можно видеть, как распускаются почки. Кругом так много солнечной мягкости и цветов. Пахучими белыми цветочками усеяна вся земля. А вдали так заманчиво синеют карпатские леса.

— Вот вам и Мезо-Лаборч с Дуклинским перевалом, — иронизирует Базунов.

Мезо-Лаборч — город в венгерской долине, в четырех переходах (120 верстах) от Тарнова. Туда собирались перебросить наш корпус, и офицеры втайне мечтали о венгерских красавицах и венгерском вине.

Пестрыми группами разлеглись на земле бендерцы и беседуют с нашими солдатами. Солнечные лучи продираются сквозь толщу овчинных кожухов и поселяют в головах неположенные

мысли. Огромный пехотинец, раскинув руки и ноги на белых цветках и подложив папаху под голову, говорит с блаженной улыбкой:

— Так воевать согласен...

— А много ты народу переколол? — любопытствуют наши солдаты.

— Не считал, — лениво отвечает бендерец. — Из окопа стрелял... Стрелок я годный... Верно, немало ихнего брата перебил... Только и их жалко, — закончил он мягко.

— Чего жалко?

— А как же? И они не своей охотой идут: начальство приказует.

И, помолчав, продолжает:

— Плохого не помнишь, а хорошее не скоро забудется... Шли мы с ребятами в разведку. Один офицер, да нас семеро. Видим: раненые ихние. Стонут, корячутся. Офицер приказует: приколи!.. А чего их зря-то колоть? Тоже люди. Детишек дома оставили... Кликнули наших санитаров и подобрали. Тоже и ихней крови не мало пролито, — вздохнул бедерец.

— Земля от крови парная: хорошо родить будет, — говорит, глядя в небо, другой пехотинец.

К группе подходит оборванный парень из местных жителей и протягивает руку: хлеба дайте.

Семеныч выносит ему краюху хлеба и спрашивает:

— Чего на работу не идешь?

— Работал, — отвечает по-польски парень. — На дороге служил. Истопником...

И вдруг начинает обличительным тоном:

— Нима вѐнглй, нима джàва, нима запàлки... [1]

И, сорвавшись, сыплет с негодованием:

— Платят 81 копейку в день... Прокормиться надо, одеться надо... А где тут прокормиться, когда фунт белого хлеба в Тарнове стоит 90 коп., а пол-солдатского хлеба — 60 коп., а литр молока — 40 коп... Солдаты все выели кругом, как саранча... Спичек купить не на что. Свечей нет. Дают десять свечей, а обер-кондуктор себе берет пять. Потом приходит кондуктор и забирает

---

[1] Нет ни угля, ни дров, ни спичек.

еще три свечи. А господа офицеры ругаются, что в вагоне темно и холодно. Что ж остается делать? Красть?.. Украл бы, да негде, — заканчивает он с едким раздражением: — все солдаты раскрали.

— Где уж работничать на войне, — сочувственно вздыхают солдаты.

— Знай,—лоб подставляй! Да язык прикуси, чтоб не вопил!..

А солнце ярко сияет и нежит, и воздух — как крепкое вино. Только Старосельский не поддается чарам карпатского солнца.

— Ишь, развалились на солнышке «нежные» чины, — пускает он сквозь зубы и злобно набрасывается на взводного Федосеева. — Ты смотри у меня, лодырь! До смерти под ранцем уморю, если опять нагнёты [1] увижу.

Да Ханов мрачно критикует Галицию.

— Чего ты болтаешь, Ханов? Они худого слова не скажут... Живут в пехотном обстреле. Скотины нет. На себе землю пашут. Видали! Пан заместо лошади тянет, а жена заступом роет...

— У плохого хозяина все плохо, — угрюмо отбивается Ханов.—Слабого качества люди. Когда принесешь борща с кухни,— не берутся борща есть: нам, говорят, не полезно. Кашу едят. А чтобы борща, — так совсем на него внимания не обращают. Я и то дивлюсь: им бы давно околеть пора. Одной картошкой живут.

...Опять вечерние сумерки. Опять свирепо грохочут пушки. Испытываю какое-то тусклое удушье, похожее на безумие. Прошлое кажется далеким-далеким сном. Нужно сделать мучительное усилие, чтобы внушить себе веру в реальность того, что когда-то видел и понимал...

— Где-то есть электричество, мостовые... — доносится до меня, как во сне, голосок Болеславского.

— Да, есть, — соглашается Болконский и задумчиво произносит: — Хорошо бы теперь лежать на малиновой бархатной кушетке и читать старую «Ниву» за 901-й год. А над тобой канарейка заливается. И в комнате тихо-тихо, так что кажется, что никого больше нет на свете...

[1] Нагнеты — мокрецы на копытах.

«Может быть, и мне только кажется, как Чеховскому Чебутыкину, — мелькает смутная мысль. — Может быть, в действительности ничего этого нет и никогда не существовало...»

А за окном гремит и грохочет.

— Надо бы наградные выдать нижним чинам на пасху, — говорит заведующий хозяйством прапорщик Кириченко.

— За что? — жестко бросает Старосельский. — Разве это люди? Лодырь на лодыре сидит и лодырем погоняет. В каком виде у них лошади? Амуниция?.. Его, сукина сына, нужно из матери в матерь грозить, под ранец ставить, а иначе, по добру, никто ничего не сделает. Сознания службы — никакого. Все — дрянь сверхъестественная!..

— Это вы напрасно. Есть очень хорошие солдаты.

— Вот увидим, что̀ эти хорошие солдаты запоют, когда отступление начнется. Я уже этих гусей хорошо знаю!..

— А жизнь идет своим ходом, — раздается насмешливый голос Базунова. — Напишешь бумажку о том, что кухонь походных в бригаде нет, а она — бумажка — кого-то задела. От одного к другому, — и вот уже от Эрдмана[1] спешный запрос:

«Получили ли вы при выступлении на театр военных действий походные кухни? Если нет, получите их в срочном порядке в городе Ровно, Волынской губернии...»

— Да-с... Время от времени полезно взглянуть на вещи с интендантской точки зрения...

— Токарёв! Коньяку! — кричит прапорщик Растаковский.

— А не сыграть ли нам в шмоньку? — тоскливо вздыхает доктор Костров.

Заложив ногу за̀ ногу, орет, потренькивая на балалайке, прапорщик Кузнецов:

Раста-ту-турнха коров пасла́...
 Завя-зи-ла между ног коз-ла́...
Прото-ри-ла я тропинку через лед,
 Проло-жи-ла ми-лому проход...

Из сеней долетает забористая песенка Шкиры, адъютантского денщика:

---

[1] Главный интендант III армии.

Раным рано в ранці
Ішли новобранці.
Три хвороби, тай дві дулі
Заховали в ранці [1]...

В дверях появляется Коновалов:

— От старої учительки за вами [2].

— Седлай лошадей, — поедем.

...Старой «навчительке», пани Ванде Мыслинской, лет за семьдесят. Но на вид это—еще бодрая старуха с интересной седой головой в черной наколке и с проницательными глазами. Ее знают верст за сорок кругом. В ее домике, на краю Шинвальда,— в стороне, на отлете, — сохранилась вся обстановка: гардины, зеркала, шифоньерки, часы, подносы, вазочки и даже оставленный кем-то на хранение велосипед. Население ее любит, а солдаты относятся с уважением. Она очень гордится их вниманием и доверием и, рассказывая об этом, любит с улыбкой повторять:

«Человек всегда лучше, чем о нем думают люди».

Не знаю, верит ли пани Мыслинска в мои медицинские познания, но я охотно откликаюсь на ее приглашения. Делаю это не без тайной корысти, так как всегда ухожу от нее обогащенный. Говорить она большая любительница и мастерица. Ей хорошо известна история каждого окрестного фольварка, каждого мостика и мельницы. У нее много друзей в Тарнове, Кракове и Варшаве. Но что всего интереснее, — на ее глазах протекла вся война — с пропагандой, торжественными декларациями и грабежами. Или, как выражается моя собеседница: она слыхала все «вызолоченные слова» и видала всю «медную истину» войны. Разговор ведется вначале в изысканно-дипломатическом стиле.

— Не смотрите, — говорю я пани Мыслинской, — на мои погоны и вообразите, что перед вами — самый преданный друг.

— Хорошо, — улыбается она. — Я буду рассказывать. Может быть, и в моей походной аптечке найдется лекарство, полезное для вас.

---

[1] Утром, раным-рано
Вышли новобранцы.
Три болячки с кукишами
У них были в ранце.

[2] Вас просят к старой учительнице.

Рассказы пани Мыслинской я урывками запишу в дневники. К сожалению, в моем грубоватом переводе сильно потускнела их «вызолоченная» дипломатичность.

— ...Вы спрашиваете, испытывала ли я страх, когда рвались снаряды над Шинвальдом?.. Я затрудняюсь вам ответить. Мой первый испуг начался гораздо раньше. 8 ноября вдруг вспыхнула паника. Никто не стрелял. Никто совершенно не думал об опасности. Но через Шинвальд откуда-то хлынула волна беженцев (бежѐнцы), и за ней опять потянулись интеллигенты, чиновники, евреи, арендаторы фольварков. 9 ноября был взорван мост на Бяле. И жизнь замерла. Наши войска ушли, русские не приходили. 12-го ноября убит был русский казак. Не знаю, произошло ли это в стычке, или жители убили казака, но труп его валялся на улице и почему-то вселил мне невероятный испуг. На завтра пришел патруль из 70 человек. Я ждала, что начнется жестокая расправа за убитого. Но, к моему величайшему удивлению, офицер даже не поинтересовался убитым и только распорядился:

« — Закопать!

«Я спросила у офицера, занят ли Тарнов? Офицер ответил: уже вторую неделю.

«В Тарнове у меня много знакомых. Недолго думая, я поплелась в Тарнов. По дороге натолкнулась на казачий разъезд. Двое подъехали ко мне:

« — Ты куда, старая?

« — В Тарнов.

« — Разрешение есть?

« — Нет...

«Казак удивленно посмотрел на меня и спросил:

« — Который час?

«Я вынула часики, посмотрела и сказала. Часики у меня золотые.

«Один казак потребовал:

« — Без пропуска ходишь. Давай часы!

«Я сказала:

« — Не могу. Это у меня — память моей покойной дочери.

« — Ну, а деньги есть у тебя? Дай...

« — У меня нет денег, — сказала я. — Может, у вас есть? Дайте мне, — я вам большое спасибо скажу.

«Казаки рассмеялись и уехали.

«В Тарнове было тихо. Многие из знакомых удрали, многие остались на месте. Они говорили, что жителей не обижали (жадной кшивды никому не зробили). Когда на завтра пришла я в Шинвальд, то застала там целую дивизию. Если не ошибаюсь, это была 42-я пехотная дивизия. А может быть, 42-й пехотный полк...»

Пани Мыслинска замолчала.

— Ну что же? Рассказывайте дальше, как было...

— В тех домах, где стояли, солдаты не брали. Спрашивали: хлеб есть? сало есть? чай есть? И когда им отвечали: нету, — они давали свое.

« — На тебе, пан, хлеба!

« — Пей с нами чай!

«Но каждый шел в соседнюю халупу и грабил хуже мадьяра. Особенно круто приходилось от проходящей пехоты. Шли пехотинцы небольшими группами, — усталые, голодные, еле передвигая ноги. Одна такая партия — человек пять — зашла ко мне. Лица, как у покойников. Еле винтовки держат. Просят:

« — Дай, бабушка, хлеба!

«— Хлеба, — говорю, — нет. Могу дать картошку.

«Поели. Поблагодарили. Один пять копеек дает. Потом вышли — и в соседнюю халупу. Через минуту слышу крик. Я бросилась к соседям. Вхожу, солдаты душат бабу за горло и кричат: хлеба дай! Начала я их просить, а они рукой машут: уходи, а то и тебя задушим. И все в халупе перерыли, из сундуков платки вытащили; хлеб, масло, сало, сахар все унесли...»

— Пани Мыслинска! Могу я к вам обратиться со щекотливым вопросом? Сможете, — отвечайте по совести...

— Ой-ой, — лукаво улыбнулась она. — Прыгать в воду, просить взаймы и целовать хорошенькую женщину в губы — надо, по нашей польской поговорке, без предварительной цензуры.

— Ну, хорошо. Как отнесется Галиция к возможности быть завоеванной нами?

— Евреи отдали бы полжизни, чтобы русских не было в Австрии, — ответила она сдержанно.

— А вы?

— Мы уважаем каждого еврея за обывателя.

— Так... Вы, значит, не хотите мне ответить?..

Она помолчала, окинула меня пристальным взглядом и решительно заговорила:

— Я знаю, что вы — не из Пуришкевичей... Тут один ваш офицер сказал мне:

« — Я пятнадцать лет прослужил в Польше и в течение пятнадцати лет поляки шипели мне в спину: «сволочь!..» Можете быть уверены: пока существует русская армия, никакой автономии вы не получите».

« — Мы отдали на растерзание тело всей Польши. Что же еще нам сделать, чтобы заслужить ваше расположение? — спросила я его.

« — Ассимилироваться с нами!»

« — То есть променять нашу тысячелетнюю культуру на вашу пятисотлетнюю татарщину?.. Так? Потому что какая же у вас цивилизация? Петр Великий обрезал вам бороды и кафтаны и одним взмахом своей тяжеловесной дубинки превратил долгополого холопа в раба, одетого по-европейски... Все по приказу свыше... Другой культуры в России нет.

« — Вы разве не читали тех «милостей», которые обещаны Польше?

« — Ага! Вы сами потешаетесь над ними. Да кто же им верит? Сколько раз я слыхал от ваших же офицеров:

« — Бросьте пустые бредни! Не мечтайте о польском королевстве. И никакой вы автономии не получите. Разве может наше правительство дать вам больше того, что оно дает собственному народу? Если конституция считается вредной для нас, то чем же Польша лучше России?..»

— Помилуйте, что должны испытывать мы, слушая такие речи, мы, прожившие столько лет в условиях политической свободы? То, что русской Польше кажется благом, для нас — величайшее несчастие.

— И таково, по-вашему, мнение всей Галиции?

— Простому люду в настоящее время не до политики. Пал Перемышль, падет ли еще семь Перемышлей, — народ мечтает пока только о мире... Ведь он задыхается в тисках голодной смерти. Вы посмотрите: уже целые процессии голодных ходят по селам и местечкам и требуют: хлеба! хлеба!..

— Кроме хлеба народу пока что ничего не надо. Но интеллигенция?

Пани Мыслинска замолчала и глубоко задумалась.

— Что же интеллигенция?..

Она сурово покачала головой.

— Интеллигенция предъявит вам очень тяжелый счет

— За что?

— За бесцельное разорение Галиции.

Глаза ее блеснули гневной иронией.

— О, вы нам дали хорошенький урок. Мадьяры нам дали урок жестокости, а вы — урок какой-то дьявольской страсти к разрушению... Ведь вы не воюете, а ведете себя, как пьяные самодуры. Возьмите хотя бы наше местечко. Зачем разнесли вы мельницу на дрова? Большую, прекрасную мельницу, которая обслуживала обширнейший район. Если бы мельница работала, она прежде всего пригодилась бы вам самим. Вы привозите из России зернодробилки, которые употреблялись в десятом веке. Ведь мы не слепые. Ведь на наших глазах ваши лошади надрываются, волоча эту огромную тяжесть. И в результате — жалкий помол, не дающий и десятой доли того, что вам нужно. А от мельницы не только вам, но и всему населению была бы польза...

«А что вы сделали с досками? У нас в Галиции доска — драгоценность. А вы попалили их на костры. Сколько фольварков растаскали вы на дрова? Во что превратили вы наши школы? А библиотеки? оранжереи? парки?

«А сейчас? В самый разгар полевых работ вы выдумали какую-то трудовую повинность».

Голос ее становился все более резким и жестким.

« — Да, счастливы страны, не испытавшие неприятельского нашествия. Но такой неприятель, как Россия... О, я не завидую тем австрийским солдатам, которые оставили в Гали-

ции жену или дочь!.. В Тарнове у меня есть несколько знакомых семейств, которые жили зажиточно до войны: железнодорожный чиновник, бухгалтер, адвокат, несколько учителей. У них взрослые дети, девушки. Я перестала у них бывать. Страшно смотреть на них. Средств к существованию никаких. Все давно продано. Помощи ниоткуда. А фунт солдатского хлеба в Тарнове — 18 коп...

«Ваш тарновский комендант открыл все еврейские магазины, оставшиеся после бегства хозяев, и пригласил на место приказчиц школьных учительниц. У нас в уезде 300 учителей и учительниц. Признаться, я думала, что немногие согласятся на такую работу. Мы не привыкли к таким приемам. Но... 7-й месяц без жалованья сидят...

«Ринулись все, а счастливиц оказалось только... восемь. По 1 р. 20 к. в день... Что остается делать остальным?..

«И вот те, которые помоложе, идут туда, куда толкает их ваше офицерство. Вы знаете, почти все тарновские женщины и девушки давно превратились в проституток. Да как же иначе, если это—единственный способ спасти себя и семью от голодной смерти... Груды кирпичей и золы, обуглившиеся трубы, жалкие остатки домашней обстановки — все это пустяки. Города, сметенные вами с лица земли, будут вновь восстановлены. Есть нечто похуже растоптанных кустов. И те, что раздавлены падающими домами или изувечены артиллерийским огнем, еще не самые обездоленные...

«Впрочем, многие даже разбогатели и выступают такими павами... Например, горничная доктора Гаусмана. Сам он удрал в Вену, а горничную оставил стеречь квартиру. Теперь она катается по Тарнову в автомобилях, носит шикарные туалеты и, говорят, самые видные русские генералы считают за честь поцеловать у нее ручку. Ее соперница — служанка с соседнего фольварка. Не такая красивая. Но грудь — вò какая... Каждое утро ее отвозят в автомобиле. Казачий есаул князь Бутаев среди бела дня подошел к ней на Краковской, расстегнул ее лиф и всунул за пазуху 600 рублей. Об этом с завистью шепчутся все голодные тарновские весталки... А разве это — единственный повод для соблазна? В любом домишке, в любой халупе, где поселяется офицер, целомудрие задыхается в пищете, а по-

датливость пышно расцветает. К услугам милой податливости — и солдаты, и лошади, и казенный лес. А дрова теперь в Тарнове — на вес золота. Что дрова? Из Бича и Горлицы ей везут керосин, из-под Тарнова — пиво, из экономического общества — свечи, сахар, консервы... У дверей наяды караулят десятки перекупщиков, лавочников, и в одну минуту она превращается в богачку... Я слыхала собственными ушами, как один очень почтенный педагог говорил со вздохом нескрываемой зависти своему более удачливому собрату:

« — Вам хорошо... У вас две взрослых дочери!..»

— Не стану отрицать этих фактов. Но разве это только наша вина? Разве то, что происходит в Галиции, с удручающим однообразием не повторяется во всех завоеванных городах?

— Да, да... Проституцию я упомянула между прочим. Хотя и тут ваши разрушительные инстинкты развернулись с такой же циничной беззастенчивостью, как и ваши пронзительные ругательства... Но дело не только в этом. Вся суть в системе кровопролития. Для вас население — навоз. Скажите, что стоило бы вам осчастливить Галицию, вспахав и обсеменив ее поля? Не смотрите на меня с таким изумлением. Вы стоите на месте. В вашем распоряжении и лошади и свободные руки. Много ли времени понадобится, чтобы вспахать крестьянское поле, т. е. 5—6 моргов земли? День — два, не больше. С вашей стороны не потребуется ни малейшей жертвы. Разрешите только крестьянину бесплатно воспользоваться вашей конной силой, которая стоит совершенно без дела в крестьянской халупе и на крестьянских кормах. Потом сократите дачу овса и хлеба в течение одного только дня. И вот уже вся Галиция вспахана и засеяна. Без малейшего напряжения и жертвы вы спасаете край от разорения, голода и нищеты.

— Меня сагитировать не трудно. Штыки, превращенные в заступы и плуги, — конечно, заманчивая картина. Но давайте рассуждать как солдаты. Не следует забывать, что счастье войны изменчиво. Галиция еще может перейти в австрийские руки. В каком же мы будем положении, если хлеб, засеянный нами с такими благородными намерениями, перейдет в неприя-

тельские амбары, и мы выступим в роли Иванушки-дурачка, добровольно снабжающего германское интендантство?

— Пусть так... Оставим Западную Галицию. Но что вы сделали для Восточной, которую вы считаете уже окончательно завоеванной и присоединенной? Навезли жандармов, стражников и попов. Насаждаете насильственно православие. Разожгли вражду между поляками и русинами. И до тла разоряете евреев. Вот все итоги вашего хозяйничанья в Галиции и нашего шестимесячного пребывания под защитой двуглавого орла...

...Снова запад сверкает молниями и извергает грохочущее пламя. Надвигаются грозные события. От перебежчика-русина стало известно, что 19 апреля противник готовится к наступлению. Подведено 50 двенадцатидюймовых орудий, имеющих в запасе по тысяче снарядов на каждое. И огромное количество 16-дюймовых «берт». Противник собирается повести наступление большими силами по всему фронту. Из штаба дивизии секретно сообщается об ожидающемся налете аэропланов и цеппелинов. Для защиты от последних предписано держать наготове по две пушки от каждой батареи. В районе Белоковице и Тигиковице появились свежие австрийские корпуса. Паркам приказано произвести тщательную маскировку зарядных ящиков и двуколок.

Маскировка сделана превосходно. Ящики укрыты под деревьями вдоль широкого рва. Во время осмотра маскировки бросилось кому-то в глаза, что по другую сторону рва мелькает чья-то фигура, которая, переходя от дерева к дереву, внимательно вглядывается в расположение парка.

— Ксендз, задави его гвоздь! — первый воскликнул зоркий Кириченко.

Базунов свирепо загорячился:

— Чего он тут шляется, мерзавец? Какое ему дело до того, что тут поставлено? Гридин! Тащи его, прохвоста!

— Оставьте его в покое, — заступился Болконский. — Он просто боится, не пушки ли? не будет ли боя на этом месте?..

— Ну, да! Вот это ему и надо: не пушки ли? Если пушки, он сейчас сообщит, что у нас тут резервы запрятаны. А если парки — значит, отступают. Им, подлецам, только бы нюхать,

шпионить и доносить. Я бы всех ксендзов перевешал, всех до единого!

Мы обогнули ров и вышли на шоссе.

Гремели орудийные выстрелы. Катились автомобили. Мчались конные ординарцы. Надрываясь, пыхтели мотоциклетки. Небольшими взводами куда-то пробирались драгуны. Грохотали зарядные ящики и двуколки. Плелись понурыми группами раненые — вперемежку с ранеными австрийцами.

Вдали, в стороне от позиций, носились клубы черного дыма: горели деревни, зажженные снарядами немцев. Вместе с гарью и копотью оттуда неслась волна удушливых слухов. Говорили, что Руглицы горят. Говорили, что обозы в панике удирают, раздавая пудами чай, сахар, консервы. Что штаб корпуса передвигается в Дембицу. Что одновременно с полетом аэропланов германцы готовят набег бронированных автомобилей...

Вдруг в воздухе, высоко над нами, замелькали сверкающие точки. Они опускались, вытягивались, — и вот журчащими переливами, как бассейны, заплескались вверху гудящие аэропланы. Их было девять. Звук их становился все громче, назойливее. Впереди и ниже других летел большой фоккер. За ним — флотилия таубе в четыре колонны, по два аэроплана в каждой. Передовой отделился и стал кружиться над домом ксендза. Суживая круги, как ястреб, он спускался ниже и ниже. Ярко блестели крылья на солнце. Отчетливей становился черный крест. Затрещали солдатские винтовки. Фоккер шел все ниже и ниже.

— Бросил! — закричали солдаты.

Послышался лязг железа, раздался долгий, протяжный взрыв, и в то же мгновение из дома ксендза повалил густой дым: вспыхнул стог сена, стоявший на дворе у ксендза. Аэропланы медленно передвинулись вправо от дома, вытянулись длинною лентой, как журавли, и начали осыпать бомбами полотно железной дороги.

— Опять этот ксендз! — зафыркал сердито Базунов.

— Позвольте, — рассмеялся Болконский. — Ему же пожар наделали, и сено спалили, и сарай, — и он же виноват!

— Вы думаете, он даром сено держал? — загорячился Базунов. — Нарочно пожар устроили, прохвосты, чтобы по дыму ориентироваться... Я бы всех ксендзов перевешал...

Патроны все вышли. Из тылового парка пришло донесение. патронов нет и не будет; в местном парке все роздано. 22 двуколки из разных полков четвертый час дожидаются прапорщика Болконского, который помчался в штаб корпуса за какими-то срочными указаниями. Конечно, это — пустая комедия. Патронов нет и не будет. В шестом часу вечера прапорщик Кузнецов привез 800 шрапнелей, и их немедленно расхватали. Солдаты не говорили ни слова. Но было ясно, что они думали. И вдруг, неизвестно отчего, с долины смерти — с позиций — пахнуло свежей надеждой.

— Тыщу германцев в плен захватили.

— Кто сказал?

— Казак из штаба дивизии.

— К нам подкрепление идет.

— Кто такие?

— Сводная казачья дивизия.

— Третий Кавказский корпус.

— Да не. Никакого подкрепления. Мост на Дунайце спалили, не дали «ему» перейти. Один полк перешел, а 42-я дивизия накинулась, окружила и весь полк до одного в плен захватила.

— 42-я дивизия — молодцом! Ни одной позиции не сдала.

— Стой! Ординарец из штаба корпуса едет.

Останавливаем взмыленную лошадь.

— Кто такой?

— Из 42-го парка, — за патронами еду.

— Где тут, к чорту, патроны? Новостей никаких не знаешь?

— Говорят, потеснили немца.

— Ваша дивизия?

— Не-е... Нашу здорово потрепали. Под Тарновом билась... По Тарнову двадцать четыре «кабана» немец выпустил... Да вреда мало. Человек десять убило в 42-м головном, в 4-й тяжелой двух ранило да орудие подбило.

— А в 70-й бригаде?

— 6-я батарея три орудия потеряла.

— А убитых много?

— Не могу знать. Командир 9-го корпуса до ночи на позиции был. Говорит, здорово «ему» наклали. Завтра опять вперед перейдем.

— Куда, к чорту, вперед? — вмешивается раненый пехотинец. — До Тухова отошли.

— Ты какого полка?

— Переяславского.

— Отступили?

— А разве против него устоишь? — «Чемоданами» кроет да кроет... А наших — одна цепочка. 3-я батарея и затворы унести не успела. Четыре орудия «ему» достались.

— Ну, конечно, — запальчиво кричит Базунов. — Я говорил, что эти мерзавцы перебросят сюда пять корпусов и зайдут в тыл нашей армии. Там, на флангах, — как хочешь, а лоб должен быть крепкий, как камень. Оставили один жалкий корпус, — и дерись, как хочешь.

— Вон и Болконский едет...

У Болконского совершенно растерянное лицо.

— Ну что?

— Доблестно отступаем.

— Есть приказ отступать?

— Нет, пока наступаем в паническом бегстве.

— Да говорите толком. В чем дело?

— Табак... Приехал в штаб корпуса, а командира корпуса нет.

— Убит?

— А чорт его знает. Ни живого ни мертвого нет. Сместили.

— За что?

— За кромцев.

— Кромский полк разгромили?

— Не его, а окопы. Забросали тяжелыми снарядами, в пыль превратили. Солдаты бросились наутек. Только в Рыглицах опомнились. Ну, командира корпуса по шеям...

— А с патронами как?

— Не знаю. Там такой кавардак... Говорят о каких-то подкреплениях. Говорят, «дикая» дивизия сюда идет или какой-то сибирский корпус. А от прапорщика Левицкого из головного эшелона вот какое донесение:

«Против десятого корпуса — дела хороши, против нашего — неважные. Говорят, пришла на помощь какая-то стрелковая дивизия. Огонь сейчас гораздо слабее, чем вчера. Тухов за-

нят противником. Мост нами сожжен. Больше ничего не знаю, кроме того, что головному парку страшно далеко ехать за снарядами, которых ни в среднем, ни в тыловом, ни в местном парке нет».

— Это чорт знает что! — вспыхивает Базунов. — Поеду к инспектору артиллерии с докладом. Кубицкий! Вели закладывать лошадей.

...Из первого парка приехал прапорщик Виляновский.

— За патронами. Начальник дивизии требует: присылайте патроны на рысях. А где я ему возьму? Приехал к командиру бригады: пускай научит, как быть?

— Командира бригады нет. Он поехал к инспектору артиллерии как раз за тем же, за чем вы приехали к нему.

В двенадцать часов вернулся адъютант Медлявский из казначейства.

— Денег нет, — объявил он сразу. — В казначействе застал только делопута.[1] Все поспешно укладываются. Говорят, получен приказ об отступлении...

В комнату торопливо вошел Базунов и бросил денщикам на ходу:

— Немедленно обедать! Не позже, как через час, выступаем.

— Куда? — спросил Старосельский.

— В Домбе, по дороге на Сандомир.

— Почему?

— Не знаю. Пришел к инспектору артиллерии, спрашиваю: где брать снаряды? — «Снаряды? — улыбается он. — Фьюить!..» Свистнул весьма выразительно и говорит: — «Внушите командирам ваших парков, чтобы они поменьше горячились, и прочитайте-ка лучше диспозицию».

— Прочитал я диспозицию и ничего больше не сказал. Написал сам себе предписание, дал инспектору артиллерии подмахнуть, — и скорей сюда... В корпусе, доложу я вам, форменный сумасшедший дом: торопятся, суетятся, ругаются, что-то кричат, что-то друг другу растолковывают и все ни черта не понимают... Одним словом, отходим сразу за 50 верст — на станцию Мелец.

---

[1] Делопроизводитель.

— Да в чем же дело?

— Говорю вам: никто ничего не говорит и никто ничего не знает. Может быть, какой-нибудь хитрый план, а может быть — просто очищаем Галицию. Велено при отходе уничтожать мосты и портить дороги. В Домбе приказано собраться шести паркам. Уходит весь девятый корпус. Но, говорят, уходит, чтобы очистить место для 6-го сибирского корпуса.

— Позвольте, тогда к чему же взрывать мосты и портить дороги?

— Кто его знает? Маневр?.. Чтобы заманить немцев в мешок между двух корпусов — между сибирским и 21-м, который тоже, по слухам, сюда идет...

— Ох, не люблю я таких маневров, — поскреб в затылке прапорщик Кузнецов.

3

19 апреля. Дует сильный, холодный ветер. На много верст по шоссе растянулись обозы, парки, пешие дружины, понтонеры, саперы, телефонисты. И опять обозы, парки, двуколки и десятки тысяч людей, одетых в кожухи и шинели. Гул орудий сливается и временами совершенно тонет в скрипе и грохоте колес по шоссе. Пыхтящие тракторы свирепо режут толпу. Лошади пугливо прядают ушами, храпя, становятся на дыбы. Людские голоса и конское ржанье превращают всю эту катящуюся лавину в одно гигантское тело с железной гортанью и разгоряченной бешеной кровью. Отжимая бесконечную вереницу тел и возов к самой обочине, мчатся с треском и ревом грузовики, автомобили и мотоциклетки. Навстречу нам попадаются обозы с хлебом и сеном, гурты скота. Никто не знает, куда они едут, зачем. Дикие, свирепые крики, толкотня и долгий затор. Два встречных потока из ног, колес и хвостов наседают, лезут, прут и упрямо стоят на месте, друг против друга, как сцепившиеся рогами быки. Это — солдаты 13-й бригады и сибирские стрелки, только что высадившиеся в Дембице и идущие туда, где так грозно рычат германские пушки.

— Откуда?

— Из-под Варшавы, из Сохачова.

— Куда?
— Не знаем.
Может быть, это — то самое подкрепление, о котором так жадно мечтали усталые полки? А может быт... Может быть, в самом деле немцам готовится ловушка?
Обе столкнувшиеся лавины упрямо стоят и топчутся и все же как-то незаметно просачиваются в разные стороны.
За Дембицей шире шоссейная дорога и размашистей ход. В стороне четыре наших биплана стоят наготове. По счастью сильный ветер мешает набегу вражеских летчиков. Иначе от одной бомбы были бы сотни жертв. Люди идут густой рекой. Достаточно ранить двух—трех лошадей, чтобы вспыхнула невообразимая паника, чтобы паника превратилась в страшное бедствие.
На лицах жителей злорадное изумление.
— На Краков — тэнды (туда), — указывают они ехидно на запад.
Идет мелкое мародерство. Бесцельное, наглое. С заборов снимают торбы, ведра, посуду. Забегают во дворы, шарят в крестьянских избах, грабят дома, фольварки, местечки. И через двадцать минут все награбленное летит под ноги грохочущему потоку. Бросают все, что берут: сорванные с окон кисейные занавески, плюшевые скатерти, белье, самовары, кастрюли, граммофонные трубы, пластинки, вазы, щетки, горшки... Все это запружает дорогу, трещит под колесами и разжигает жажду погрома. Бросают одно — и снова грабят лежащие по пути дома и снова бросают. Бегущая армия не ведает ни жалости ни евангельской любви и с презрительным отвращением относится к патриотизму, суду потомства и чужой собственности...
В обозе кубанских казаков треснуло колесо. Мигом сотни кубанских молодцов рассыпались по дворам и по полю и на арканах приволокли десятки крестьянских телег, за которыми с криком бежали испуганные мужики. Кучи солдат, запружая дорогу, столпились, любуясь удалью мародеров. Из некоторых дворов казаки притащили на возах растерянных девушек.
— У казачни ноздря на всякую . . . . . бабью раздувается, — весело комментируют зрители.
— Що це русинські баби так до казаків ласи, — лукаво

подмигивает оборванный дружинник. — Мабуть вони думають, що от ніх і діти таки — з кінем и шашкою одразу... [1]

Каждая новая победа кубанцов на мародерском фронте вызывает общее одобрение:

— Ловко! Казаки дремать не будут.

Вся дорога усеяна по обеим сторонам брошенным интендантским добром. Груды прессованного сена, овса, муки, консервов, бочки, ведра, мешки. Интенданты упрашивают парки:

— Берите!.. Все равно пропадать... А у нас в ящиках пусто... Бросать приходится... Берите!..

Но никто не берет. Воруют солдаты и население. Дарить населению нельзя, дабы продукты не попали в руки противнику. Солдатам тоже не велено давать — из боязни, что солдаты будут продавать населению. Так и валяются сотни и тысячи пудов пшена, муки, консервов и сахара, обреченные на бесцельное истребление. Интендантство нашей дивизии умоляло заведующих хозяйством взять у него 170 пудов рафинаду. На долю нашей бригады предлагали 30 пудов. 1.200 артиллеристов нашей бригады легко могли бы рассовать по карманам и втрое больше. Но солдатам давать нельзя, и строго-настрого наказано командирам:

— Под вашей личной ответственностью — никаких попущений!..

Только хлебопекарни да санитарные транспорты, которые едут порожняком, ломятся под грудами неожиданной благодати.

Солдаты поглядывают на горы консервов и мешков, охраняемых от покушений казаками, и злобно посмеиваются:

— Лучше собаке брошу, а у солдата изо рта выдеру.

— Сто лет вошь гоняй, а начальству все мил не будешь!..

Чем дальше от Дембицы, тем больше гусиных голов под ногами. Солдаты ловят кур и гусей и на ходу скручивают, отрубают, отсекают им головы. Воздух дрожит от птичьих криков. Отделенные гусиные головы лежат придавленные к земле с разинутым клювом и вытекшими глазами. Ими отмечен весь путь до Домбе. Район между Дембицей и Домбе издавна назы-

---

[1] Чего это русинские бабы так на казаков падки?.. Верно они думают, что от них дети так сразу готовыми казаками родятся, верхом на коне с шашкою?

вают гусиным царством. Здесь все деревни и села разводят сотни тысяч гусей. Осенью приезжие прасолы закупают их целыми вагонами и гонят гуртами до границы. Чтобы гуси не сбивали и не ранили себе лапок на каменистом шоссе, их «подковывают» по местному способу: опускают лапки в смолу и потом гонят по мелкому гравию; гравий присыхает к смоле, и гуси безболезненно совершают свои многоверстные марши.

Предприимчивые лазареты и госпитали тут же скупают по дешевке замученную птицу и суют ее в походные кухни. Возы, дороги и люди покрыты выщипанным перьём, и это еще больше подчеркивает погромный характер отступления.

Многих внезапно охватывает какая-то хозяйственная прыть. Они доверху нагружают свои транспорты брошенными мешками, суют в сиденье, в передки, в фуражные тюки, в карманы. сахар, банки, консервы. В одном месте телефонная полурота побросала все телефонное имущество и запрягла своих лошадей в крестьянские телеги, нагрузив их богатой интендантской добычей.

Девятый час кряду откатывается разбитая армия от Дунайца. А неприятельские орудия грохочут с такой же силой, как раньше. Люди и лошади устали. Раздражение охватывает всех, и чаще вспыхивают враждебные стычки между отдельными частями.

Иду обочиной, окруженный толпой дружинников.

— Далеко? — спрашиваю их.

— В Мелец... От Пильзны верст пятьдесят умыкали. Верст двадцать осталось.

— Чего привала не делаете?

— Нельзя. Приказано прийти сегодня.

Вдруг у края дороги затрещал автомобиль.

Впереди сбились в кучу, затрудняя движение, двуколки первого парка. Какой-то седоусый генерал мановением пальца подозвал прапорщика Растаковского и приказал, свирепо пуча глаза:

— Расчистить дорогу! И прошу по-э-нергичнее: бить морды! пулю в лоб!..

Через две минуты автомобиль беспрепятственно катил по расчищенному шоссе. Кто-то из дружинников усмехнулся:

— У начальства нрав легкий... Как у машины: пафырчит, насмердит — и ходу...

— Хоть бы порядок какой, — вздохнул другой

— С начальства не стребуешь, — ядовито бросает первый голос.

— Против начальства не поспоришь, — вызывающе смотрит мне в глаза рослый солдат. — Начальство — что смерть: сама себе выбирает, а до ней не доберешься...

Вечереет. Люди еле бредут. Кучка пехотных прапорщиков, громко разговаривая, идет, отбившись от части. Молодые, свежие голоса. Ловлю долетающие обрывки:

— Нет у нас снарядов — и баста! Хоть по миллиону за патрон плати — нету. Через две недели всю Галицию отдадим из-за этого...

— Я начинаю верить в Вильгельма...

— Немцы народ настойчивый, — не нам чета...

— Снарядов нет. Людей нет. Тогда кончайте войну!..

...В Домбе пришли к девяти часам вечера. Остановились в полуверсте от станции, в бывшем трактире «Австрия». 1-й парк — через дорогу, 2-й парк — в двух верстах от нас. 3-й парк (сейчас головной) перешел в распоряжение штаба дивизии и остался далеко позади — под Дембицей. В «Австрии» тесно, душно и грязно. Половину «Австрии» занимает оркестрион, приводимый в действие 10-геллеровой монетой. Койки расставлены вплотную. Офицеры возбуждены и не ложатся. Каждую минуту в двери стучится новая часть в поисках ночлега и помещения. Адъютант и Болконский наменяли геллеров у хозяина и поминутно пускают в ход оркестрион. Звуки матчиша привлекают толпы солдат, которые готовы пуститься в пляс, несмотря на усталость. Но по требованию командира музыку прекращают. Базунова томит бессонница. Сидя полураздетый на койке, он бубнит недовольным тоном:

— Ну, вот: начинается то, что я предсказывал. Этот подлец Брусилов добился своего... На черта мне его храбрость! На кой нам дьявол все эти дурацкие Козювки! Из-за двух «Георгиев» лазает по отвесным скалам. К чему?.. Только людей тратят...

...Сквозь утреннюю дремоту долетает бубнящий голос командира. Неужели все еще разносит Брусилова?

— Поздравляю вас с новой командировкой... Разводите скорей озёра вокруг себя (так подсмеивается Базунов над моей привычкой делать утренний туалет на свежем воздухе, не жалея воды) и немедленно скачите, что есть дух, на Карпаты. Наш неутомимый дивизионный врач не отстает от своего штабного начальства. Прислал вам экстренную боевую эстафету.

— В чем дело, Евгений Николаевич?

— Немедленно командировать врача бригады в 3-й парк, находящийся в непосредственном распоряжении штаба дивизии.

— Куда именно?

— Стратегическая тайна.

— Как же я доберусь?

— Очень просто. Поймайте неповешенного ксендза и спросите: где 3-й парк 70-й дивизии? Наверное осведомлен лучше, чем все дивизионные генералы.

Едем с Коноваловым налегке. Только шинели приторочены к седлам, да по банке консервов в кобуре.

Обозов гораздо меньше. Дорога, как и вчера, усеяна рваным тряпьем, обломками ящиков и досок, битой посудой, перьями, сплющенными гусиными черепами. Казаки сонно дежурят у интендантских мешков. Жители робко поглядывают на проходящие части. Солдаты кричат, матерщинят и хватают за груди девушек.

Погода тихая, ясная. Голубое небо радостно улыбается. Мерно покачиваясь в седле, чувствуешь себя крепко слитым с конем, с дорогой и с бодрым постукиванием подков.

Вечерело, когда приехали в Дембицу. Ищу на станции коменданта и натыкаюсь на доктора Шебуева.

— А вы здесь как очутились?.. Опять за детритом? Парк, говорите, ищете?.. Какие же тут парки? Давно артиллерия ушла. Одна пехота осталась. Да наш лазарет. Из Тухова сюда перешли со всеми придатками: с генеральшей, с «кузинами», с Шульгиным. Попрежнему все развертываются. Один за всех отдуваюсь. Здесь, впрочем, по диспозиции еще один госпиталь указан: из Чарны. Но тоже нето «развертывается», нето «свер-

тывается». Говорят, главного врача третий месяц «срочными» бумажками бомбардируют, а он хоть бы что...

Разговор обрывается Коноваловым:

— Прапорщик Виляновский на станции.

Виляновскому 22 года. Студент-политехник. Владелец небольшого имения на Волыни. Барич, скептик и польский патриот. Высокий, рыхлый, белотелый, с голубыми глазами навыкате, он вял и ленив. С офицерством — настороже. Пьет мало, но скоро хмелеет. А напившись, идет в команду и бьет по лицу солдат. На вопрос возмущенного Болконского: «Что ж, вы и в польской армии будете так драться?» — Вильяновский как-то ответил с задумчивой улыбкой:

— У меня две мечты: поехать охотиться на тигров и обить мой кабинет в имении негритянскою кожей.

Говорит врастяжку и нагловато:

— Случилось все так, как полагается. О нас забыли. Штаб дивизии за Пильзну удрал, а нас покинул. Вспомнили случайно, когда снаряды понадобились. Выяснилось, что парк впереди артиллерийских позиций находится, рядом с окопами. Командир артиллерийской бригады, полковник Горелов, приказал парку отодвинуться к Дембице. Теперь по приказу из штаба дивизии мы опять откомандированы в распоряжение Базунова. Сейчас еду к Базунову за предписанием.

— Как дела?

— Неизвестно. Надо быть наготове каждую минуту к отступлению.

— Где вы сейчас стоите?

— Вон в том лесочке. Версты три отсюда. Стояли вначале в экономии, но, во избежание обстрела с аэропланов, в лесу укрылись. Обстановка экзотическая. Костры. Палатки. Минёры — мосты взрывать.

— А найти вас в лесу легко?

— Прямо по дорожке пойдете — наткнетесь на сибирских стрелков. А мы — тут же, рядом с резервами.

...В лесу темно. Ведем лошадей на поводу. Издали мигают костры. Посылаю Коновалова разыскивать парк, сдаю ему лошадь, а сам подхожу к кострам. Не видно ни лиц ни фигур.

Только смутно маячат какие-то темные тени. Но голоса разносятся гулко, как под мостом. Слышно каждое слово.

— Вот крови где пролито — на Ужокском перевале. Выбила яво наша дивизия. Бились крепко, жизни не берегли. Должны были дальше двинуться. А тут приказ. От начальства. 61-й дивизии — на кажного солдата по двадцать пять патронов, а кажному саперу — по пять. Пришлось отступить...

— Хоть начальство, а по-другому враг, — вставляет новый голос.

— Очень просто, — сурово продолжает рассказчик. — Такого первой пулей убить... Долго ребята не козырялись — послали жалобу верховному. Тот бумагу в дивизию: где приказ? покажи! Пошвырялись в приказах: нет. Как сквозь землю все провалилось. Теперь два генерала арестованы.

Звенят жестяные чайники, и чавкающие губы, обжигаясь, прихлебывают чай. Пьют кряхтя и сморкаясь. И снова несется из темноты густой задумчивый голос:

— Встали все, как один. За тыщи верст от насиженных мест угнали. А тут — во как геройствуют... Опомнятся, да поздно будет. Такой порчи напустят...

— Через всю Россию измена пущена, — гудит чей-то твердый голос. — От верных людей слыхал. Приказала царица все заводы с патронами поджечь. И написала письмо Вильгельму: «Теперь иди! голыми руками Россию взять можно».

— Эх, милай! — звонко вливается в темноту задорный и свежий голос.—Не там измену искать надо, где доселе искали...

Тихо, темно и грустно. Теплая ночь налита запахом леса и влажной земли. Где-то в пруду или в болоте тоскливо квакают жабы. От пылающих костров вдруг отрывается и широко уносится кверху звенящая, жалобная песня, такая же грустная и ароматная, как ночь:

Не на тот ли мертвый на́ голос
Псы железные залаяли —
В чистом поле над окопами
Медны коршуны заграяли...

Стонет пахарь, плачет лапотник,
Кличет-кажет черну во́рону:

Ты лети-кось, птаха вольная,
Во родиму милу сторону.

Ты шепни-кось старой матушке
Во святое утешеньице —
Уж как милостями взысканы
Мы на царском попеченьице.

Резвы ножэньки изрезаны,
Крепки рученьки закованы,
На победной на головушке
Ясны оченьки поклёваны...

...Перехожу от костра к костру. Всюду песни. Всюду, как древние колдуны, сидят и лежат всклокоченные, бородатые мужики, курят, прихлебывают, плюют и роняют веские фразы:

— Достукались... Довоевались... Теперь пойдем Галицию мерять...

— Навалился тыщей орудиев — ревёт, ревёт. А у нас — руки две только, да штык...

— Не осилить яво, не одолеть...

— В корыте моря не переплыть...

— С шилом на медведя — где уж?..

— Вот уж верно, что молодец из пушек палить... Только против песни нашей русской — ку-уды!.. Хоть с немцем, хоть с какой угодно нацией спорить буду, — говорит мягкий голос и заливается щемящей, раздольной песней:

Во густых хлебах яма черная,
Во сырой земле — гробова́ доска...
За бугром лежу, да за насыпью.
Эх, ты лютая невтэрпёж-тоска...

Уж как первая моя думушка —
Ты чужа́ земля, австрияцкая,
Во густых лесах, во глубоком рву
Ты черна́ земля — яма братская.

Тяжче грому бают пушки медные...
Во глубоком рву—ясны оченьки...
А вторая, ох, дума-думушка —
Ты развей тоску, тёмна ноченька.

Градом-тучею пули стелются
По над кручэю над карпатскою.

Не сказать вовек, не поведаю
Третью думушку я солдатскую.

Во глубоком рву наточу я штык,
Во глухи леса уйду-скроюся...
Да тому ль дружку — штыку вострому,
Я спокаюся и откроюся!..

...Подхожу к большой группе. Гудит хриплый бас вперемежку с певучим тенором. Издали узнаю Асеева. Живописным табором разлеглись лошади у коновязи. Искрами разлетается пламя костра.

— Живой огонь скрозь щель пробивается, — долетает голос Асеева. — А ты, — знай, молчи..

Стою, скрытый сосной. Близ самого пламени лежат чужие солдаты. Много наших артиллеристов. Выделяется лохматая, грузная фигура огромного пехотинца в папахе. Шагах в двух от него, спиной к костру, сидит бледный Асеев.

— Видать штунда, что ль? — бросает хрипло огромный пехотинец, остро блеснув глазами из-под бровей.

Потом, затянувшись цыгаркой, говорит раздраженным голосом:

— Кажна тварь о беде своей жалуется, кажный пес скулебный — пни его — заскулит не в очередь. А мужик все молчит да к богу жмется...

Говорил он окая и крепко выдавливая слова.

— А ты в бога веруешь? — строго взглянул Асеев.

— Бога не замай, — лениво сплюнул гигант, — на ём свой венец, не солдатский.

— Погоди... Словами не хряскай, — заволновался Асеев. — Я тебе простое слово скажу, а ты вникай... Скатилась слеза хрустальная — и нет ее. Ан слеза-то в сердце горит... Так вот оно все в саду божием: звездочка гинула, закатилась — солнышком выглянула... Перстами господними деются дела человеческие. Не по нашему хотению — по воле божией... А ты, знай, живи, да душу во цвету хорони...

Пехотинец приподнялся на локте и выпечатал с угрюмой усмешкой:

— И воробей-то живет, да житьишко его какое: ножками по снегу бегат и г.... клюет.

— А ты терпи! — воскликнул Асеев. — Т е р п и!.. Христос терпел — и нам велел.

— Штунда! Дуй тя горой, — захохотал пехотинец. — Христа до нашего брата ровнят!.. Н-не, ты псалтырь не топчи. Христово дело одно: Христос для души порядку по земле ходил. А то — наше дело, не небесное... На котором грехи, как воши, сидят... Я, может, сотню душ загубил... Своей мы, что ль, охотой на такое дело пошли?..

— Правильно! — загудело из темноты. И как блохи запрыгали острые словечки:

— В бою — не в раю...

— Вперед себя под пулю Христа не пошлешь...

— Наше дело — солдатское: стой столбом да сполняй, что велят...

— Чу-дак ты, Асеев, — юлой врывается беспечный смешок Блинова. — Христос в небесах, а солдат в окопе — на голой ж... Нацепи-кось Христу винтовку, легко ль ему будет?..

— Дело! — крякают наши артиллеристы.

— Уж ты, Асеев, не спорься. В нашем деле псалтырь твоя дешево стоит.

— Э-эх! Оглушило вас до глуха пушками, — вскочил, весь трясясь, Асеев. И понес певучей, волнующей скороговоркой, по-сектантски, с истерической дрожью выкрикивая отдельные слова:

— Гудит людям смерть словом огненным:

«Стоят ворота железные, замками замкнутые. Велики ворота, как грех греховный... Глянь, мужик, поверх силы твоей сермяжной... Ходит война, зубами в тело вгрызается; рушит земли крещеные... Опился л ю т человеческий к р о в и людской. Земля от крови п а р о м пошла. Не стало свету божьего в глазах, найтить себя не знает мужик. Стучит рукой смертною в ворота железные. Ан ворота голос д у ш е подают...».

— Заплясал, как дождь на болоте, — смеясь вставляет Блинов.

Но Асеев не слышит. Он весь трясется в экстазе:

— Сбереги душу свою во цвету — и травинка садом покажется. Закажи...

— Полно, ты, врать, Асеев! — обрывают солдаты.

— Одна тут у всех заказчица: на нее все работаем...

— Мол-чальник, разрази твою душу! — сердито сплевывает пехотинец.

Ворочаясь, как медведь, он встает во весь свой гигантский рост, швыряя отрывистые слова вперемежку с матерщиной:

— Н-не!.. Намолчались!.. Будя...

И, тяжело ступая, уходит в темноту, откуда попрежнему несутся волны глубокой человеческой грусти.

Я подхожу к Асееву. Он бледен. Губы его трясутся.

— Хорошо поют, Асеев, — говорю я ему.

Асеев вслушивается, пристально смотрит на меня, и на лице вдруг появляется привычная светлая улыбка:

— У земли — ясно солнце, у людей — ясно слово... Песней душа растет.

4

... Срочное предписание от инспектора артиллерии:

«Доносить спешно, два раза в день, о количестве имеющихся в парках снарядов и иметь при штабе корпуса все время двух ординарцев для экстренных распоряжений. Установить немедленно питание со ст. Ржешов. Адъютант инспектора артиллерии Киркин».

Через полчаса срочное предписание из штаба IX армейского корпуса:

«Питание огнестрельными припасами из местного парка в Ржешове. Эшелонироваться всем паркам по направлению от Дембицы на Ржешов. Согласно этому, головному эшелону головного парка находиться в районе Пильзны. Остальным эшелонам через Заваду — Райчицу до концевого в Ржешове. Вся парковая бригада переходит с сандомирского шоссе на ржешовское и эшелонируется шестью полупарками от позиции (Пильзна) через Дембицу до Ржешова. Эшелонам быть на месте назначения к 12 ч. ночи».

Командир рвет и мечет.

— Просто житья нет! — кричит он в полном отчаяньи. —

В этом девятом корпусе — форменный кабак. Все растерялись. Отдают распоряжения одно нелепее другого. Ну, скажите на милость, чего я погоню в Пильзну головной эшелон, когда снаряды тяжелой германской со вчерашнего дня ложатся позади Пильзны и мы через час покинем эту позицию? Кого чорта я полезу в Заваду, когда всякому идиоту ясно, что не успею я приехать в Заваду, как мне прикажут передвинуться в Кшиву. А из Домбе до Кшивы — рукой подать. Ординарцы едва ходят. Лошади скоро откажутся возить. Где мы теперь будем брать провиант? Не знаю... От нас требуют форсированных рейсов и в то же время циничнейшим образом заявляют: питайтесь, как знаете, и изворачивайтесь, как хотите, по своему усмотрению...

Резкий стук в двери прервал излияния Базунова. В комнату вошел незнакомый офицер:

— Разрешите у вас передохнуть? Офицер 6-го понтонного батальона.

— Как вы здесь очутились? — спрашивает Базунов.

— Приказано перейти в Ранишев.

— Отступаем?

— Пока нет. Но на всякий случай. Куда мы с нашей бандурой денемся в суматохе? Да и устали мы страшно после вчерашнего разгрома в Ясло.

— После какого разгрома?

— Мы были в 10-м корпусе. Ночью, во время отступления, когда шли обозы второго разряда, казачья сотня сдуру стала кричать, что прорвался австрийский эскадрон. Солдаты моментально побросали обозы, понтоны, выпрягли лошадей и ускакали. Все австрийцам досталось.

— Где же сейчас 10-й корпус?

— Вдребезги разбит. Калужский полк в Карпатах остался. От Воронежского полка одна знаменная рота уцелела.

Офицер сидит, понуро опустив голову. Потом медленно говорит усталым голосом:

— Четыре месяца стояли без дела. Неужели снарядов не могли изготовить? О чем же они думали?.. Нет снарядов, — так заключай мир. Смеялись над немцами, что они из дверных ручек шрапнели льют, а у самих и глиняных ядер нет. Нечем вое-

вать, — так складывайте оружие и сдавайте без бою всю Россию. Но не обманывайте нас.. Гоняют с места на место. Из Яслó в Заваду, из Завады в Кшиву, из Кшивы в Ранишов... Таскаешься с нашей бандурой по 50 верст в день. Для чего?.. Понять не могу. А вы понимаете, господин полковник?..

— Не больше, чем вы, господин капитан, — отвечает Базунов.

В комнату входит ординарец с донесением из головного парка:

«В головном парке осталось только несколько сот шрапнелей. Между тем в нашем парке дожидаются, кроме 12 зарядных ящиков 70-й артиллерийской бригады, 8 зарядных ящиков из 13-й сибирской бригады и 2 зарядных ящика 2-й казачьей терской дивизии. Из Ржешова прапорщик Болконский доносит, что заведующий местным парком в Ржешове заявил: снарядов вам не дадим, мы назначены для питания карпатской армии; ваш местный парк — в Развадове. Штабс-капитан Калинин».

— Ну, вот, — вскакивает в раздражении Базунов. — Нельзя же воевать одними штыками! Мы все-таки живем в 20-м веке и воюем не с кафрами, а с Гинденбургом.

...Отступаем. Идет переправа через Вислоку. Бомбы, аэропланы, шрапнели. Далеко-далеко полыхает дымное зарево: это горит зажженная снарядами Пильзна. Узкая, гибкая Вислока быстро катится между песчаных берегов. Чтобы укрыться от аэропланов, мы дожидаемся в лесу. Война ворвалась сюда внезапно. Грохот орудий еще не успел разогнать ни птиц ни зверей. Везде — и в реке, и в траве, и на деревьях, и на горячем песке — бьет кипучая жизнь. Звонко кукует весенняя кукушка. Сидят, нахохлившись, на ветвях большие сивоворонки. Две сойки ведут отчаянный бой с назойливой вороной. Реют пестрые бабочки. Стрелою мечутся сероватые рыбки в холодной воде. Из густого кустарника выскочила белогрудая лисица и мелькнула желтым хвостом. Все охвачено напряжением. Только на лицах людей какая-то мрачная усталость. Нервы издерганы. Армию утомили, замучили эти бесцельные переброски. Мотанье с места на место без плана, без смысла.

У переправы весь корпус. Каждая пядь земли здесь густо

забита артиллерией, пехотой и кавалерией. Войска стоят вперемежку: тяжелые орудия вместе с пехотой, госпиталями, обозами, парками и понтонами. Командиры парков исхлопотали разрешение укрыть зарядные ящики в лесу. Четыре парковые бригады — двенадцать парков — сгрудились в небольшой лесистой ограде в ожидании очереди. Все рвутся перейти через мост, чтобы убраться из полосы обстрела. Орудия безунимно грохочут. Аэропланы кружатся и гудят, как назойливые шмели. Сейчас мы наблюдаем их из укромного уголка. Наблюдаем с каким-то хищным любопытством.

— Вот подбить бы его, мерзавца, — яростно шипит Базунов, — поймать и повесить пять раз или зажарить на медленном огне! Знал бы он, как бомбы бросать...

Сейчас у всех на душе какое-то откровенное облегчение от сознания, что сегодня мы вне обстрела. С кровожадной заинтересованностью наблюдаешь эту борьбу между землей и небом из защищенного места. И эта подлая радость защищенного зрителя еще крепче подчеркивает каждому, до чего остра и мучительна ежедневная жуть, с которой шагаешь под рвущимися бомбами и прислушиваешься к вою шрапнелей, сыплющихся сверху и ведущих к неменьшим жертвам, чем вражеские аэропланы.

— Ох, прямо извели аэропланы, — жалуется солдат. — Днем всем здоров, а ночью спать не могу. Пулемета не боюсь. Против пулемета в атаку ходил. А как загудит вверху, — всю ночь потом маюсь. По тридцать штук за день над нами летают.

— Бомбы, что ли, боишься?

— Не от бомбы страшно, — ероплана боюсь. И во сне ероплапы вижу.

Другие еще безнадежнее выражают свою растерянность и тоскливые думы:

— Тоска, ваше благородие! Под грудями болит, давит. Всего тебя жмет, простору нет. По телу словно бы вся эта передвижка идет. От головы до низу переливается, стискивает, ровно бой по телу идет.

— По дому скучаешь?

— Нет, я об семье не забочусь. Потому, я у отца живу. Только так — никакой радости нет... Намаешься за день, ля-

жешь в десятом часу, — не спится. Все тоска грызет. Про непорядки наши все думаешь...

Тяжелое уныние закралось в душу солдата: Не страх, а печальное раздумье. Аэропланы, осадные орудия, немецкие хитрости и глупая бестолочь начальства поразили армию мертвящей апатией. Конечно, всех больше задергана пехота. С мучительной болью в глазах жалуется мне, сидя на пне и прижавшись щекой к винтовке, солдат стрелкового батальона:

— Нет во мне ни страху, ни радости. Мертвый я будто. Ходят люди, поют, кричат. А у меня душа ровно ссохшись. Оторвало меня от людей, от всего отшибло. И не надо мне ни жены, ни детей, ни дому, — в роде как слова такие забыл. Ни смерти не жду, ни бою не боюсь...

— С чего же это с тобой приключилось?

Солдат долго молчит. Он смотрит на меня пустыми, холодными глазами и крепко стискивает винтовку:

— Обмокла кровью душа... И пошли думки разные... И допреж такое думалось, да знал я, что ввек на такое не пойду... А теперь нет во мне добра к людям...

Базунов, опершись руками в колени, сидит на широком пне и угрюмо ворчит:

— Чорт их знает! Не могли для пехоты понтонный мост проложить! Будут нас до тех пор мариновать, пока кавалерия отрежет дорогу или мост подорвут.

Костров, заложив руки в карманы, благодушно посмеивается:

— Эх, хорошо бы уконтротопить. На пенечке!

Вдруг бешеная ружейная пальба пачками.

Все, бледные и взволнованные, вскакивают с мест.

— Держи! Лови! — несутся отчаянные крики.

Через кусты пугливо улепетывает заяц.

— Считал себя человеком с крепкими нервами, — смущенно оправдывается Болконский, — а последние события, видать, и меня потрепали.

— Не хотел бы я быть зайцем, — философствует Базунов. — Жаба квакнет, а заяц уже навострил уши и удирает во все лопатки. Хочу быть чудо-богатырем, а не зайцем.

И опять опускается на пень.

... Головной эшелон головного парка стоит в Скжишуве (под Рончицей). От прапорщика Левицкого получено срочное донесение:

«В парке с утра дожидаются зарядные ящики и патронные двуколки терской казачьей дивизии, нашей артиллерийской бригады. В парке ни одного патрона и ни одной шрапнели. Примите срочные меры. Бой не ослабевает ни на минуту. Штаб дивизии попрежнему передвигается с места на место и, второпях, забывает дать знать головному парку, что ему пора отойти. Вчера, не дождавшись предписания и очутившись на линии отступивших полков я сам отодвинулся на 10 верст. На восьмой версте от стоянки меня нагнал ординарец дивизии с приказанием отойти еще на 12 верст».

В то же время от капитана Старосельского из тыльного парка получено срочное донесение:

«В Мелеце с утра скопились парки тяжелой артиллерии, пехотные двуколки и ящики с батарей. Но когда вскрыли, наконец, прибывшие вагоны с надписью: «огнестрельные припасы», в них оказались... сухари. В 2 часа дня прибыла телеграмма на имя заведующего местным парком в Мелеце с извещением, что снаряды будут получены не ранее, чем через несколько дней».

— Значит, кто-то в тылу продолжает работу Мясоедова, — запальчиво кричат офицеры.

— Ну, да! — восклицает Базунов. — Пользуются тем, что вагоны со снарядами отправляются в запломбированном виде и набивают их чем попало. А снаряды загоняют в Сибирь, чорт знает куда. Продают, мерзавцы, Россию!

На протяжении тридцати верст в окружности все пехотные и артиллерийские части засылают к командиру бригады ординарцев с грозными требованиями — выдать немедленно снаряды. Сегодня Базунов собрал шестнадцать таких бумажек и направил их в штаб дивизии с запросом, где получить снаряды. Вместо ответа, из штаба дивизии были присланы... военные карты Венгрии.

... Взорванный нами на Вислоке, близ Пильзны, мост восстановлен австрийцами. Они подвезли на автомобилях понтоны, выставили пять батарей, позади расположили тремя цепями пе-

хоту, и через час мост был готов. Теперь австрийцы ведут наступление по всему фронту. От верховного главнокомандующего получено приказание:

«Драться до последней гранаты и до последнего солдата».

А капитан Старосельский доносит:

«С неимоверными трудностями удалось получить в местном парке 20 шрапнелей, 10 тротиловых гранат и 27300 ружейных патронов».

В результате — два срочных предписания. Одно — из штаба корпуса в девять часов вечера:

«Немедленно перейти в Дзиковице и Ранишов».

И другое — через десять минут из штаба дивизии:

«Противник накапливается перед фронтом дивизии, которая отходит тремя колоннами под прикрытием конной бригады генерала Павлова. Предписывается при отходе взрывать мосты и портить дороги».

Ночь холодная. Слева от дороги шарят неприятельские прожекторы и вспыхивают какие-то сигнальные огни. Идем без остановок, почти на рысях, через Кшиву—Пржедбордж—Кольбушово. На рассвете пришли в Дзиковице. Но пушечные удары грохочут за нами по пятам. Новое срочное предписание устанавливает новый маршрут — по дороге на Развадов. Делаем привал до утра. Пьем чай на воздухе. Аэропланы неотступно кружат над нами.

— Сегодня будем пить чай с бомбой, — острят офицеры.

Жители все на ногах и ничуть не скрывают своей торжествующей радости.

За решетчатым окошком сидит хозяйка — старая черноглазая полька с лицом румынки — и глаз не сводит с дороги, по которой грохочущим потоком катятся отступающие войска.

— Считает, стерва! — кипятится командир. — Вздернуть бы ее, эту подлую шпионку.

Тут же вертятся крестьяне и бабы.

— Слушай, пан! Твое где мешканье? [1] — обращается к высокому крестьянину прапорщик Кузнецов.

— Там.

---

[1] Квартира, помещение.

— Ну так ступай туда и не показывайся.

— Не желаю, — спокойно отвечает крестьянин.

— Поговори у меня, скотина! — вскакивает Кузнецов. — Не смей выходить, а то живо! — показывает он выразительным жестом на шею.

— Ого! — презрительно усмехается крестьянин.

— В переводе с польского это значит: руки коротки,—улыбаясь поясняет Болконский.

Уже стоя на пороге своей халупы, крестьянин с той же убийственной усмешкой обращается к Кузнецову:

— И ночью не выходить?

Неожиданно появляется странная процессия. Впереди стражник с винтовкой. За ним четыре старых еврея. Шествие замыкают два конных стражника. У евреев усталый, забитый вид. Они еле ковыляют, подгоняемые охраной.

— Шпионов гонят! — весело улыбается Кузнецов.

— Не шпионы, — поясняет адъютант, — шпионов казаки гонят. Это заложники.

— Какие заложники?

— Есть такой приказ: при отступлении брать заложников-евреев в обеспечение наших местных шпионов. За каждого расстрелянного австрийцами русского шпиона будут повешены два еврея.

— Это отлично, ловкая комбинация! — радуется Кузнецов.

— Ах, забодай его лягушка! Хоть тресни, а будь шпионом,— смеется прапорщик Кириченко.

— Зато, прежде чем придет к тебе смерть, насладишься жизнью двух евреев, — едко произносит Болконский.

— Взгляд на Галицию туда и обратно, — иронически пожимает плечами Базунов.

...Тепло. Пахнет весенней свежестью. Небо огромное и голубое. Дорога песчаная, грузная. С трудом делаем 4 версты в час. Справа и слева по бокам дороги жужжат австрийские аэропланы. Шеи вытянуты, лица с напряженным вниманием всматриваются в гудящую синеву: сбросит или не сбросит?..

За Волей Ранишевской глубокие пески сменяются австрийской мостовой. Зарядные ящики пляшут, как по клавишам, по

бревенчатым перекладинам. Тяжелыми и медленными клубами поднимается черный дым. Трещат взрываемые мосты. Горят невывезенные запасы. Едкая матерщина наполняет воздух клубами человеческой злости и усталой беспомощности. На западе — ураганный рев тяжелых орудий.

— Это он хочет отрезать нам дорогу на Сан, — соображают солдаты.

Отдыхаем в большом помещичьем доме с сырыми и холодными комнатами и заплесневевшей кожаной мебелью. Отдых короткий и торопливый, так как завтра мы должны быть за Саном, чтобы с 30 апреля перейти к активной обороне. Штабами разосланы срочные телеграммы о немедленной присылке огнестрельных припасов, и нашей бригаде обещаны 2000 шрапнелей и 800.000 патронов. Пока я смываю с себя дорожную пыль, сторожиха или хозяйка дома (жена австрийца, ушедшего на войну) горько жалуется на полное обнищание. Казна не платит. Хлеба нет. Помещик удрал. Казаки обобрали до нитки. Сняли последние ботинки, одеяло, даже обручальное кольцо с пальца.

— Что ж вы рады, что мы уходим?

— Нам все равно, лишь бы войне конец. Лишь бы мужья вернулись.

После небольшой передышки едем дальше. Рассвет застает нас в дороге. Солнце тихо восходит большим красным диском. Покрытые инеем поля отливают пушистым серебром. Гремучей лентой растянулись обозы, парки, казаки и пехотинцы целой дивизии. На лицах населения — глубокая, нескрываемая радость.

— Вишь ты, и пейсатые выглядывают из дворов, — злобствует какой-то офицер. И, указывая пальцем на перебегающую через дорогу старую еврейку, кричит во все горло:

— Ату, жидовская морда!

На каждом биваке мертвые жалобы полуумирающих от голода баб; притупленно-покорные рассказы о зверствах, о жадности и циничной назойливости казаков, заканчивающиеся неизбежным и меланхолическим выводом:

— Что ваши казаки, что наши мадьяры, — один чорт.

Солдаты слушают, тяжело вздыхают и сочувственно качают головой:

— Будут поляки помнить войну...

Опять пески, бревенчатые накаты, шоссейные ленты. С раннего утра до полудня, как бессловесные фигурки в игре китайских теней, проходят мимо нас понтонеры, саперы, пехотинцы — десятки тысяч людей с тоскливой жаждой в глазах: скорей бы... И в полдень мы, наконец, добрались до Сана. Перед нами в ложбине давно знакомый холмистый город Ниско.

Воспоминания бродят среди развалин. Отчетливо обнажаются в памяти темные осенние ночи. Безостановочные скитания по непролазным трущобам. Люди, обмокшие дождями и грязью. И вдруг, как сонный мираж, живые огни уютного городка. Мелькнули и опять потонули в болотной пучине.

Помню взятие Ниско, такое смелое и разбойное. Полковнику Нечволодову было приказано: взять Ниско какой угодно ценой. Без инструкций и указаний на этот счет. Нечволодов потребовал в свое распоряжение 6 батальонов пехоты. Снабдил каждого солдата пропитанной керосином соломой и велел выбросить все патроны — во избежание выстрелов и паники. Солдатам понравилась затея. Темной ночью они подкрались к Ниско, обложили и подожгли город с разных сторон. Австрийские солдаты и офицеры, пораженные неожиданностью, выскакивали из домов в одном белье и почти без сопротивления были переколоты. Город достался Нечволодову без потерь. За ночь Нечволодов окопался. На него обрушились 4 полка. Но наши солдаты ни за что не хотели отдать Ниско. Они оказали бешеное сопротивление, дрались целые сутки, потеряли 400 человек и завершили свою победу жестоким бессмысленным погромом.

Помню клубы едкой, вонючей гари и мокрого маслянистого дыма. Помню то злорадное торжество, с которым совершенно трезвые люди дробили скулы и черепа, разбивали вдребезги окна, чашки, буфеты и тихие, чистенькие домики превращали в грязные стойла и обожженные гробы. За что?... За то, что мирно горели огни в этих маленьких домиках? За то, что на дверях этих домиков были буквы, написанные на другом языке?.. Буханье пушек начинило нас взрывчатой ненавистью ко всем, кого судьба не бросила под ливни и погребальные костры, кого не носило ураганом по полям и дорогам смерти...

И вот мы снова пришли сюда, опоясанные длинными гирлян-

дами убитых, разграбленных, замученных, оплеванных и обездоленных людей. Городок почти выгорел до тла. Торчат одни обожженные трубы. Пусто. Жителей не видать. Лишь кое-где они торопливо несут в погреба свои пожитки, а сами уходят в лес.

— Опять втекать, — равнодушно смотрит Зубков.

Равнодушны и мы. Там, за нами, в Галиции десятки таких же Ниско. Десятки тысяч вдребезги расколоченных домов, «шпионов», буфетов, заложников и детских колясок. Столетия человеческого труда, превращенного в сплющенные куски железа и обгорелого дерева... «Обмокла кровью душа, и нет теперь добра к людям», как сказал вчерашний стрелок.

... В ожидании переправы у Сана. Яркий солнечный день. И на душе так же солнечно. Вот-вот вырвемся из-под гипноза этих проклятых пушек.

Офицеры играют в карты. Это — особый мир на войне. Ему отдается значительная часть неизрасходованной офицерской энергии. В карты играют и днем, и ночью, и на привале, и в окопной землянке, и даже во время обстрела на батарее. Игра преобладает азартная: дух ниспровержения требует сильных ощущений.

У играющих свой жаргон, не всякому понятный. Особые прозвища и клички, которые пускаются в ход только за карточным столом. Клички довольно замысловатые.

Младший ветеринарный врач, худенький и трусливый Колядкин, носит у играющих прозвище «Тоска по родине».

Огромный и малоречивый Кордыш-Горецкий называется «Бамбула», или «граф Пузетто».

Старшего ветеринарного врача Кострова называют «Жеребячий инструктор».

Лазаретного священника — «Чудо в Кане Галилейской».

Лазаретного доктора Железняка — «Медицинский смазчик».

Самое длинное прозвище у прапорщика Виляновского — «Не суйте ноги в рукава».

Сейчас почти вся эта компания столпилась в лазаретной линейке, откуда все время несутся, вперемежку с прозвищами, кабалистические выкрики игроков:

— Ваша очередь, граф Пузетто.
— Дрянцо с пыльцой.
— Мы — в бисквите.
— Тоска по родине!
— Трефундуляры.
— Слабеджио.
— Ничевизм в кармане.
— Некогда раздеваться, как говорила одна честная женщина.
— Медицинский смазчик!
— Шампанское гусыни.
— С винцом в груди!
— Благодарю вас, сэр, но леопард не кушает фруктов...

Тут же, невдалеке, разлеглись на солнечном припеке наши парковые солдаты. Налицо вся парковая аристократия: фельдфебель Удовиченко, взводные: Семеныч, Шатулин, Блинов, остряк и любимец всей бригады Ничипоренко и другие. Как всегда, разговор их носит состязательно-подтрунивающий характер и блещет яркими поговорками.

— Не ладится наше дело. Не дается нашему брату война, — слышится сиповатый тенор фельдфебеля Удовиченко.

— Видать, наши дурей всех будут, — откликается взводный Федосеев.

— И Австрия бить нас почала, — вздыхает, прожевывая кусок сала, бывший фуражир, прожорливый Новиков.

— Ничаго. Мышь копну не придавит, — благодушно улыбается Семеныч.

— Наша горница с богом не спорится, — лукаво подмигивает на него Блинов.

— Нам что? Пущай начальство удумает, — равнодушно гудит жующий Новиков.

— Сидит куцый и думает, куда ему хвост девать, — выразительно мотает головой в сторону санитарной линейки Блинов.

— За хвост не удержишь, коли грива упала, — подхватывает Федосеев.

— С чужого коня хоть в грязь долой, — веско отчеканивает Шатулин.

— А що мені тая Германія чи Австрія, — медленно и плу-

товато выговаривает Ничипоренко. — Нехай вона лежить на перинэ, як сука, а я собі під возом на кочкэ лежу, як пан.

И все разражаются раскатистым хохотом.

Вдруг — тяжелый удар об землю звякнувшего железа. Мгновенно все вскакивают, как пружинные куклы. Острая, заразительная тревога бежит по солдатской гуще. Суетятся, кричат, и все сразу болезненно догадываются.

— Носилки! — несется из толпы пехотинцев.

А наверху плавно реет в сверкающем воздухе серебристый таубе и выбирает новые жертвы.

— И для ча столько труда подымают люди, чтобы кишки выпустить человеку? — задумчиво произносит Семеныч.

Наконец, мы — па другом берегу Сана, в деревне Зажечье. Здесь — то же, что и в Ниско: обгорелые скелеты домов, изрытая окопами земля и братские могилы с короткими надписями на крестах: «Здесь зарыты 56 человек Каменецкого полка», «Здесь погребены солдаты Воронежского полка».

У жителей растерянные лица. Руки их еще тянутся к шапке при виде офицера. А старики обращаются с простодушным вопросом:

— Утекаете от германцев?

До Домбровска, где нам указана дневка после 12-часового перехода только четыре версты. Но приходится продлить передышку в Зажечье, так как некормленные лошади с трудом передвигаются по песчаной дороге. Сидим в душной, низкой халупе, битком набитой проходящими офицерами. Рядом со мной — высокий капитан с блестящими глазами и стремительной речью. Он, не переставая, бросает фразу за фразой и развивает какой-то чрезвычайно хитрый политический план. В его уродливых жестах, в странной игре бровей, подчеркнутой дикции и хитроватом поблескивании глаз что-то бредовое, и весь он производит впечатление навязчивого кошмара.

— Вам не думается, что все это фокус? Хитрейший канальский план?.. А знаете, что я вам скажу?.. Что если немецкая партия взяла верх при дворе, и они порешили с немцами так...

Не успел мой собеседник раскрыть до конца содержание своего «фокуса», как в комнату влетел ординарец Ковкин с экстренным приказанием:

«Немедленно перейти из Домбровки по дороге на Курицину Малу и Вельку, и далее на Белгорай, где и остановиться на ночлег».

— Позвольте!—всполошился Базунов.—Теперь пять часов. От Дзиковице до Зажечья нами пройдено 39 верст. Весь путь до Белгорая — 84 версты. Нам остается сделать еще 45 верст. На некормленных лошадях. И после 12-часового перехода.

На общем совете решено итти до Домбрувки и там сделать привал на три часа.

... В Домбрувке тесно. Помещения нет. Старосельский и Кордыш-Горецкий настаивают на необходимости послать адъютанта в штаб корпуса за разъяснением, как понимать приказание, являющееся совершенно невыполнимым. Ни люди ни лошади не в состоянии безостановочно двигаться 84 версты.

Базунов иронически щурится и сдержанно уговаривает парковых командиров:

— На месте инспектора артиллерии я бы ответил адъютанту: потрудитесь выполнять предписания точно и без рассуждений. Переход в 84 версты без передышки ничего другого означать не может, кроме необходимости отступать как можно скорее.

— Но почему же? — горячится Старосельский.

— Этого я знать не могу. Но мало ли почему! Почему мы не укрепляли тарновских позиций? Почему у нас нет снарядов? Почему у нас всего один понтонный мост, который достраивался, как вы видели, только в день переправы?..

К словам Базунова жадно прислушиваются вестовые, от которых через минуту все переносится в команду.

— Ваше благородие, в команде несчастие случилось: доктора требуют.

Прихожу в команду. Шумя и волнуясь, солдаты забрасывают меня градом вопросов, похожих на буйно-помешанных узников, ошеломительно вырвавшихся на свободу благодаря неожиданному землетрясению.

Правда ли, — спрашивают они, — что штаб дивизии и штаб корпуса улетели на аэропланах, а остальным частям приказано бежать что есть мочи, так как часть нашей армии уже отрезана? Правда ли, что понтонный мост на Сане спалили, что погибла вся наша артиллерия до последней пушки и что за нами гонится австрийская кавалерия? Правда ли, что командиру понтонного батальона приказано потопить всех поляков из окрестных деревень? Верно ли, что поймали какого-то генерала-изменника, которого ведут под конвоем шесть казаков. Генерал лицом старый, а глаза быстрые и злые...

— Кто это вам все наболтал?

— Никак нет, не наболтал, — угрюмо повторяют солдаты.— Большая его сила прет, а у нас ни снарядов ни пушек.

Больших усилий мне стоит рассеять это мрачное настроение солдат. Уходя, я уже чувствую, как накатывает обратная волна:

— А правда, что это слух такой есть, будто немец до последнего прогремелся на этом западном фронте? А Вильгельм с досады окривел, и другая рука у него отсохла...

И когда я сажусь на свою лошадь, чтобы итти за выступающим парком, то солдаты, теперь одержимые потребностью говорить приятные вещи, начинают не в меру захваливать моего Сокола:

— Я вашего коня знаю, — говорит ординарец Варюта. — Из экономии княгини Путятиной его взяли в нашем уезде. Знаменито бегал, легкий такой, барьеры брал.

И хотя конь у меня тяжелый и тугоуздый, все одобрительно смотрят на коня и весело подтверждают:

— Суетной, норовистый, гар-рячий конь!

... Противник стремительно наседает. Мы продолжаем откатываться от Сана. Безостановочно, без дневок и передышки, гремит железный поток. Лязгают цепи, грохочут тяжелые колеса, устало цепляются подковы, свистят кнуты, матерщина, проклятия, свирепо скрежещут зубы:

— У-у!.. Затми твою шкуру!.. Штык тебе в брюхо!..

С криком и грохотом бурлит и катится бегущая лавина,

утопая в помете и в сыпучих песках и, как саранча, сметая всходы человеческого труда, больные тощие всходы, омытые слезами и кровью безжалостной войны.

Устало покачиваясь в седле, я безучастно гляжу кругом, и вдруг, как в кошмаре, встают передо мной картины первого отступления на Сане — в проклятые сентябрьские дни. Та же скрипучая орда, шатающиеся от усталости люди, стрельба, тревога, пески, надрывистые крики. Как будто все эти девять месяцев мы ни на шаг не подвинулись вперед, ни на миг не вылезали из этой захлестывающей трясины злобы, жестокости, смердословия и помета. И сегодня, как в сентябре, каждый занят только собой, только сбережением собственного желудка и собственной жизни. Тот же ход беспощадной машины смерти: топтать, покорять, истреблять. Но где-то глубоко — в разболтавшихся рычагах, в расслабленных гайках машины — залегла неуловимая для глаза, но уже ощутимая ухом, разъедающая, непоправимая «порча». Днем и ночью армия резко критикует, армия сурово подглядывает за властью. Никто никому не верит. Офицер — командиру, врачи — своим главным, строевые — штабным. И больше всех подглядывает, презирает, не доверяет и ненавидит — солдат офицера. Облиняла вся дисциплина. Солдат повинуется, тащит на своем мужицком горбу и труд и горе войны. Но как-то все теперь по-другому. Неуловимо, ненаказуемо — солдат подмял и растоптал крепостную дисциплину казармы.

— Совсем распустились, прохвосты! — ворчит Базунов.

— С чего вы взяли? — удивляется Костров.

— А вы послушайте, как они, подлецы, отвечают. Раньше, бывало, спросишь, он моментально: «Так точно». А теперь зарядили все в одну душу: — «Не могу знать».

— В чем же разница? — смеется Костров.

— Огромная. «Так точно» — это значит: на все согласен. А «не могу знать» — чорт его знает, что оно значит.

Тяжело взбираемся по песчаному косогору. По бокам большие деревни. У околиц любопытные жители. Молодицы шутливо прощаются с солдатами.

— Скучать не будете? — смеются наши артиллеристы.

— Что делать? Не хотите нас кохать, — отшучиваются девушки.

В начале девятого переступили через границу Галиции, и сразу повеяло родным Пошехоньем. В Галиции все дороги точно измерены. Не только версты указаны, но через каждые четверть километра расставлены каменные столбики, указывающие число пройденных и число остающихся верст от пункта к пункту. У нас — ни дорог, ни ориентировочных знаков. Зато прекрасные карты, составленные большими специалистами с поразительным трудолюбием. Там, где трудолюбивая рука специалиста уже успела воздвигнуть цветущие деревни и села и проложить железнодорожные ветки, ленивое пограничное население еще не позаботилось поставить ни одной халупы. Там на деле имеются только дремучие леса да болота. В двенадцатом часу почи мы все еще были в 25 (а может быть, и в 50) верстах от конечного пункта — от Белгорая. Впотьмах, натыкаясь на пни, попадая в болота и трясины, мы ощупью доплелись до какого-то перелеска и расположились здесь на ночлег. Лошадей привязали к деревьям, развели костры и свалились тут же на голую траву.

... Поздно. Канонада стихает. Ощупью пробираемся в лесу. Едем час, другой. По карте мы уже давно в Белгорае.

— Стой!

— Заночуем лучше в лесу, — решает Базунов. — Помещения все равно не найдем.

Во мгновение ока лошади разамуничены. Лес загорается кострами. Бурлит вода в котелках. Сознание близкого отдыха и покоя наполняет тело сладким блаженством. Усталости как не бывало. Лес гудит оживленным гомоном человека, не знающего ни забот ни лишений. Над кострами вместе с тучами искр носятся взрывы ядреного солдатского хохота. Подхожу к костру, где юлой вертится Блинов. Рыжеусый Ветохин забавно рассказывает анекдоты о генералах.

Тут же рядом, у другого костра, в центре солдатского внимания Лапин, красивый детина, взводный 2-го парка. Певец, балагур и бабник.

— Ну, и лапа же у тебя, — смеются солдаты. — Недаром Лапиным прозываешься.

— У нас все Лапины. Одна кличка всем: Лапины. И село Лапино, и лес Лапинский. А река — Лопань-река... Певуны у нас знаменитые. Всем селом песни играют.

И Лапин затягивает любимую солдатами песню о Ванюше. Голос у Лапина могучий, красивый. Но слова песни он постоянно варьирует по-своему. Шкира, влюбленный в песни еще больше, чем в женщин, не сводит жадных глаз с Лапина и ловит каждое слово:

Посылала Ваню мать
В чисто поле погулять,
В чисто поле погулять,
Из окопа пострелять,
Из око-опа пострелять...

Вышел Ваня на крылечко,
Всколыхнулося сердечко
Обнялися горячо —
И ружьишко на плечо,
Эх, ружьишко на плечо.

Почалися для сыночка
Ох, да скушные денёчки.
Он в окопе всё сидел,
В милу сторону смотрел,
В милу сторону смотрел...

Ох, со эфтай он са скуки
Перерезал штыком руки,
Кровью жаркой облился,
С лютой смертью обнялся..
Да, с лютой смертью обнялся...

Рóдна матушка зглянула,
Белым рученькам сплеснула,
Белы рученьки сплеснули —
Эх, что сделали вы, пули,
Что надэлали вы, пули?..

Заклевали бело тело!..
Я ж, как ночь, осиротела:
Не воротится домой
Мой Ванюша, мой сыночек
Ты мой сокол дорогой...

Солдаты долго молчат, думая о смерти и безутешном сиротстве.

— Эх, вошь те заешь!.. Хорошо песни играешь, — хлопает его по плечу Шкира.

МАЙ

1

Приближаемся к Белгораю. Почуяв жилье, отдохнувшие за ночь лошади крепко ступают по уплотненному грунту. Весенний воздух радостно будоражит. Всюду солнце, трава, деревья и яркая небесная синь.

Над головою чуть заметно кружит биплан. Скрытый игрою пятен, он то еле внятно гудит над головой, то обрушивается жужжащим волчком. В этом певучем гуле чувствуется торжествующая песня победы.

Я смотрю на ровные, длинные ряды грохочущих ящиков, на густую толщу пехоты, на спешившихся офицеров, молодой крылатою поступью шагающих по узкой дорожке, и думаю: сбросит или не сбросит?

Не в силах сдержать свою молодую радость, Болконский выбрасывает ее из груди упругими звуками:

Блеск власти, по чести
Все так ничто-жно
Пред ней могущес-тво
Лишь при-зрак ло-ожный.
О, полюби ж меня, дева младая...

Сверху слышится острое шипение. Что-то звякнуло, как мешок, наполненный сталью. Мгновение жуткой растерянности. И уже несутся откровенно-радостные крики артиллеристов:

— В пех-оту... Двоих побило!..

— Носилки!

В стороне от других неуклюже шагает Хапов, угрюмый и нелюдимый, как всегда. Длинный, худой и узкогрудый, он сгибается под своим солдатским мешком, как под тяжелой ношей. Тонкие губы сжаты привычным недовольством. Выщипанная бородка уныло свисает книзу. В своей неизменной шинели не по росту, книзу раструбом, рваный, без пояса и с отстегнутым хлястиком на спине, — он похож на огородное чучело. На минуту он попадает в поле солдатского внимания.

— Вот так вояка! — посмеиваются кругом. — Вырядился пугалом, чтобы ероплапы, как воробьев, пугать.

— Ханов, штыка не нацепил, — подтрунивает Блинов.

— А на што мне штык — садоводу? Мы спокон веку, окромя как жукам да гусельне, никому войны не делали.

И добавляет скрипучим голосом:

— И без штыка все выкорчует немец!

— А ты водку пьешь? — не отстает от него Блинов.

— Пошто мне твоя водка? Наша яблонь хмельней вина будет. Послеспасовка звать. Ее водою налить, да духовитой травки заправить, да в погреб до первых журавлей, — жеребца свалит.

— У садовода все свое: и водка, и яблоко, и табак. Богато, Ханов, живешь?

— Какая корням награда, что впотьмах живут и древо поят? Мы на людей работаем...

— Ханов! Ты бы хоть хлястик пристегнул, — говорит подъехавший Кузнецов. — Он у тебя на спине, как свиной хвостик, болтается.

— Пущай ветка качается; сколь ни раскачивайся, от древа не убежит.

И Ханов снова отходит от других.

Через час аэроплан полетит обратно и будут новые жертвы. Кому охота думать о смерти, о ранах, которые могут быть через час! Здесь жизнь исчерпывается сегодняшним днем, и все измеряется ближайшей минутой. Сейчас мы живы, мы уцелели. И ароматен воздух, и сладок сок здоровой и крепкой жизни. Горячо и привольно звучит победный голос Болконского:

> Кто близок был к смерти и видел ее,
> Тот знает, что жизнь глубока и прекрасна...

...В городе тишина и спокойствие. Как будто никому и в голову не приходит, что мы — разбитая, отступающая армия.

В город шумно вливаются госпиталя, обозы и парки. Помещений нет. Какая-то деликатная чета уступила нам крохотную спаленку, в которой с трудом поворачиваются четыре офицера.

В четвертом часу дня очутились в маленьком ресторанчике, где кормят маленькими котлетками и где из номера «Варшавской мысли» узнали о наших «маленьких» неудачах на галицийском фронте.

— В этом городе все преподносится в гомеопатических дозах, — говорит Базунов.

— И с маленьким опозданием,—замечает голос со стороны.— Заметьте, дело идет о «молодецких контр-атаках» на Дунайце, в то время как мы уже отброшены от Дунайца на 120 верст.

Голос принадлежит одному из четырех врачей, обедающих за соседним столом. Столы моментально сдвигаются, и происходит обмен живой информацией без помощи газет и правительственных сообщений.

— Откуда?

— Из Ясло.

— Что у вас слышно?

— Да то же, что и под Тарновом.

— Однако!

— Буквально все—то же самое. Только названия другие. Нахлынули тяжелой артиллерией, пристрелялись и в пыль превратили окопы вместе с людьми. Осрамили всю нашу артиллерию.

— Артиллерия-то чем виновата?

— Как чем? За шесть месяцев можно было истребовать себе настоящие пушки. Разве мыслимо с игрушечными орудиями соваться в бой с немцами? Современная война показала, что не количеством пушечного мяса, не храбростью и не хитростью решается дело,а железом. Нашу дивизию—63-ю— по горло закидали снарядами. За одни сутки по Ясло было выпущено противником пятьдесят тысяч гранат. И это сразу решило дело. В нашем районе сражалось десять дивизий. А уцелело знаете сколько? 5000 человек. Из 150 000!

— А их разве мало легло!

— Пустяки. Людей они страшно берегут. У них господствует не человек, а машина. Мы строим армию из мяса, они — из железа. Действуют час, другой, третий ураганным огнем. Потом кидаются в атаку. Если наши окопы еще оказывают сопротивление и отпор, немцы моментально идут назад. Еще припудрят шрапнелью и затем — снова в атаку. При чем одновременно гонят и свои орудия, на которых укреплены пулеметы. И, знаете, для чего это делается? Чтобы окончательно запугать противника. Ведь немцы теперь имеют дело с оглушенным противником. Присмотритесь к нашим солдатам. Они бегут, как

паническое стадо. Мы отходим без боя. Достаточно загреметь тяжелым орудиям, как мы уже мчимся во весь опор. Мы отходим без боя оттого, что те остатки разбитых корпусов, которые еще с нами, психически уж никуда не годятся. Это — уже не армия, а табун. «Чудо-богатыри», превращенные в чудо-рысаков.

— Вздор. Отходим мы без боя потому, что не имеем снарядов. Не только пушечных, но и ружейных.

— Снаряды — снарядами, страх — страхом. Только для усиления паники, для полной деморализации наших войск немцы пускают в ход свою воздушную флотилию. Во время боя под Ясло над нами летало около 100 аэропланов. Материальный вред от всех этих альбатросов и таубе ничтожный. Ну, в лучшем случае, человек 150 в день. Но практические результаты этих налетов — в смысле стремительности отхода — огромны и превосходно дополняют работу тяжелой артиллерии.

— Что ж, по-вашему, дальше?

— Вывод ясен: без пушек нельзя воевать.

— Однакож мы держимся на северо-западном фронте.

— Держимся только потому, что там есть тяжелая артиллерия.

— А где же ее взять для всего фронта?

— Купить. У Японии, у Америки. Это — позор. За девять месяцев войны не запаслись артиллерией.

— Эти игрушки не продаются. Они могут в любую минуту понадобиться собственным детям.

— Тогда не воюют. Не подставляют всего народа и всей страны под опасность полного истребления. Вот помяните мое слово: через полторы недели мы эвакуируем Львов. Бобринский уже удрал. Нет! Чорт меня дернул проситься в армию добровольцем. Да ведь это — та же гниль, что на Дальнем Востоке. Кричали во всех газетах: артиллерия, артиллерия наша!.. Грош ей цена — нашей артиллерии. Стыд и позор! С картонными пушками против немцев!

— Кто это? — спросил Базунов, когда доктор ушел.

— Заведующий дезинфекционным отрядом 63-й дивизии, — ответил его товарищ. — Был помощником профессора Лондона. Но того убрали, по распоряжению из ставки, за то, что в частном письме имел неосторожность назвать нашу армию б........

— А ваши личные впечатления? — заинтересовался капитан Старосельский.

— Отвратительные. Гораздо более мрачные, чем те, о которых говорил мой товарищ.

— Что же приводит вас в такое мрачное настроение?

— Отвечу вам кратко: еврейские погромы.

Когда мы вышли из ресторана, над городком кружились австрийские бипланы.

— Ишь ты! Уже пронюхали, — буркнул Базунов.

— Мало переодетых шпионов среди нас, — злобно проскрежетал Старосельский.

Белгорай лежит в лесистой лощине, окруженный густыми чащами с трех сторон. Леса кишат дичью. Козы, утки, бекасы, дупеля. Ночью, когда затихает канонада, все это лесное население свистит, ухает, квакает, томно стонет и клохчет. Тогда застоявшаяся кровь ударяет в голову задумчивым белгорайским козам, и они начинают носиться по улицам уснувшего городка, а выбегающие за ними напуганные хозяйки крепко зажимают носы и тихонько проклинают холмского губернатора. Действительно нестерпимая вонь стоит по ночам в Белгорае. Даже могучее дыхание белгорайского бора не в состоянии развеять зловонное удушье, в котором утопают белгорайские улицы. Как-то, месяца четыре назад, в Белгорае проездом остановился холмский губернатор. И неведомо отчего — для собственной ли славы, или ради мудрого благополучия — распорядился очистить город и собрать всю грязь в кучи. С тех пор и стоят эти кучи на видном месте.

— Что это у вас? — спрашиваю я жителей.

— По приказанию губернатора.

— Отчего же вы не убираете эту грязь?

— Еще нет распоряжения, — отвечают законопослушные белгорайцы.

Наше штабное начальство делает вид, будто мы собираемся простоять в Белгорае очень долго. Это очень возможно. Здесь, по эту сторону Сапа, мы сейчас зализываем наши галицийские раны и пополняемся снарядами. Во всяком случае обе стороны — и неприятельская и наша — так скоро Сапа не от-

дадут. По диспозиции, наша дивизия занимает протяжение от Ниско до Белгорая — вдоль Сана. Как только пополнимся снарядами и заезженные до полусмерти лошади войдут в тела, нас передвинут ближе к театру военных действий. Пока упиваемся радостями мирного бытия. Стоим в 22 верстах от огня. Отсыпаемся вволю. Даже трудно поверить, что эта идиллическая обстановка тоже называется театром военных действий. Кругом — большой сад. За садом—луга. А дальше—густое кольцо лесов.

Впрочем, есть одна сторона, постоянно напоминающая нам, что мы не только воюем, но очень плохо воюем. Это — снаряды. Сегодня приехали все прапорщики, разосланные по местным паркам и в свое время оставленные в Ниско для пополнения снарядами. Их донесения, опубликованные в газетах, в любом государстве нанесли бы смертельный удар если не всему политическому строю, то, по крайней мере, военному министерству. Здесь все это воспринимается, как забавное приключение или как досадная, но давно всем приевшаяся путаница, о которой не стоит разговаривать. Подавленные тяжестью накопившегося у них материала и распираемые жаждой протеста, бедные прапорщики поминутно возвращаются к этой теме. Но их обрывают скучными возгласами:

— Будет вам. Надоело...

Началось довольно бравурным предписанием штаба дивизии:

«Получить в местном парке на ст. Ниско 2000 шрапнелей и 80000 винтовочных патронов».

— Недурственно! — вскричал, потирая радостно руки, доктор Костров. — Всыпем немчику!..

В Ниско уже дожидался с двадцатью зарядными ящиками прапорщик Растаковский. Тем не менее ему на помощь был выслан и прапорщик Кириченко еще с двадцатью зарядными ящиками и двуколками. Но в Ниско снарядов не оказалось. Тогда прапорщик Кириченко разослал слезные телеграммы по всем направлениям, умоляя местные парки спасти дивизию, вынужденную отступать без боя за полным отсутствием огнестрельных припасов. Только на другой день получился ответ из Развадова за подписью прапорщика Вешке:

«Приняты экстренные меры к скорейшей доставке снарядов».

Стали ждать. Прошел час, другой, третий. Наступил вечер.

Снарядов нет. Тогда начальник ст. Ниско, видя беспомощное положение обоих прапорщиков, сжалился над ними и шепнул:

— Здесь стоит поезд со снарядами. Справьтесь на третьем пути.

Растаковский и Кириченко бросились в указанном направлении и выяснили, что там действительно стоит поезд, который едет в сопровождении фейерверкера и везет 5000 шрапнелей... в Развадов, — туда, откуда с таким нетерпением ждали обещанных снарядов. Но сопровождающий фейерверкер категорически объявил:

— Хоть расстреляйте, ни одного снаряда без приказания начальства не дам.

— Кто твое начальство?

— Прапорщик Вешке.

Напрасно показывали ему телеграмму прапорщика Вешке, убеждали, доказывали, — фейерверкер стоял на своем. И, видя намерение Растаковского насильно открыть вагоны, выставил вооруженный патруль. Только снизойдя к мольбам прапорщика Кириченко, фейерверкер согласился на компромисс:

— Могу выдать снаряды по приказанию начальника станции.

Обратились к начальнику станции: нельзя ли получить?

Тот ответил:

— Нельзя, ибо место назначения — Развадов.

И снова ждут час, другой, третий... Наступила полночь. В это время примчался ординарец от командира бригады с предписанием обоим прапорщикам скорее запасаться снарядами и уходить из Ниско. Оба прапорщика выстроились со своими зарядными ящиками вдоль полотна железной дороги. Рядом с ними стали парки 42 и 44 бригады, находившиеся в таком же положении. Решили дожидаться у самого полотна, чтобы немедленно получить снаряды, как только поезд придет. И опять разослали телеграммы по всем линиям:

«Умоляем не задерживать поездов со снарядами в Ниско. Спешно эвакуируемся».

Прошел еще час. По телеграфу из Развадова дано было знать, что только-что над Развадовом пролетел ярко освещенный цепеллин, сбросил три бомбы и полетел в Ниско. Началась

страшная суета. В это время по мосту (на Сане) проходили полковые обозы и головные парки. Подходила очередь артиллерии. Начальник станции Ниско обратился за содействием к артиллеристам, прося выставить пушку для борьбы с приближавшимся цепеллином. Командир артиллерийской бригады пожал плечами:

— Во-первых, мы в пути, а во-вторых, у нас нет ни одного снаряда.

К переправе подъехал автомобиль, заинтересовавшийся происшедшей заминкой. И так как в эту минуту как-раз отправляли поезд со станции, из автомобиля вышел генерал и, увидав начальника станции, спросил:

— Вы разве не получили приказания уходить?

— Никак нет.

— А вам известно положение вещей?

— Официально неизвестно.

— К 12 часам ночи на этом берегу Сана не должно оставаться ни одного человека.

— Я такого приказа не получил. Работы у нас еще на сутки.

Генерал пожал плечами:

— Странно.

Вскочил в автомобиль и умчался.

В 2 ч. ночи начальнику станции было передано по телефону, что к 12 ч. ночи (т. е. за два часа до получения телефонограммы) Ниско должно быть очищено. А поезда со снарядами все нет как нет. В это время поезд, сопровождаемый фейерверкером, готовился к отходу. Парковые артиллеристы зарядили винтовки и предложили своим командирам отбить силой снаряды у отходящего поезда. Но, кроме прапорщика Растаковского, все командиры решительно высказались против. Вдруг грохот, пыхтение, огни, — и на путях показался поезд из Развадова. Бросились к нему, — не тот.

— А снаряды есть? — спросил кто-то из прапорщиков.

— Есть.

— Бога ради, дайте.

— Хорошо. Но с условием, что разберете снаряды в десять минут. Потому что поезд едет с экстренным предписанием доставить 5000 тяжелых снарядов в Липу.

— Так вы везете тяжелые снаряды? Нам — легкие.

— И легкой шрапнели штук шестьсот наберется.

Моментально отсчитали трем парковым бригадам по двести шрапнелей, и поезд скрылся.

Переправа заканчивалась. Начальник станции спешно пропускал последние составы. Усталый прапорщик Кириченко спал на голом перроне. Уже светало. Неожиданно вместо цепеллина над станцией закружился австрийский аэроплан и, разглядев парковые запряжки, начал снижаться. Солдаты разбудили Кириченко.

— Ах, задави его гвоздь, — поскреб он в затылке и приказал развести лошадей.

— А снаряды? — заволновались солдаты.

— Со снарядами идрикенштейн выйдет.

Солдаты вскочили на лошадей и бросились в разные стороны. Аэроплан продолжал снижаться. Покружившись над зарядными ящиками без лошадей и приняв их, очевидно, за брошенный хлам, аэроплан поднялся и улетел, не бросив бомбы.

— Значит, мы полностью очистили Западную Галицию? — спросил Базунов, дослушав доклад Кириченко.

— Так точно. На том берегу Сана не осталось ни одной нашей роты.

— Ну, значит, ясно! — воскликнул командир. — Тут не иначе, как продают где-то Россию. Опять остаемся без снарядов. Воюй с голыми руками!..

...События развиваются спешно и неожиданно. Со вчерашнего дня полоса нашего отступления расширилась. Кажется, мы начинаем очищать Восточную Галицию. В Белгорай переезжает штаб III армии. По предписанию генерал-квартирмейстера мы уступаем штабу нашу квартиру, а сами пока переселяемся на окраину города. Всюду снова запахло театром военных действий. Улицы переполнены тыловой суетой. Белгорай гремит, грохочет, волнуется. Днем — аэропланы над городом. Ночью — автомобили с генералами, кабацкая музыка в ресторанах и крашеные девушки на тротуарах. Все говорит о том, что идиллия с задумчивыми козами на площади и горлицами под крышей окончилась. Надо ждать приказа о переброске.

2

...Немцы остановились в своем преследовании. И вот, в головах наших армейских Пуришкевичей уже роятся воинственные планы:

— Надо собрать кулак и так грохнуть «его» по зубам, чтобы небу жарко стало, — кричит капитан Старосельский.

В ожидании санитарного поезда, лежат на перроне человек сорок раненых. Они внимательно вслушиваются в наш разговор.

— Где ранены? — спрашивает Болконский.

— Вчера на Сане.

— Откуда шли?

— С венгерской границы.

— Разве мы отступаем с Карпат?

— Так точно. По всему фронту уходим.

— Ты какой части? — спрашивает грозно есаул.

— Фанагорийского полка, гренадерской дивизии.

— Какой армии?

— Был 8-й, теперь 3-й.

— Отчего отступили?

— Из осадных орудий бьют. С землей ровняет. Со всех концов ураганным огнем. Все чисто разбивает: пехоту, артиллерию, пулеметы.

— Кто ж тебе сказал, что по всему фронту уходим?

— Ротный командир. Хотели мы на Ярослав итти, а он говорит: не ходите, и там отступление идет.

— Расстрелять бы такого командира! — скрежещет зубами есаул.

Не дремлют и верховные Пуришкевичи. Наверстывая время, утерянное в стремительных отходах, штаб III армии забрасывает нас сугубо секретными наставлениями на предмет искоренения крамолы и шпионажа — «среди лиц иудейского исповедания». Бумажки составлены без излишней щепетильности.

«Копия с копии. Секретно. Главный начальник снабжения армии Юго-Западного фронта. 22 апреля 1915 г. № 1842. Г. Люблин. Командующему III армией.

«По имеющимся сведениям, благодаря обилию в обозных и тыловых учреждениях лиц иудейского исповедания и общению их

с галицийскими местными единоверцами, австрийские шпионы получают сведения о жизни тыла и фронта, черпая их либо от галицийских евреев, либо от русских евреев нижних чинов. Кроме того, пользуясь, под предлогом служебных надобностей, правом свободного проезда в Россию, русские нижние чины евреи провозят письма, чем устраняют цензуру. Во избежание сего нежелательного явления главнокомандующий приказал:

«Всех без изъятия евреев нижних чинов, находящихся ныне в тыловых учреждениях, немедленно перевести в запасные батальоны, в коих выдержать их для обучения шесть недель, после чего отправить в полки, где иметь под особым наблюдением.

«Об изложенном сообщается для зависящих распоряжений. Подлинное за надлежащими подписями. Верно. Ст. адъютант подпоручик Кронковский. Белгорай. 3-го мая 1915 г.».

От того же 3-го мая, на ту же тему другой секретный приказ:

«Копия с копии. Секретно. Генерал-квартирмейстер штаба III армии. Отделение разведывательное. 3-го мая 1915 г. № 6698.

«Начальнику штаба 14 армейского корпуса.

«По показанию задержанного и сознавшегося в шпионстве Стефана Канацкого при второй австрийской армии состоят в качестве разведчиков лица иудейского исповедания. В виду сего, в случае появления в районе расположения войск подозрительных евреев, таковых без промедления задерживать и при краткой записке, с описанием обстоятельств задержания, препровождать в штаб армии для подробного опроса их. Подлинное за надлежащими подписями. С подлинным верно: обер-офицер для поручения Бородин».

— Послушайте, — пожимает плечами адъютант Медлявский, — ведь это призыв поголовно хватать евреев.

Бритый затылок Старосельского наливается кровью:

— А чего их жалеть?..

В комнате у нас гость: священник 377-го госпиталя, наш сосед по квартире. Черный, высокий мужчина, с красивой окладистой бородой. Лицо цыганского типа. Лет сорока пяти. Бывший член Государственной думы от п р а в ы х, по фамилии Зубков.

— Нехорошо у вас на войне, — качает он головой. — Не нравится мне.

— Хлопотал, хлопотал: добился... Второй месяц здесь. Нехорошо!

— Да вы еще ничего не видали, — говорит с раздражением Старосельский.

— С меня довольно. Отступали из Развадова. Сбились в кучу. Кричат, наседают, ругаются. Сбоку — мирные жители. Стали в стороне от дороги и о чем-то разговаривают. Стоят кучками — поляки и евреи. Подъехала полусотня казаков. Кричат, матерщинят. Прямо над нами аэроплан австрийский гудит. Смотрят солдаты вверх и посмеиваются. Вдруг казак один винтовку снимает. Ну, думаю, в аэроплан палить будет. А казак приложился — и бац в мирных жителей, прямо в толпу. Оттуда вопли, стоны. Бросились кто куда. Один на земле остался: убит. Лежит старый еврей, бороденка кверху. Посмотрел я кругом: хоть бы кто слово казаку сказал. Ничего. Читал я дома про германские зверства и душа моя радовалась: у нас такого нет. Только, видно, и у нас зверства бывают.

Офицеры молчат. А священник продолжает тем же ровным, привычно-елейным голосом:

— Иное ждàлось, когда ехал сюда... Много раненых видел. Сколько народу на моих руках умерло. Умирают твердо, без страха. Дома вò как за жизнь цепляются. Иной давно чужой век заживает, а все кричит: батюшка, спасите! А здесь солдатики только просят: родным напишите. И кончается, как подобает на войне, — с твердым духом...

— Так и надо! — вставляет Старосельский.

— С твердым духом и с твердой думой, — продолжал тихо священник. — Ни офицеру, ни доктору того не скажет солдат, что мне говорит. Наслушался я много.

— О чем?

Священник помолчал и как-то нехотя произнес:

— О начальствующих нехорошо говорят:

« — Ворота крепкие, столбы гнилые».

« — Прячутся офицеры, нас вперед посылают. На убой идем».

« — Перебьют нас немцы без толку. Знаем, кому это нужно...»

— Ну, это — старая песня, — пренебрежительно бросил Старосельский. — Никогда солдаты об офицере хорошо отзываться не будут.

За шлагбаумом, на окраине Белгорая, — широкий луг. Веет свежей прохладой и смолистым запахом леса, со всех сторон обступившего Белгорай. С крутого песчаного косогора виден белый костел, на котором лучатся зажженные закатом кресты. От высоких сияющих крестов укрытый в ложбине город кажется похожим на монашеский скит. Тихо. Молчаливыми группами, в обнимку, прогуливаются молодые солдаты. Да лягушки протяжно и звонко выводят свои тоскливые рулады.

— Цыть! — раздается чей-то окрик, и лягушки, как по команде, умолкают.

— Бачь! — смеются солдаты. — Але ж э на світі така худоба, що нас боиться.[1]

У самого входа в лес в темноте, у груды ящиков стоит кучка солдат.

— Снаряды? — удивляемся мы.

— Никак нет. Это — офицерские вещи.

— Какие вещи?

— Которые на позиции убиты, — вещи семействам отвозим.

— Какой части?

— 33-й и 70-й артиллерийской бригады.

Сердце ёкнуло острой болью: нашей бригады. А Джапаридзе?.. — мелькнуло в мыслях.

— Убитых много?

— Страсть! Офицеров душ двадцать.

Из-за деревьев показывается сопровождающий офицер, — поручик 70-й бригады Пытоев.

— Джапаридзе жив? — взволнованно спрашивает Болконский.

— Должно быть, умер...

Постепенно вырисовывается картина разгрома. Германские орудия все превратили в мусор и щебень. Даже скалы, защищавшие наши пушки, не выдержали натиска «берт». От пози-

---

[1] Гляди, ведь есть еще на свете такая тварь, которая и нас боится.

ций осталась только пыль. Пехота была разбита и разбежалась. Но батареи решили не сниматься и действовать картечью. Снялась одна батарея, и только эти орудия и спаслись. Остальные достались неприятелю. Солдаты дрались геройски и понесли колоссальные потери. Убыль в офицерском составе неслыханная: свыше 80 процентов. Джапаридзе был тяжело ранен. Он лежал на батарее рядом с поручиком Пытоевым и прапорщиком Гартвигом.

— Мы были все трое на одной батарее, — рассказывал Пытоев: — я, Ной Джапаридзе и прапорщик Гартвиг. Гартвиг и Джапаридзе лежали рядом. Оба были очень взволнованы.

« — Держу пари, — вскричал вдруг Джапаридзе с задорным удальством, что следующий тяжелый снаряд упадет через три минуты, не меньше.

«И стал следить по часам.

« — Ваш выигрыш, — сказал он Гартвигу, — и полез в карман за кошельком.

« — После боя заплатите, — остановил его Гартвиг.

« — А если я буду убит? — пошутил Джапаридзе.

«И через минуту был ранен в бок осколком гранаты!..

«Как безнадежный, Джапаридзе был оставлен на позиции.

...В комнату влетает высокий, франтоватый штабный полковник.

— Комендант Белгорая. А вы — здешний доктор?

— Нет, я проездом.

— Какой части?

— 70-й парковой бригады.

— Работы у вас немного? Бога ради, помогите мне. Получил телеграмму: шлют мне на семь поездов раненых. А у меня — один фельдшер. Что я с ними делать буду?

— Доктора у вас нет?

— Он в киевском госпитале. Терешкович фамилия. Умирает от почечных лоханок. Выручите из беды. Возьмите на себя устройство приемного покоя. Были мы учреждением тыловым, больных совсем не было. И вдруг — на передовых позициях очутились.

Идем с комендантом устраивать приемный покой. По дороге полковник бросается к какому-то обозному капитану:

— Ради бога выручите, голубчик. Дайте мне лошадей — из Брусьян овес привезти. Все части требуют сена, овса, а где им возьму? Были мы тыловым учреждением, никаких хлопот не было, а тут вдруг...

И вот, сижу в «приемном покое», где нет ни лекарств, ни перевязочных материалов, ни инструментов. Раненые доверчиво смотрят мне в глаза, терпеливо ждут, пока посланный верховой раздобудет марли и ваты, и делятся со мной своими боевыми впечатлениями.

Дверь широко отворяется и вносят изможденного, истекающего кровью солдата. Крылья заострившегося носа мучительно раздуваются. Мертвенно бледные губы еле шевелятся. Сиплым, чуть слышным голосом он медленно произносит:

— Помираю... Скорей запиши... Федор Курносов...

Хочу осмотреть его, но он слабо машет рукой и с трудом выговаривает по слогам:

— Сердце мне облегчи... жгёт... Чайку бы горячего... испить... перед смертью...

Но в приемном покое нет ни чаю, ни сахару, ни шприца, ни лекарств. Посылаю фельдшера к себе на квартиру.

Снова вваливаются носилки, и санитары докладывают:

— Солдат кончается.

Бородатый, всклокоченный детина — почти в агонии. Глаза мутные, расширенные. Черные губы запеклись. Десна в кровоподтеках. Голос чуть слышный, хриплый, дышит зловонием.

— Ранен?

— Нет.

— На что жалуешься?

— Есть хочу. Три недели в окопе чаем и водой только жил.

— Чего ж тебе дать?

— Того дать, чего не имеешь... Ситного хлебушка дай — вот что...

— Нельзя ли достать вина? — обращаюсь я к фельдшеру.

Фельдшер вихрем вылетает на улицу и через минуту является с безусым подпоручиком

— При вас походная фляжка?
— Есть!
— С вином?
— С коньяком.
Больной сипло и медленно бормочет, как в бреду:
— Хлебушка... ситного хлебушка дай...
— Он бредит? — испуганно спрашивает юный подпоручик.
— Нет, он истощен от голода.
Я даю больному глоток коньяку.
Солдат делает болезненную гримасу. Потом глаза его покрываются блеском, и он жадно и радостно восклицает:
— Ой, шпирт!.. Давай еще!..

...С десяти часов вечера гремит, все усиливаясь, канонада. Пламя далеких выстрелов вспыхивает многочисленными зарницами в небе. Отдаленные, но раскатистые удары гремят все чаще и чаще, сливаясь в ураганный огонь.
— Вот это — подготовка! — доносятся с соседнего крылечка слова молодого артиллериста. — А у нас приказывают: шестая батарея откроет огонь в половине девятого и будет поддерживать его в течение получаса. Ровно в девять огонь открывает пятая батарея на двадцать минут... И это называется артиллерийской подготовкой к атаке...
Городок не спит. Канонада все крепнет.
Жители пугливо прислушиваются и к орудийному грохоту, и к откровенным беседам офицеров. Шепчутся, суетятся, поминутно выбегают на улицу.
— Ну, сейчас начнут являться паломники, — говорит Базунов.
Первой врывается или, сказать вернее, запыхавшись вкатывается толстая баба в русском сарафане, нагруженная узлами и окруженная детишками. Красная она выпаливает:
— Уходить надо?
— Куда? — с изумлением спрашивает Базунов.
— А как же. Ведь он сюда придет?
— Бог с вами, матушка. Через реку-то? Ввек не придет.
— Ой, придет, придет, — убежденно причитывает баба. —

Поляки так и ждут, чтобы он пришел. У меня муж больной. Бежать надо, пока есть время. Ох, ты, господи...

Потом приходят почтовые чиновники, податной инспектор, комиссар по крестьянским делам. Все они усиленно кланяются и просят заискивающим голосом:

— Вы уж нам скажите, если что... А то у нас дети, лошадей достать трудно... Пожалуйста!

Успокоившись, некоторые из просительного тона тут же переходят в обиженный и недовольный. Желчный и чахоточный чиновник почтового ведомства, не вдаваясь в излишние комментарии, жалуется в повышенном тоне:

— Вчера назвал к себе гостей, пьянствовал, каких-то девиц в дом пустил. До чтырех часов утра безобразничали! А в семь часов поет, кричит. Офицер русской службы! Поселился в чужой квартире и ведет себя, как последний хам. А еще носит погоны корнета. Корнет! Наказывает меня своим презрением и не удостаивает разговором. Пишет записочки без обращения: «Прошу освободить кухню. К двум часам дня». У меня всего две комнаты и кухня. Я ему отдал бо́льшую, а сам поселился в маленькой рядом с кухней. Он какие-то пиры задает, пьянствует, устраивает мне раек: дышать нельзя...

— С моим капитаном еще хуже, — возмущается судейский чиновник.—Я—человек трудовой. Я целый день работаю. Хочу отдохнуть в моем собственном доме, — и не могу, потому что капитану, нахально занявшему мою квартиру, хочется устраивать у себя публичный дом или игорный притон... Это — чорт знает что! Пробовал жаловаться коменданту, — он мне посоветовал: потерпите. Благодарю покорно. У меня взрослые дочери...

— Кажется, программа военных действий на сегодня исчерпана до конца, — говорит Базунов, когда закрываются двери за последним просителем. — Теперь остается ждать ординарца из штаба корпуса.

Потом, прислушиваясь к голосистому кваканью лягушек, он меланхолически добавляет:

— Скоро на свете никого не останется, кроме лягушек и мух. Лошади передохнут без овса. Мы съедим коров. Нас сожрут пушки... Если через две недели война не окончится, запишусь в лягушечье подданство...

3

Над Белгораем, родиной лучших в России сит и «лучшей лондонской мастерской готового платья», все гуще кружатся германские бипланы, похожие на крылатую рыбу. Они летают так низко, что владелец лучшей «лондонской мастерской», Амшель Бойтбарг, повторяет двадцать раз на день, тревожно поглядывая вверх:

— Если бы я так владел ружьем, как иголкой, то я мог бы хорошо прострелить ему глаз.

Амшель Ройтбарг знает, что говорит. Недаром все местные жители, встречаясь с Амшелем Ройтбаргом, снимают перед ним шляпу с такой же почтительностью, с какой жители города Эйслебена клапялись некогда своему земляку Мартыну Лютеру.

В последнее время лицо Амшеля Ройтбарга сильно осунулось и побледнело. Может быть, из-за германских бипланов? А может быть... Недаром старые белгорайские еврейки, перешептываясь на завалинках по ночам, патетически всплескивают руками:

— И дочка Амшеля Ройтбарга тоже?

А сам Амшель Ройтбарг, беседуя с нами на крылечке в вечерние часы и, глядя вслед пробегающим молодым офицерам, говорит со вздохом на своем афористическом языке:

— Можно подумать, что эти молодые люди совсем не умеют спотыкаться.

Сегодня у Амшеля Ройтбарга особенно озабоченное лицо.

— Ну, как дела, господин Ройтбарг?

— Вы меня спрашиваете? Это я вас должен спросить. У меня всегда — плохо.

— Чего так?

— Ай! — вздыхает портной. — Нехорошо, когда под старость лет узнаешь, что такое война... Я вам могу рассказать один хороший пример. Вы можете быть мне благодарны: вам он достанется немножко дешевле, чем мне.

«Когда пришли в Белгорай австрийцы, то они мне сказали: мы будем у вас делать военные заказы. Мне это не очень понравилось. Что такое военные заказы, извините, вы сами знаете. Деликатный грабеж. У меня осталась расписка на

восемьдесят крон. Пришел ко мне офицер заказывать военную форму. Я ему говорю: я — штатский портной.

« — Хорошо. Давайте штатское платье.

« — Зачем вам штатское платье?

« — Для обоза.

«Забрал все штатское платье и дает мне расписку.

« — Комендант заплатит.

«Пришел я до коменданта. Комендант говорит:

« — После войны...

«Моя старуха, пошли ей бог здоровья, любит иногда повздыхать. Так я всегда говорил ей раньше:

« — Двойра! Чего ты так вздыхаешь? Ты же знаешь, что в австрийской казне у нас припрятан хороший запас. После войны мы заживем...»

— Теперь я уже так не говорю.

Ройтбарг задумался и замолчал.

— И это — все? — разочарованно протянул Базунов.

— Для кого все. А для нас со старухой и с дочкой еще немножко.

И, прислушиваясь к грохоту орудий, старик произнес с печальным вздохом:

— Каждый знает свою войну. Для вас это — пушки...

— А для вас?

— Раньше было совсем не так, — задумчиво продолжал Ройтбарг, не отвечая на вопрос. — Раньше нам-таки улыбалось счастье...

— А теперь?

— А теперь? — тяжело вздохнул Ройтбарг. — А теперь я слишком хорошо знаю, что такое война.... Что такое война? Для вас это — пушки. А для Амшеля Ройтбарга с его старухой это — чересчур много мужчин. А что такое мужчина? Крючок... Одним словом, что я вам буду долго рассказывать? Вы сами понимаете... Что такое дочь? Это — плохая коммерция... Это — расписка после войны...

...Наехало пропасть штабных. Нас снова заставили очистить квартиру. Переселились на северную окраину Белгорая. Заняли комнату в квартире стражника. Вся семья состоит из 65-летнего

стражника, его дряхлой жены и 18-летней внучки-горбуньи. Нам уступили парадную комнату. Стены увешаны портретами царей и полицейского начальства. По углам — открытки, бумажные цветы и фотографии. У окна — швейная машина. Рядом — комод, весь уставленный баночками, собачками, шкатулками и карточками. Это — туалетный столик горбуньи. На самом видном месте лежит альбом, а в альбоме стишки на первой странице:

Казенным чернилом,
Казенным пером
Пишу милой Стеше
На память в альбом...

И подпись: «Старший писарь железнодорожного управления в г. Белгорае Савелий Грибанецкий».

Стеша весь день сидит дома, а вечером наряжается, румянится, пудрится и уходит. К ней часто забегают детишки лет 7—8 и торопливо спрашивают:

— Стёша дома?..

— Чего вы сюда шляетесь? — обращается к ним прапорщик Кузнецов.

— Может быть, вам послать Баську? — задает вопрос бойкий мальчуган.

— Какую Баську?

— Такую. Скажите, так я ей передам.

...Северные окрестности Белгорая глуше и интереснее южных. Все вечера мы проводим на торфяном лугу. Сейчас забрели далеко — до самого леса. Из-за большой синей тучи показывается затуманенный месяц. Грустно. Со всех сторон по Сану гремят частые выстрелы, и мы чувствуем себя замкнутыми в этом пушечном кольце. Ухо, давно привыкшее к пушечным ударам, чутко прислушивается к птичьим голосам.

— Здесь утки, ох, и тянуть будут осенью! Вот под тем кустиком стоять на перелете, — говорит Валентин Михайлович (д-р Костров).

— Что это, как баран кричит? — спрашивает Болконский.

— Бекас токует.

— А не выпь?

— Нет, выпь как бугай ревет.

Мы мягко ступаем по торфяному лугу и тихонько подтягиваем Кострову, который мурлычит вполголоса:

Соберемтесь, друзья...

Потом идем молча, думая каждый о своем. Из темноты неожиданно раздается задумчивый голос Валентина Михайловича:

— Когда-то какие годы были!.. Мысли какие идеальные! Э-эх! Студенчество какое было прекрасное... Как жили братски... Сколько самоотверженности... Куда девалось?.. Ничего этого теперь нет. Грубый эгоизм... себялюбие... чревоугодие...

Подходим к дому глубокой ночью. Над городом вспыхивают зарницы далеких выстрелов. В городе тихо, темно. Только из ночных ресторанчиков доносятся звуки духового оркестра, похожие на шипение граммофона. По улицам бродят патрули и кезы. Вместе с нами на крылечко тихонько прокрадывается горбатая Стеша. Тоска!

...Сижу на крылечке с томиком Гаршина. Читаю сентиментальную историю сентиментальной проститутки. Ко мне подходит наша соседка, 15-летняя девушка, высокая, полногрудая, с румяным лицом и черными наглыми глазами на выкате.

— Отчего вы все сидите один? Вы же даром время теряете.

— А что мне делать, по-вашему?

— Хотите я вас познакомлю с очень красивой барышней?

— Зачем?

— Что значит зачем?.. Зачем знакомятся с барышней?

— Не знаю.

— Она может с вами пойти в гостиницу или к вам на квартиру, и вы с ней сделаете дело.

— Какое дело?

— Такое. Вы не знаете, что делают с барышней? Раздевают ее и кладут на постель.

— Для чего мне класть чужую барышню к себе на постель?

— Вы боитесь, вам негде будет спать? Вы ляжете вместе с ней.

— Кто ж эта барышня?

— Какую вы хотите? Молоденькую или постарше?

— У вас какие?

— Разные. Я вам пошлю самую лучшую: будете довольны.

— А заболеть нельзя от нее?

— Вы ж доктор. Вы ее посмотрите. Я вам ручаюсь, что она здорова. Она не такая. Вы не думайте, что она такая. Она только по секрету приходит. Кроме нас больше никто не знает.

— Кто это — «кроме нас»?

— Я и сестра моя. Послушайте, — заговорила она убедительным тоном, — я бы к другому не послала ее. Она очень порядочная барышня. И родители у нее очень порядочные. Она не думает этим заниматься. Она думает о замужестве. Но кто ей наготовит приданое?.. Она берет пятнадцать рублей за ночь. И мне вы дадите за то, что я послала.

— Сколько?

— Сколько сами хотите. Вы попробуете. Увидите, какая она. Вы останетесь довольны.

— Вот что. Если вы так заботитесь обо мне, то приходите сами.

— Нет, я не хожу.

— Почему?

— Потому что мои родители старые, они мне не позволяют.

— Кто ж вам велит рассказывать старикам?

— А если я забеременею?

— Пустяки. Как вы можете забеременеть, раз мы не венчаны?

— Ай, перестаньте меня кормить бабушкиными баснями. Из этого ничего не выйдет.

— Почему? Я вам не нравлюсь?

— Сохрани бог! Мне даже очень хочется. Почему нет? Только я еще девушка.

— Что ж? Я вам дороже заплачу.

— Нет, нет. Даже за сто рублей не пойду.

— А за сто двадцать?

— Я бы с удовольствием пошла с вами, но мои родители — старые и глупые, они мне не позволяют.

— Но ваша подруга ходит?

— Так, раз она не девушка, ей все равно. Проглоти и молчи. А я ж еще запечатанная бочка. Нельзя же пить из запечатанной бочки?

— Много в Белграе девушек, которые ходят по офицерам?

— Много. Но я вам не советую итти к другим. Есть грязные, которые уже давно. Они работают, как хороший варшавский лифт, — с утра до глубокой ночи. А моя подруга имеет только семнадцать лет, и еще совсем недавно... Она самая красивая в Белграе.

— Нет, самой красивой в Белграе я считаю вас.

— Перестаньте даже думать об этом. Из этого ничего не выйдет... Когда я не могу. Если мои родители не позволяют, — что же делать?

— Тогда наша сделка не состоится.

— Знаете что? Когда я выйду замуж, я к вам с удовольствием приду.

— Охота вам ждать так долго и понапрасну. Вы — такая рассудительная девушка, и не хотите понять, что муж вам не позволит, когда вы выйдете замуж.

— Он знать не будет. Кто теперь спрашивает мужа? Вы думаете, у нас все такие глупые, как наши родители?

— Я вижу, что вы ничуть не умнее ваших родителей.

— Ай, это вам не поможет. Возьмите мягкое полено дров и выбейте у себя это из головы. Можно все знать и все говорить, но не делать. Когда придет время, я тоже буду делать... А вы-таки послушайте меня. Берите ее с закрытыми глазами. Ручаюсь вам, будете довольны.

— А вам не стыдно, что вы, такая молодая девушка, занимаетесь такими делами?

— Стыдно? Что вы думаете, я маленькая? Я же знаю, что каждому мужчине хочется и каждой барышне хочется. И я же вижу, что вы — порядочный, и никому не скажете.

— А я вот возьму и расскажу вашей маме.

— Зачем вам рассказывать? Что вам выйдет, если меня побьют?

— Вы другой раз не сделаете. Как вам не стыдно! Сами к офицерам не ходите, а подругой торгуете.

— Когда у человека такая натура, так что же стыдно?

— Если это все от «натуры», так зачем же ваша подруга деньги берет?

— Ей-богу, вы такой смешной. Она же зарабатывает на

хлеб, на платье. Что она — банкир? Если она ходит босая, вы же ей не купите туфли даром.

— А, может быть, и куплю?

— Да-аром? Купите лучше мне.

— Ну, вам зачем? Вы хорошо зарабатываете на вашей подруге. А выйдете замуж, муж купит.

— Ай, перестаньте меня дразнить. Так вы хотите, — так скажите мне сейчас. А то она потом не сможет.

— Нет, кроме вас, никого.

— Что я — такая красивая? Есть тут краше, чем я.

— Те мне не нравятся.

— Вы ж еще не попробовали. Попробуйте раньше.

— Мои доводы крепче: я их поддерживаю деньгами.

— Знаете что? Приходите вечером на темную улицу. Я тоже приду.

— Я по пустякам ходить не люблю. Если хотите заработать 100 рублей, я приду.

— Извините, вы же сказали сто двадцать...

— Согласен, — сто двадцать.

— Что, вам непременно нужно все? А если немножко?

— Нет. Все или ничего.

— Когда у меня такие родители... А подругу прислать?.. Вы не думайте, что это какая-нибудь чорт знает что... Это же — дочка Амшеля Ройтбарга...

4

...Опять в приемном покое после двухнедельного ураганного огня. Здесь грозное грохотание пушек и романтические залпы орудий размениваются на «будни» войны.

Сотни окровавленных, грязных, провонявших людей, с трясущимися от боли руками и тоскующим взглядом. Все они корчатся, стонут и дрожат от пережитых волнений. Каждой гримасой боли, каждой тряпкой, пропитанной и измазанной кровью, они кричат о позорище войны.

— Тяжело раненых нет? — спрашиваю я солдат.

— Нет. Чижолые там остались.

— Где это там?

— Где бой был. Подобрать не успели... И на вокзале.

На вокзале, на каменном перроне, кучами грязного, окровавленного тряпья валялись недобитые обломки человеческих тел. С зияющими ранами в животе, с рваными клочьями мяса на бедрах, на руках, они извиваются, корчатся, скребут ногтями, царапают каменный пол и дико, оглушительно воют. Стиснув зубы, проклиная и охая, они в ужасе отпихивают от себя смерть. До последнего жуткого хрипа они страстно цепляются широко раздувающимися ноздрями и помертвелым ртом за каплю недолизанной жизни.

Я становлюсь на колени в запекшуюся, прокисшую кровь, отгоняю тучи опьяневших от крови мух и пытаюсь зажать между бинтами истекающую жидкость. Пока я вожусь с одним, другие тут же рядом на каменном полу, замирая, дожидаются очереди. Тоску смертельного ожидания они разряжают в мучительных криках и воплях.

К судорогам чужого страдания привыкнуть можно. Мрачное молчание смерти скоро перестает волновать. Но стонущие поля сражений, но кишащие воплями вокзалы впиваются в сердце, как раскаленные пули. Только тут война встает во весь рост и поражает вечною скорбью. Вот они — романтические залпы орудий, немые цифры газетных донесений и гнусные фразы о патриотизме, героизме и рыцарских подвигах на войне.

— Принято 216 человек, — докладывает фельдшер

Я торопливо обхожу обреченных, которые смотрят с пугливой мольбой в человеческие глаза, чтобы подольше не умирать. Отбрасываю в сторону еще теплые трупы. Хочу спасти от смерти как можно больше. Раздирающие душу рыдания подстегивают, как кнут. Но через час, через два, через три я тупею, как надорвавшаяся лошадь. Раненые сами приходят на помощь:

— Товарищи, подсобите!

Есть на войне у раненых какая-то дружная и цепкая стойкость, — в отличие от здоровых. В бой идут в одиночку, рассыпным строем. Раненые, выброшенные из строя, сразу смыкаются в какое-то спаянное ранами братство. Бледные, с ввалившимися глазами, они видят только друг друга. Измученные, истекающие кровью, они тянутся из последних сил, чтобы не отстать от своей колонны. И, поскольку им позволяют раны, помогают один другому.

Среди лежащих без движения раненых некоторые вдруг поднимаются и начинают нам помогать. Понемногу ощущение смерти и выражение смертного испуга в глазах — исчезает. Раненых охватывает прилив оживленной говорливости. Они вспоминают пережитые страхи. Вспоминают картины боя. И в серых обмызганных пехотинцах, с оборванными, болтающимися огрызками мяса на теле, воскресает вновь человек. Они критикуют открыто и беспощадно. За право суровой критики они щедро заплатили собственной кровью.

— Крепко насєдает, проклятый! Как-то у него отовсюду огонь...

— И пулеметов гибель... Трещат-трещат. И пули почти наголо разрывные.

— От штыкового бою отказывается. Удирает.

— Страшно ? — задаю я вопрос.

— У нас орудия горныя. Какая от них польза...

И десятки голосов отвечают мнѣ с разных сторон:

— И на страх не берет...

— Рычишь по-зверьи. Да зубами выплясываешь...

— У других глаза, как колеса, повыкатились...

— К стенке прижучился, тело стянул в комочек, а душа по-песьи скулит...

— Орать — до того орешь, ровно пушки криком осилить хочешь...

— Лежишь, как в могиле. Смерть просишь...

— Дрожмя дрожишь, а убегти не думаешь... И на страх не похоже...

— Вдарило меня, как ножом под ребро. Нутро вывернуло. А страху нет: будто и страх отшибло...

С трудом продолжаю перевязывать. В глазах мутится. От вшей, от запаха пота, от вонючих портянок и липкой крови меня нестерпимо тошнит.

Вечереет. Все так же усиленно грохочут пушки. Понурые, пыльные, усталые, подваливают новые раненые, с такими же землистыми лицами, с таким же едким запахом перепрелой и запекшейся крови. Весь перрон и весь двор на вокзале, и маленький садик за перроном завалены стонущими телами. Воющим мучительным криком перекатывается по земле:

— Ой, поломало меня, перебило всего..

— Исстрадался, как в пекле чортовом!..

Вместе с солдатами теперь приходят и мужики, жалкие в своем внезапном убожестве погорельцы.

От бесконечного потока людей, рассказов и стонов, от едкой вони и жалоб я убегаю в садик за перроном. Здесь в большинстве — легко раненые. Жуткие крики почти не доносятся сюда. Долго брожу по дорожкам среди нарядных клумб из красных пионов, темносиних ирисов и пудреных анютиных глазок, затянутых в бархатную амазонку. Потом опускаюсь в изнеможении на землю, смотрю на темнеющее небо и устало прислушиваюсь к беседам.

— Ну и поезд, — говорит насмешливый голос. — У нас в шахтах дорога лучше.

— Без нее еще хуже, — наставляет другой. — Хоть полегоньку, а переправляют: и раненых и пленных.

— Пленных? — насмехается шахтер. — Немец на такую машину и не сядет. Он на еропланах летать привык...

— Дай ты мне орудию подходящую, я твоего немца живо с ероплана ссажу...

— Тебе все подай... А немца учить не надо, он сам научит. У него, брат, башка не твоей ровня, — без помехи работает...

— Оттого и бьют нас, что понятиев никаких не имеем...

Мучительно вслушиваюсь в последний голос. Не то знакомый, не то какой-то странный, неуловимый. И говорит что-то похожее на бред или сказку:

— Того не скажи, того не сделай... Наяву такого не вытерпеть... А то гляжу: что такое?.. Лезет с палатей домовик... Лапой на пол ступает... А лицо — как есть командир... Дай, думаю, штыком ребра пощекочу... Обернулся — домовой: «Ты, грит, меня незамай. Еще твое время не пришло...» А я свое думаю: дай-ка штыком пырну... Только вижу я: кровища из него рекой льет... И—будто во сне—такое видится: пошел домовик лугом... то собакой прикинется, то словно дымок бежит... Стой, думаю, не уйдешь... Да за ним, да за ним... Размахнулся, да штыком как пырну: пропадай, поганая сила!.. — А ты кто будешь? — «А, я из еиного штаба...» И бородой — дрыг... Как дрыгнул он

бородой, так разом мо́рок и соскочил... Вижу: сидит баба. Титьки, как ведра. Языком кровь лижет... Я — хвать за глотку. Да руками тискать. Да коленкой на грудь...

— Ваше благородие! Ваше благородие! — тормошит меня фельдшер. — Тяжелых много. Новую партию привели.

— Офицеры что делают? — спрашивает приехавший с донесением ординарец Ковкин.

— Брюхо наживают, — насмешливо отвечает взводный Федосеев.

В том безоружном и бездейственном состоянии, в каком мы находимся сейчас, армия, разумеется, потеряла всякое боевое значение. Пылающие деревни, взорванные мосты, падающие от усталости лошади и плачущие бабы, это все — признаки разбойничьей банды, а не воюющей армии. Солдаты с насмешкой считают теперь полки не по ш т ы к а м, а по е д о к а м.

— У нас, — посмеиваются они, — теперь за главнокомандующего каптенармус.

Армии нужны залпы, грохотание пушек, военные операции. Если этого нет, армия начинает отступать, т.-е. совершает вынужденные походы под давлением неприятеля. Чтобы отступление не сделалось бегством или сплошным погромом, нужна железная энергия командиров и обдуманная тактика штабов. Ни того ни другого у нас нет. Есть только желание генералов сделать вид, что они воюют и выполняют какие-то собственные хитроумные планы. Для этого производятся бесцельные переброски, для этого загоняются ординарцы, для этого устраиваются преступные инсценировки сражений и без конца накапливаются людские резервы. Миллионы штыков, за полным отсутствием патронов, давно превратились в миллионы прожорливых едоков, А толпы новобранцев, дружинников, ополченцев, сотни тысяч рабочих рук — всё выкачиваются и выкачиваются из недр деревенской России. Колоссальная силища глоток, ног и желудков запружает наши давно обессиленные железные дороги, объедает, как саранча, прифронтовые села и города. Ничему не обученные, ни к чему непригодные, с палками вместо ружей, они превращаются в мародеров, погромщиков и сами добывают себе и провиант и фураж, по их собственному определению, «за на

кулак погляденьe». И все это для того, чтобы сделать их игрушкой штабных Неронов, факелом, сожженным во славу российских генералов. Без плана, без надобности, без всякого смысла десятки тысяч безоружных мужиков швыряются в огненное хайло войны. Во имя наград и карьеры воздымается факел «наступления». Идейная мясоедовщина всех рангов сознательно посылает на убой десятки тысяч «серой скотинки». Госпиталя и приемные покои наполняются вагонами искалеченного мужичьего мяса. И в результате строго продуманное предательство, оплаченное тысячами солдатских жизней, превращается в жарко-патриотические реляции о двух захваченных пулеметах. А после короткой передышки вся эта мрачная комедия снова разыгрывается, как по нотам. Ординарцы на взмыленных лошадях спешно развозят предательские приказы. Генералы строят воинственные рожи и с невозмутимым спокойствием сочиняют фальшивые диспозиции. А разведывательное отделение, по твердо установившейся практике фронтовых Крушеванов и Пуришкевичей, рассылает «секретные» приказы о «лицах иудейского исповедания». Чем меньше снарядов в парках, тем злее начинка антисемитского динамита в штабах. Приказы об отсутствии огнестрельных припасов всегда идут в ногу с приказами о шпионах, изменниках и евреях. Люди сведущие в этих делах, говорят, что такие приказы заранее изготовляются впрок — на четыре недели вперед. Сегодняшняя порция секретных приказов носит особенно выразительный характер.

№ 1

«Командующий армиями приказал приложить самые тщательные меры **к сбору винтовок во время боев. Запас заручного оружия в армии иссяк,** и для вооружения прибывающего безоружного пополнения **единственным источником является сбор оружия во время боев.** 9-й армейский корпус, от 26 апреля 1915 г. за № 3238».

А дабы в голову «безоружного пополнения», присылаемого на фронт с голыми руками, не закрались вредные мысли, дабы ненависти и ярости посылаемых на убой «мужичков» дано было должное направление, тут же публикуется и приказ.

№ 2

«Копия с копии. Секретно. В дополнение к приказу от 30 апреля 1915 г. за № 1842. Главный начальник снабжения армий Юго-Западного фронта. 2 мая 1915 г. № 2146. Г. Люблин. Командующему III армии.

«По полученным дополнительным сведениям, нижние чины евреи, находящиеся в обозах и в тыловых учреждениях и пользующиеся под предлогом служебных надобностей правом свободного проезда в Россию, провозят не только письма, но и посылки, чем устраняют просмотр оных. Во избежание сего крайне нежелательного и **политически вредного** явления, вновь **подтверждается** приказание главнокомандующего **о немедленном переводе всех без изъятия евреев нижних чинов,** годных к строевой службе и находящихся ныне в тыловых учреждениях, в запасные батальоны, в коих выдержать их для обучения 6 недель, после чего **отправить в полки,** где иметь под особым наблюдением.

«Об изложенном сообщается для зависящих распоряжений. Подлинное за надлежащими подписями. Верно. Старший адъютант подпоручик Кропковский».

Бухгалтерия прозрачная, как слеза младенца.

Винтовок нет; винтовки надо беречь.

Мужиков ненужный избыток. Чем меньше будет мужиков, тем меньше претендентов на дворянские земли

Война есть кратчайший путь к смерти.

Было бы неэкономно и глупо не воспользоваться этим путем, чтобы с наименьшими усилиями переправить в мир, идеже несть ни бунтов ни аграрного вопроса, лишний миллион мужиков, когда к услугам немецкая артиллерия, бесплатно берущая на себя роль перевозчика Харона.

Прибавить в придачу к мужикам лишнюю тысячу беспокойных евреев никогда не мешает.

Все просто и ясно, как приходо-расходная книга:

Винтовки — в приход, мужиков и евреев — в расход.

Скачите, ординарцы, трубите новое наступление!

В первом часу ночи, когда все уже лежали в кроватях, неожиданно вошли: командир 42-й парковой бригады подполковник Лепартович из Янова и заведующий артиллерийским питанием

в Белгорае Мусселиус. Оба явились от инспектора артиллерии с требованием, чтобы ежедневно от нашего управления и от управления 44-й парковой бригады спешно доставлялись в Янов сведения о наличном количестве снарядов. А так как Янов соединен телефоном со штабом корпуса, то сведения эти по телефону будут немедленно передаваться инспектору артиллерии, который сам будет распределять снаряды между всеми шестью парковыми бригадами корпуса: 5, 42, 44, 70, 9-й мортирной и 4-й тяжелой.

Базунов в одном нижнем белье срывается с постели и, носясь из угла в угол, громит инспектора артиллерии:

— Да что он себе думает, этот... умный инспектор?! За дураков нас считает? Мало мы ординарцев загниваем, так теперь еще в Янов гнать! Этак у меня все лошади околеют. Что же, снарядов от этого прибавится, что сведения будут в Янов посылаться? Все это только для волокиты: чтобы казалось, что что-то делается. А снарядов нет и не будет! Думают обманом глаза замазать. Присылают по полтора патрона в неделю и хотят ими насытить все парки!!

— Евгений Николаевич, — останавливает его подполковник Ленартович, — там за стеною слышно.

— Чорт его дери! Что ж это — секрет? Каждый мальчик на улице уже знает, что у нас нечем стрелять. Один инспектор артиллерии делает вид, что ему это неизвестно, и хочет нашими бумажными сведениями орудия заряжать.

— Вы сегодня снаряды получали? — резко обращается он к заведующему местным парком Мусселиусу.

— Нет, — улыбается тот.

— А вчера?

— Тоже нет.

— Ну, вот!.. Снарядов нет, а их хотят создать из бумаги. Я же понимаю, в чем дело. У меня от этой комедии глаза на лоб лезут.

— Вы бы в моей шкуре побывали, когда я в Чарне снаряды распределял, — вздыхает Ленартович. — Я пять суток не ел, не спал, — все снарядов от меня требовали. А где взять? И теперь та же история. Хоть бы телефон провели — не пришлось бы ординарцев гонять.

— Да они нарочно не проводят, чтобы подольше канителиться. Пускай, мол, подольше остаются в приятном неведении. Конечно, я приказание исполню. Буду посылать к вам ординарца в Янов. Только все это ни к чему. Полтора снаряда было, да и те в Галиции расстреляли. И надо прямо сказать об этом, а не вертеться и лгать, и побираться от бригады к бригаде.

Ленартович уехал, а Базунов еще долго ругался, бесился и метал громы и молнии по адресу «разных Клейненбергов».

5

В Дембице рядом с третьим парком, когда последний, по забывчивости штаба дивизии, очутился на линии боевого огня, стояли резервы 52-го сибирского полка. Вскоре после боев под Тарновом среди сибирских стрелков начался самовольный уход с позиций. В штабе нашего корпуса возникли тревожные опасения, нет ли тут тайного сговора между всеми соседними частями. Были вызваны в корпус командиры смежных частей, в том числе и командир нашей бригады Базунов — «для объяснений по служебным делам». Здесь им было сделано строжайшее внушение и приказано объявить перед строем нашей бригады о состоявшемся по этому поводу решении военно-полевого суда. Проведение этой мрачной церемонии было возложено Базуновым на адъютанта Медлявского. Всем трем паркам было послано приказание явиться 16 мая в полном составе в Белгорай. На северной окраине города — при полном боевом снаряжении и наличии всего офицерского состава — девятью большими шеренгами построились наши солдаты.

— Смирно! — скомандовали офицеры, и на солнце блеснули обнаженные шашки.

Адъютант, бледный и взволнованный, вышел вперед и, приняв торжественный рапорт, прочитал спеша и невнятно:

«Приказ войскам III армии Юго-Западного фронта от 5 мая 1915 г. за № 320.

«Рядовые 52-го сибирского стрелкового полка Дмитрий Самойленко и Максим Черевчан и 50-го сибирского стрелкового полка Михаил Евстранов 27 апреля с. г. в Галиции, в бою с неприятелем, самовольно и по причинам, не вызываемым ис-

полнением долга службы и возложенными па случай боя обязанностями, сообща оставили свои места в ротах и ушли в тыл.

«За это преступление названные рядовые были мною арестованы 1-го сего мая в местечке Любачове и преданы тотчас же военно-полевому суду при штабе армии.

«Рассмотрев дело, военно-полевой суд признал Самойленко, Черевчана и Евстранова виновными в означенном деянии и приговорил к лишению всех прав состояния и к смертной казни через расстреляние.

«2-го сего мая приговор суда приведен в исполнение, и бывшие рядовые Самойленко, Черевчан и Евстранов расстреляны в местечке Любачове».

При последних словах, произнесенных громко и выразительно, все солдатские лица разом затуманились. Глаза потухли и спрятались, как будто вдруг выключили огни.

— Кончено. Расходись! — скомандовал адъютант.

Солдаты мерным шагом и молча проходили мимо начальства, не глядя ему в глаза. Это тянулось минут двадцать. И минут двадцать тянулась давящая тишина. Только торфяник упруго колебался под мерным солдатским шагом.

Молчали и офицеры, такие же бледные, с ввалившимися глазами. За обедом я спросил адъютанта:

— Вы, кажется, очень взволнованы этой неприятной процедурой?

— Вы знаете, — ответил он мрачно, — что меня теперь трудно взволновать. Вот уже месяцев шесть, как я окопался на этой позиции.

— Какой позиции?

— Нет такого счастья или несчастья, которое могло бы меня обрадовать или потрясти. Я ко всему теперь равнодушен.

— Почему так?

— Потому, что я слишком ясно вижу всю бессмысленность жизни.

— Байроническая натура, — рассмеялся Костров.

— Пускай байроническая натура, мне все равно.

— А разбойником все-таки не сделаетесь? — шутливо спросил Болконский.

— Каким разбойником?

— А вот, давайте, отложимся от 70-й дивизии. Начнем жить в лесах. Выберем вас атаманом. Устроим новую Запорожскую сечь не на Днепре, а на Сане.

— Что ж, я могу и разбойником, но с разрешения начальства.

— К чему вам разрешение начальства?

— Жить легче. Не надо самому размышлять, тревожиться. Приказано — сделано. И баста. Ведь все в конечном итоге одинаковая бессмыслица. А тут выбирать не надо. Делаешь, что велят, а там — какое мне дело?..

— Одним словом, нейтралитет до последней пуговки, — усмехается Базунов. — Злу насилием не противься и начальству не прекословь.

У нас война пересыщена трагической юмористикой. Из нескончаемых братских могил, кривляясь, высовывает голову наша дурацкая пошехонская бестолочь.

Сегодня из штаба корпуса получено срочное сообщение:

«К 1 часу дня полный головной парк 61-й артиллерийской бригады со всеми своими снарядами поступит в ваше распоряжение. Передайте снаряды 5-й парковой артиллерийской бригаде в Янове. Инспектор артиллерии Клейненберг».

К часу ночи 61-го парка еще не было. Только в полчаса третьего, почти па рассвете, явился командир тылового парка 61-й бригады поручик Хрусталев и предъявил следующее предписание от командира 61-й парковой бригады:

«Получили ли вы снаряды и сколько? По новому распоряжению из штаба корпуса, вы откомандировываетесь в состав 9-го корпуса и поступаете в распоряжение командира 70-й парковой артиллерийской бригады. Отправляйтесь немедленно в Белгорай и узнайте от командира 70-й парковой бригады, какие имеются у него распоряжения относительно вас».

— Вы, господа, понимаете что-нибудь? — изумленно пожал плечами Базунов. — Может быть, вы, поручик, разъясните мне, в чем дело?

— Я ничего не знаю, — ответил поручик Хрусталев. — Вчера в управлении нашей бригады была получена телеграмма, что по приказанию из штаба III армии мой парк прикомандиро-

вывается к Кавказскому корпусу. А сегодня на рассвете приказание это было изменено, и мне было объявлено, что парк мой прикомандировывается к 9-му корпусу и поступает в ваше распоряжение.

— А снаряды у вас есть?

— Никак нет. Всего 60 гранат и 150 000 ружейных патронов.

— Значит, парк не полный?

— Куда там? У нас во всей бригаде полного парка не наберется.

— А у меня имеется распоряжение получить у вас полный парк, перевезти его в Янов и сдать 5-й парковой бригаде.

— Ничего не понимаю, — пожимает плечами поручик. — Ведь от нас в Янов рукой подать. Проще было бы прямо направить меня в Янов.

— Вот то-то и оно! И я ничего не понимаю. Главное, что вся эта переброска не имеет ни малейшего смысла, потому что снарядов у вас нет. А я уже распорядился выслать сюда сводный отряд из двух моих тыльных парков для перевозки ваших снарядов в Янов. Теперь надо отправить ординарца с приказанием вернуться сводному парку в Домбровицу и там дожидаться новых распоряжений. Придется экстренно послать ординарца с запросом к инспектору артиллерии. Это затянется до завтрашнего вечера.

— Я готов ждать хоть целый месяц, — говорит Хрусталев, — но что мне делать с людьми? Как прокормлю я лошадей?

— Вам что сказано? — в сотый раз переспрашивают поручика.

— Мне приказано перейти в распоряжение 70-й парковой бригады. Откомандировывается не головной, а тыловой парк, — вместе со всеми людьми, лошадьми, прапорщиками и двумя младшими врачами, — медицинским и ветеринарным. Дальнейшее распоряжение получить от вас, полковник.

— Но мне ничего не приказано, кроме того, чтобы снаряды из вашего парка перевезти в Янов и передать 5-й парковой бригаде. Других предписаний у меня нет.

— Позвольте, полковник. Как же быть? У меня на руках

400 нижних чинов, 300 лошадей и 6 офицеров. Ни денег, ни фуража, ни провианта у меня нет. Этапный комендант от меня отказывается, потому что я командирован к вам. Вы меня принять не хотите. Где ж мне довольствоваться? Я ведь не самостоятельная единица... Придется заниматься грабежом.

— Не советую, — говорит сквозь зубы Базунов. — В случае жалоб со стороны населения я вас предам суду.

— Тогда зачисляйте меня хотя бы на временное довольствие. Вы сами понимаете, что это — единственный логический выход.

— Ваше кормление обойдется мне в день не меньше как по 400 рублей. Не могу же я отдавать такие рискованные распоряжения на основании каких-то неясных догадок. Я должен подождать ответа из штаба корпуса.

— А пока?.. Пока что мне делать?

— Пока?.. Будем пока смотреть сквозь пальцы. Я — на вас, вы — на прапорщиков, прапорщики — на взводных, взводные — на нижних чинов. Тогда все как-нибудь устроится... Кстати, в каком положении сейчас ваша артиллерийская бригада?

— Одна батарея была захвачена в плен. Из остальных орудий восемь было подбито, штук шесть износилось. В Ржешове их кое-как починили. И теперь на позиции две наших батареи.

— Так что от бригады осталось меньше половины?

— Да, одна треть. На нашем участке огонь германской артиллерии достиг ужасающей силы: шестидесятипудовые снаряды лились дождем...

— А штыков сколько?

— После боя от всей дивизии осталось полторы тысячи. Когда перешли через Сан, подтянулось еще две тысячи.

— И это все?

— Да. В нашей дивизии из четырех полков — Холмского, Красноставского, Луковского и Седлецкого, — то-есть из 16 тысяч штыков, уцелело не больше четырех тысяч.

— Долго вы оставались под огнем?

— Трое суток. Бой начался на рассвете 19 апреля, а уже к трем часам дня три батареи должны были уйти с позиции. Из трех остальных стреляла только одна, потому что прекратился подвоз снарядов.

— Спаряды иссякли?
— Да.
— А в соседних дивизиях?
— В 63-й дивизии было еще хуже. Эта дивизия была разбита под Праснышем и пополнена ополченцами. До января ее ничему не обучали. Потом переправили в Галицию. Винтовки дали только за две недели до боя... То же и 81-я дивизия. Она стояла под Перемышлем и оттуда сразу переброшена была в Мезо-Лаборч...
— А у нас писали, — говорит адъютант, — что 81-я дивизия...
— Ну, знаете, — раздраженно перебивает Хрусталев, — читал я то, что пишут в газетах и донесениях, и видел то, что происходит на деле... Отошли на заранее укрепленные позиции, — писали о нас. А подошли мы к Вислоке, там не только позиций, — хотя бы пол-аршина проволоки было. Когда мы уже были на Сане, вспомнили проволоку прислать. И что же? Вся она, конечно, германцам досталась...
— Что же мы — готтентоты какие по сравнению с Европой? — спрашивает адъютант.
— Мне кажется, что халатны мы больше оттого, что видим бесцельность нашей работы. Вот возьмем сегодняшний случай. На рассвете получили мы телеграмму. С четырех часов бьемся, волнуемся, тащимся по пескам, а толку никакого. Мы ругаем Мусселиуса, Мусселиус ругает инспектора артиллерии, инспектор в свою очередь ругает еще кого-то. Каждый рад бы сделать как можно лучше, да вся машина ни к чорту... Вы думаете, артиллерия нас не ругает? Наверное по сту раз на день повторяет:
«— Чорт бы их взял, этих парковых бездельников! Сидят себе в Белгорае, снарядов не возят, а мы тут пропадай из-за них.
«А пехота ругает артиллерию. Я сам слыхал, как пехотные офицеры прохаживались по адресу артиллеристов:
«— Белоручки проклятые! Выпустят 15 снарядов и снимаются с позиции. Вот и вся подготовка артиллерийская».
— Но ведь кто-то же продает? — горячится доктор Костров. — Где-то сидят же еще Мясоедовы... Отчего нет винтовок

у ополченцев? Ведь это — не пушки. За десять месяцев ружья можно бы заготовить!

— Не успеваем. Не по плечу нам размах войны. Ружейных заводов мало. Каждый день мы теряем на поле сражения 10 000 винтовок. В месяц около 300 000 ружей. А все наши оружейные заводы в месяц изготовляют 55 000 винтовок. Значит, ежемесячно количество наших штыков уменьшается на 245 000. То же с артиллерийскими снарядами. При максимальной продукции мы вырабатываем 15 000 снарядов в месяц, а расходов — втрое, вчетверо больше.

Поздно вечером получена телеграмма от инспектора артиллерии:

«Немедленно откомандируйте 61-й парк по месту службы. Телеграфируйте, получен ли вами полный парк артиллерийских снарядов от 10-го корпуса? Инспектор артиллерии 9-го корпуса Клейненберг».

— Вот кабак! — всплеснул руками Базунов. — Ну, что с ними делать?..

...Бумажные фокусы продолжаются. Ночью получено донесение от поручика Хрусталева:

«По возвращении к себе в парк застал предписание от командира своей бригады:

«Немедленно с получением сего переходите в Белгорай и поступайте в подчинение командира 70-й парковой бригады. Со мной поддерживайте непрерывную связь через головной парк, стоящий в селе Марковичи, урочище Танев. Командировка ваша временная — впредь до изменения обстановки и потребности в вашем парке».

В два часа ночи 61-й парк прислал новое сообщение:

«Парк не прикомандировывается к 70-й бригаде, а лишь должен передавать в ваше распоряжение свои снаряды. А так как снарядов у него нет, то парк уходит по предписанию инспектора артиллерии в Янов, где снарядов заведомо не имеется».

В 3 часа ночи нас снова разбудили: приехал 31-й парк десятого корпуса с предписанием поступить в распоряжение 70-й парковой бригады.

— А снаряды вы привезли? — спросил Базунов.

— Никак нет. Ни одного снаряда.

— Кубицкий! — бешено заорал Базунов. — Вели седлать лошадей. Немедленно еду к этому прохвосту, потребую, чтобы его разбудили, и докажу ему, этому Клейненбергу, что один из нас слабоумный!..

...Отрадная теплота и сокрушительная уверенность снова разлились по сердцам наших оптимистов. Они снова рассматривают в увеличительное стекло наши военные возможности (а немецкие — в уменьшительное) и снова грозят погибелью всему тевтонскому миру:

— Всыпем немчику!.. Теперь он запляшет!..

Источник этой блаженной уверенности — в небывалом в летописях нашей дивизии торжестве: неожиданно из Холма в Белгорай доставлено 1200 шрапнелей, из коих на долю нашей бригады досталось 600 штук.

— И у немцев иссякают снаряды, — злорадно рассуждает капитан Старосельский, — но им гораздо хуже, чем нам, потому что у них материала нет. Нам наплевать, — у нас сырья, сколько хочешь. А немцы давно из колоколов готовят шрапнели, так что и в будущем изготовлять не из чего.

— Вот видите, — торжествует Костров. И охваченный приливом победоносной воинственности, мгновенно впрягает в колесницу истории крылатую конницу желательного и подгоняет ее плетью лжи и фантазии:

— А ведь Ярослав назад отобрали! — говорит он за завтраком. — Под Перемышлем вдребезги немчиков расколошматили: на тридцать верст отогнали. Пленных тысяч сорок набрали...

— Кто вам сказал?

— Чуйко. Солдат из третьего парка. Из Киева приехал.

— Вы сами с ним говорили?

— Нет. Косиненко рассказывает.

— А что еще вам Косиненко рассказывает?

Косиненко — денщик Кострова, получивший от прапорщика Болконского прозвище «анти-Ханов».

— Говорит, — блаженно лепечет Костров, подливая себе в рюмку, — что новую артиллерию подвезли.

— Откуда?

— Из Владивостока.

— Тяжелую?

— Да-а... Тяжелую. Двенадцатидюймовые пушки!..

И, как всегда, к патриотическому воодушевлению Кострова мгновенно примешиваются гастрономические восторги:

— А какие поросяточки на площади бегают, — кричит он, прищелкивая пальцами. — С розовой кожицей, тупорыленькие, фунтиков по шесть. Вот такие... Отварить бы такого писклёночка в молоке... да поджарить, чтобы корочка под зубами хрустела... да начиночку бы из каши... да обложить бы бордюрчиком из хрена... да под брусничное варенье... Э-эх, родина!..

...Немцы форсируют Сан. И одновременно ведут наступление в районе всей 8-й армии. Раненых пока мало. Но все в один голос твердят:

— Выбьет!.. Где уж нам с немцем драться...

Вечерняя сводка говорит:

«Командующий армией приказал третьему Кавказскому корпусу, 24-му корпусу и 29-му корпусу немедленно перейти в наступление с целью поддержать 8-ю армию и отвлечь натиск противника, действующего на правом фланге».

— Да-а, — задумчиво поглаживает усы Базунов. — А о Северном фронте ни слова.

— Значит, затишье, — оптимистически высказывается Валентин Михайлович.

— Вряд ли. Когда затишье бывает, — так и пишут: затишье. А молчанье — плохая примета.

...С утра получена из штаба дивизии секретная бумажка: «Новые тыловые дороги».

Для 9-го корпуса тыловая дорога: Здзяры — Япов — Туробин — Пиотровск — Пяски — Влодава.

Для 70-й дивизии: Уланов — Пюльце — Депутаты — Гройцы — Флисы — Кжемень — Брюпев — Хржанов — Собесска воля.

— Хороши «секреты», о которых весь город знает, — ворчит Базунов.

6

19 мая, пять часов утра. Мучительно хочется спать, несмотря на тяжкий грохот орудий; несмотря на то, что от исхода

сегодняшнего боя, быть может, зависит судьба России. Здесь, на Сане, собраны все наши лучшие войска. На тесном пространстве от Синявы до Белгорая сосредоточено восемь корпусов. Поражение равносильно разгрому.

Сегодня исполнилось десять месяцев войны. Прапорщик 81-й дивизии землемер Савицкий уверяет, что если бы перевести на медные копейки все деньги, затраченные Россией за эти десять месяцев на войну, то этими медными копейками можно было бы вымостить весь земной шар и перекинуть висячие мосты через Великий и Атлантический океаны. И что же? Одиннадцатый месяц войны мы начинаем с того же, чем начинался первый: с отступления на Холм.

Будущему историку захочется облечь это сражение на Сане в траурные, драматические одежды. Он будет описывать ураганы в природе и потоки злобы и ненависти в сердцах. А кругом — безобидное спокойствие и такое мирное голубое небо. Радостно чирикают воробьи. Приветливо разгорается солнце. Мягко шушукаются листья. Блестит по-весеннему молодая трава. Спят жители. Спят офицеры и солдаты, не участвующие в бою. Спит «любовь к отечеству и народная гордость».

Лениво пробегаю глазами только-что доставленную дивизионную сводку:

«Противник обладает значительным превосходством артиллерийского огня».

Знаю, отлично знаю, что означает эта фраза в переводе на житейские факты. Тысячи раненых, которые плетутся сейчас по всем тыловым дорогам. Длинные вереницы возов, набитых искалеченными и стонущими телами. Потухшие и страдальческие глаза на мертвенно-серых, запыленных лицах. Огромные воронки, набитые десятками трупов в обмокших кровью шинелях. Отчетливо рисую себе эти картины, но они не волнуют меня больше. Мои притупившиеся нервы уже не откликаются ни на смерть, ни на кровь, ни на рычание пушек.

От непрерывного грохота жалобно вздрагивают оконные стекла. Узнает ли будущий историк, что 19 мая, во время грозных боев на Сане, оконные стекла оказались гораздо чувствительнее, чем люди...

...Шесть часов утра. Свирепо грохочут пушки. В сонном молчании пустынного городка гулко чеканятся шаги пехотного подкрепления. Сверкая гранеными штыками, идут на убой полки 9-го корпуса.

...В половине седьмого получено предписание о прикреплении нашей дивизии к 14-му корпусу.

Офицеры грустно вздыхают:

— Кончилось наше семейное счастье. Погонят нас опять на рысях. Вот несчастная дивизия!..

— Не дивизия, а скаковое общество, — ворчит Базунов

...В девять часов получена новая сводка:

«Дивизиям 70, 18, 61 и 81 приказано стремительно атаковать противника, сбить его к югу и, развивая удар в этом направлении, энергично наступать в полосе между Пржендзель — Кончице — Тарногуры — Гуциско.

«Задача: В три часа ночи 20 мая, удерживаясь одним полком на позициях правого берега Сана, от Бялин до Кржешова, тремя полками перейти в энергичное наступление на фронте Стружа-Рудник. «Дух войсковых частей силен».

— Ничего из нашего наступления не выйдет, — безнадежно вздыхает Старосельский.

— Почему вы так думаете?

— Дух силен, да плоть немощна: снарядов нет.

Над городом кружатся аэропланы.

...Сквозь сон прислушиваюсь к грохоту пушек. Стреляют беглым огнем из тяжелых орудий. Смотрю на часы: ровно четыре. Кто-же это стреляет — мы или немцы? Если мы, — откуда у нас снаряды, да еще в таком невероятном количестве? Немцы? Когда же они успели подойти так близко?.. Значит, это — прорыв. Вот уже полчаса, как орудия не перестают греметь. В воздухе стоит глухой безостановочный гул, четко хлопают отдельные выстрелы из очень тяжелых орудий. И тогда вслед за раскатистым ударом слышится короткий хрипловатый разрыв.

Пять без десяти. Канонада гремит с неослабевающей силой.

...В 366-м полевом госпитале. Груды раненых на полу. Беседую с ранеными в сортировочной.

— Как дела?

— Да разве мы знаем? Шли и падали, шли и падали... Вот все, что мы знаем.

Молодой вольноопределяющийся объясняет с оттенком превосходства:

— Положение неопределенное. Наш правый фланг выпирает австрийцев, а на левом засели германцы: их не сдвинешь.

— Это где же?

— У Синявы. Мы — Кавказского корпуса.

— Разве с германцами так трудно воевать?

— Трудно, — отвечает хор голосов.

— Крепкий народ.

— Хитер больно.

— Хитрее хитрого. Его не собьешь.

— Правда это, что немцы наших раненых прикалывают?

— А как же. В приказах про это было.

— Кто собственными глазами видал, как немцы наших раненых добивают?

— Я, — выступает вольноопределяющийся. — Под Жирардовым, на германском фронте, наши окопы в восьмидесяти шагах были. Видно было все, что у них делается. Я сам видал: как доползет до них после атаки наш солдат, они его прикладом по голове. И не раз, много раз видел.

— Добивают, ваше благородие, добивают, — подтверждает солдат с Георгием. Я врать не буду — для чего мне? Сам своими глазами видал. Вот теперь, когда отступали из Галиции. Ранило нашего фельдфебеля в ногу. Он упал. Наскочили сзади германцы и прикололи.

— А фельдфебель где был?

— Сзади отстал маленько. Ногу ему пулей задело.

— Что ж, он упал?

— Никак нет. Шел сзади

— Ну и что же?

— А германцы, вишь, сзади наскочили и штыком.

— Ты впереди был?

— Так точно. Впереди.

— Откуда ж ты знаешь?

— Слыхать было. Кричал он—фельдфебель: «братцы, колют меня». Я обернулся. Глядь, а он уже мертвец.

— Может быть, немцы не знали, что он ранен?

— Никак нет. Знали. Раненого завсегда видно.

— Больше ты не видал, чтобы раненых добивали?

— Как же. Не раз видал.

— Вчера вот, — снова вмешивается вольноопределяющийся, — из нашей роты душ двадцать в плен решили сдаться, а я с товарищем не схотели. Товарища снарядом убило, а я в кустах схоронился. Так я ж видал. Многие на колени падали, руки вверх подымали — просились. Всех германцы перекололи.

— И чего врешь? — резко и неожиданно выступает солдат с небольшой бородкой, раненый в обе ноги.—Никогда гѐрман раненых не колет... Из нашего Сальянского полка сколько пленных он подобрал. Теперь домой письма пишут: хвалят гѐрмана во как.

— Не колют? — зло огрызается вольноопределяющийся. — А ты еще повоюй; повоюй лучше, — вот и узнаешь.

— А с чего бы это он одних колол, а других нет? — иронически усмехается солдат с бородкой. — Никто этого не видал, чтобы герман докалывал. Одни только враки.

— А в газетах что пишут? А приказы читал?

— В газетах врут, — раздается несколько голосов. — Возьмем в плен 30, а в газетах печатают все 300. По газетам в Германии голодом дохнут, а у каждого гѐрмана в сумке по четыре консѐрва. Голодаем-то мы, а не они... Газетам тоже теперь верить не всегда можно.

Из заднего угла, опираясь на большую дубину, выходит, ковыляя, солдат с загорелым, наглым лицом и трескучим, нахальным голосом.

— Это кто говорит: в приказах не сказано? Сказано, либо не сказано, а про то, добивают ли немцы, меня спроси! Еще как добивают, сволочь! А у меня-то нога отчего разворочена? Я до пулеметчика добрался. В пятнадцати шагах разрывною пулею скосил. Так икру на две порции и разворотило. Что ж, я бы ему молчал? Добрался бы только—десять раз убил бы. Шкуру спустил бы, хоть раненый, хоть сто раз раненый. Он, подлец, как хороший картежник, — все двадцать одно выбрасывает, — так он своим

пулеметом народ режет. Провел — и срезал, как бритвой. Как водой поливает пулями. Дерево возле пулемета стояло. Раз провел — в нем шестнадцать пуль одна за другой сидят.

— Ну и чего ж? — прерывает рослый солдат. — Тебя, что ль, докалывал?

— Я бы его доколол! Я хоть и разжалованный в пехоту, а все же казак. Козуля — по-ихнему. А ты вот слушай! Ранило меня прямо, как топором, пополам разрубило. Упал я и в кусточки пополз. Вижу: солдатик лежит. Посторонись, говорю, земляк. Толкнул его, дернул... А у него-то стаканом вся голова разбита, и мозги наружу вывалились. Только прилег я, слышу: стонет солдатик. Подошел к нему германец и давай карманы обшаривать. Потом начал переворачивать. Не знаю, сказал ли чего солдатик, либо крикнул, только гѐрман как хватит его прикладом — и пошел.

— Ну, есть сволочь и промеж них и промеж нашего брата, — брезгливо выдавил черноусый хмурый солдат. И потом добавил с оттенком почтения:

— Что там не бреши, а немцы — народ образованный.

— С австрийцем легче воевать?

— Да, с ним полегче. Он пужливый. Сейчас в плен сдается.

— А мадьяры?

— Мадьяры—это, как бы сказать, наши цыгане. Он наскакивает жестко, а чуть задело, от раны плачет, как баба.

— Мадьяры, — самоуверенно вмешивается казак, — интеллигенты, нежные... боли не выдерживают. Я одному мадьяру нос откусил, — соленая кровь, противная. Тьфу!.. Гѐрман — тот лютый. Хитер. Сильный. С ним никакого сладу. Тут с нами один гѐрман. В плен забрали. Так его два раза штыком проткнули, а он утекать пошел. Нагнали да прикладами по голове. Едва довели. Его ведешь, а сам поглядывай, не зевай... Австріяка гнать не приходится. Он плену рад. Вели мы душ 60 русинов. Русины — они говорят по-русски.

« — Нам, говорит, уже мир вышел, а вам еще воевать».

— Австрияк — мразь. Гѐрман нам цикорию ломает, а мы австриякам. Чешем по рылу — почем зря.

— Зачем яво обижать? Он смирный, — медлительно протестует бородатый солдат.

— А чего на него смотреть? Что гѐрман, что австрияк — все равно неприятель.

— Все равно, — передразнивает казака сердитый голос. — Казак и в мирное время с людей шкуру спускает. От них всем худо. И гѐрман за казаков всех колет.

— Ду-у-урак ты, как есть дур-рак, — огрызается казак. — Гѐрман день ото дня все жестче бьется. У него теперь — слыхал? — пули газовые. Попал в тебя пулей газовой, — и ты сгоришь, и кругом тебя сдохнут.

— Все брешешь, — презрительно говорит тот же бородатый солдат.

— Нет, это он правильно, — раздаются убежденные голоса. — У нас в полку одному солдату в руку ударило такой пулей, рука вся сгорела.

— А штык у него какой, — подскочил ко мне маленький юркий пехотинец. И, вынув большой германский штык с пилой на конце, начал с азартом объяснять:

— Вперед он штык по эфто место в живот запустит и начнет по кишкам пилить. Чтобы больней было.

— Не по кишкам, по лопатке пилит, — поправляет другой.

— Вы их не слушайте, ваше благородие, — протестует солдат с бородкой. — Такой штык только у унтер-офицеров. Вы хоть гѐрмана самого спросите.

— А где он, пленный? Пошлите его сюда.

— Не пойдет. Волком смотрит. Не засмеется.

Я громко сказал по-немецки:

— Прошу пленного немца подойти к столу.

С подоконника встал необыкновенно высокий, угрюмый детина с забинтованной рукой и медленно подошел ко мне.

— В Германии все солдаты такого исполинского роста? Как вы только до рта своего достаете?

Немец помолчал. И вдруг широко улыбнулся.

— Ишь ты, — засмеялись солдаты. — Родному слову обрадовался.

— Куда вы ранены? — спросил я его.

— Мне прокололи руку штыком, — показал он рваную рану на предплечьи. — Хорошая работа, — улыбнулся он снова.

— У нас вообще хорошие ребята, не правда ли?

— Покамест меня не трогают, — ответил он сдержанно.

— Немец благодарит вас, — передал я его фразу солдатам, — что вы к нему злобы не показываете.

— Я б ему показал, — свирепо взглядывает казак. — Попался бы он в мои руки, я б его научил! Зачем казенный паек пленному отдавать? Нас в бой посылают — полконсерва дают, да еще наказывают: не жри, после боя сожрешь. По два дня голодные в яме сидим. А потом пленных к себе берут и нашим хлебом кормят. Ишь, дери его в бога...

— Тише ты; там сестра ходит.

— Чего сестра? Ну ее к старушкиной матери. Я в одном госпитале так сестру ахнул, что она к доктору жалиться побежала. Прилетел доктор:

«— Мерзавец! Ты как смел?..»

«— Виноват, я не мерзавец, я казак. Не имеете полного права мерзавцем называть.

«— Как тебе не стыдно сестру обижать?

«— Никак мне не стыдно. А вот ей должно быть стыдно: она мне так рану затормозила, будто...»

И казак выпаливает оглушительное сравнение в духе непечатных неожиданностей «Декамерона».

Немец исподлобья поглядывает на свирепого казака.

— Это казак, — говорю я ему. — У него только голос сердитый, но и он парень добрый.

— Да, — неопределенно отделывается немец и стоит, угрюмо насупившись.

Я показываю ему пилу на штыке и спрашиваю, для чего она служит.

— Такой штык, — оживляется немец, — носят у нас пионеры-разведчики, [1] которые прокладывают дорогу среди кустарника. Этим штыком можно пилить и дерево и камень...

Солдаты внимательно разглядывают немца и делятся вслух своими мыслями.

— Платье на ём хорошее.

— И сапоги цельные.

— Сытый: видно корма не жалеют.

---

[1] Солдаты дорожно-саперного отряда.

— Они в бой идут — по четыре консерва в ранце. Потому, ежели прорвется, чтобы запас был. Немец хитер: он все обсматривает вперед.

— А у нас больше об офицерах думают.

— В эту войну еще мать их надвое. А в японскую, распатронь холера, ... они за двадцать верст от боя сидели, в бараках с сестрами воевали.

...Идет безостановочная бомбардировка. Линия боя приближается с каждым часом. Слышно, как завывают вертящиеся «стаканы» [1] и с треском лопаются все ближе и громче. Число прибывающих раненых растет. Там, на месте боя, вероятно, груды тяжело искалеченных солдат умирают за невозможностью добраться до перевязочных пунктов. Нехватает медицинского персонала, чтобы поспевать за фабрикой смерти.

...Старший ординатор полевого госпиталя, известный хирург Борисов, радикал и общественник, за завтраком излагает планы новой организации «Красного креста». Эта идея наполняет его бурной энергией.

— Нынешний «Красный крест», — говорит он, мотая упрямой головой и сердито поблескивая глазами из-под стекол, — в теперешнем его виде никуда не годится. Благочестивая окаменелая древность... Чего достигаем мы на практике под защитою «Красного креста»?.. Какие-то фиктивные выгоды, какая-то международная гара́нтия на словах и младенческая беспомощность на деле... Солдат, выбывающий из строя, перестает быть солдатом и превращается в утопающего. Каждая медицинская организация — это спасательная станция, которая должна приходить на помощь каждой жертве, каждому раненому. Мы, врачи, не знаем ни эллинов, ни иудеев, ни врагов, ни друзей. Немец лечит француза, русский лечит австрийцев. Я лично знаю русского врача, который спас от смерти подбитого немецкого летчика, бомбой которого был ранен сын этого врача в Ярославе. А раз так, раз на нашей врачебной совести лежит борьба с человеческим одичанием, если «Красный крест» является едини-

[1] Легкие шрапнели.

ственным островком европейской культуры и гуманности среди всеобщего вандализма, то скажите на милость, для чего это дурацкое разделение на докторов лагерей? В трудном деле спасения раненых должна быть единая, общая организация. Едва закончился бой, над полями смерти поднимается «Красный крест». Под его примиряющим флагом идет работа по единому плану, и врачи всего мира оказывают помощь страдающим без различия наций и враждующих стран. Только тогда война утратит свою теперешнюю бесчеловечность. Только тогда прекратятся обвинения в добивании раненых и пленных.

— Но ведь это — утопия, — смеется кто-то из докторов.

— Как утопия? — страстно загорается Борисов. — Разве мы и теперь не перевязываем пленных? Не лечим немцев в наших госпиталях? Разве мы не расходуем на эти перевязки бездну драгоценного материала? Врач, захваченный в плен, не продолжает ли своего дела среди воюющих с нами армий? «Красный крест» не знает враждебных действий. Мы должны гордиться тем почетным положением, которое отвело нам международное право, и обязаны воспитывать в людях чувства солидарности и взаимного доверия. Я не знаю, прекратятся ли войны на земле, но моя совесть глубоко протестует против позорящих человечество кровавых зверств. И, доколе белый флаг существует, врачи должны высоко держать свое знамя. Говорю это без всякого лицемерия: это наш «моральный интернационал». Медицинскую помощь на войне надо сделать единой и всеобщей. Во имя морального прогресса мы обязаны горячо отстаивать нашу привилегию милосердия и со всей настойчивостью защищать ее перед всеми, кто не потерял еще способности думать и чувствовать по-человечески.

— Как же вы думаете проповедывать вашу идею? — скептически улыбаются доктора.

— Для успешности пропаганды врачам каждой страны надо объединиться с лучшими писателями своей родины. И это вовсе не трудно. Ни Короленко, ни Горький, скажем, у нас, или Ромэн Роллан у французов, не откажутся, разумеется, быть с нами заодно.

— Превосходно. Писатели не откажутся. Но кто же позволит им внушать отвращение к войне?

— Этого никто и не требует. Надо только вернуть «Красному кресту» то моральное значение, которое разрушила и подорвала нынешняя истребительная война. Ибо в своем теперешнем виде «Красный крест» совершенно не поспевает за скачущими машинами смерти.

... Война ведет к процветанию мужества и создает прочную базу для самых ошеломительных неожиданностей. 366-й госпиталь со вчерашнего дня передвинут ближе к позиции. Такая передвижка всегда нарушает ровное течение мыслей. Против воли глаза устремляются к горизонту, где темнеет черная полоска окопов, полная непостижимой угрозы. Инстинктивно ждешь, что вдруг увидишь перед собой каски, ружья и бомбы. Это напряженное ожидание неумолимым образом втягивает в психологию фронта и подчиняет сволочным условностям войны.

Вот что рассказал мне сегодня доктор Борисов:

— Весь день я возился с ранеными. Вечером я с доктором Тхоржевским гулял по дороге на Бопахи. Я шел впереди, доктор Тхоржевский плелся где-то далеко сзади. После сорока двух операций поле, залитое закатом, казалось кровавым морем. Не знаю, о чем я думал, только вдруг по ту сторону канавы увидал небольшую фигуру в каске. Я приостановился, фигура тоже. Оружия при мне не было никакого,—ни револьвера, ни шашки. Посмотрел я влево: до линии немецких окопов — чорт знает как далеко. Я крикнул издали по-немецки:

« — Komm hier Kamrad! [1]

«Немец перепрыгнул через канаву и подошел ко мне. За спиной у него болталась винтовка. Я подошел к нему вплотную, схватил винтовку за дуло и потянул к себе. Между нами завязалась борьба. Немец полез в карман за револьвером. Я крикнул. Неожиданно появился доктор Тхоржевский. Он ударил немца по руке и тот, видя, что нас двое, сдался. До штаба дивизии версты три, и мы повели нашего пленника прямо в штаб. Наскочил на меня вдруг какой-то дурацкий азарт.

« — Револьвер заряжен? — спрашиваю Тхоржевского.

« — Заряжен.

---

[1] Сюда, товарищ!

« — Захочет бежать — стреляйте.

«Всю дорогу я глаз не сводил, следил за его шагами... Ну, совсем одурел...

«В штабе мы положили на стол наши трофеи, я — винтовку, Тхоржевский — револьвер. Тут только сконфуженный немец разглядел, что мы оба — врачи, да еще безоружные. И залепетал бедняга, смущенно оправдываясь:

« — Dass kann jedem passiren, nicht wahr?[1]

« — O, ja (конечно), — успокоил я его.

«Стали допрашивать немца. Оказалось, что и сам-то он не бог весть какой вояка: ополченец, из народных учителей. Послали его на разведку. Он сбился с дороги и попался на удочку, услыхав немецкую речь.

«Вдруг вижу: лицо у бедняги перекосилось и смотрит он на меня с печальным упреком. Потом вынул из кармана и показывает мне отпускной билет: завтра с утра домой собирался ехать, очередь вышла...

«Жаль мне его стало до слез. Да что поделаешь? А тут еще дивизионный врач неожиданно вмешался:

« — По какому праву вы взяли в плен немецкого офицера? Теперь немцы начнут кричать, что мы — варвары, нарушаем женевскую конвенцию...

« — А что же мне было делать? — оправдывался я. — Вижу: идет немец. Кто его знает, какие у него намерения. А вдруг бомбу бросит, телефонную проволоку перережет, пушку подорвет? Я инстинктивно обезоружил его и задержал.

«Однако дивизионный и корпусный командиры на нашу сторону стали».

Доктор Борисов провел рукой по седеющей голове и не без гордости докончил повествование о пленении школьного учителя:

— О нашем поступке в приказе по корпусу объявлено. А я представлен к Владимиру с мечами.

Бытие определяет сознание.

---

[1] Это с каждым может случиться, не правда ли?

7

...Отступаем. На официальном языке наше отступление почему-то называется «временным ходом в деревню Бонахи». Идем густым белгорайским бором — под охраной пехоты и кавалерии. Это из страха перед венгерскими разъездами которых здесь нет и, конечно, быть не может в этой дикой и непролазной чаще. Головную колонну ведет прапорщик Болконский. Он лихо гарцует на своей кровной кобылице и время от времени кричит молодецким голосом:

— Расступись, леса белгорайские!

Местами дорога пересекается мшистой трясиной. Здесь пригнанные из окрестных деревень бабы неумело и неохотно набрасывают настил из валежника. Солдаты набрасываются на баб, с криком гоняются за ними по лесу, а Болконский громко и беззаботно подшучивает:

— Веселее, бабоньки, веселей! Не ударь лицом в грязь! За нами идут европейские народы. — Пахнет сосной и торфяной гнилью. Иду окруженный артиллеристами и пехотой. Солдаты откровенно высказываются.

— Ты думаешь, смерти мужик страшится, али там бою, раны какой?.. Не своей охотой воюем.

— Не знаем, для ча деремся.

— Войну мозгами осилить требуется. А мы по чужой указке делаем.

— Одно сказать, — поясняет Пухов, — не такие теперь люди нужны, как мы. Люди мы темные, ни до чего негодные. Грамоте не знаем. Вон в Галиции дороги столбами мечены. Дороги за столбом разошлись, а нам и не видно, куда итти: прочитать не можем...

— Где уж нам. Прем через пень-колоду.

— Не по нутру нам эта война...

Пухов неожиданно нагибается, берет комок мшистой земли и, презрительно растерев ее промеж пальцев, сердито окает:

— Было бы из-за чего воевать. Одни леса да болота. Посеять негде.

— За то леса́-то какие, — говорю я.

— У нас в Уфимской губернии, — горячо возражает Пу-

хов,—лесу изводу нет. На стеклянном заводе у нашего помещика сто двадцать сажeней в день сгорает. А вырубать не поспевают. Где повырубили — опять заросло. Двадцать два года завод стоит. А лес у нас — чернолесье: ростяной... Дровят у нас — слава богу. По десять копеек воз у помещика покупаем.

— Земли много? — интересуется Маслов.

— Нет, земля поделеная одни овраги достались.

— А правда это, ваше благородие, — вкрадчиво обращается ко мне Маслов, — будто хотят передать солдатам, которые живые останутся, колонистов немецких земли?

Говорим мы тихо. Но вопрос о земле мигом долетает до всех. Десятки настороженных лиц жадно вслушиваются в каждое слово. Тут и парковые, и пехотинцы, и группа кавалеристов.

— Не знаю, верно ли это. В газетах писали. Только и колонисты ведь такие же мужики, и земли у них мало.

— А в газетах писали? — пытливо переспрашивает меня пехотинец.

— Да, писали, что есть такое предположение.

— А генералы немецкие останутся? — доносится сзади чей-то насмешливый вопрос.

И не дождавшись, тот же голос комментирует свою фразу более злобно:

— Значит, у крестьян землю отберут, а генералам из немцев прибавят?

— Пущай не дают. Не надо мне той земли, голько бы войну скорей кончали, — говорит Пухов.

— Верно Польша за немцем останется? — осторожно нащупывает пехотинец.

— Чья сила возьмет, за тем и останется, — говорю я.

— Да ну ее к лешему, Польшу самую. Какая в ней польза? — пренебрежительно отвечает Звегинцев.

— Тут, брат, не польза, — поясняет рыжий кавалерист,— а сдаваться Рассее не годится. Контрибуцию агромадную потребует себе немец. Опять же на нашего брата перешьют. Теленка остального отберут.

— Кругом мужику плохо, — вздыхает пехотинец.

Лес становится суше. У заборов лесных заимок видны женские лица, до бровей перекрытые пестрыми платками.

— Шкира аж умирае, — острят солдаты.

Шкира бурно ударяет по балалайке и сыплет веселой скороговоркой, поводя богатырскими плечами.

Катерина грэчку вязала,
Катерина добре казала.
В Катерини чорни очі,
Катерина гарна до ночі.
Повісила чоботи на гвоздi,
Сама себе вдарила...

...Идем пограничными лесами. Ни уныния ни подавленности. Меньше всего мы сейчас похожи на разбитую армию, в жалобных песнях изливающую свои печальные думы. Солнце ли сбивает с толку наших солдат, или душа вступила в какое-то тайное соглашение с историей, но кругом бренчат балалайки, и задорные частушки, опьяненные дерзостью и земными грехами, как осы, кружатся в воздухе. Поют решительно все. Частушка победоносно подчинила себе все умы и сердца. Изворотливая, насмешливая и гибкая, она зубоскалит, кривляется и беззаботно потешается над собой, над начальством, над нашими военными неудачами, над легкомыслием окопных красавиц, над окопным героизмом и над окопной вошью.

У каждого свое на уме. Три пехотинца, высунув по-казацки чубы, — фуражка только «на честном слове» держится, — лихо покрякивают и выплясывают словами разухабистую чечотку, полную убийственного сарказма:

Меня били, колотили,
Руки-ноги перебили —
На Шреняве, на Сеняве,
Коло Сана, коло Яна...
По скулам дросила пуля,
По затылку броневик.
По зубам рука с прикладом,
Да по орюху вострый штык.
Меня били, меня гнали,
Ох, да гнали с Дунайца,
А народы все сказали —
Так и надо подлеца.

Какой-то безусый парень из недавнего пополнения не дает пощады любителям «Георгиев» и военной славы:

Ух, ух, ух, ух,
На войне-то я петух,
На одной ногэ скачу,—
Об Егорье хлопочу;
Как Егорья захочу
Из окопа заскочу.
А Егорий не дается,
Над бедой моей смеется...

Вошь — царица частушки. Ее прославляют на всех концах леса:

Мы геройску драку днем
С австрияками ведем,
А всю ночку напролет
Вошь окопная грызет.
Только шкура засвербила—
Я со страху млею.
С немцем биться я готов,
А со вшой нэ смею.
Нам на немца наплевать,
Смерти не страшимся.
С немцем рады воевать,
А со вшой боимся...

Шкира и десятки таких же Шкир целиком погружены в любовное токованье:

Эх, бабью какое счастье,
Что стоят пехотны части...
Ой ты, полька кучерява,
Где ты, стерва, ночевала?
Ты ж божилася, кляла́ся
Что. . . . . . .

У заборов пестрят многоцветные платки пограничных баб. Бабьи глаза из-под платков говорят многообещающим языком. Если политическое слияние России с Галицией не удалось, то гений рода, принимая во внимание настойчивое поведение Шкиры, вероятно, не останется в проигрыше.

Из лесу доносятся похотливые взвизгивания

...Бонахи — огромная пограничная деревня, затерявшаяся в глухом лесу. В мирное время местные жители занимаются контрабандой и грабежом. Но с тех пор, как дело это перешло в руки цивилизованных народов, жители Бонахов изнывают от

безделья и делают вид, будто сеют, пашут и косят. Костюм у них русинский, язык польский, подданство русское, нравы готтентотские. Это — настоящие лесные люди, грязные и обросшие, как звери. Отсюда и самое название — Бонахи (бонах — дикий, некультурный, лесной обитатель).

Три мучительных неудобства здешней стоянки — блохи, отсутствие уборных и отсутствие столов. От блох мы спасаемся в палатках. Столы заменили собственными чемоданами, так что приходится писать, согнувшись в три погибели. Но отсутствие уборных бросается и в нос, и в глаза на каждом шагу, так как огромная деревня битком набита парками, обозами и резервными частями.

Трем дефектам нашей стоянки соответствуют три больших преимущества. Первое — дикий сосновый бор, пропахший хвоей и лесными цветами. Второе — почти первобытная простота. Платье носит один командир бригады, дабы его не приняли за простого солдата. У остальных все костюмные отличия стерлись. Третье — запрятанность от врагов земных и надземных. Аэропланы наведываются, но редко. Здесь мы совершенно невидимы ни сверху, ни снизу, ни с боков. Даже люди, стоящие друг от друга в двух верстах, никогда не встречаются и ничего друг о друге не знают. Вместе с удушливым запахом хвои и некультурного человека, сейчас в палатку врывается рев пушек и ровный, красивый звук гудящего мотора. Над лесом хищно кружится германский таубе, не внушая ни малейшего страха. Солдаты беспечно веселятся. Из разных концов несется потренькивание балалаек, и в воздухе висит разноголосая бойкая песня

Перед зеркалом стоят,
Рожу краской натирала.

Уморилась, уморилась, умори-ла-ся:
Я уморушка такая, уморю-шень-ка...

Это поют куряне под балалайку Звегинцева.

Чоботи, чоботочки мои
Придушили животочки ви мні —

звенит на другом конце высокий тенор Шкпры.

Развалясь на земле, офицеры играют в карты. Неподвижно

застывшие сосны источают одуряющий аромат скипидара и приторной горечи.

...Неожиданно все парки получили по 1.000 шраппелей. По диспозиции, привезенной вечером, на рассвете готовится общее наступление.

...Головной парк на рысях перешел в Былины. Идет сильный бой. По словам ординарца Отрюхова, наша дивизия захватила в плен этой ночью 12 неприятельских рот, два тяжелых орудия и 7 пулеметов. В другом месте Кромским и Переяславским полками захвачено в плен 700 человек, которые, по приказу начальника дивизии, якобы, все приколоты.

— Это вздор, — говорю я Отрюхову, — такого приказа не было.

Но солдатам хочется, чтобы успешное продвижение сопровождалось приколотыми немцами, и они упрямо отстаивают Отрюхова.

Вечер: пахнет медом, скипидаром, корицей, ландышем и множеством незнакомых сладких запахов. На темном небе, как огненные крылья, мелькают трепетные вспышки. Гулко гремят орудийные раскаты, повторяемые эхом. Солдаты ожесточенно ругаются с жителями, которые гонят кольями пасущихся лошадей со дворов.

— Я тебя погоню! Я тебя тесаком погоню, — покрикивает фельдфебель Гридин.

— Все пропадает, все погибает, города горят, — философствует Пухов, — а они пришли — разоряются. Травки жалко... Что теперь, зима? Или осень? Она — травка — через три дня нарастет.

— Разбишаки (разбойники), — визгливо кричит какая-то баба.

— Дай ты ей дрючком по голове, — ласково наставляет Гридин.

Понемногу затихают все шумы. Чувствуешь себя оторванным от всего мира и незаметно погружаешься в дрему.

...Просыпаюсь от пушечной пальбы. Усыхающий полумесяц высоко горит в небе. В разных углах громко откликается лесное

эхо. Линия звуков выгибается широкой дугой, замирая неслышно посредине и все сильнее сгущаясь по краям. Надрывистый бабий голос повторяет с диким отчаянием:

— Зломал геть кшок, дуббм зломал...

Солдаты хором отругиваются.

— Я тебя пужну, сволочь...

— Нехай гавкае, сука...

— Ишь, поляки проклятые; что турки, что поляки, это — один народ...

От бабьего визга и солдатского озлобления омерзительно-тяжело на душе. Одиннадцатый месяц изо дня в день на моих глазах повторяются эти сцены. Стало быть, так нужно. Без слез, матерщины, грабежей и побоев война так же немыслима, как без пушек и крови.

Хочется лежать неподвижно, ни о чем не думать и не выходить из палатки. Потому что за порогом палатки начинается какой-то больной, запутанный мир, отравленный солдатчиной и штыками. Я знаю, что там, где существует война, там нет и не может быть места человечности. Война ненавидит жизнь, безжалостно истребляет труд и уничтожает свободу. Оттого между людьми труда и войны существует вечный спор и вражда. Отчаянно ревут бонахские бабы, потому что перед ними встал жестокий вопрос:

— Для чего же мы строили ограды, рылись в земле, пилили, копали, резали, — затратили столько сил и труда? Для чего?..

Ожесточенно ругаются солдаты, потому что война внушила им ницшеанские мысли:

— Падающего толкни, города разрушай, деревни сжигай, посевы топчи, человека убей...

Противно и омерзительно то, что обе стороны правы. Правда разоряемых баб и правда разоряющих войск сплелась в один проклятый клубок, срослась и скипелась, как вонючий польский колтун этих гнилых лесов и болот. Воющая баба и разоряющий солдат, постоянно враждующие между собой и постоянно шагающие бок-о-бок, вот два неотделимых и непримиримых контраста, из которых сплетается война.

Б а б а рожает, работает, одевает, копит. Каждое собранное бабой зерно, каждая сотканная нитка, каждый прием, сберегаю-

щий бабью силу, ведут к накоплению человеческого труда и человеческих дарований и умножают досуг, уют и богатства, необходимые для процветания всего человеческого рода.

Солдат умерщвляет, разоряет, оголяет и жжет, Ни к человеческому труду, ни к человеческим дарованиям, ни к человеческой мудрости не прибавляет он ни единого зернышка. От культуры, от радостей жизни, от уюта и красоты он возвращается к первобытной палатке кочевника, к скучной, безрадостной казарме. Победитель — он живет чужим, уворованным благополучием. Побежденный — он грабит еще слабейших. Но убивая, сжигая и уничтожая, он, служитель смерти, заставляет рабски служить себе и гений и труд. Солдат насилует бабу. В этом и заключается вся противоестественная природа войны.

Грозная, страшная, истребительная война со всеми своими пушками, газами и летательными машинами родилась из противоестественного слияния науки с деспотизмом. Каждый шаг на войне представляет собой сочетание точно проверенных научных законов с железной розгой тюремного застенка. Своими завоевательными успехами война целиком обязана науке и технике. Но вследствие того истребительного, умерщвляющего начала, которое носит в себе война, чем сложнее технические усовершенствования войны, тем убыточнее ее победы. Война всегда бесчестный и расточительный грабеж; но чем победоноснее армия, тем разорительнее она для государства. В этом и заключается самопожирающая сила милитаризма. Банкир, отдающий свои капиталы на поддержание динамитной науки, становится на путь самогильотинирования — на путь величайшего разорения, не возместимого ни посредством контрибуции ни посредством грабежа оккупированных народов.

Я знаю, что средних путей война не знает. Либо с воющей бабой, либо с мертвой солдатчиной. И надо сказать открыто, что, живя в мечтах своей уединенной жизнью, я на деле — такой же вор и грабитель, как Гридин, Звегинцев и Старосельский. Вот отчего мне не хочется уходить из этой тесной палатки, где пахнет свежей травой и можно сделать вид, что не слышишь, как воют бонахские бабы.

...Обедаем молча на земле. Жарко, душно. Грохочут пушки.

— Может быть, и Румыния и Греция уже воюют, а мы ничего не знаем.

— И знать ничего не будем.

— Одичаем скоро, как наши хозяева.

— Попросить разве немцев, чтоб с аэропланов нам газеты бросали?..

— Много вы узнаете из газет...

И опять все покорно жуют и апатично прислушиваются к грохотанию пушек.

Минутами кажется, что вот-вот все встанут на дыбы и начнут вопить, и проклинать, и кусаться. Но человек со всем примиряется, а всего легче — с собственным разложением.

...Приехал ординарец Отрюхов, сообщивший новость:

— Наступление отменили, а над Белгораем летал ероплан, а на ём флаки каки-то: белый, желтый и красный.

— Что ж это за флаги?

— Говорят, на Аршаву опять итти хочет. А может к миру. Белый флак — мириться хочет с Россией.

— А другие флаги к чему?

— Рассее — белый: на замирение. Англии — красный: значит, не на живот, а на смерть. Франции — желтый: и так, и этак.

— Болтай чего, — смеются солдаты.

— Не свое рассказываю, — обижается Отрюхов. — Листы такие разбрасывал с ероплана.

Часа через два приехал адъютант из штаба корпуса.

— Что нового? — набросились на него.

— Решительно ничего.

— А что это за пальба была ночью?

— Подготовка к наступлению.

— Наступление? Какие же результаты?

— Наступления не было. Со слов инспектора артиллерии знаю, что сперва был отдан приказ: всей третьей армии перейти в наступление. С обеих сторон развили сильный огонь. Австрийцы не ожидали с нашей стороны такого нажима и понемногу начали подаваться назад. Но в два часа ночи получилась телеграмма от верховного главнокомандующего: отойти в исходное положение и прочно окопаться

— Чем объясняют в корпусе такое распоряжение?
— Говорят, что собираются дать бой под Варшавой.
— Под Варшавой? Не под Перемышлем ли?
— Не могу вам сказать, не знаю.
— А откуда у нас снаряды?
— Снарядов нет. В том-то и вся беда. В 14-м корпусе некомплект в 15.000 шрапнелей. В других корпусах не лучше.

..Получено странное официальное сообщение из ставки, сплошь посвященное описанию германских траншей на западном фронте. Офицеры недоумевают:
— К чему это?
— По-моему, — высказывает предположение Болконский, — это похоже на подготовку к каким-то совсем неожиданным шагам. Мы к таким откровенностям не привыкли.
— Что же вы предполагаете?
— А чорт их знает. Только здесь каждая фраза орет благим матом: караул! немцы непобедимы!
В конце сообщения скромно добавлено:
«Противник уже обстреливает форты Перемышля».
— Значит, Перемышль уже пал, — умозаключает Болконский.
— Чепуха! — беспечно заявляет Костров. — Варшавы не взяли и Перемышля не возьмут.

8

Отступаем на Гуциско.
...Остановились на фольварке пана Павловского. Хозяин — весьма разговорчивый поляк, лет пятидесяти. Спрашиваю:
— Пхел и плюсквов нима?.. [1]
Отвечает с изысканной иронией по-русски:
— Если вы в своих зарядных ящиках не привезли, то ручаюсь...
Комнаты светлые, большие. Стены увешаны героическими портретами. Сигизмунд III, Сапега, Костюшко, Ян Собесский.
— Кто это? — интересуются офицеры

---

[1] Блох и клопов нет?

— Славные вояки. Законные дети славы. Было время, панове, когда и Польша умела держать в руках боевой меч...

— Было, да сплыло, — заметил Старосельский.

Хозяин усмехнулся.

— Все, панове, сходит на-нет. Рим был — сошел. Польша была—сошла. Россия какая большая — и тоже может сойти...

— В какой мы губернии? — сухо осведомляется Старосельский.

— В Люблинской.

— А не в Холмской?

— Э, вы уже хотите устроить пятый раздел Польши? Довольно с нас четырех.

— А четвертый это какой?

— Как же: разделение Люблинской губернии на Люблинскую и Холмскую. Мои владения как-раз находятся в двух верстах от Холма и в двадцати шагах от Австрии.

— Граница где?

— Вон тот лес есть граница. Там мое поле кончается.

— Пане, что нового? — спрашивает адъютант.

— Вы лучше знаете.

— А пантофлёва почта [2] что сообщает?

— Пантофлёва почта — наилучшая почта. Только за нее можно в Сибирь прогуляться. Под конец дней не хотелось бы...

— Не бойтесь. Говорите, что знаете.

— Вас я не боюсь. Вы человек правдивый «от цалаго сердца». Это по глазам видно. Но сказать — не скажу.

— И о Перемышле не скажете?

— Раз вы сами знаете...

— Знать-то знаем. Но какие форты заняты?..

— Восемь фортов. И я думаю, что теперь вас за Сан заманивают...

... Пан Павловский неотступно ходит за нами по пятам. Он очень словоохотлив. Любит пошутить. И чрезвычайно интересуется нашими дальнейшими планами. Иногда он ядовито подтрунивает над Россией.

— Что вы нас караулите? — говорит Старосельский.

[2] Пантофлёва почта — обывательские слухи.

— Я долго жил как отшельник. Я да сын. Жены у меня нет. Старая бабушка тоже умерла. Теперь я единственный человек во всем божьем мире... Ну, мне приятно побывать в обществе людей, имеющих дело с лошадьми. Это мне напоминает то время, когда я тоже держал в руке хлыст...

— Что-то вы очень много разговариваете, — роняет сквозь зубы Старосельский.

— Хорошие вы люди, господа офицеры. Дай вам бог, чтобы вы сто лет жили. Как у нас говорят: сто лят, сто хат, злата бечка, сын и цурэчка... И чтобы германцев прогнали. Но еще лучше было бы, если бы вы лошадей не пасли на моих лугах. Вы уйдете, а нам голодать придется.

— Пустяки. Урожай соберете.

— Ой, нет.. Жито совсем плохое. Сеяли когда? Когда вы ушли за границу. Перед самой зимой. Пахали как попало. Остается только добровольцем в армию записаться. Знаете, — сказал он, лукаво прищурив глаз, — я бы продал все имение, внес бы тысячу рублей на «Красный крест», только бы мне предоставили место командира парка.

— Командира парка? Разве в парке так хорошо служить?

— О, я насмотрелся на парковых командиров. Есть, конечно, единичные чудаки, которые за все, что берут, платят. Но другие приходят и говорят солдатам:

« — Позаботьтесь о лошадях!..

«Тут проходил такой. Его фамилия Капчук. Я записал его фамилию себе на память. После войны я напечатаю. Не только я, мы все опубликуем... Было у меня и клевера и овса вволю. Он все забрал. Двое суток кормил 400 лошадей. Потом позвал меня:

« — Вы хозяин?

« — Мое шанование пану. Я хозяин.

« — Ваш клевер?

« — Был мой. Вы взяли.

« — Сколько вам?

« — Вам лучше знать, сколько съедают ваши лошади. У меня в каждой вязанке по 100 фунтов. Будем считать по 40.

« — Что там считать! Получите 25 рублей.

« — Это вы мне на чай даете? 25 рублей за 200 пудов клевера?

« — Не угодно? Не надо».

— А расписок не требовали?

— Зачем? Расписки писал Карголь. Он на 25000 расписок выдал. Он по-русски подписываться умеет. И с печатью войта.

— А войт соглашался?

— Войта нет. Только печать войта есть.

— Как так?

— Так. Взяли у меня три пары лошадей, три воза, сено брали, клевер, овес. Карголь давал расписки. Ах, как бы я хотел быть командиром парка!

— Хлопочите у командира бригады.

— Можно, положим, и другое. Хорошо бы было, если бы мне дали строить дорогу до Белгорая.

— Какую дорогу? Железную?

— Нет, не железную, а деревянную. «Гостинец» [1]. Здесь есть десятский, который за работами наблюдает. Три месяца тому назад, приступая к постройке дороги, он был худой, как щепка, и при встречах со мною торопливо сдергивал шапку и, кланяясь до земли, уже за десять шагов кричал:

« — Моэ шанованье пану Павловскому».

«А теперь у него живот — вот такой. Идет прямо на меня. А когда я снимаю перед ним шляпу, он еле-еле цедит сквозь зубы:

« — Дзень добрый.

«На прошлой неделе я его спрашиваю:

«— Что, пан десятский, к осени вы дорогу достроите до Дериляк?

«Так он потом сотского спрашивал:

«— Что этот помещик не политический? Что-то у него язык чересчур бойкий».

— Пройдемтесь завтра по «гостинцу» на шпацир. Вы увидите 60 человек работают. Одни рубят, а двадцать в носу ковыряют. А получают по рублю в день. Бабе 60 коп. платят. Когда любой мужчина за 40 копеек пойдет да еще в руку поцелует. Работали те же люди у австрийцев: четверо пилят, четыре бабы землей засыпают. За день 12 человек две версты прокладывали. А у нас 60 душ работают и за день, дай бог, если 15 саженей

---

[1] То же, что жардиньеры.

проложат. А почему? Спросите у инженеров, из которых один живет в Люблине, а другой в Замостье, и оба ни разу не потрудились заглянуть в наши места... Узкоколейку от Белгорая до Холма знаете? В 10 миллионов казне обошлась. Окопы под Опатовым — от Сандомира до Ивангорода — вскочили в 7 миллионов. Видали вы их? Я тоже не видал. Читал — в газетах очень расхваливали. Австрийцы, говорят, прокламации в Опатове сбросили:

«Не беспокойтесь, мы сюда не придем. Пускай в этих окопах свиньи живут».

У Павловского 800 моргов земли — под клевером и овсом. До войны здесь было хорошо поставленное рыбное хозяйство. Разводились королевские карпы. В одном пруду их было свыше 60 маток, по 18 фунтов весом. Показывая нам свое хозяйство, Павловский не без горькой иронии говорил:

— Теперь прудов нет: их все спустили. Оставалось всего 163 коропа. Но... пришел две недели тому назад ваш головной парк, спустил воду и выловил всю рыбу до последней! Я не жалуюсь. Если победа останется за нашей армией, я готов простить ей и этот маленький подвиг... в числе других таких подвигов.

— А были еще другие?

— Как вам сказать? Пришли три солдатика с унтер-офицером и требуют:

« — Давай коров!

« — Нима, панове».

«Отбили все замки. Обыскали сарап. Нашли».

— Нашли?

— Да, нашли. Племенного быка и двух племенных телок.

«Показываю им записку. У меня штаб дивизии стоял, забрал весь скот и выдал записку, чтобы племенного скота не брали.

«Посмотрел унтер записку и давай молитвы читать. «Ах, ты такой да сякой, так-то и перетак-то твою прабабушку, австрияк поганый! У мужиков последнюю скотину берут, а у панов нельзя? Врешь!» Забрали. Ну, думаю, одно к одному. Коропов забрали, лучших маток в борщ положили. Так нельзя же к такому борщу мужицкую коровку. К племенной рыбе племенного быка. Только прошло это два дня — приходят опять два солдата:

« — Давай жеребят!

«Были у меня два жеребенка по полтора года».

— Ну и что же?

— Как что же? Слава богу, я здесь шестой год живу. Кругом сплошь контрабандисты. Попробуй сказать ему не так, сейчас хату спалит. Мы вежливое обращение отлично знаем.

— Отдали, значит, жеребят?

— Не отдал. Разве солдатам отдают? Забрали они жеребят и погнали в соседнюю деревню — в Куче: купи, мужичок, пару жеребят.

« — Как же я куплю, — говорит мужик, — если это жеребята помещика?»

Мы подходили к небольшому пруду. Павловский указал рукой:

— Вот тот ставок, где корона мои были.

— Как же их выловили отсюда?

— Придумали. Вырыли канаву, спустили воду. А потом вогнали штук пятьдесят лошадей. Те согнали рыбу в одну сторону и ее прямо руками выгребли.

— Ну, а австрийцы ничего не брали?

— Как шли сюда — ничего. А если брали — платили. Ну, а когда удирали в Австрию, похозяйничали так же, как наши. Меня, положим, совсем не трогали. Пришлось им, конечно, всю картошку отдать; и хлеб, разумеется. Потому что они голодные шли. Но скот не забирали. С ними у меня вышла другая неприятность. Приехали они к нам и принялись ставить свое начальство. В Кржешове нашелся дурак — согласился. Пришли ко мне. Жандарм из Кракова. Предлагает мне быть бургомистром.

« — Войдите в мое положение, — говорю я. — Я присягал императору Николаю, как же я могу служить Францу-Иосифу? Ведь это клятвопреступление. Я человек верующий. Я не могу нарушить присягу. Когда война кончится и победа останется за вами, — другое дело. А теперь не могу, господин ротмистр.

« — В первый раз встречаю такого рассудительного человека, — сказал он мне. — В таком случае скажите, кто по-вашему больше всех годится в бургомистры?

«Назвал я ему лесничего и ксендза. Он поблагодарил и пошел. Лесничего, к счастью, не оказалось дома. А ксендз, как и

следовало ожидать, заявил: я ксендз и по сану своему не могу быть бургомистром. Предложили органисту. Тот человек запойный, форменный алкоголик, согласился. Потом пришли наши. Все другие войты удрали, а он, дурак, остался. Мало того, он, как только войтом заделался, начал с крестьян три шкуры драть. Те и донесли на него. Теперь он в Сибири грехи отмаливает: на шесть лет угнали».

— Поделом, — говорит адъютант.

— Эх, господа! — неожиданно вырывается у помещика. — А сколько народу безо всякой вины повесили! В Краснике — бургомистра и учителя. Знаете за что?.. Вошли австрийцы. Краковский польский легион. С национальными флагами. С пением польских песен. Бургомистр и учитель поднесли им цветы. Только всего. А их за это повесили.

— А зачем цветы подносили?

— Я, панове, политикой не занимаюсь. Я считаю, что надо служить той стране и тому царю, где тебя хлебом кормят. Но если бы вам запрещали говорить и петь по-русски и пришли бы люди и запели по-русски ваши любимые песни, вы бы тоже поднесли им цветы.

На прощанье пан Павловский, плутовато прищуривая глаз, медленно процедил:

— Если этой ночью стрельбы не будет, то значит вы долго прогостите у меня.

— А если будет?

— Значит, вы пойдете... вперед.

— Или?

— Или... назад.

...У нашего пройдошливого хозяина такой же пройдошливый сынок. Ему двадцать лет. Вертится он все время среди солдат, расспрашивает, обучается у них игре на балалайке и интересуется названиями и номерами всех соседних дивизий. Не отходит по целым часам от телефониста. Все пристает к нему, чтобы тот узнал, что с Перемышлем.

— Ну что же, узнал? — спрашивает адъютант.

— Узнал точно. Западные форты уже заняты неприятелем Восточные с трудом держатся.

— Ну, смотри, не болтай, — говорит адъютант. — Никому не говори: ни солдатам ни жителям.

— Никак нет, никому не скажу. Только этот панок хозяйский сам знает. Через меня проверку сделать хотел.

— Откуда ж он знает?

— Говорит, пленных австрийцев гнали, так они солдатам нашим сказали: пришла австрийская телеграмма, что Перемышль опять забрали; велели «ура» кричать.

— Ну и что же, кричали?

— Так точно! Вчерась на позиции говорили: австрийцы всю ночь «ура» кричали, а в атаку не шли.

...По нашим военным картам Гуциско расположено в 6 верстах от позиций. Но пан Павловский наставительно говорит нам:

— Не советую, панове, переходить вон за ту линию.

Действительно, снаряды почему-то ложатся довольно близко от нас. Два снаряда разорвались верстах в двух от дома. Разрывы слышны отчетливо. Доносится и ружейный огонь.

Поздно. Ночь темная. Луны нет. С земли доносится мирное всхрапывание солдат.

На рассвете проснулся от непонятного шума. Привычным ухом анализирую звуки. Дробно постукивают по жардиньерам артиллерийские повозки. Идет понизу непрерывно цокающий гул: это позвякивают зарядные ящики. Едва уловимое упругое гудение шмеля, льющееся сверху, как шум далекого водопада, принадлежит, конечно, аэроплану, уже летящему с утренним визитом. Но все это растворяется в каком-то странном шуме. Казалось, множество молотящих цепов со свистом ударяют по каменному полу. Молотьба отчетливо раздается где-то совсем близко. Потом неожиданно в этот шум ворвался пушечный выстрел. Один, другой, третий. Стало ясно: по всему фронту шла ружейная пальба пачками. Под это прерывистое постукиванье я снова уснул. Было часов семь, когда мимо меня пронесся наш хозяин и на ходу погрозил мне пальцем:

— Надо еще спать... Неизвестно, можно ли будет выспаться завтра.

Через минуту пан Павловский уже сидел в нашей палатке и блистал своею осведомленностью. Он, действительно, знает че-

ресгур много для человека, стоящего вне армии. Он знает, где расположены парки, сколько их, сколько осталось в Янове, в Белгорае, в Шебершине. Называет по номерам все дивизии, проходившие через Гуциско. Навязывается с беседами и стратегическими соображениями. В суждениях он смел, проничен, как будто чуть провоцирует на свободные разговоры. Но в то же время осторожен и фальшиво подыгрывается то так, то этак. В доме у него наш телефон. От штаба дивизии какие-то охранные записки. Похоже, будто это наш собственный шпион. Но возможна и обратная версия. Со мной он особенно любезен и, глядя мне пристально в глаза, говорит очень вкрадчиво:

— Вам я скажу такое, что вчера при них сказать не хотел. Вы думаете австрийцы действительно грабили? Ни зерна. Брать-то брали, но за каждую травку платили, за каждый кусок хлеба давали деньги. «Мы даром не хотим, мы не нищие, а солдаты», — говорили они нам. Шесть недель прожили они тут. Вы понимаете, я не немец... Но я бы хотел, чтобы они всю жизнь не уходили отсюда. Многие капиталы успели нажить за эти шесть счастливых недель. Клянусь вам богом, мы теперь живем только тем, что получили от них. А наши? Грабители! Мародеры! Скажите сами: разве это хорошо? Выпасли весь клевер у меня на лугах и полушки медной не заплатили. Дрова жгут. Я им ничего не говорю, я даю... Попробуй не дать! Но я ведь заплатил за эти дрова сто рублей зимою. Я для себя готовил.

— Скажите, пан Павловский, что вам дает такую смелость так откровенничать со мною?

— Мое высокомерное самомнение, пан доктор. Я же крепко уверен, что в прекрасном саду божием есть еще хорошие люди... А хотите знать, что рассказывает пантофлёва почта?.. Пантофлёва почта рассказывает, что Перемышль уже пал и что там взята в плен масса русского войска...

Пан Павловский присел ко мне на постель и зашептал доверчивым голосом:

— А слыхали вы, как на рассвете жаворонки свистели?

— Какие жаворонки?

— Те самые, после которых на полях остаются окровавленные головы... Знаете, что это обозначает? Вас теперь заманивают за Сан. Пальбу слыхали? Это наши стреляли...

— Извините, пане. Я, признаться, совершенно не понимаю, кого вы разумеете под «нашими» — русских или австрийцев?

Пан Павловский лукаво рассмеялся:

— Ей-богу, пан доктор, вы-таки шельма: я сам, сказать вам по совести, не знаю... Но на этот раз—русские. Это ваши войска строили под огнем мост через Сан — влево от Рудника. Сегодня будут строить мост направо от Рудника. Австрийцы не стреляют.

Пан Павловский сделал загадочную паузу.

— А почему они не стреляют? Дают нам (или вам) достроить мосты. Дадут построить еще четыре моста. А потом, когда наши войска перейдут, они своими тяжелыми дальнобойными орудиями разобьют мосты и прижмут вашу армию к Сану. Теперь они уводят за собой всех жителей, даже малых детей, собачки не оставляют. Забирают скот, лошадей, птицу. Говорят, готовят кладбище для русской армии.

— Откуда это у вас такая завидная осведомленность?

— Откуда — вы не спрашивайте. Если хотите знать, то за три недели до вашего отступления из Галиции, нам уже передали, что здесь скоро будет русская армия. Мы смеялись, а оказалось верно. Они хотят теперь, чтобы вы перешли за Сан и сами перетащили всю свою артиллерию, обозы и парки к ним. Когда мосты будут уничтожены, вам поневоле придется все оставить у них.

— А потом что?

— А потом они пойдут в Люблин, заберут Варшаву. У нас тут поговаривают, что дорогу вы строите для их тяжелых орудий, чтобы германцы могли подвезти их под Варшаву... Вообще, я думаю, что т а м вы не будете, куда теперь собираетесь. Т а м скоро австрийская кавалерия будет...

— Не запугаете, пан Павловский!

И вдруг из темных архивов памяти вынырнула моя львовская Кассандра. Припомнился тихий вечер, миловидная женщина с задумчивым голосом, великолепные белые лебеди на озере Фильстер и загадочное пророчество: вы в Тарнов не попадете, там наша кавалерия будет... Как это я до сих пор ни разу не вспомнил о ней?..

— А вы во Львове бываете, пан Павловский?.. На улице Шептыцкого, № 89?..

Пан Павловский изумленно посмотрел на меня, сделал обиженное лицо и торопливо приподнялся.

— Да, конечно, — спохватился он, — это так болтают. Это же все пантофлёва почта. Но один день удачный—и все повернется по-другому.

«Из стратегических соображений наши войска покинули Перемышль», — гласит официальная сводка.

— Напрасно мы так церемонились с галицийскими жителями, — свирепо ворчит Старосельский.

— У меня вестовой поляк, — угрюмо подтверждает Калинин, — он говорил мне, что все они — и те, что будто бы за нас, и те, что против нас — одна шайка. И пан Сикорский, которого мы так облагодетельствовали, не лучше других.

— В тысячу раз хуже! — яростно подхватывает Старосельский. — Это такой прохвост, которого давно бы надо повесить. Мы должны поступать, как немцы. Заняли какую-нибудь область — моментально истребить всех жителей до последнего, сжечь все дома, чтобы на сто верст кругом ничего не осталось. Вот тогда бы они почувствовали, что значит война. Тогда бы они не пожелали больше с нами воевать. Перестали бы шпионить. И от одного имени нашего падали бы в обморок. Только так с ними и можно. Истребить всю нацию, чтобы ни одного не осталось!

— Это уж прямое покушение на пана Павловского, — шутит Болконский.

— Явный шпион! — восклицает Старосельский. — Чего мы с ним церемонимся? И слуга у него австриец, «случайно» застрявший в России за неделю до объявления войны. И бывает он, этот Михал, то на этой, то на той стороне Сана. Погодите, он еще у меня затанцует, этот немецкий прихвостень. Я ему покажу!..

9

...Опять в зарядных ящиках ни одного снаряда. Опять наседают немцы. И в штабах опять занимаются сочинением трагических анекдотов на тему о еврейском шпионаже. Анекдоты один другого нелепее. Но это не мешает преподносить их в форме официальных приказов, из которых некоторые носят характер

самых наглых и беззастенчивых наветов. Грязные штабные повара даже не надевают перчаток, выкладывая на патриотические блюда свою юдофобскую стряпню. Сегодняшний приказ, например, циничнейшим образом заявляет, что для утверждения своих шпионских замыслов, хитроумное племя иудеев умудрилось склонить на свою сторону... казаков. За одну золотую пятерку, крепкое патриотическое казачество изменяет «славным» юдофобским традициям своих отцов и передается на сторону галицийских евреев.

«При переездах с места на место, евреи-шпионы прибегают к содействию наших казаков, платя им по 5 рублей за телегу (рыночная цена нашего казачьего патриотизма в точности известна всеведущему разведывательному бюро). Таким образом, шпионы переезжают под прикрытием наших же солдат».

«Замечено, — продолжает свои «секретные разоблачения» приказ, — что австрийские шпионы, — преимущественно евреи, действующие в тылу нашей армии, — в переписке именуют Россию «тетей Рузей», а Австрию «сестрой Эстер». Указывая, где наши войска и сколько их, они пишут: тетя Рузя живет теперь там-то и живется ей хорошо (если сил много) или здоровье ее плоховато (если сил мало)».

Далее в приказе сообщается, что разыскивается житель Сувалок Иван Гурский, оказывавший все время содействие немцам, давая им сведения, у кого из окрестных жителей имеется фураж, скот и лошади. И под конец называется прапорщик Вильгельм Аменде, который был на излечении в госпитале, заподозрен в шпионстве и скрылся.

— Ну, что это? — пожимает плечами адъютант. — Сколько месяцев мы странствуем по Галиции и по Польше, можем ли мы припомнить хоть единственный случай, когда казаки или солдаты возили с собой евреев?

— На том основании, что мы не видали, нельзя еще говорить, что этого нет, — злобно заявляет Старосельский.

— Почему же? — насмешливо спрашивает Болконский. — Когда речь идет о шпионах-поляках или немцах, всегда называются определенные факты и определенные имена. А обвинение против евреев носит постоянно какой-то голословный характер: неизвестного звания ноги, обутые в чулки со стрелками; еврей-

ские пальто с золотой пятеркой под вешалкой; переодетые казаками старики и тому подобная чепуха.

— Мы не адвокаты, а офицеры, — по-командирски бросает Старосельский. — Мы не имеем права относиться с недоверием к словам своего высшего начальства.

— Ах, забодай его лягушка, — иронически почесывается Гриценко и тихонько напевает сквозь зубы модную офицерскую частушку:

... А штабы, как мухами,
Сплошь набиты слухами...

...Немцы наседают. Унынием охвачена армия. Даже солдаты загрустили. Не поют, не смеются. Сегодня из Люблина приехал фельдфебель 1-го парка Удовиченко. Толковый и рассудительный хозяин. Бывший приказчик в имении Терещенка.

— Ну, что слышно на белом свете?

— Ничего... Плоховато.

— Чем так?

— И там отступили. Отдали Кельцы. Всю Келецкую губернию оставили. Очищаем Радомскую губернию. Говорят солдаты: проиграли кампанию.

— Авось выпутаемся, — беспечно заявляет Костров.

— Да уж какое там выпутаемся! Рассудите вы, ваше благородие: всю зиму ничего не делали. А немец снаряды готовил, пушки лил. Как заберут у нас двадцать пушек—пополниться нечем. И сейчас: либо батарею долой, либо из каждой батареи по две пушки берем. Стрелять нечем. Ведь нам виднее, чем другим. За весь год — с 15-го года — у нас ни разу не было полного парка. Разведки не делали. У них каждый день с утра по три аэроплана постоянно вьются над нами. Им все известно. А мы спали, да с..... Ни окопов не делали ни снарядов не готовили. С жителями папькались. Наши господа офицеры этой сухой барыне, которой муж коровами торговал, и навоз возили, и огород раскопали, и поле засеяли. Для чего? Они все пронюхали, все разузнали — и сейчас своим: что да как. Чего там сыропиться на войне? Надо каждую щепку забирать, чтобы неприятелю не досталась. А церемониться будет время после войны.

— Ну, а если бы к нам неприятели забрались? Что бы мы сказали, если бы они все разграбили, пожгли и посли?

— На войне все страдают. Лучше нам теперь, что мы войну проиграем?

— Так не оттого ж мы из Галиции ушли, что мало жителей грабили.

— Церемонились много. Всех бы жителей из Галиции убрать надо подальше. Заставить их всех окопы делать, как они с нашими поступают. Срам один: пять месяцев на одном месте стояли — хоть бы тебе проволокой обмотались. Ничего. Ездили в Тарнов чай пить да гуляли с паненками.

— Теперь, вон, за ум берутся: от Сандомира до Варшавы — по всему берегу Вислы — окопы роют. Не тысячи, а прямо миллионы народу согнали. Все бабы больше. Глубокие окопы. Брусьями выложены, с бойницами. Только поздно теперь: проиграли мы кампанию. Говорят солдаты: они уж до Петербурга добираются.

...Душная, грозовая ночь. Из штаба приехал Базунов.

— Какое настроение в штабе?

— Превосходное: из Перемышля всех сестер сюда переслали и разместили по штабам.

— Что о Перемышле рассказывают?

— Говорят: Перемышля нет, одни только волчьи ямы остались. Да еще вот что: холера там ужасная свирепствует.

— Среди австрийцев?

— Нет, среди наших. Сотнями умирают. Верно, и немцы скоро оставят Перемышль.

За окном сереет фигура папа Павловского, который жадно прислушивается к тому, что рассказывает командир. Заметив, что на него смотрят, он садится на подоконник и начинает бравурно рассказывать, какую услугу он оказал командиру гвардейской артиллерийской бригады, сообщив ему, где расположены австрийские батареи.

— Это ж вы для себя, а не для нас делали. Вам за это дают автономию. Мало вам, что ли? — говорит иронически Базунов.

— Обецàнка — цацàнка, а глупэму радость...[1] Не-е, я ста-

---

[1] Обещанье — игрушка, а глупому забава.

рый воробей — на обещания не особенно полагаюсь... Каждый собье — жэпку скрдбье,[2] каждый старается кусок репки угрызть. Вильгельм себе, Россия себе, Австрия себе. Пока от репки ничего не останется. Вы загляните в мой портфель, чего там только нет: расписка австрийская, расписка венгерская, расписка немецкая, расписка польская, расписка русская. Все обещают: после войны получите. А если я с голоду помру? Если мне сейчас жить нечем? Если ваши солдаты последнюю горсть муки из амбара украли?..

...Неожиданно получили пачку газет от 28 мая. Сегодня 30 мая. Значит, самые свежие новости. Все погрузились в чтение, даже Павловскому достался номер газеты. Весь сияя нескрываемой радостью, Павловский неожиданно вскрикнул:

— Теперь я больше ничего не хочу!

— Чему вы обрадовались, пан? — подозрительно спрашивает Старосельский.

Пан Павловский забегал глазами.

— То я так...

Старосельский стукнул кулаком по столу.

— Ты, пан, со мной не шути! Может, мы уедем отсюда, но фольварк тебе спалю!..

— Да бросьте его, ну его к чорту, — радостно замахал газетой Костров. — Читали? 8 тысяч пленных за один день, 45 пулеметов, 6 орудий. Чорт, как их контрапошат!..

— Ну, что с того, что пленные? — отозвался бледный Павловский. И видно было, что он ищет повода сорвать на чем-нибудь свою злобу за оскорбление. — Что с того, что вы взяли 6 подбитых орудий? Вы о том подумайте, что у них в руках вся Петроковская губерния, Калишская, Ломжинская, Полоцкая, Сувалкская, Келецкая, три четверти Варшавской. Это самые хлебные губернии. Они дают больше хлеба, чем вся Пруссия. Они забрали все сахарные заводы — от Сохачева до Границы. Теперь в завоеванной Польше сахар дешевле стоит, чем в России. Потом — Лодзь. Шутка ли: лодзинские фабрики вырабатывали сукно и полотно на всю Польшу и на пол-России. А другое такое

---

[2] Каждый цепко держит репку.

место — Жирардов — немцы разбили бомбами. В Белостоке были фабрики — Белосток тоже разбили. И еще не все: у нас в Домбровском районе самый лучший уголь. Знаете, сколько там было угля? На 2000 лет. А мы что забрали? Галицию: кшàки да пяски, пяски да багны (кусты да пески, пески да болота). Только под Львовом есть немного хорошей земли. Так еще неизвестно, панове, может-быть, еще... и ту заберут проклятые немцы...

— Замолчи ты, польская собака, или я тебе пулей глотку заткну! — яростно вскочил Старосельский, хватаясь за револьвер.

Павловский, понурившись, бледный, молча выскочил из дверей.

...— Вы еще не спите? — услыхал я голос Павловского. И последний украдкой вошел в палатку и поспешно задул свечу.

— Так лучше, — сказал он. — В темноте легче говорить правду... Вы знаете, чему я обрадовался в ваших газетах? Если там пишут, что плохо, значит — скоро Львов будет наш... Что мы не знаем? Через неделю у вас Львова не будет, а через две недели вы будете в Люблине.

— Откуда у вас такие сведения?

— Откуда? А вы сами не знаете? Пан Павловский не глуп. Я не хочу, чтобы меня повесили, как двух ксендзов из Деряляков или как рàббина в Янове. Я молчу. Но я все вижу. Дай вам бог так увидеть свой дом, как это будет. И слава богу! Вас я не боюсь. Я вам скажу, что думаю. Вы хотите пановать по всей Европе? Если вы теперь разобьете немцев, то через пять лет полезете на французов, на Англию. Вы всю культуру в Европе сотрете с лица земли. Вы ж монголы! Дикая орда!

— Вы и меня причисляете к Старосельским?

— Вы — нет. Но кто меня сделал нищим? Кто разорил меня на 20000? Я теперь бедняк, ничего не имею. Но чорт с ним! Я лучше буду милостыню просить в Австрии, чем жить с вами... Я не боюсь, я говорю вам всю правду. Можете меня повесить. Мало вы перевешали стариков? Пускай еще один будет...

Павловский замолчал, прислушался и продолжал злобным полушопотом:

— Я старый шляхтич. Я не люблю прощать обиды. Я бы вас всех отравил, как бешеных собак... Я знаю, вы и прапорщик Болеславский и прапорщик Болконский — вы хорошие люди. Но разве можно быть в России хорошим человеком? Поляки были хорошие, честные, благородные люди. В Австрии они такими остались. В Германии они — люди. А в России они такие же монголы, как вы. Подлые, несправедливые.

— Значит, вы нас и за людей не считаете?

— Это же не люди. Простые люди — очень хорошие. Но они же ничего не понимают. Хамы, свиньи, злодеи. А ваше начальство хуже всякой скотины. Россия тогда хорошая страна, когда ее бьют. Когда вам всыпят в надлежащее место, это будет счастье для вас.

— А немцы, по-вашему, лучше? На войне все одинаковы.

— Ой, нет, мой дорогой доктор! Я не говорю о том, что мне платили австрийцы по 120 рублей (не крон, а рублей!) за корову, а теперь я всю ночь должен прислушиваться, не отбивают ли ваши солдаты замки у стодолы? Не подожжет ли меня Старосельский? Это бог с вами. Немцы — совсем другие люди. Да мы же все учились порядочности у немцев. Это в ваших газетах пишут про немецкие зверства. Так это клевета, поклеп. Мы же знаем всю правду. Куда пришли немцы, там люди чувствуют себя в полной безопасности. Там не валяются под ногами расстрелянные евреи. А где вы — там разбой, пожары, потравы. Что вы сами не знаете? Мне надо вам объяснять?..

— Значит, вы хотите, чтобы Россия была разбита?

— Мне не надо хотеть. Вы уже разбиты. И, слава богу. Россию надо стереть с лица земли.

— А любовь к ближнему, пан Павловский?

— А вам можно кричать, что вы хотите растерзать на части Австрию? За что? Что она вам сделала? Прекрасная страна, где человека не спрашивают, кто ты: поляк, еврей или православный? Всем дают одинаковые права. Живи, работай, учись! Я видал, были здесь офицеры австрийские: и поляки, и венгры, и евреи. Да, да: евреи. Всех уважают. А у нас — был тут один еврей, старый, бедный, так я его две недели в погребе прятал, чтобы ваши казаки его не убили. А раз вечером он вышел из погреба, и больше мы его уж не видели...

— Ну, а что будет, если мы все-таки разобьем Австрию?

— Чем? Пяском (песком)? В ящиках пусто!. Хе-хе-хе... А солдаты у вас есть? 70-я дивизия пошла, а назад много вернулось? — Скоро ваши солдаты поймут. Не бойтесь. Не захотят, чтобы их резали, как скот. Да где ваши солдаты? В могилах. У вас остались дядьки.

— А у немцев?

— Там идут с целым сердцем, с величайшей готовностью, а у вас с понукой, по принуждению.

— Однако ж и немцы не торопятся сделать вас гражданином Австрии?

— Немцы действуют осторожно, но верно — langsam, aber deutlich. Как только заберут Львов, вам не дадут застаиваться. Не думайте, что Львовом все ограничится. До Киева доберутся... Да, да. Научат вас жить по-человечески! Ведь у вас после войны такая революция будет!.. Всю бюрократию вырежут... Не верите? Вспомните старого Павловского. Нам за австрийцами, а вам в России легче станет. Пора, пора вам перестать быть монголами.

— А вы не думаете, достопочтенный пан Павловский, что революция может перекинуться и в Австрию?.. Вам этого, кажется, не хочется?

— Скажу вам правду. Я бы хотел, чтобы было как раньше. Сан — граница. Я бы продавал свой овес и клевер в Австрию. Приезжал бы Яковлев, начальник пограничной стражи. Мы бы покупали венгерское вино у контрабандистов по рублю бутылка. Играли бы в карты с богатыми лавочниками из Кшешова.

— С какими лавочниками?

— С батюшкой и с ксендзом. Это ж тоже лавочники. Каждый хочет, чтобы в его лавочку больше ходили и рубли ему давали... Я хочу, чтобы всем было хорошо: и полякам, и русским, и евреям. Чтобы не спрашивали: а какого ты вероисповедания? римско-католического? так ступай к чорту!..

Гремели пушки. Чуть брезжил рассвет. Утренний ветерок похлопывал полами палатки. Павловский встал.

— Добра ноц, пане доктоже! Спокойной ночи. Дай вам бог вернуться благополучно домой. А через недельку вас здесь не будет.

...Ночью получен приказ о спешном отступлении. С раннего утра солдаты второго парка громят Павловского. Отбивают замки, заглядывают в погреба, шарят по чердакам. Где-то нашли мешок рафинаду. Свели племенную телку. Спустили воду в прудах и доловили последних карпов. Выкашивают остатки травы на лугах. Старосельский со злорадной улыбкой громко командует солдатам:

— В каждую щелку заглядывайте. Чтобы ничего не досталось австриякам.

Павловский, бледный как смерть, не произносит ни слова.

Наконец, все уложено, упаковано, и адъютант, вскочив на своего першерона, отдает команду:

— На коней!

Парк, звеня и качаясь, медленно тянется по песку мимо разграбленного фольварка. На крылечке стоит пан Павловский.

Вдруг он весь задергался, затопал ногами и закричал неистовым голосом:

— Розбить, пся кров, жѐбы знàку не было!... [1]

— Ну-ка, ребята, приложись! — гаркнул свирепо Старосельский. — Заткни ему пулей глотку!

Никто из солдат не шевельнулся. Только прапорщик Растаковский, сделав полуоборот в седле, выстрелил из револьвера в воздух.

Павловский продолжал дергаться, как в эпилептическом припадке, и орал, потрясая кулаками.

— Ага! В ящиках пусто!.. Пяском, пяском шѐлять.. Рòзбить, пся крэв!.. Рòзбить, жѐбы знàку не было!.. [2]

Парк медленно удалялся.

Сквозь глухое постукивание колес по песчаному грунту еще долго доносились хриплые и надрывистые проклятия пана Павловского.

— Прощальный привет от благодарного населения, — иронически ворчал Базунов.

---

[1] Вдребезги, собачье отродье! Расшибить, чтоб и следа не было!..

[2] Ага! В ящиках пусто. Стрелять чем будете — песком? Вдребезги, собачье отродье. Разнести, чтоб и следа не осталось, сволочь!..

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

СДАЧА БРЕСТА

1915 ГОД

ИЮНЬ

1

Идем лугами и лесом. Земля испускает волны теплого аромата. В потухающем воздухе четко рисуются высокие, затихшие сосны. На цветы, на луга, на травы вместе с лучами заходящего солнца ложатся сверкающие росинки. Томным металлическим звоном рассыпается урчание жаб. Задумчиво посвистывают жаворонки. Мечтательно выкрикивают предзакатные чибисы. Солдаты украсили себя ландышами и колокольчиками и покрыли двуколки и зарядные ящики еловыми ветками. Даже в хвосты и в конские гривы вплели они зеленые листья.

— Вы слышите, чем пахнет? — потягивая носом, спрашивает адъютант.

— Пахнет хорошим отступлением, — отвечает Базунов.

Медленно впивая в себя пахучий воздух, адъютант мечтательно продолжает:

— Если бы это не было напыщенно, я бы сказал, что мне хочется думать о глубоком и важном... Но я человек бездарный, я не умею думать красиво.

— Вот помрем и рассыплемся в земле, — задумчиво откликается Костров. — Станем гнилью, развалинами прошлого, и никто не вспомнит о нас. От этих мыслей мне иногда становится страшно. Страшно, что это случится. И еще страшнее, что это может случиться сегодня, завтра, каждую минуту...

— А я бы хотел, чтобы мне было страшно, — говорит адъютант. — Но я даже представить себе не могу, что так

смерть. Может-быть, это тоже такая жизнь, как ночь, как сон. Вот посмотрите: прекратилась дневная жизнь, и наступил вечер, и такая нега кругом. Так и со смертью. Мы уснем, забудем о пушках, о людях, и для нас начнутся новые странствования в каких-то других, вечерних мирах... Я не умею сказать... У меня это выходит глупо.

— Нет, я понимаю вас, — успокаивает его Костров. — Но уж это будем не мы, не Валентин Михайлович и Аркадий Александрович... А я не хочу расставаться с самим собою...

— Слушай, чего тебе скажу, — доносится из солдатской гущи голос Пухова. — Вот рождаются люди, проживут сколько-то время, поспят в постелях... Только в разум войдут, а тут опять время в землю уйти...

— А еще мало этого, — подхватывает Семеныч. — Всякая тварь, которая, как родилась — так и жить начинает. Сразу. Покормится птенчик в гнезде—и уж до самой до смерти из одной мерки хлебает. Сам себе помогает. От другого не ждет. А человек без няньки весь век дураком. От другого ума себе ищет... И растет, и цветет, и в разум входит, а все в колыске, да на мамкиной жамке...

Издали показываются огоньки. Домов, повидимому, много. Но на карте здесь глухие леса.

— Подтянись! — раздается команда Кузнецова.

Подходим ближе: какой-то фольварк с верандой. На веранде появляются две женские фигуры.

— Аркадий Александрович! Накиньте тужурку, — подсказывают адъютанту.

— Чего ради?

— Культура требует.

— Все равно мы не культурные люди. Если убивать друг друга можно, то отчего нельзя ходить нагишом?

— Философствовать после будете. Одевайтесь.

— Вот чудаки, — упрямится адъютант. — Мы не стесняемся забираться в чужие дома, выселять целые деревни, а тут жарко, лето... Не хочу!

— Эх, — говорит Валентин Михайлович. — Если бы я был молод, красив и холост, как вы, я бы взял мандолину, подошел вон к тому освещенному окошку и пропел бы серенаду.

— И оттуда высунулась бы старая еврейка и побила бы вас кочергой.

Въезжаем в какое-то жалкое, покосившееся местечко. На завалинках сидят группами старые еврейки. В воздухе пахнет сиренью и яблоней. Все таинственно утопает в волнующем сумраке. Болконский останавливается среди улицы и кричит театральным голосом:

— Не вы ли люди донны Анны?

Из темноты, наполненной вечернею грустью, немедленно прозвучало в ответ:

— Никак нет. Мы из 163-й хлебопекарни.

— Вот и прекрасно, — решает Базунов. — Получим тут хлеб для бригады и заночуем.

Через местечко медленно тянутся большие фуры, битком набитые евреями и еврейками всех возрастов. На жарких перинах спят распаренные детишки.

Местные евреи окружают беглецов и пугливо расспрашивают. Какой-то проезжий казак, лениво размахивая пикой, лениво покрикивает:

— Отходи, жиды, отходи! Чего лезете!

Спрашиваю евреев:

— Куда едете?

— До Туробина.

— Зачем?

— Все едут.

— Вероятно, шпионить едут, — говорит сквозь зубы Старосельский, — Шпионская нация.

— Факты? — спрашивает адъютант.

— Я не знаю фактов. Но доводы есть. Доводы, заставляющие меня верить в еврейскую измену.

— Какие же доводы?

— Евреи в России бесправны, а в Австрии пользуются правами. Евреи на всем свете чрезвычайно солидарны между собой. У евреев, вообще, нет чувства привязанности к родине: они космополиты по природе...

— Одним словом, вся философия Пуришкевича. — улыбается адъютант. — А в ритуал вы тоже верите?

К соседнему окошку подходит группа раненых пехотинцев. Всматриваюсь в их усталые лица. Это все бывшие приказчики, повара, артельщики, сапожники, зажиточные мужики. О чем они думают? На их запыленных лицах нудная апатия, тускло освещенная еще неясно пробивающимся сознанием: спасен!

— Хлеба, слышь, не продашь? — спрашивает резкий голос.

— Нима.

— Неужто для раненого жалко? Ну, давай. Может, еще белого есть? Нет? Ни... у вас нет. Вы боитесь, солдаты вас разоряют.

— Нима, — робко уверяет хозяйка.

— Все пальцы, гляди, покалечило. А тебе хлеба жалко.

Из окна высовывается Болконский и обращается к раненому:

— Как же ты не понимаешь, что вас тут за день тысячи проходят. Где ж ей на всех вас напастись? У интендантства и то не хватает.

Раненые всей гурьбой подходят к нашему окошку.

— Сахарку не отсыпешь?

У окна вырастает Старосельский и сурово обращается к рослому чернобородому солдату:

— Ты куда ранен?.. По роже вижу: все самострелы. Палечники.

— Разве ж это мысленно? — отзывается чернобородый. — Кто ж это сам себе враг?

— И без нас довольно народу зря губят, — поддерживают его мрачно другие и плетутся дальше.

— Сахару жалко, — доносится издали чья-то едкая реплика.

— На коней!

Дневка кончилась. Снова идем лесами, песками и трясинами. На душе ленивая скука. Дует холодный ветерок. Накрапывает дождик. Ночуем в Гарасюках. На столбах развешены объявления:

«По распоряжению начальника штаба 14-го армейского корпуса разыскиваются:

1) Еврей по имени Генцель, извозчик, житель города Сосновиц.

2) Еврей Сымха Мошкевиц, житель города Бендина.

В случае появления в районе расположения войск вышеназванных лиц, с **вышеописанными приметами** (?), таковых обязательно задержать и препроводить в штаб армии для подробного опроса. Обер-офицер для поручений Бородин».

Спим в душной халупе. Охваченный непобедимой тоской, выскакиваю на свежий воздух. Пугает темнота, молчание ночи, и мучительно томит одиночество. Брожу по незнакомой деревне в ожидании рассвета. Вдруг гулкие шаги.

— Кто идет?

Молчание.

— Кто идет? — спрашиваю я грозно и инстинктивно нащупываю револьвер.

— Свои.

— Кто такие?

— Из телефонной роты.

— Куда идете?

Из темноты выступают три солдата с винтовками.

— Идем евреев сменять.

— Каких евреев?

— Приказано евреям-телефонистам итти на линию, а нам на их место.

— Где ж они, эти евреи?

— Не могим знать. В Гарасюках как будто.

— Где ж вы их ночью искать будете?

— Через контрольную станцию хотим запросить.

— О чем?

— Да где их искать евреев.

— Что у вас много лишних в телефонной роте?

— Никак нет. Совсем мало народу. Отдыху никакого. Как дежурство закончил, на работу выгоняют.

— На какую работу?

— Окопы делать.

Я продолжаю бродить в потемках и думаю о нашей страшной бестолковщине и запущенности. Три поколения полегли на галицийских полях, и за пять месяцев не было сделано ни малей-

шего усилия, чтобы закрепить за собою добытые с такими огромными жертвами места. И только по отношению к евреям всё начальство исполнено неутомимой старательности и с пылом святейшей инквизиции гонит их толпами на костры.

...Седьмой час утра. Двигаемся на Янов через Гройцы-Мамоты. День пасмурный и холодный. На душе ночная тоска. Безучастно плетусь за всеми и со всеми. Не интересуюсь ни разговорами ни новой сводкой. Мне все равно, что творится под тяжелыми колесами того помещичьего рыдвана, который везет на себе судьбы России.

— Ты с чего такой кислый? — ласково спрашивает Семеныч.

— Холодно мне.

— А ты к солдату поближе притулись, — с какой-то особой выразительностью говорит Семеныч, — он тя, как печь теплая, обогреет.

...В одиннадцатом часу передано срочное предписание штаба корпуса: «10-му и 14-му корпусу безостановочно отходить на рысях».

Началась невообразимая сутолока. Все волнуются, нервничают и робко вглядываются в лесную чащу.

— Еще отрежут, — бормочет Базунов.

Солдаты шутливо перекрикиваются с другими частями.

— А далеко теперь до Вены?

— Эх, жизнь! Ешь, пей и катайся!

— Пошла драть!..

Гул все увеличивается и превращается понемногу в паническую суматоху. Злобные выкрики. Кнуты. Ломающиеся оглобли. Команда, густо замешанная на матерщине.

— Куда прешь...

— Повод право, рас!......

— Держи влево, сволочь!

Обгоняя другие части, несется вихрем обоз штаба корпуса. И на каждой подводе лежат новенькие плетеные стулья и кресла.

— Где взяли?

— В Руднике, на фабрике.

В Гройцах какой-то воющий гул. По селению носятся казаки, сгоняя скот и людей. Из всех деревень приказано казакам угонять скот и уводить жителей от 17 до 55 лет. Бабы голосят, на колени падают, рвут на себе волосы. Спрашиваю рассвирепевших казаков:

— Что вы делаете?

Говорят:

— А нам что? Приказано! А кто не отдаст, — сжигать все хозяйство у тех.

— Отчего такая внезапность? — недоумевают офицеры.

Никто ничего не знает. Приказание получено из штаба армии: отойти, не задерживаясь, 10-му и 14-му корпусу.

— А другим?

— Неизвестно. И другим, вероятно, тоже.

Верстах в десяти от Гарасюков, перед мостом на Таневе необычное скопление всевозможных частей: драгуны, казаки, понтонеры, парки, подрывники, обозы. Впереди какие-то сигнальщики.

— Что такое?

— Приказано возвратиться на старые места.

— Как так? — удивляемся мы. — Ведь мы не дольше, как час назад получили экстренное предписание отходить па рысях до самого Янова.

— Да. До 12 дня шло спешное отступление. В Гарасюках стоял понтонный батальон, ему по тревоге приказано было спешно отойти. А теперь его завернули. Десять минут тому назад приехал штабной автомобиль и передал приказание коменданту Гарасюков:

«Останавливать все части 10-го и 14-го корпуса и возвращать их на прежние места».

— Да что вы не верите? — обижается офицер. — Здесь стояла батарея: ее двинули, а через полчаса вернули. Вот офицер приехал с саперной ротой — и ему приказано итти обратно. Можете, впрочем, справиться по телефону в штабе армии.

Минут через 5 адъютант получил подтверждение по телефону от инспектора артиллерии:

«Возвратиться... в Гуциско».

Костров торжествует:

— Видите, я говорил! Разбили немцев вдребезги!...

Он пускает вскачь своего иноходца, заворачивает все встречные части и кричит во весь голос:

— На старые места! Завтра вперед пойдем! Расколошматили немчиков!

По дороге встречаем священника из Кшешова. Он едет верхом из Дериляков. Вид у него усталый, растерянный. Неумело подпрыгивая на большой рослой лошади и хватаясь поминутно за гриву, он жалуется обиженным голосом:

— Эх, господа, господа! Отчего жителей не предупреждали раньше? В два часа велели собраться. Разве можно хозяйство собрать в два часа?

...В Гуциско приехали поздней ночью. Со всех сторон пылали пожары, широкими молниями сверкали выстрелы. Пан Павловский встретил нас на крылечке, как долгожданных гостей, и с притворным радушием пожимал нам руки. Но уже через 10 минут, сидя за кипящим самоваром, он бросал нам в лицо с нескрываемой злобой:

— Как не желать, чтобы Австрия победила! Разве вы люди? Вы — злодеи! Не успели скрыться ваши парки, как сюда ворвались солдаты и обшарили все углы. Потом прилетели казаки и стали обыскивать жителей, уводить скот, грабить все, что попадалось на глаза: одеяла, сахар, платки, кольца. В деревне поднялся такой плач и вой, что из пограничных сел присылали спрашивать, что случилось? Тут же стоял казачий полковник и палец о палец не ударил, чтобы прекратить безобразие. Под конец казаки объявили, что им приказано спалить всю деревню, чтобы ни одной плошки не досталось австрийцам. Пожар был назначен на сегодня ночью. И если бы вы не пришли, то, конечно б, спалили.

— Значит, мы принесли вам спасение, а вы встречаете нас, как врагов.

— За всю войну только вы и гвардейский корпус показали, что и русские способны быть благородными на войне. Но все остальные — звери! Никогда ни один австриец не позволит себе

того, что делали с нами вы. И пускай лучше все сгорит, но чтобы тут были австрийцы.

— А к вашему великому огорчению, — сказал Старосельский, — явились все-таки мы, а не австрийцы.

Павловский помолчал и сказал очень сдержанно:

— Вам лично я не враг. Но я вам должен сказать, что вы все равно уйдете. И очень скоро уйдете. Посмотрите, какое пламя: это горит Тарноград. Я даже не понимаю, для чего вас вернули? Вы ж попадете в плен, если этой же ночью не уйдете.

— Эге! Значит вы что-то знаете? Расскажите нам все, что вы слыхали.

— Чтобы вы меня повесили за это?

— Повесим мы вас не за это, а за шею, — усмехнулся Старосельский. — А вы все-таки докажите, что вы не австрийцам служите.

— Что сообщает пантофлёва почта? — хлопнул его по плечу адъютант.

Павловский лукаво улыбнулся:

— Мне син сдàе, же люди найвѐнькше клямон пшед шлюбем, пòдчас войны и по полёванью...[1] Болтают многое. Но я думаю, что... лучше бы вам сейчас же уйти.

— Отчего же и вы с нами не уходите?

— А что мне у вас делать в России? Хлоп без рòли, як слэдзь без сòли.[2] Ну, пожелаю вам спокойной ночи и благополучного возвращения к своим семьям.

Не успели мы разойтись по палаткам, как телефонист вызвал адъютанта и передал ему срочное предписание из штаба армии:

«Немедленно привести в исполнение первое предписание об отступлении».

— Значит, снова в дорогу? — спрашиваем мы командира.

— Надо ждать ординарца из штаба корпуса. Непосредственные приказания мы получаем от штаба корпуса, а не из штаба армии.

---

[1] Мне думается, что люди больше всего лгут перед свадьбой, после охоты и во время войны.

[2] Мужик без коня, как селедка без соли.

Ждем полчаса, час — ординарца нет. Павловский бледный и взволнованный говорит встревоженным голосом:

— На рассвете здесь будет австрийская кавалерия. Если вы сейчас не уйдете, вы попадете в плен.

Наконец, торопливый топот копыт — и перед нами на взмыленной лошади ординарец Отрюхов.

Наскоро вскрываем пакет. Что за чорт?

«Немедленно возвратиться на старые места. Если ж лошади устали, выступить обратно в Гуциско на рассвете».

Читаем и перечитываем предписание. Яснее ясного. Смотрим, когда отправлено? В 12½ ночи. А сейчас? Без десяти 2. Остается думать, что приказание армии относится только к 10-му корпусу, а 14-му надо оставаться на месте. Ну, значит, надо раздеваться и спать.

Снова расходимся по палаткам. При входе наталкиваюсь на пана Павловского:

— Пане доктоже, скажите вашему командиру, что через два часа вы будете в плену.

Иду к Базунову. Устраиваем общее совещание. Всем кажется странным, что защиту Сана вверяют одному тощему корпусу, состоящему из двух растрепанных дивизий: нашей — 70-й и 18-й.

— А не послать ли нам еще одного ординарца в штаб корпуса с запросом, не будет ли новых приказаний?

Сказано — сделано. Снаряжаем ординарца, тушим огни и ложимся в постели. Через двадцать минут прискакал встревоженный ординарец:

— Штаба корпуса в Былинах нет: ушел с час назад. Вся дорога запружена бегущими частями. Штаб дивизии сейчас проходит мимо Гуциско.

— Вот так фунт! Значит про нас забыли. Делать нечего: снимемся без предписания начальства.

В одно мгновение все было готово к выступлению, и парк вытянулся длинной грохочущей лентой.

Было три часа ночи. Небо было усеяно яркими звездами. На фронте мертвая тишина. Огненным заревом пылали кругом пожары, подчеркивая тревожное молчание ночи. То тут, то там вспыхивали за Саном зеленые (сигнальные) ракеты. Тело по-

еживалось — от утреннего холодка или от внутренней дрожи. Мы ехали шагом по глубоким пескам и делились предположениями:

— Опять, верно, ссорятся в штабах, — горячился Костров.

— А может быть, кто-то из командующих рехнулся, — соображает адъютант.

— Таких комических эпизодов еще не было, — ворчит Базунов. — Помилуйте! Экстренный приказ: удирайте. Через два часа: вскачь гоните на старые места. Еще через два часа: бегите сломя голову в Янов. Форменным образом — с ума сошли! А впрочем, послушаем, что скажут господа оптимисты? — бросает он в сторону Кострова.

— Я верю в победу. Конец венчает дело, — бодро откликнулся Костров.

...В Гройцах командира затребовали в штаб корпуса. Мы продолжаем движение на Янов. Тихо, тепло. В семи верстах от Янова устраиваем обеденный привал. Вдруг облако пыли, конский топот — и перед нами сам Ковкин, ординарец связи при штабе корпуса с пакетом от командира бригады:

«Приказано возвратиться на прежние места».

На лицах появляется злое недоумение. Нехотя заворачивают лошадей. Нехотя плетутся усталые лошади. И в растревоженной фантазии солдата мгновенно слагаются жуткие легенды:

— Тут пехотинец один проходил: в кольцо, говорит, попали. С двух фланков германец давит. Не уйти из этого лесу.

— Казак надысь сказывал: разведчики ихние заскочили.

Один Костров твердит с ликующим видом:

— Это их через Сан заманивали. А они не пошли, догадались. Теперь к себе возвращаемся, на наши места.

Проехали версты полторы. Снова облако пыли, снова гонец из штаба с новым приказанием командира:

«Остановиться и ждать моего распоряжения».

— Неужто опять в Янов? — с недоумением переглядываются офицеры.

Через час третье облако пыли—и из него показался на взмыленном коне сам командир:

— Назад в Янов!..

2

...Янов — чудесный польский городок с мощеными улицами, большими каменными домами, гранитными тротуарами, прекрасным костелом и обширным, «шикарным» кладбищем. В глаза бросаются каменные брандмауэры и трехэтажные дома.

Но камень не давит. Дома и улички утопают в зелени. Всюду скверы, каштановые аллеи и тополя. Всё, начиная от костела на одном конце города и кончая кладбищем на другом, дышит гранитным покоем и обеспеченностью. На лицах живых обывателей лежит такое же тихое довольство, как на граненых могильных памятниках роскошного яновского кладбища. Достаточно взглянуть на лица и бюсты яновских женщин, чтобы сразу притти к заключению: городок уютный, спокойный, солидный и любвеобильный.

Строили его поляки и евреи. Но населяют его, кроме проезжих парков, обозов и понтонеров, штабные офицеры, казаки, госпитальные врачи и сестры милосердия. Впрочем, яновские обыватели пока еще чувствуют себя хозяевами своих действий. Но уже не чувствуют себя хозяевами своих квартир. По указанию коменданта мы поместились в квартире молодого еврея, приятно поразившего нас отсутствием той обычной еврейской запуганности, которая так больно бьет по нервам во всех еврейских местечках. Без особенной робости он попросил у нас позволения переночевать вместе с нами, так как другого помещения у него еще нет.

— Пожалуйста, — ответил ему Базунов, — если вы сами не боитесь.

— Чего ж мне бояться? — удивился он.

— Видите, мы между собой будем разговаривать о наших делах. Потом мы уедем, что-нибудь случится, и вас могут обвинить в том, в чем вы совершенно не будете виноваты.

Хозяин внимательно выслушал, улыбнулся и сказал:

— Обвинить понапрасну всегда могут. К этому мы, евреи, привыкли.

Однако ночевать не явился.

...От Старосельского, командира второго парка, стоящего близ позиции в Выпалёнках, получено донесение:

«Прошу немедленно командировать врача бригады для производства телесного осмотра».

— Коновалов! Снаряжай своего доктора, — приказывает Базунов. — Старосельскому скучно в Выпалёнках, — вот он и выдумал производство телесного осмотра на рысях.

Едем в головной парк в Выпалёнки. Теплое солнечное утро. Движения почти нет. Изредка проедет крестьянская телега или несколько обозных повозок с дровами для хлебопекарни. Одни казаки и ординарцы снуют по всем направлениям. Тихо. Едем молча по песчаной дороге. Из лесу, с фронта несет едкою гарью: это горят подожженные снарядами сосны.

— Мабудь, [1] разобьють Росію, — медленно выгружает свои мысли Коновалов. — І чому воно так? Така здорова земля, а всі її бьють. Японьця не подужала. [2] Теперь скільки людей здря уложили... Великий до неба, а дурний як треба. (Велика Федора да дура.)

Поощренный репликой, Коновалов продолжает медленно нанизывать где-то глубоко залегшие мысли:

— Чи воевать, чи мириться — кругом плохо. Як замирять наши — тоді трудно буде жить. Як би його побили — все ж і мужику б легше...

— А чем легче станет?

— Може б землю нарезали...

— Это кто же тебе земли нарежет — Старосельский?

— А вже ж, [3] — смеется Коновалов. И задумчиво тянет:

— И откуда він набрався цього? Всяка орудія у нього э: й пулемети, й ероплани, й разни гази... Хитрущий німець!

Вдруг Коновалов тревожно вытянулся в седле и вскрикнул.

— Чего ты? — удивился я.

— Ваше благородие! Там австрійці на дорозі, з винтовками.

---

[1] Вероятно.
[2] Не одолела.
[3] Вот именно.

Я посмотрел вдаль.

На пригорке отчетливо виднелась австрийская пехота и блестело несколько австрийских винтовок.

— Должно быть, пленные, — успокоил я Коновалова.

— Та ні. Вони нашу дорогу ломають.

Действительно: слышно было, как стучат топоры и скрежещет железо.

«Странно», — подумал я. — «Ведь кругом шныряют казаки. Не могли же австрийские разъезды проскочить незамеченными».

Мы продолжали приближаться к загадочной группе. Человек сорок австрийских солдат, вооруженных пилами и топорами, но с винтовками за спиной, прокладывали бревенчатую дорогу.

— Кто такие? — обратился я к бородатому конвойному.

— Разведчики, — бойко отозвался молодой австрийский солдат. И тут же пояснил: — Мы русины.

— Когда пойманы?

— Вчера, — ответил он улыбаясь.

— Отчего же у них винтовок не отобрали? — спрашиваю я конвойного.

— Они без патронов, — беспечно отзывается конвойный, сидя на бревне.

— А если они тебя прикладом по голове хватят?

— Упаси бог! Они мирные.

Австрийцы весело рассмеялись.

Едем дальше.

Навстречу печальная процессия. Впереди два стражника. За ними длинная вереница возов, растянувшихся не меньше, как на версту. На возах беспорядочной кучей свалены подушки, бочки, макитры, самовары, кастрюли, горшки, корзинки, кожухи, полотенца и вперемежку с узлами и одеялами барахтающиеся детишки с серьезными личиками. У каждого воза плачущие бабы, угрюмые мужики, старые деды и бабки с трясущимися руками и сгибающиеся под тяжелою кладью на плечах. Мычат коровы, визжат поросята, блеют испуганные овцы.

— Откуда? — обращаюсь я к стражникам.

— Из Серикова. В штаб корпуса.

Лохматые, жалкие и растерянные, они идут как на заклание.

На их лицах застыла такая страдальческая мольба, что я стараюсь не встречаться с ними глазами.

— Им от всех достается, — вздыхает сочувственно Коновалов.

Версты через две навстречу нам другая такая же процессия — из Деряляков. Этой процессии конца нет. Я сворачиваю в Гуту Кжешовскую, где расположился штаб дивизии и головной перевязочный отряд доктора Шебуева. У въезда в деревню, на опушке леса натыкаюсь на большую толпу евреев, которые раскинулись табором — с детьми, подушками и запряженными возами.

— Откуда вас гонят?

— Нас не гонят, — отвечает с улыбкой молодая девушка, — мы сами идем.

— Куда?

— Из Гуты в Янов.

Шебуев в своем неизменном кожаном костюме, сверкая стеклами и лоснящейся головой, кричит мне с террасы лазарета:

— Здравствуйте, неутомимый искатель впечатлений! Однажды вы попадете под бомбу.

И с места в карьер разражается обличительной речью:

— А ведь про нас еще раз забыли. Если бы не случайный офицер, который сообщил нам, что 10-му корпусу приказано отступать, мы бы так и не дождались распоряжения. В штабе армии растерялись, и распоряжения о вторичном отходе мы добились только по телефону. Австрийцы уже наседали. От нас было послано приказание головному парку. А об остальных мы не подумали. Это дело не наше. Вами распоряжается корпус: инспектор артиллерии.

— Теперь корпусу не до нас: ему надо возиться с поросятами.

— А вы думаете нам не надо? Уже и за нами тянутся подвод двести.

— Кто их кормит?

— А бог их ведает. Приказывают собраться в полчаса. За два часа до отхода мы получили приказание — уничтожать и портить посевы. Как же это сделать? Скосить? Сжечь? Для всего нужны люди и время. Сегодня проезжали мы мимо такого дра-

матического транспорта. Вышла старая бабка, поклонилась в пояс Белову[1] и только два слова сказала:

— «Спасители наши!».

— Знаете, гибельная ведьма в бирнамском лесу, вероятно, не произвела такого впечатления на Макбета, как эта старуха на Белова.

— Ну, и что ж он?

— Ничего. Пыхтит и богу молится.

— И, конечно, запрещает говорить о мире?

— Какой там — о мире! О поражениях заикнуться нельзя. И не то что Белов — все до последнего пупсика такие. Не знаю, притворяются ли так искусно они или действительно убежденные дураки? Победим — да и только.

— Чем?

— Духом. Там, мол, уныние и пессимизм, а на нашей стороне дух армии и народа... Одним словом, должен вам сказать, что этот так называемый мозг армии — штабные — страдает полным разжижением мозга. Я ведь их наблюдаю все время. Они понятия не имеют о своем деле. Скугаревский[2] ткнул перстом на карте и приказал: построить уступами и баста. А на деле-то вышло так: залез он в долину. Австрийцы его в долину впустили и потом с двух высот взяли его под перекрестный огонь. Зато храбрости необычайной. И оптимизма — сколько угодно.

— Я знаю эту штуку, — вмешался ординатор Мигулаевский. — Это не идиотизм и не оптимизм, а полное равнодушие. Они не желают видеть правды. А на словах умышленно лгут. Ведь вы им не скажете того, что сейчас говорите нам. И другие не скажут. Все притворяются, как царедворцы. Так и создается этот фальшивый оптимизм на словах и абсолютное безразличие на деле. Их просто не трогают наши поражения, и оттого они недооценивают событий.

...Выпалёнки — красивая деревня в садах. По бокам леса. Гремят пушки и отчетливо долетает ружейная стрельба. Мед-

[1] Начальник дивизии.
[2] Командир одного из гренадерских полков.

ленно сгущаются сумерки. Выплыл золотой полумесяц. Загорелись звезды. Заиграли балалайки. Понеслась широкая песня.

— Надо их унять. Уж очень они разошлись, — раздражается Старосельский.

— Чего ради? Что у нас, панихида? — спрашивает Болконский.

— Лучше б они дышла не ломали, — огрызается Старосельский. — А то они, сукины дети, посреди дороги дышло сломали. Тут, можно сказать, австрийцы наседают, а они дорогу застопорили.

Спим под открытым небом.

Просыпаюсь чуть свет. Прямо над головой, звонко гудя мотором, низко плывет огромный аэроплан. Я смотрю вверх на черные кресты на крыльях и почему-то мысль об опасности не пугает. Наскоро одеваюсь и приступаю к телесному осмотру.

— Что я мальчишка, что ли, чтобы меня насильно доктору показывать? — сердито ворчит Жигалов.

— Обида и мне, и всему воинству православному, — посмеивается Никитин. — Перед всем народом штаны спускать.

— Что ты доктору докучаешь? Ты ему скажи. Тут ты смелой, а перед ним немой.

— Погоди, еще не так услышит...

И вдруг несколько голосов жадно набрасываются на меня.

— Не слыхать, ваше благородие, скоро по домам ехать будем?

— Что-то начальство не собирается. Говорит: надо немцев прогнать.

— Так точно: надо бы, да не поддается. Больно хитер.

— Дальше воевать — зря людей тратить.

А за чаем прапорщик Растаковский с большой авторитетностью говорил:

— Отдадим еще втрое больше нашей территории, до Москвы отойдем, если понадобится, но победа останется за нами. Главное — против нашего фронта большинство теперь словаки, поляки и венгры. Им не охота с нами драться. А наш солдат зубами в немца вгрызается...

В десять часов получено приказание отойти головному парку на одиннадцать верст.

...Возвращаюсь в Янов более короткой дорогой — по линии отходящей пехоты. Кучками плетутся раненые с помертвевшими лицами и сверкающими глазами.

Со всех сторон тянутся жители окрестных деревень. Они плетутся медленно, усталые и понурые, с узлами и котомками за плечами.

Две всхлипывающие бабы несут на одеяле исхудалого больного ребенка.

Каждую минуту лица меняются, но картины все те же: картины жестокой, нелепой, чудовищной войны. Люди, одним взмахом штыка превращенные из мирных, трудолюбивых поселян в бесприютных бродяг, скулящих и воющих, как бездомные собаки...

В Янов добрался ночью. Офицеры все в сборе. Костров, начиненный бочками оптимизма, рассказывает о победах союзников, о купленных нами японских пушках, о приближающихся сибирских войсках...

А через час шла оживленная игра в девятку, пересыпаемая обычными прибаутками:

— Бей ее по зубам!

— В кусты!

— Люби ближнего своего, когда он проигрывает.

— Гуртом и батьку бьют.

— Зри в карты ближнего своего, а в свои всегда заглянуть успеешь...

...В домах наскоро заколачивают ящики, забивают чердаки и каморы. Этот стук печально разносится по опустевшему городу.

У ворот толпятся кучки евреек. Они нервно жестикулируют и, скорбно покачивая головой, что-то горячо обсуждают.

По штабам бродит грозный призрак «шпионствующего еврея». Новый секретный приказ, разосланный по всем корпусам, так и составлен «с ручательством и гарантией» на любой рост и на любую еврейскую фигуру:

«В районе расположения наших войск бродит еврей, торгующий яко бы мелочью в разнос и вступающий в разговоры с солдатами... Приметы еврея: лет 35, рыжеватая борода, одет

в долгополое платье, на голове черная польская шапочка, на ногах старые и дырявые сапоги».

Секретный приказ предписывает изловить зловредного еврея в дырявых сапогах и представить в штаб армии. Начальник дивизии, тот самый генерал Белов, который, по словам доктора Шебуева, «только пыхтит да богу молится», в припадке христианнейшего милосердия наложил еще резолюцию от себя:

«Представлять и задерживать не только этого, но и всякого любопытствующего еврея».

Появление таинственного еврея в долгополом кафтане «в районе расположения наших войск» по обыкновению сказывается на армии: вслед за приказом о евреях следует приказ об отступлении.

Мы отступаем.

В последний раз огибаем Янов.

В розовых сумерках плавает ласковая свежесть. Сквозь купы гигантских тополей и лип выглядывают сияющие кресты церквей и костела. От молчаливых сосен, от высокой кладбищенской ограды и белых яновских стен струится тихий покой. Неугомонные жаворонки нежно допевают свои вечерние песни.

Кругом на десятки верст свирепо перекликаются пушки.

3

Уже четвертый час мы вдвоем с Болконским шагаем по глубоким пескам и тщетно допытываемся у случайных прохожих:

— Как добраться до узкоколейки?

Мы оба командированы в Люблин: я — за пополнением нашей походной аптеки, Болконский — за осями, которые доставлены из Киева в Люблин и никак не могут попасть в бригаду. По дороге из Янова нам на разъезде с уверенностью сказали:

— До станции? Отсюда далёко. Идите лучше в обход — там напрямик.

Парк движется на Холм. Мы рассчитали, что пока он дойдет до Холма, мы успеем съездить по железной дороге в Люблин, выполним все поручения и на обратном пути как-раз застанем управление бригады в Холме.

Идем пешком, налегке, запасшись только деньгами. Часам к двенадцати мы добрались до Красника. Спрашиваем, где тут узкоколейка. Нам отвечают:

— Идите лесом: версты три, не больше отсюда.

Идем добрый час. Надоело. Снова спрашиваем:

— А далеко до узкоколейки?

— Нет. Как в поле выйдете, версты три останется.

Вышли из лесу в поле. Идем полчаса, час. Встречаем железнодорожного сторожа:

— Где тут станция?

— Ступайте прямо до деревни, а там за деревней версты четыре, не больше.

Дошли до деревни. Встречаем обозного подполковника:

— Как добраться до станции?

— До станции? Отсюда далёко. Идите лучше в обход — там увидите издали большой санитарный поезд. Это и будет станция.

Поблагодарили и повернули в обход. Через полчаса увидали санитарный поезд и неподалеку от поезда станционный домик, утопающий в горячих песках. Входим. Внутри домика человек шесть молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. У одного в руках балалайка, а у другого посуда, мало похожая на балалайку.

— Кто дежурный по станции?

— Я, — отвечает балалайка.

— Как добраться до Люблина?

— До вчерашнего дня шел почтовый поезд из Развадова в три часа ночи.

— А сейчас почтовый поезд пойдет?

— Неизвестно.

— Как же добраться до Люблина?

— Лучше всего вам отправиться на разъезд № 6. Оттуда ходят воинские поезда через каждый час.

— А до разъезда далеко?

— Версты три.

Три версты оказались добрыми пятью верстами и все-таки привели нас к разъезду № 6. Здесь шла оживленная погрузка: вывозили грузы из-под Красника за линию окопов. Сновали игрушечные паровозики и пыхтя тащили за собою вагончики, нагруженные мешками, сеном и всякой кладью.

27*

Мы подошли к вагону, изображавшему станцию, и обратились к прапорщику с университетским значком, изображавшему начальника станции:

— Как добраться до Люблина?

Прапорщик ласково улыбнулся, подумал и сказал беззаботным голосом:

— Подождите до завтра. Сегодня вряд ли найдется поезд.

Но, взглянув на наши растерянные лица, любезно посоветовал:

— Вам бы лучше на станцию пойти и дождаться почтового поезда.

— Покорно благодарим. Мы уже там были

— В таком случае, — твердо сказал прапорщик, — ждите.

Я разостлал бурку среди голого поля и разлегся на солнечном припеке. Кругом голая широкая степь, выжженная горячим солнцем. Далеко вдали синеет низкой каймою лес. Жаркий ветер лениво перекатывает засохший бурьян и гудит в телеграфных проводах. Наверху густые белые облака бегут торопливыми колоннами.

Дышу вольным ветром, который вливает в уши обрывки окружающей жизни. Пыхтят паровозики, похожие на чугунных пони. Далеко по ветру разносятся крикливые голоса:

— Закрой поддувало!

— Где тут заведующий кипятильником? Давай налицо!

— Главный! Где главный?

— Тут нет главного.

— Ну, ладно. Я взял путевку — отходи...

Раздается хриплый сигнал. Паровоз пыхтит и кряхтит.

И опять сонная одурь простерлась над степью. Только ветер гудит в проводах да переругиваются телеграфисты с солдатами:

— Я за обедом не пойду! Я — телеграфист.

— Пой-де-ешь!

— Побей меня крест, не пойду.

— Пой-де-ешь... Я, брат, сам осведомленный... Может, умней тебя, дурака.

Телеграфист ехидно смеется:

— Один ты умный... Это как пьяный говорит: все пьяны, один я трезвый.

4

...Грохот пушек снова кажется естественным и неизбежным. Рано утром разбудило меня гудение аэроплана. Я повернулся и уснул. Гудение снова разбудило меня. Гудело где-то совсем близко. Вдруг: бах! — бах! Воздух задрожал от двух протяжных ударов: две германских бомбы приветствовали мое возвращение в лоно войны.

...Гулко грохочет под Краспоставом.

— Эх, — лениво потягивается Костров. — Нонче гремят здорово — и поспать не дадут.

— Гремят-то гремят, а толку никакого, — откликается штабс-капитан Калинин.

— А вам чего хочется? — спрашивает адъютант. — Слава богу. Пускай гремят. Война чем хороша? Тем, что за тебя кто-то думает. Вдруг будят ночью: са-дись! Сел и еду. Сто-ой!.. Можно спать. Ложусь и сплю. Главное: не надо думать, только повиноваться. Кто-то распоряжается, думает, приказывает. Ты только исполняй, повинуйся. А до остального нет никакого дела.

— Вы — известный нейтралист, — смеется Костров. — А вот заставьте Евгения Николаевича жить по приказу, не критикуя, — он с ума сойдет или застрелится.

— Разве? — изумляется адъютант. — А по-моему нет лучшего счастья, как жить не думая.

— Вот вы над ним смеетесь, — вмешивается Базунов, — а я глубоко убежден теперь, что каждый из нас маньяк. В мирной жизни это меньше заметно. А тут сразу выпячивает наружу, что у каждого из нас есть свой зайчик. Вы присмотритесь к любому, как он ходит, поворачивается, ждет, хватает. Ведь это все настоящие марионетки. Слова все заученные. И жесты заученные. Мне на-днях показывали одного офицера-пулеметчика. Четыре раза был ранен, и каждый раз умолял: «Отпустите меня скорее на фронт».—«Зачем вам?» — спрашивали его. А он с горящими глазами кричит: «Только бы сидеть на пулемете, видеть перед собою эти рожи. Подпустишь их и

сорок, тридцать шагов — и начнешь поливать, косить во все стороны, пополам подрезывать!.. Больше мне ничего не надо...»

Разговор происходил в стодоле[1] под Райовцом, в пяти верстах от Холма. Над нами мерно гудит аэроплан. В раскрытые двери видно, как, быстро, ныряя в тучах, аэроплан мчится прямо на нас. Вдруг посыпались мелкие удары, похожие на барабанную дробь.

— Из пулемета бьет, — крикнули солдаты.

Через минуту дробь зазвучала гуще и продолжительнее. Мы выскочили неодетые из стодолы.

— Разведи лошадей! — кричал Базунов.

Посреди двора стоял под ранцем солдат. Пробегая мимо него, ездовой Софронов бросил ему на ходу:

— Что ты, за семьдесят пять копеек в месяц еще под пулеметным огнем под ранцем стоишь?

Старосельский услыхал эту фразу и, подбежав к Софронову, хлестнул его по лицу.

— Виноват, ваше высокородие! Виноват! — затрясся Софронов.

Базунов торопливо ушел в стодолу. К Старосельскому подошел адъютант.

— Чего вы от них хотите? По-моему их самоотверженность и так изумительна. Мы, офицеры, все получаем жалованье. И довольно большое. А нижние чины — что? Семьдесят пять копеек в месяц. Между ними есть столяры, кузнецы, плотники. Дома они по сорок, пятьдесят рублей зарабатывали в месяц. А здесь? Ничего. И все-таки они не ропщут, работают. Если кто-нибудь и позволит себе сострить по этому поводу, не надо на этом останавливаться.

— Когда меня отдадут под суд за жестокое обращение с нижними чинами, я вас сделаю адвокатом, а пока я в ваших советах не нуждаюсь, — сказал сухо Старосельский и обратился к Софронову:

— Становись под ружье рядом с ним!

Аэроплан продолжал поливать из пулемета. Дежурные зенитные пушки открыли по нему стрельбу. В воздухе позади аэро-

---

[1] Стодола — рига, клуня.

плана образовалось круглое, белое, пушистое облачко. Облачко за облачком чекапились белые дымки. Но аэроплан точно не замечал их и продолжал свое мерное стрекотание в облаках. Через минуту три тяжелые бомбы одна за другой грохнулись недалеко от дороги.

...Получен наисекретнейший приказ о погроме, устроенном казаками в Замостье.

«Командующий III армией. По отделу дежурного генерала. 22 июня 1915 года. № 33059. Копия с копии. Командиру 14 армейского корпуса. Секретно.

«По дошедшим до меня достоверным сведениям **город Замостье при отступлении наших войск был разграблен казаками** (частью в черкесах), при чем были случаи насилия над женщинами. Кроме того холмский епископ преосвященный Анастасий заявил мне, что у священника села Бартатыче казаками с грубым насилием были отобраны подвода и лошадь. Установлены случаи взламывания сундуков и шкафов. К сожалению, я сам лично убедился в справедливости жалоб, особенно на казачьи войска.

«Всем начальствующим лицам предписываю принять самые строгие меры против мародерства и грабежа.

«Мною замечено также, что многие нижние чины совершенно не имеют воинского вида, не отвечают на приветствие, ходят без погон и поясов и т. д.

«Недавно выпущенные молодые офицеры по большей части считают лишним приветствовать старших в чине отданием чести и неряшливо отдают честь даже высшим начальствующим лицам, показывая этим дурной пример нижним чинам.

«Дисциплина крайне необходима, и последствия ее ослабления уже сказываются на нашей армии. Предписываю начальствующим лицам всех степеней, не исключая врачей и чиновников, соединить хорошее обращение с безусловным и неукоснительным требованием исполнения всех правил воинской дисциплины, чинопочитания, строевой выправки и аккуратности в одежде. Подлинное подписал генерал-от-инфантерии Леш, скрепил временно исполняющий начальник штаба генерал-майор Байов».

Так ознаменовал свое вступление в командование третьей армией генерал Леш, назначенный вместо смещенного Радко-Дмитриева — в лето от рождества Христова 1915-е. В секретном приказе по борьбе с мародерством и грабежами все внимание командующего армией сосредоточено на чинопочитании, погонах и воинской выправке.

...Противник перегруппировывается и снова подкатывает тяжелую артиллерию. С утра до позднего вечера гудят, как шмели, аэропланы. По донесениям перебежчиков на 2 июля назначено всеобщее наступление. От инспектора артиллерии получен приказ, на этот раз требующий широкого оглашения. Попечительное штабное начальство не перестает изощряться над евреями и с кровожадной жестокостью продолжает колесовать в своих приказах злополучных детей Израиля:

«Деревня Крупе. 28 июня 1915 года. № 2049.

«Сообщается для сведения следующее: бежавший из германского плена подпрапорщик 61 полка показал, что немцы обходятся с пленными жестоко и зачастую избивают до смерти. **В истязаниях немцам помогают пленные солдаты-евреи.** Об этом поставить в известность всех чинов парков. Инспектор артиллерии Вартанов».

По обыкновению, имя подпрапорщика, доставившего штабному генералитету такие ценные сведения, обойдено целомудренным умолчанием. Но ведь не столь важен сам подпрапорщик (признательное начальство позаботится о нем), сколь сообщенные им «факты».

ИЮЛЬ

1

...В Холм приехала какая-то провинциальная труппа, и мы все сегодня в театре. Ночевать собираемся в городе.

В Холме, несмотря на близость позиции, всё ликует тыловою разнузданностью.

Все гостиницы заняты штабными. На извозчиках разъезжают штабные. В ресторанах — штабные. В кинематографах — штабные. Городок развращен этим огромным количеством ту-

неядцев. Каждая женщина чувствует, что она поднялась в цене. Размалеванными стадами они бродят с утра до ночи, сея зависть среди подростков. У входа в «Оазу» и «Сирену» стоят пятнадцатилетние девчонки и, задыхаясь от жадности, шепчут друг дружке:

— Смотри, смотри! Сонька подъехала на извозчике. Ой, она дала три рубля и даже сдачи не попросила.

— А что же! Ей это дешево стоит.

— Какое платье у Клары! Под руку с офицером. А!.. А!..

— Вам номер с девочкой? — спрашивает лакей в гостинице. — Без девочки? Подождите. Может-быть, освободится. А коньяк вам надо? Вы же поставите барышням угощение. Может быть, икру хорошую? Шоколад?

В «Сирене» шел какой-то нелепый фарс «Вопросительный знак» с водевилем «Лига целомудрия», где все проблемы поставлены с гвардейской прямолинейностью. Не досидев до конца, мы пешком отправились из Холма. Было темно. Влево от шоссейной дороги полыхали орудийные залпы, широкими огненными мечами рассекая небо. Вдали клубились пожары. Земля металась в диком безумии. Вдоль всей дороги леса горели кострами, вокруг которых жались обезумевшие от горя и страха беженцы.

...С часу ночи стреляют ураганным огнем. Пушки ухают и рычат и сотрясают воздух, как тысячи гремящих листов железа. Происходит что-то похожее на Тарнов. Бой длится уже 8 часов с неослабевающей силой..

— И страшного суда не надо, — говорят солдаты,— страшней не будет.

За стодолой беседуют вестовые.

— Де воно́ людей хвата̀э? — философствует Косиненко. — Як так битися будуть, більш як місяць не навоюэм. Тут і земля від людей согнулась: в одно місце із усей Росії согнали — й бьються...

— І снаряди знайшлись, — вставляет Шкира.

— Тепер снаряди будуть, — авторитетно заявляет Коновалов. — Тепер земство за снаряди взяло́сь.

Среди непрерывного пушечного гула резко выделяются

удары тяжелых орудий. От этих выстрелов звенят стекла и подрагивают металлические предметы. Бой не смолкает ни на минуту.

— Надолго у нас хватит снарядов? — спрашиваем мы командира.

— Я с таким же вопросом обратился к заведующему артиллерийским снабжением в Холме, к полковнику Торочкову. Он процедил сквозь зубы: «Ввязались мы в бой, который, кажется, разгорелся в большое сражение». И больше ничего.

— А снаряды есть?

— Есть... Не особенно густо. Пришла при мне телеграмма из корпуса: просят срочно 2300 шрапнелей.

«Полковник важно поморщился.

« — Где ж такую уйму? Довольно с них 800».

В два часа хлынул дождь. Но бой не прекращался. В три, в четыре часа все так же гремят пушки и дрожат оконные стекла.

В восемь часов вечера неожиданно, как по команде, стрельба прекратилась.

...Холодно, но небо ясное. Звенят жаворонки. Гудят аэропланы. Грохочут пушки. Вслушиваюсь. Один аэроплан слева, другой справа.

— Из пулемета! Из пулемета сечет! — кричат солдаты.

Слышно, как сверху четко стрекочет пулемет. Выхожу из стодолы. Огромный аэроплан, похожий на большую стрелу, спокойно летает над нашими позициями. Шрапнельные облачка окружают его со всех сторон. Но он медленно и плавно продолжает полет вдоль линии окопов. Потом поворачивает в нашу сторону и направляется к паркам. Снова слышится сухое стрекотание пулемета. Гремят дежурные пушки. Аэроплан взмывает кверху и исчезает в облаках.

Грохот орудий все растет. Над позициями встают черные столбы дыма. С пригорка видно, как высоко в воздухе блестят рвущиеся шрапнели и стоят белые дымки. Совсем близко по-над землей стелются густые, черные клубы от рвущихся гранат. Солдаты встревоженно перебегают с места на место:

— Видать, совсем близко бой идет. Отходят наши.

Чей-то взволнованный голос повторяет настойчиво и громко:

— Как свиньи.... Прямо по-над землей, одна по одну, по три разом... Ну, прямо, как свиньи...

Наверху кружатся альбатросы и таубе. Их гудение тонет в возрастающем грохоте орудий. Только мерное стрекотание пулеметов зловеще потрескивает в воздухе.

В два часа дня на пригорке показываются солдаты.

— Кто такие?

— Головной перевязочный пункт 52 дивизии.

— Откуда?

— Из Красного. Отступаем.

..Бой все жарче и жарче.

Приехал ординарец Дерюгин из штаба корпуса: последний обстреливается и вынужден был передвинуться из Крупэ в Жулин. Сам Дерюгин попал под перекрестный обстрел. Возле него разорвалось шестнадцать снарядов.

Кругом столбы черного дыма от пожаров.

Головной парк передвинут в Майдан Рыбье.

Приехал ординарец из штаба дивизии Мельниченко. Вид у него встревоженный:

— Плохо, ваше благородие. Отступаем. И бьет нас немец без счету.

...Ушли последние гвардейские части на смену разбитому Кавказскому корпусу. Все так же грохочут пушки, тянутся кверху черные дымные колонны, трещат пулеметы. Только аэропланов меньше. Офицеры мирно беседуют или возятся со своим скарбом.

Снаряды ложатся все ближе. С пригорка видно, как взрывают они клубы пыли, зарываясь в землю. Базунов подходит к Кострову.

— Ну, как дела, господин оптимист?

— Да ничего. Контрапошим, видно, немца. Держимся.

— Удивительно, как нашим оптимистам мало нужно. Дать им соленым огурцом по губам — и уже довольны!..

— А про Румынию читали? Чтой-то она опять за нас начинает! — наседает Костров.

— Начинает? — иронически тянет Евгений Николаевич.

— Да, в газетах вон пишут.

— А завтра что в газетах напишут? Надо же им поддержавать в вас желание платить ежедневно по пятачку за штуку.

— И снарядики есть.

— Есть! — раздражается Базунов. — 2300 шрапнелей на целый корпус! Ах ты, сволочь поганая! Это из скорострельных пушек, которые по двадцать снарядов в минуту выпускают. В минуту! На сколько же это хватит одной дивизии? Попробуйте подсчитать. Ровным счетом — на шесть минут!

...Орудия гремят и гремят. Наши тяжелые пушки снялись с позиции и стали под Райовцом: боятся, чтобы они не достались противнику. Обозы уже двинулись к Холму и тарахтят на шоссе. Над нами вьются аэропланы.

— То верно наш, — беспечно высказываются солдаты. — Новой хвормы. Сàмы дручки. Без полотна на крылах.

Летает очень низко типичный альбатрос. Солдаты отлично видят, что это германский самолет. Но им не хочется волноваться, раздумывать, и они сознательно закрывают глаза и беззаботно решают:

— Наш! Новой хвормы...

Не таков ли и весь наш патриотический оптимизм?

...Часам к восьми канонада затихла. В воздухе разлита мягкая вечерняя тишина, и это сразу переносит нас из мира с железными трещетками и грохочущими цепями в мир, окутанный тихим человеческим счастьем. Странными кажутся только наши собственные голоса, которые звучат так громко (во время сильного боя голоса еле слышны). Откуда-то появились детишки, которых мы раньше не замечали. Люди смеются, поднимают радостно головы и уже непохожи на деревянные куклы с тупоумно-молчаливой тревогой на лицах.

— На молитву! — кричит фельдфебель. И так забавно звучат среди всеобщего разгрома и поражения напыщенные слова патриотического гимна: «Царствуй на страх врагам...».

...В одиннадцатом часу примчался ординарец из штаба корпуса:

— Тыловому парку отойти в Трубачов — в двух верстах от Холма, а среднему — в Заграду.

Передвижение совершенно непонятное, если принять во внимание, что головной парк расположен в Майдане Рыбье, т.-е. гораздо дальше от позиций, чем средний

...Весь юг в пожарах. Между ними вспыхивают огненные залпы, сливая далекие огни в один пылающий полукруг. Жители смотрят на зарево пожаров, которое разгорается с удивительной быстротой, ярко окрашивает облака и скоро тухнет, и тяжело вздыхают:

— Верно, хлеб горит...

Потом высказывают вслух удручающую всех мысль:

— Так и наше попалят...

Солдаты глухо молчат. Им объявлен сегодня свирепый приказ генерала Маврина.

Приказ этот разослан в «секретном» порядке еще 25 мая, но, по распоряжению штаба корпуса, только сегодня оглашен во всеобщее сведение:

«Начальникам 18 и 70 дивизий. 1915 год 25 мая. 2 ч. 10 минут дня. № 1607.

«Командир корпуса приказал объявить копию телеграммы генерала Маврина:

«При отступлении наших армий с неприятельской территории и с занятием неприятелем нашей территории неприятель производит пополнение своих армий за счет местного населения и реквизирует скот. Главнокомандующий приказал одновременно с отступлением:

«1) **Уводить мужское население возрастом от 18 до 50 лет;** желающим местным жителям предложить выселяться с домашним необходимым имуществом временно в Волынскую губернию, откуда итти на дорожные инженерные работы.

«2) **Уводить весь скот** с тем, **чтобы по нашем обратном возвращении** скот был возвращен или **щедро оплачен.**

«3) Уводимых местных **жителей, годных к работе, желатель-**

но отправить в распоряжение генералов Величко, Артамонова и Лебедева, если от них последуют соответствующие запросы.

«Об изложенном сообщается на зависящее распоряжение. 16515. Маврин».

«Подписал: начальник штаба капитан Воскобойников. Старший адъютант Кронковский».

Когда приказ был прочитан, первым отозвался Костров:

— Это чорт знает что! Это варварство, достойное немцев, а не русских...

— Ого! И оптимистов пробирать начинает, — рассмеялся Евгений Николаевич.

— А по-моему так и надо, — сказал Старосельский. — Кто хочет побеждать, тот должен уничтожать без всякого сожаления все вспомогательные средства противника. Нечего слезу пущать.

— Но ведь из этого ровно ничего не получится, — заметил Базунов. — Это надо было сделать десять месяцев тому назад. А теперь это бумажка для интендантов. Вспомните щедринское изречение: на неопределенности почиет их благополучие...

— При чем тут интенданты? — обиделся Старосельский.

— При чем? — язвительно усмехнулся Базунов. — А вы чувствуете эту игривую фразу: «щедро оплатить»? Воображаете, сколько появится у нас охотников «щедро оплатить» небывалые гурты, взятые у небывалого обывателя?.. Хочешь оплачивать, да еще щедро, — скажи прямо: по десять, по двадцать, по сто рублей с головы. Каждому будет ясно. А то — щедро. Сколько это: щедро? На мой взгляд щедро — двадцать рублей, а по мнению интенданта Дуй-тебя-горой, если владельца коровы не повесили, то с ним уже расплатились щедро.

2.

...Вечером получено предписание: с утра приблизиться к южной окраине Холма. Выступление назначено на завтра в седьмом часу. Времени много. С неба льет ледяной дождь и сеет какое-то болезненное отупение. Дождь проникает через крышу стодолы, которая давно превратилась в мокрую пещеру. Стуча зубами от стужи, мы молча ёжимся под одеялами. В стодоле дует. От ветра гаснет свеча. Сквозь щели пробивается огненная по-

лоска пожаров. Из-за леса под Рыбье, верстах в двух, бухают наши тяжелые орудия. Валентин Михайлович вдруг заявляет неунывающим тоном:

— Эге! Все-таки атаки здорово отбиваются нами.

Ответа нет. Все погружены в собственные тайные мысли, которые медленно рождаются под грохот тяжелых пушек.

... Попрежнему льет дождь. Пасмурное небо покрыто серыми тучами. Возле отходящего парка толпятся встревоженные жители.

— Здесь позиция будет? — спрашивает со страхом молодая полька с ребенком на руках.

— О, какой славный мальчик, — говорит адъютант. — Сколько ему?

Мать расцветает:

— Сегодня как-раз семь месяцев.

— Вы с нами уходите? — задает вопрос Валентин Михайлович.

— Лошадей нет. Как мы пойдем? — вздыхает она. — Кажется, женщинам разрешают остаться...

— Все равно, — говорит Валентин Михайлович, — мужа заберут.

— Тогда и я пойду, — с тоской заявляет женщина. — Если суждено погибнуть, умрем вместе.

И, помолчав, добавляет с отчаяньем:

— Но как итти? Лошади нет...

— Что там? Один ребенок, — утешает ее Валентин Михайлович.

— А вещи? постель? хлеб? Ведь человек не лошадь — на спину не взвалишь. Я и двух верст не пройду с ребенком на руках.

— Муж поможет. Идут же вот — по восьми детей несут.

— Что ж хорошего? — произносит она рыдающим голосом. — Придется броситься в воду... Под Замостьем одну женщину погнали на второй день после родов. Родила она двойню. Несла она, несла обоих детей. Четыре мили прошла. Дотащилась до Красностава, не выдержала: вместе с детьми в воду жучилась (кинулась) в воду.

— Да вы не плачьте, — говорит адъютант, — здесь боя не будет.

— Не бендзе? — с надеждой переспрашивает она.

— Нет, не будет.

— Как не будет? — раздражается Валентин Михайлович. — Что ж мы без боя отдадим им все до Холма?

— Будет или не будет, — говорит безотрадным голосом какой-то старик, — а бурку, платок и сапоги уже не вернешь... Забрали.

В тоне старика звучат и злость, и насмешка, и какое-то враждебно обидное презрение.

Мы садимся на лошадей и едем. На каждом шагу толпы изгнанников (погоньцы). В битком набитых телегах рядом барахтаются дети, свиньи и куры. Тощая лошадка, надрываясь, тащится по грязной дороге. Тяжело дыша, из последних сил налегают плечом на телегу бабы и более взрослые детишки. В каждом взгляде, который они бросают на нас, сквозь боль и слезы, читается глубокая ненависть затравленных зверей.

Дождь ледяными кнутами сечет по коже и превращает дорогу в липкий студень.

— А все-таки немцы с трудом продвигаются, — воодушевленно заявляет Костров. — Кабы такая погодка еще простояла, они прямо сели бы... ппэк!.. Где им по такой дороге свои пушки тянуть...

— Да, это им не заграница, — насмешливо вставляет ветеринарный фельдшер Маслов.

К двенадцати часам добрались до южной окраины Холма, где от высланных квартирьеров узнали, что в Холм никого не пускают: во-первых, оттого, что там холера, и во-вторых, оттого, что в Холме все квартиры заняты штабными.

... Майдан Стаенский. Заговорили и наши пушки. До последнего времени нашей артиллерии разрешалось расходовать не более трех снарядов на орудие, т. е. по 18 снарядов на батарею в сутки. С прошлой недели эта порция увеличена до 80 снарядов на батарею. Сейчас мы «утопаем» в снарядах. Со вчерашнего дня идет беспрерывный артиллерийский бой.

С пригорка отлично видно, как падают и рвутся снаряды.

Солдаты ни на минуту не уходят отсюда. Тут же столпились и жители. Глаза их прикованы туда, где горят поля и откуда веет смрадом и гарью. Солдаты с раздражением гонят их от себя.

Лежит скошенный, но не убранный хлеб. Солдаты обращаются к жителям:

— Вы бы лучше хлеб собрали, чтобы неприятелю не достался.

— Заборонено (запрещено), — отвечают жители, — сегодня воскресенье, праздник.

— Этим панам верить нельзя, — раздраженно ворчат солдаты. — Они, сволочь, рады, что австриец идет...

Солдаты не любят населения, потому что в их глазах уже стерлись всякие грани между жителем и «погоньцем». Отдельные беженские волны начинают сливаться в огромный человеческий океан, который давно уже вышел из берегов и понемногу захлестывает солдатские массы. Тщетно суровые приказы предписывают солдатам гнать от себя беженцев и не допускать их к своим стоянкам. Беженцы всюду. Всеми правдами и неправдами они стараются держаться поближе к армии, потому что они не в силах расстаться с надеждой, что когда-нибудь однажды им удастся вернуться на покинутые места. Бледные, худые, притихшие, беженцы весь день молчаливо ютятся каждый у своего воза. Каждый воз — это юрта, охраняемая цепной собакой.

— Настоящие цыгане, — подсмеиваются солдаты.

— Хуже, — печально отзывается старый русин, — цыгане месяц, два на одном месте стоят. А мы разве знаем, сколько.... Может быть, через час нас заставят дальше итти...

Напряженно прислушиваются беженцы к грохоту пушек, останавливают каждого жителя, на лету подхватывают каждое тревожное слово. Незаметно снуют они, печальные, с разбитым сердцем, но тихонько нашептывают солдатам:

— Травники юш заёнты... (уже заняты).

— Бискупице спалёна...

— За гурой тѐнжки гармàты германув (за горой тяжелые орудия германцев).

Будущее рисуется им в самых ужасных красках:

— Сгинем! Все равно все сгинем...

Но с наступлением ночи они сбрасывают с себя личину молчаливой покорности. Они пробираются на соседние луга и крадут клевер для лошадей. Забираются в крестьянские погреба и стодолы. Не задумываясь, становятся на путь открытого грабежа. Вчера одного такого вора поймал хозяин у себя на лугу и поднял крик. Мигом сбежались все соседние беженцы и гуртом набросились на хозяина, вымещая на нем свою бессильную злобу. Его с трудом отбили солдаты. Между солдатами и беженцами-мужчинами кипит свирепая вражда. По ночам мужчины устраивают дежурства из боязни, чтобы солдаты не ограбили их и не подобрались к бабам. У последних более дружелюбное отношение к армии: их связывают с солдатами дети. Дети постоянно протягивают ручонки за подаянием, а матери растроганным голосом посылают благословения солдатам:

— Нех пан бог благослови... Мати бозка не допустит...

Заслышав обеденную трубу, дети несутся со всех ног к солдатским котлам, размахивая горшками, кастрюлями и кружками. Солдаты ругаются, сердятся, но каждый уделяет несколько ложек из своего котелка.

Сегодня получено донесение от командира 18-й парковой бригады на имя Базунова:

«Старшему из войсковых начальников, командиру 70 парковой артиллерийской бригады. 1915 г. 11 июля, 9 часов утра, № 427. Новины.

«Сегодня была драка два раза между беженцами, самовольно косившими овес, и крстьянами. Был приказ: «Беженцев возле войск не держать». Так как вражда и драки могут принять очень опасный оборот, о сем доношу для распоряжения и донесения коменданту города Холма. Подполковник Гиммель».

Идем с Базуновым чинить суд и расправу. Входим в большой лес, изрезанный болотными ручейками. Здесь расположились беженцы огромным табором. Стоят они тесно, воз к возу, грязнят и засоряют весь лес, отравляют воздух человеческим смрадом и производят впечатление бандитского лагеря. Все время подходят новые возы, нагруженные мешками, детьми и поросятами, и выстраиваются рядом с осевшими. Усталые,

грязные, попурые, они, не стесняясь нашим присутствием, осыпают проклятиями и бранью начальство.

— Куда идете? — спрашиваем мы их.

— Невядомо (неизвестно).

— Почему ушли?

— А я вам? Казаки выгнали.

Обходим от воза к возу этот унылый табор и на каждом шагу натыкаемся на тяжелые сцены.

Бежит мальчик лет тринадцати, плачет горючими слезами.

— Чего ты так убиваешься?

Его послали пасти коров, а за это время всему их табору было приказано двинуться дальше. Куда? — неизвестно. Спросить не у кого. Коров он бросил и не знает, что ему делать, куда деваться.

Ходят старухи в сопровождении кучи детишек и назойливо выпрашивают милостыню у солдат, у беженцев, у случайных встречных.

С жителями все время драки.

Сейчас за лесом, к востоку — обширные луга и сенокосы. Тихо, безлюдно. Пахнет болотцем. Вдали скирды хлеба, не сжатый овес. Точно уголок далекого, нездешнего мира, точно грохот орудий еще не докатился до этих мирных лугов.

А возы все скрипят и скрипят.

3

...Едем втроем в головной парк — Костров, Болконский и я. Моросит мелкий, холодный дождик.

— Вот так лето! — зябко поеживается Костров.

— Кто вам сказал, что лето? — угрюмо ворчит Болконский.

— По календарю июль выходит, — смеется Костров.

— А вы не верьте календарю. По календарю я десять дней назад в Люблине был, сидел в мягком вагоне, утирался салфеткой, сморкался в платок... Кто же этому поверит, когда меня из Люблина отделяют целые годы?

И нам, действительно, кажется, что никогда больше мы не увидим солнца и что оно уже не показывалось на небе целые

река. Такова война: здесь чувствуешь только то, с чем сейчас приходишь в соприкосновение. Живешь только тем, что волнует сию минуту. Вчера и завтра — слова, незнакомые войне. Будущее — это золотая химера, в которую верят одни младенцы. Прошлое — даже то, что происходило совсем недавно — представляется далеким, полузабытым сном. Да и вся война—это какой-то страшный сон наяву. Мир, оторвавшийся от тысячелетних привычек и убеждений и напоенный блеском и радостью обманов, лжи и пороков. Старые заповеди: не убий, не укради, не пожелай ни вола ни осла своего ближнего — здесь, на фронте, звучат как злая насмешка. Кто хочет побеждать, тот не станет грезить о пустяках, тот смело хватается за меч.

Таков душевный строй на войне, и в этом наше спасение. Если бы мы лишены были этой способности перевооружаться новыми догмами применительно к новому бытию, людям ничего бы не оставалось, как поминутно сходить с ума от грубых противоречий между претензиями фальшивого тыла и требованием повелительных пушек.

...Небо яснеет, и бой разгорается. Всюду щелкают пушечные удары и протяжно рычат мортиры. По дорогам всё еще тянутся резервы. Некоторые части проходят с музыкой. До сих пор это делалось только по желанию самих солдат. Теперь понятия изменились, и солдатам приказано с пением итти на позиции. Под грохот тяжелой артиллерии это звучит как крик умирающих гладиаторов.

Впрочем, это мало кого трогает. Хотя бы люди в горячечных рубашках появились с пением и музыкой — нам всё равно. На войне человек привыкает думать только о себе, и всё, что лично его не задевает, ничуть его не волнует. Безунимно грохочут пушки. На позиции тянутся резервы. Им навстречу везут бесконечные транспорты раненых. Но пока мы сами еще не в сфере огня, пока из ран бежит не наша собственная кровь, а чужая, мы глубоко равнодушны. Война прежде всего вытравляет в нас чувство жалости. Кто хочет воевать, тот должен быть беспощадным, бесчувственным и жестоким.

Едем усталые и продрогшие

— А не вздремнуть ли вон в том стогу? — предлагает, позевывая, Костров.

Что ж? Торопиться нам некуда. Задаем коням корму и зарываемся в стог. Вместе с запахом душистого сена и перегнившей травы по телу расползается сладкая, одуряющая истома.

...Когда мы проснулись, был вечер. На западе малиновым заревом догорало солнце. Над лугами вставали белые испарения, точно вся земля закуталась в таинственный плащ и стала неясной, воздушной и мечтательной.

Затихли пушки. Томно зарокотали жабы. Серебряный воздух задрожал мечтами о счастье.

— Если бы в свое время прошел закон, предложенный Каем Гракхом о равномерном размежевании земель, — сказал Болконский, — то нам теперь не пришлось бы воевать.

— К чорту историю, — закричал Костров. — Давайте, догоним месяц!

Летим размашистой рысью. Чудесная ширь, облитая лунным светом. В стороне от дороги большие биваки беженцев и солдат, освещенные кострами. Меланхолически наигрывают гармоники. Из темноты вырисовываются всадники — казаки и ординарцы. Бросают на ходу торопливый вопрос, и уже где-то далеко позади замирает топот копыт. А кругом простор и серебряная тайна.

Вдруг во ржи что-то сильно заворошилось. Подъезжаем. Человек сто австрийцев и венгерцев, окруженные нашими караульными. Расположились на ночь в хлебах и мирно беседуют. Говорят по-русски, по-польски, по-русински. Многие тихо сидят рядком и что-то на пальцах объясняют друг другу.

— Об чем это? — спрашиваем караульных.

— Да вот маджары рассказывают — о детишках тоскуют, детишки дома остались.

— Как же они рассказывают?

— О бабах да о детишках у всех народов один разговор. Коль про бабу — груди показывает, а детишки — от земли невысоко.

— Куда ж вы их гоните?

— Окопы рыть.

Всматриваюсь в лица пленных — ни следа борьбы и тревоги. Точно каждый из них давно решил про себя:

«Теперь я пленный и должен заниматься рытьем окопов для русских. А русские пленные роют окопы для нас. Таков порядок войны. Пушки стреляют в ту сторону, куда их направят. Пленные делают то, что им прикажут...»

Вот смысл величайший искусства,
Вот смысл философии всей...

...Снова накрапывает дождик. Едем усталые, раскисшие. Навстречу группа беженцев. Спрашиваем стражников:

— Куда так поздно?

— Вошь выпаливать... Детей до смерти заточила...

Вошь давно поедает беженцев. Насильно прикованные к армии, беженцы не парятся, не моются, не купаются. Все спят вповалку, не раздеваясь. Белья не меняют. Многие таборы сделались рассадником вшивой заразы. Взрослые постоянно скребутся и чешутся, как чесоточная лошадь. Дети не в состоянии уснуть из-за нестерпимого зуда: каждая складка на коже переполнена мириадами вшей. Для борьбы с этой расползающейся нечистью беженцы разводят среди поля большое пламя и на этих кострах-вошебойках выпаливают кишащее паразитами белье. Делается это по преимуществу ночью, чтобы бабам не оставаться голыми на виду у солдат...

— Тьфу! — брезгливо сплевывает Костров. — Хуже казни египетской.

— Да... Картинка из нравов каменного века, — усмехнулся Болконский. — Совсем как во времена аракчеевщины, когда табунами гнали поселенцев через всю Россию.

И мне вдруг припомнился страшный рассказ Лескова «Продукт природы». Рассказ о том, как задолго до освобождения крестьян гнали на баржах курских и орловских мужиков для «сбивания» новых деревень в оренбургских степях. Люди до того обовшивели, что по баркам стало страшно ходить. Особенно ночью или в жаркую пору, когда люди изнывали от зуда. В немом исступлении мужики, бабы и дети «чухались» и скреблись ногтями и ёрзали на одном месте или катались на пядь в одну сторону и на пядь в другую и потом вдруг вскакивали и сидели,

поводя вокруг осовевшими глазами, — и иногда плакали и неистово скреблись и чесались...

— Пропадаем! — кричали бородатые мужики с отчаянными рыданиями. — Съела вошь!.. Жалуйте — милуйте!.. в глаза лезет: зрак хочет выпить!..

А вошь все множилась и точила...

Далеко ли ушли от этих первобытных времен погибающие от расползающейся нечисти «погоньцы»? Не те же ли «выводные» деревни? Не те же ль крепостнические замашки? Даже кнут и дыба остались: по десять розог за всякую провинность, как гласит инструкция новейших щедринских помпадуров — генералов Мавриных и Беловых.

4

— Ну и в пекло попали! — почесывается Костров

С трех часов ночи идет беспрерывный бой. Головной парк разбит на два эшелона. По распоряжению Старосельского головным эшелоном командует прапорщик Болконский, который, немедленно по прибытии в головной парк, в два часа ночи, направлен с шестнадцатью зарядными ящиками в деревню Лукашовку.

— Что случилось? — спрашиваю я Старосельского.

— С минуты на минуту ждут прорыва 18-й дивизии.

Сижу за картой со сводками и стараюсь разобраться в стратегических планах нашей дивизии. Старосельский очень подробно информирует меня о всех последних событиях.

— Головному эшелону приказано оставаться на месте и ждать приказаний. Распоряжение это вызвано крайне опасным положением 18-й дивизии. Для оказания поддержки вытребован из резерва Кромский полк 70-й пехотной дивизии, которому приказано расположиться между Лукашовкой и Сурговым.

— Значит, — спрашиваю я, — наш головной эшелон сейчас находится на линии пехотного огня?

— Хуже, — отвечает Старосельский. — Одновременно с Кромским полком вытребована спешно 1-я батарея 70-й бригады, ставшая на позицию за деревней Лукашовкой, на той самой опушке, где расположился наш головной эшелон.

...Положение головного эшелона совершенно ненормальное. Он находится в полуверсте от окопов Кромского полка и рядом с позицией первой батареи. Снаряды из головного эшелона в батарейный резерв подаются непосредственно на руках. Старосельским послан экстренный ординарец в штаб дивизии с донесением о создавшемся положении. Оттуда последовал словесный приказ:

«Головному эшелону оставаться пока на месте, так как нужда в снарядах очень велика».

Руководствуясь этим неопределенным указанием, прапорщик Болконский решил оставаться рядом с батареей до тех пор, пока неприятельская артиллерия не нащупает батарею.

...Близится вечер. Противник нащупывает батарею, и уже снаряды его ложатся довольно близко. Одного случайного выстрела достаточно, чтобы весь головной эшелон взлетел на воздух. Прапорщик Болконский распорядился обамуничить лошадей, а людям не отлучаться и быть на своих местах.

...Уже совсем стемнело, когда на батарее было получено донесение с наблюдательного пункта от батарейного командира:

«Около Молоховца прорыв. Батарею приготовить к бою. Направить орудия в сторону Молоховца и быть готовым в непродолжительном времени открыть огонь. Головной эшелон убрать во избежание гибели людей и снарядов».

Узнав о полученном донесении, прапорщик Болконский попытался связаться по телефону со штабом дивизии, но это оказалось невозможным. Тогда, по просьбе солдат, он оставил в эшелоне старшим взводного фейерверкера Конского, а сам отправился в штаб дивизии за инструкциями.

В штаб дивизии Болконский прибыл как-раз в тот момент, когда там отдавались распоряжения о порядке отхода с позиций. Все столпились у телефона. Начальник штаба дивизии Белов, держа перед собой раскрытую карту, весь красный, взволнованным голосом отдавал приказание в трубку:

— Так значит этот полк отходит к лесу. На вашей обязанности довести в целости 1-й дивизион. Все время не терять связи с 18-й дивизией...

Прапорщик Болконский стал искать глазами, к кому бы обра-

титься с докладом. Но все были заняты и не обращали на него никакого внимания. За спиной начальника штаба стояло несколько адъютантов. Напротив сидел генерал-майор Стокасилов. Дальше — какой-то штабс-капитан. Болконский щелкнул каблуками и обратился к Белову:

— Я командир головного эшелона 70-го парка...

Тот посмотрел на него невидящими глазами и продолжал говорить в телефон:

— Разместите оба полка между лесом и дорогой на Сургов.

— Я понимаю, — сказал тихонько Болконский, обращаясь к одному из адъютантов, — что дело идет о судьбе целой дивизии. Что вам до какого-то несчастного головного эшелона? Но лично мне совсем не желательно взлететь на воздух со своими шестнадцатью зарядными ящиками или попасть в руки неприятелю...

Адъютант сурово нахмурился и бросил сердитым шопотом:

— Тише!..

Болконский подождал с минуту, снова решительно чокнул каблуками и, заглушая голос начальника штаба, громко сказал:

— Ваше превосходительство! Я командир головного эшелона, стоящего в Лукашовке. Рядом со мною расположена 1-я батарея, которой приказано открыть огонь...

Начальник штаба опять посмотрел на Болконского незрячими глазами и произнес скороговоркой:

— Да, да, да... Мы знаем, знаем...

И продолжал, красный, взволнованный, кричать в телефон:

— Второму дивизиону отойти...

Болконский передернул плечами и решительно шагнул к телефону. Движение ли это подействовало или генералу Стокасилову просто стало жаль растерявшегося прапорщика, но он любезно и мягко сказал Болконскому:

— Отходите к Холмецу.

— Да, да, к Холмецу, — автоматически повторил за Стокасиловым и Белов.

— Прошу указать мне, где стать, — продолжал допытываться у начальника штаба Болконский.

Белов взглянул на Болконского ничего не понимающим взглядом и продолжал приказывать в телефон:

— Не теряя связи, телефон скатывать так, чтобы катушка, соседняя к обозу...

Опять вмешался генерал Стокасилов и уже более строгим голосом бросил Болконскому:

— Идите в Сенницу Рожанскую.

— Да, да, в Сенницу Рожанскую, — повторил, как автомат, начальник штаба, не отрываясь от трубки.

...Первая батарея уже открыла огонь, когда Болконский примчался в Лукашовку. Едва головной эшелон отошел за версту, как на том месте, где стояли зарядные ящики, начали рваться снаряды.

В Сенницу Рожанскую головной эшелон пришел ночью часов около одиннадцати. Лил проливной дождь, не затихавший всю ночь. На рассвете, в начале четвертого, ординарец из штаба дивизии привез приказание немедленно перейти в деревню Депультыче Русские, куда головной эшелон, измученный, продрогший, на некормленных лошадях, по отвратительной дороге, под проливным дождем прибыл в восемь часов утра. В то же время второму эшелону головного парка было приказано передвинуться в Заграду, где стоял наш тыловой парк.

Создалось довольно странное положение. Тыловой парк, на обязанности которого лежит получение снарядов из местного парка и передача их в средний (промежуточный) парк, очутился рядом с тыловой половиной головного парка. А головной эшелон головного парка, доставляющий снаряды непосредственно на позиции, оказался позади промежуточного парка, тогда как последний — пустой, лишенный снарядов и совершенно ненужный — болтался почему-то у пехотных окопов, на две версты впереди головного эшелона головного парка.

...Второй день стоим у самых позиций. Сюда являются люди непосредственно из огня. Больше всего — солдаты терско-кубанской дивизии, которую бросили в прорыв. Они чувствуют себя крайне обиженными.

— Это ничего, что нашей дивизией прорыв заткнули, — заявляют они. — Только зачем нас спешили и послали в бой без штыков?

Поминутно являются за снарядами из разных частей. Но снарядов нет. В головном эшелоне собрался весь резерв 70-й бригады. На позициях одни передки остались. Приходится каждому объяснять, что снарядов нет ни в среднем ни в тыловом парке и рассчитывать на скорое пополнение никак невозможно.

Примчались и терцы, разгоряченные, с блуждающими глазами, и кричат диким голосом:

— Га!.. Давай патроны!

— Нету.

— Что такое? — вращают они свирепо белками. — Мы прорыв затыкали, а вы не даете?! Вы будете письменные сношения делать?!. Давай патроны!..

Приходится открывать двуколки. И, только убедившись собственными глазами, что в ящиках пусто, терцы со свистом и гиканьем несутся дальше и орут на скаку страшным голосом:

— Где патроны? Давай патроны!.. Мы прорыв затыкали...

...В воздухе жарко, парно. Похожие на гром орудийные раскаты сливаются в сплошной гул, от которого тяжело колышется воздух. Высоко в небе упруго звенят аэропланы, приближение которых встречается трескучими залпами дежурных пушек.

В полдень небо покрылось густыми, синими тучами. Сделалось еще более душно. Заблестели молнии, загрохотал гром. Две стихии — небесная и земная — ожесточенно стремились перегреметь одна другую. Хотелось лечь, притаиться, уйти от этого жуткого грохота. Укрывшись буркой, я зарылся глубоко в сено, чтобы дать отдых ушам. Необычайно сильный треск, раздавшийся у самой стодолы, заставил меня вскочить. В то же мгновение вся стодола наполнилась ярким пламенем. Красный огненный шар с рваными краями пронесся скачущим зигзагом по воздуху и, как ласточка, вылетел из стодолы.

— Что это? — вскрикнул я и услыхал раздирающие вопли:

— Ратуйте! Ратуйте!

Одну минуту мне казалось, что это бомба. Но на дворе лил дождь: аэропланов быть не могло.

Кого-то из солдат волокли по земле. Я понял, что это молния оглушила солдата, и издали закричал:

— В землю! Заройте его в землю!

Пока я подбежал к оглушенному, его успели засыпать землей и он стал приходить в себя.

Из-под кучи мокрой земли и навоза на меня смотрели испуганные глаза Коновалова. Трясущимися губами он еле слышно обратился ко мне:

— Ваше благородие! Пропал я?.. кінець?

Тщетно я успокаивал его. Вид солдат, засыпавших его землею, внушил ему твердую уверенность, что его хоронят, и он продолжал твердить:

— Це вже кінець мені... Я ж бачу...

У Коновалова оказалось обожженным плечо, а стоявшего рядом с ним Звегинцева ударом молнии опрокинуло наземь. Груша, под которой лежал Коновалов, была, как когтями, ободрана в нескольких местах. Почему-то на солдат этот случай произвел очень сильное впечатление, и они многозначительно говорили:

— В бою не помрешь, так смерть свое возьмет!..

...С пяти часов вечера безостановочно грохочут орудия. В девять короткий перерыв, и потом опять до двух часов ночи. Нервы не выдерживают этого безумного рева. Снаряды все израсходованы. Остался неприкосновенный запас. Послан ординарец в штаб корпуса за указанием, что делать. Получен уклончивый ответ:

«Телеграмма заведующего артиллерийским снабжением армии полковника Тарочкова сбивчива. Держите ящики в угрузке и при первой возможности переправьте снаряды в головной парк. То же передайте 18-й парковой бригаде».

Между тем неприятельская артиллерия гремит с неслыханной силой. Одновременно стреляет бессчетное количество орудий. Создается такое впечатление, будто трещит исполинский пулемет и выбрасывает не пули, а тысячи разрывных снарядов.

...В три часа ночи грохот все продолжается. Слышится то протяжное, долгое рычание, то частыми толчками сыплется: б-бах! бах! б-бах!.. Гудит земля, и верхушки деревьев вздрагивают от ударов. Лошади совершенно ошалели, испуганно прядают ушами и становятся на дыбы. Люди растерялись до слез. Четыре роты юхновцев не выдержали этой пальбы, выскочили

из окопов и бросились во все стороны, как безумные. Десятки раненых толкутся в нашей палатке. Они с трудом отдают себе отчет в происходящих событиях.

— Отступаем? — спрашиваю я их.

— Не, потеснили два австрийских полка.

— Значит, вперед идем?

— Не могу знать. Чи вперед, чи назад...

— Трудно его выбивать из окопов?

— Его совсем мало. Одни старики. Все из Ржешова, Горлицы, Шипвальда — из тех мест, где мы в Галиции стояли. Он, как нас вышиб, всех на войну погнал. Сами пленные говорили. Пехота у него австрийская, а орудиями немец командует. Взяли мы пленных душ триста, а он их половину, пока довели, из своих снарядов перебил.

— А то еще так бывает: немец австрийцу скажет: «сдавайся!» Тот руки подымет. Мы к ему. А немец с боков давай бить...

— У нас которые рассудку лишились, — вставляет другой. — Против Сурского полка тяжелые орудия поставил. Бил, бил до поздней ночи. Кругом все попалил. От бою земля стонала. Тут которые сурцы есть — совсем как ума решились.

— А кто тут из Сурского полка?

— Вон тот, что коло батюшки стоит.

Я подошел к солдату невысокого роста с рыжеватой окладистой бородой. Весь вид его, расслабленный и прибитый, говорил о перенесенном потрясении.

— Ты какой губернии?

— Воронежской, — ответил он безразличным тоном.

— Какого полка?

— Сурского.

— Когда ранен?

— Сегодня.

— Как дела наши?

— Дела ни-ча-го. Только... только...

И он вдруг зарыдал горькими слезами. Он плакал, закрывши лицо корявой мужицкой рукой, и вся борода его в одну минуту намокла от слез.

— Чего ты, как дитя малое? Тебе сколько лет?

— С-со-рок четыре, — с трудом выговорил он сквозь горькие всхлипывания.

— Стыдно ему, — вмешался старенький лазаретный священник, — что Россию бьют. От стыда в нем душа плачет.

— Ты не плачь, — обратился он утешительно к солдату. — Ты возблагодари господа за то, что он жизнь твою сохранил.

— Страшно, батюшка! Страшно, ваше благородие! — протянул он тихим запуганным голосом и весь жалко затрясся.

— Ты в первый раз в бою? — спросил я.

— Никак нет. Был я... на энтом на Козювце, на Карпатах... Так не было страшно...

— А ты привыкай, — дружески сказал священник. — Десять держав воюют. Все друг друга уничтожить хотят. И нам надо! Ничего не поделаешь. Мне вот шестьдесят три года, — улыбнулся он, — а я вот учусь через канавы прыгать... Война!.. Привыкать надо.

— Не могу, батюшка!.. Страшно...

И, низко наклонив голову, солдат опять залился слезами. Я смотрел на его опущенные плечи, на грязный подол его шинели, измазанный кровью, на его плачущее лицо, по которому вместе со слезами текла сопливая жижа, и мне вспомнились презрительные слова Гинденбурга:

— Война с Россией—это вопрос нервов.

Подошел полковой врач, посмотрел на плачущего солдата и бросил на ходу:

— Реакция... После артиллерийского огня... Фельдшер! Дай ему валериановых капель.

...70-я артиллерийская бригада третьи сутки в непрерывном бою. Исчерпаны все резервы. Не только бригада не в состоянии поддерживать пехоту, но и пехота не открывает ружейного огня за отсутствием патронов. Вчера из Сурского и Кромского полков приехали двуколки, и солдаты со слезами умоляли спасти сидящих в окопах. Без ведома командира бригады прапорщик Кириченко выдал 100.000 патронов из неприкосновенного запаса, состоящего на учете командующего армией. Базунов разнес Кириченко, и сам в свою очередь получил жестокий нагоняй от инспектора артиллерии. Вечером Кириченко отобрал сто человек

из своего взвода и с пятью двуколками отправился неизвестно куда. Вернулся он поздней ночью и немедленно отправил краткое донесение командиру бригады:

«Растрата пополнена».

Ни Старосельский ни Базунов не пожелали узнать, где и как удалось Кириченко раздобыть 100.000 ружейных патронов. Не спрашивали об этом и офицеры. Только прапорщик Болконский раза два за обедом, обращаясь к Кириченко, называл его «по ошибке»: прапорщик Дубровский. А из штаба корпуса, после донесения Базунова, что растрата пополнена, получилась строжайшая бумажка:

«Не сметь расходовать этих патронов без распоряжения инспектора артиллерии и возить их при среднем парке».

...Тихо, ни единого выстрела. Даже аэропланы не летают. После вчерашнего боя это молчание кажется зловещим. У боя есть свои захватывающие моменты, свои пропитанные солью и сладостью тревоги. Грохот пушек и оглушает и по-своему взбадривает. Орудийные звуки можно истолковать и так и этак. Железное молчание окопов хуже смерти. В тишине, в полной абсолютной тишине, в дремоте без грохота — уныние могилы.

Солдаты тоже подавлены.

Молчание — это смерть или... подготовка к убийству. Обе стороны молчаливо готовятся.

...Закрутились пыльные вихри по дорогам. Стоит тяжелый скрипучий гул от гнущихся деревьев. Все живое как будто лишилось языка. Только ветер свирепо кидается на скирды, взметает снопы соломы и опрокидывает палатки.

В семь часов, натрубившись и нагулявшись досыта, ветер ударил по тучам, которые хлынули ливнем.

В эту минуту примчался ординарец с приказом о немедленном выступлении в Новины.

...По небу бегают призрачные пальцы прожектора и таинственно шарят в потемках. В загадочном молчании синеватых далей призрачно рисуется Холм, мерцая крестами собора. Раз-

брасывая снопы голубоватого света, прожектор нащупывает в облаках цеппелин, металлическое гудение которого твердым певучим храпом разносится по полям. Таинственно бегающие пальцы и стрекотание незримого цеппелина наполняют небо жуткой тревогой. Ко мне подъезжает Кириченко и, наклонившись к моему уху, говорит:

— Знаете, какая самая тяжелая из повинностей на войне?

— Быть мародером, — отвечаю я ему.

— Верно, задави его гвоздь!..

5

...Крадучись, шмыгнула в палатку моя приятельница, румяная Янина, как всегда веселая, жадная, и юркнула ко мне в постель. Не смущайтесь, скромные читательницы! Румяной Янине только четыре года. Сладко прожевывая конфетку, она сообщила мне, что на дороге «дуже войска» и что едут «гарматы» (пушки). Я позвал Коновалова.

— Что это за движение?

— Хто его знает. С утра идуть да идуть. Конца краю не выдно.

— Куда идут?

— На Влодаву.

Я оделся и вышел на дорогу. Обращаюсь к командиру саперной полуроты.

— В чем дело?

— Отходим на новые позиции.

— Куда?

— Не знаю. Верст на пять, говорят.

— Корпус или армия?

— Вся армия. Подалась в центре и слева. Неизвестно, что с правым флангом.

По всему влодавскому тракту и по польским (проселочным) дорогам тянутся обозы, парки и кавалерия. Какой-то обозный капитан обращается ко мне с растерянной жалобой:

— Приказано произвести реквизицию хлеба, а средств нет. Молотилок нет, людей нет, хлеб отсырел. Придется снова палить.

— А где палили?

— Везде. Вон дым этот видите? Это от хлеба. Пожгли весь хлеб в Верховине, в Депультычах Русских, в Депультычах Королевских — вплоть до Райовца. Теперь под Холмом жжем в Угре.

В воздухе носились обгорелые соломинки и ложились копотью на лица и платье.

— Вот она, война-то! — печально вздохнул капитан. — В газетах все такие заманчивые слова: отходим, уводим, беженцы, бегущие от германцев... А оно вот какого цвета!.. Посадил бы я этих газетных туристов в эту кашу: пускай сами понюхают, чем беженцы пахнут...

...У какого-то великодушного прапорщика выпросил два номера «Русского слова» — за 9 и 10 июля. Не знаю, вся личестная жизнь приостановилась внутри страны или только печать докатилась до такого молчалинства и с радостью провозглашает квартального Козьмой-бессребреником, а обер-прокурора «Святейшего» синода—неподкупным Робеспьером?..

...Часов в двенадцать кончилось движение войска и потянулись «погоньцы». («Поганцы»—называют их штабные остроумцы). Бесконечно длинная лента крытых парусиновым полусводом фургонов, битком набитых подойниками, сундуками, мешками, кабанами, детьми, поросятами, телятами, ведрами, птицей, клопами, блохами, вшами и прочим одушевленным и неодушевленным мужичьим скарбом. Тощие лошалки еле плетутся по непросохшим дорогам. Хватаясь за колеса, кряхтя и подталкивая, им помогают выбивающиеся из сил подростки и бабы. Пятилетние детишки борются с упрямыми коровами и хриплыми голосками отчаянно взывают в пространство:

— Мамо! давай плетку! Нейдет!...

Седобородые мужики и дряхлые старухи с трудом волочатся за фургоном и, низко клапяясь, повторяют с убитым видом:

— Слава Иисусу...

— Нех бендзе похваленный...

— Откуда?

— Из Верховин, из Депультыче...

— Отчего уходите?

— Все попалили, геть чисто все.
— Снарядами?
— Не. Наши солдаты.
— Куда идете?
— Не знаю... Прямо, как глупой. Сгинем, все чисто сгинем.

Бабы, рыдая, предлагают купить у них коров. Мужики продают лошадей, телегу, птицу, свиней. Детишки выпрашивают милостыню с надоедливо-плаксивым припевом:

— Я бедный...

—Не пора ли нам, пора—
То, что делали вчера...

ворчит Базунов, садясь в бричку. И мы вливаемся в отступающие части.

За переселенцами снова потянулись войска. Уходит полевая почта. Движутся пехота, парки, транспорты. В воздухе появляются аэропланы — то неприятельские, то наши. Рвутся с визгом шрапнели дежурных пушек. Кругом пылают стога. Дымной шапкой повисла над полями удушливая гарь. Армия, искалеченная, надорванная, отступающая, уже тонет в пестром море «погоньцев».

По всем полям и проселкам, по недотоптанным хлебам и большой влодавской дороге, гремя копытами, дребезжа колесами, ведрами, котелками, фыркая, хрюкая, мыча, ругаясь, катится огромная живая река, текущая слезами и горем.

Люди полей и деревень, покрытые грязью и копотью, запуганные, оборванные, плачущие, вытащили напоказ, всему миру нищету своих очагов. И на вольном воздухе, при свете яркого солнца, жалко и судорожно извивается раздавленная, вшивая Русь.

Все тот же кошмарный грохот и те же кошмарные картины и та же кошмарная мысль:

— Что же сделать, чтобы избавиться от повинности мародера!

А кругом фургоны, мешки, подойники, сундуки, корзины, подушки, из которых выглядывают поедаемые вшами детские ли-

чики вперемежку с длинными гусиными шеями, петухами и поросятами.

Без веры в будущее, с покорным отчаянием в душе плетутся бабы и мужики, плетутся тощие лошади. На длинных веревках слабыми детскими ручонками тащат шестилетние ребятишки упирающихся коров.

Вереница за вереницей бредут «погоньцы» из Заграды, Верховины, Угря, из Крупе, из Войславицы, из-под Замостья и Грубешова, изо всей разоренной Польши. И, как эта дымная шапка над полями, повис над умирающей Польшей какой-то гнетущий рок и бросает ее несчастных, замордованных «хлопов» под железные копыта войны.

Зачем? Во имя чего? Кому понадобились эти жертвы? Какой необходимостью вызваны эти процессии вшивых?

...Час ночи. Далеко к востоку от Савина пылают пожары. Пахнет гарью. Значит, придется двигаться дальше. Пока ночуем в лесу, так как все деревни забиты отступающими частями.

...На синих тучах горит розоватый налет. Идет непрерывное движение. Армия беспомощно барахтается в грудах пестрого человеческого тряпья. Воздух наполнен проклятиями России. В усталых, измученных глазах горит нескрываемая ненависть.

Как-то совсем незаметно вся армия начинает уподобляться «погоньцам», усваивает их странный таборный облик. Чтобы не бросать скота и птицы, раздаваемых беженцами за гроши и бесплатно, уходящие части увозят с собою поросят, гусей, телят и коров. В каждом солдате просыпается хозяйская жадность. Вот тянется 139-й пехотный полк. Двое суток простоял он в резерве. И теперь у каждого солдата под мышкой гусь или курица, или цесарка. В Райовце сожгли огромное имение, славившееся на всю Европу племенными питомниками. Кроме коров здесь разводили белых свиней, известных под именем русские йоркширы. Эти свиньи пользовались таким же уходом, как великокняжеские дети. При них состояли специальные свиноводы, одетые во все белое, подобно придворным камергерам. По пять раз на

день они чистили своих питомцев особыми щетками, так как малейшая соринка на теле вызывала у этих четвероногих аристократов усиленный зуд. В другом месте, на фольварке Хилины, была колоссальная молочная ферма. При спешном отступлении всю эту племенную живность пришлось побросать на произвол судьбы. Солдаты хватали все, что возможно. Вот грузовой автомобиль, на котором среди резиновых шин и ломаных велосипедов возвышается рябая корова с монументальными рогами и белым шароподобным выменем. Вот на понтонной лодке большая деревянная клетка, из которой беспрерывно высовываются гибкие гусиные шеи. Вот на зарядном ящике теленок. Вот несколько патронных двуколок, нагруженных жирными поросятами. На многих артиллерийских возах уселись бабы с детьми, седобородые старики, даже барышни в шляпках. Бурно вздувающиеся волны беженцев захлестывают всю армию и подчиняют, растворяют ее в себе. Даже на гигантском пыхтящем тракторе, от которого в паническом ужасе отскакивают лошади, примостились бегущие обыватели.

А густые колонны «погонцев» все растут и растут. Со всех проселочных дорог приливают все новые фургоны. Литое влодавское шоссе гудит стоголосым гулом, за которым не слышно ни жужжания аэропланов ни грохота пушек.

Отойдя от дороги и сидя верхом на лошади, я наблюдаю этот клокочущий поток. На десятки верст в длину, в ширину, назад и вперед колышутся и переливаются цветные пятна бабьих платков и сарафанов, мужичьих свиток, солдатских шинелей, пестрых коров и лошадей. От этих переливающихся пятен несется ровный, скрипучий, неумолкающий каменный скрежет, раздираемый резкими выкриками автомобилей и грозными окриками солдат:

— В сторону! Вправо! Сворачивай!..

Беженцам нельзя останавливаться ни на минуту: сегодня же к вечеру они должны быть все за Влодавой. Казаки подгоняют их плетью. Мужики, не имеющие возов, погрузили на самодельные тачки свой тощий скарб, впряглись в них вместе с детьми и мучительно надрываются под тяжестью непосильного груза, под июльским солнцем и под страхом казацкой плетки. Вот старик,— дряхлый, трясущийся, развинченный. Он без шапки. Изжелта-

белые, истлевшие волосы разметались липкими прядями. Глаза безумно-испуганные, бессмысленные. Он ухватился обеими руками за веревку, привязанную к коровьей ноге, и, согнувшись, ковыляет за толпой. Ему девяносто лет—николаевский солдат,— он третий месяц в дороге. Вот другой старик, улучивший минуту для передышки: он упал на колени и, сложив молитвенно руки, шевелит помертвевшими губами.

— Чего ты просишь у неба? — спрашивает его адъютант.

— Смерти, — отвечает старик.

Вот на возу мертвая баба. С ней рядом корчится в холерине другая, тоже умирающая. По лицу мужика, погоняющего костлявую лошадь, бегут слезы. Двое детишек смотрят обезумевшими глазами на окостеневшую мать, безжизненно вытянутая рука которой бьется о край повозки.

— Ты бы похоронил покойницу, — советует адъютант, — детей жалко.

Мужик безнадежно махнул рукою: останавливаться не позволяют.

Иногда, рассекая толпу, проносятся парные экипажи с солдатом на козлах. В экипажах сидят молодые девушки, веселые, наглые и задорные.

— Эти войны не боятся, — говорят кругом и солдаты и беженцы. — Этих война кормит и обувает. И еще после войны останется.

Их профессию отгадать нетрудно. Но как они попали в этот страшный водоворот? Отчего мчатся в военном экипаже с солдатом на козлах?.. Об этом, впрочем, тоже нетрудно догадаться. Люди осведомленные передают, что при одном из привилегированных кавалерийских полков (не помню — драгунском или гусарском) имеется свой постоянный походный притончик, состоящий из матери (бывшей польской помещицы), двух дочерей и француженки-гувернантки. Его услугами пользуются только штаб-офицеры, а удостоенные этой чести избранницы находятся под неусыпном наблюдением врача-специалиста.

Из рядов «погоньцев» все чаще вылетают злобные крики и проклятия. Близится вечер.

Вечером все они, как саранча, осядут на чужих полях и, как саранча, сожрут и истребят все, что встретится на пути.

6

...Головному парку приказано расположиться в Парипсе. Однако, через три часа после прибытия парка в Парипсу, там уже рыли окопы, и парк передвинулся в Кробашово. Средний и тыловой парк остановились в Потоках, близ Угрузка.

С раннего утра везут раненых под Холмом. Большинство гвардейцы.

...Рано утром явился ординарец из штаба корпуса с экстренным предписанием:

«Для надзора за скорейшим питанием корпуса снарядами — немедленно перейти тыловому парку с управлением 70 парковой бригады на станцию Влодава, где находится местный парк. Снаряды немедленно по получении передавать в тыловой парк 18 бригады — в Окопинке. Промежуточному 70 парковой бригады стать на северной окраине Оссова. Промежуточному 18 парковой бригады расположиться южнее, в Ловче, откуда снаряды будут перевозиться в головные парки 14 корпуса. Тыловым паркам стать головными».

— Теперь ясно! — воскликнул обрадованно Костров. — Мы теперь отступили, заманили их; а **там** ударим целой армией! Ох, запляшут же немчики, запищат! Укоптрепошим! Разобьем Вильгешку вдребезги!...

— Правильно! — в тон ему отзывается Базунов. — Вот только еще не решено, где это «там». Отступать ли нам до Москвы или до Иркутска?

7

... До Влодавы двадцать пять верст. Но лошади кормлены, люди сыты, погода хорошая. Что еще требуется для хорошего настроения? Не вечно же думать о беженцах, аэропланах и пушках! У адъютанта нарыв на ноге, и он едет в бричке, куда насажал к себе кучу детишек.

— Еще прибросят, — пугают его солдаты.

— И отлично. Веселей будет воевать.

— Ви би, ваше благородіе, — советует Шкира, — вон цю, баришню до себе посадили. Дуже гарна паненка.

Денщики смеются:

— Шкира вже влюбився.

— Он и в Савине, — говорит Юрецкий, — успел. Какая-то девка даже провожать его вышла.

— Правда это, Шкира? — любопытствует адъютант.

Шкира свободно объясняется и по-украински и по-русски Но почему-то шутит он и «жартует» по-украински, а петь и философствовать предпочитает по-русски.

— Так точно, — улыбается Шкира. — Пытаэ: «на що ви так скоро уходите? Тільки пришли тай вже на коней сідаэте».

А я їй кажу: «Одному охвицеру не понравилось, як ви собі чуби стріжете». Так вона сміэться: із-за одного офицера стільки дівчат губить — хіба-ж це можно?» — «Можно, — кажу я: — із-за одного Вільгельма хлопців ще більше загубили.. »

Разговор неожиданно обрывается. Лица напряженно вытягиваются, подымаются кверху, где плавно парит над головами огромный аэроплан.

— Аэроплан, аэроплан! — несется тревожным криком от воза к возу, и беженцы начинают испуганно метаться. Матери скликают детей. Старики крестятся. Бабы и девки отбегают от большой дороги в сторону. Мужики усердно работают кнутами безжалостно полосуя лошадей. Аэроплан быстро направляется к нам, потом вдруг затихает на месте и медленно поворачивает вдоль леса.

— Позиции изучает, — решают солдаты, и все мигом успокаиваются.

Движемся медленно: по три версты в час. Обывательские лошади еле плетутся. Бабы плачут:

— Лучше бы нас прямо под позиции погнали и сразу убили

Слезаю с лошади и, наметив крошечного добровольца, вступаю с ним в беседу.

— Ты какой части?

Мальчик подозрительно косится на меня и неохотно отвечает:

— Еще никакой. Иду со слабосильной командой к комендапту.

— Откуда?

— Из Москвы.

— А родители твои где?

— У меня родителей нет. Кабы родители были — не пошел бы. Я сирота.

— Знаю. Все вы так говорите, чтобы скорее приняли в полк.

— Я правду говорю.

— Тебе сколько лет?

— Четырнадцать... будет.

— Через сколько лет?

— Не лет. Через... четыре месяца.

— Что же тебе хочется ко дню рождения Георгия заслужить?

— Я еще зимой во Львове был.

— Ну и что же?

— Назад отослали в Москву.

— И отсюда отошлют.

— Все равно, я до позиции доберусь!

— Что ж ты там делать будешь на позиции?

— Патроны подавать. В команду разведчиков попрошусь.

— А в разведчиках что делать будешь?

— Что прикажут, то сделаю.

— И немцев колоть будешь?

— Конечно. Еще как!

— Да ведь у тебя силы не хватит.

— В винтовке десять фунтов. Десять фунтов не подыму?

— В винтовке — десять, да в солдате немецком пять пудов.

— Что ж такое! Мне только кольнуть и вынуть. А он уж сам упадет. Мне его толкать не надо.

— Ты, значит, все уже обдумал и куда колоть и как убить. А о том, что жалко людей убивать, ты не думал?

— Нет, мне не жалко.

— Ты такой кровожадный?

— Когда к вам в дом грабители придут, станете вы о жалости думать? Родину защищать надо! — отчеканил он сурово и строго.

— Разве без тебя защитников мало? Видишь, сколько солдат кругом.

— А новый набор зачем делают? Значит, мало!

— Так ты погоди: когда позовут тебя — пойдешь. А теперь от тебя на позиции одна помеха. Тебя и в дороге раздавить могут. И устанешь ты и вшами покроешься. Заболеешь.

— Не заболею.

— Ноги не болят?

— Третьи сутки не отдыхал — не болят, — с гордостью заявил он и по-солдатски одернул книзу скатанную шинель.

— А может, все-таки посидишь на возу?

— Кабы другие солдаты на возах были... А раз они пешком — и я с ними.

И пошел скорым шагом вперед.

— Шустрый мальчонка, — заметил бородатый солдат, прислушавшийся к нашему разговору.

— Кабы глупый, небось, сюда б не добрался, — сказал другой. И прибавил задумчиво:

— От самой Москвы... Значит, большая охота в ём... А может, как пули услышит, и пропадет охота..

— Не пропадет, — отозвался новый солдат. — У нас в полку пятеро таких: патроны носят. Как бой, в самый что ни на есть огонь своей охотой идут. Уж если захотелось ему — не удержишь...

...Поздно. Высоко светит луна. Подходим к Влодаве. Звонкое каменное шоссе, с обеих сторон обсаженное столетними липами, превращено в сплошную зеленую аллею. Справа и слева от аллеи — широкие луга, над которыми, как живой, колышется беловатый туман, прорезанный полосами лунного света, искрами далеких влодавских огоньков и полыханьем желтых костров. В темноте поминутно вспыхивают снопы жемчужного света. Вырастая в блестящие, ярко раскаленные круги, они вдруг наполняют воздух страшным ревом и, как сказочные чудовища, проносятся мимо испуганных лошадей. Это краснокрестные автомобили отвозят на станцию раненых.

На станции ни клочка свободного места. На путях, в амбарах, в пакгаузах, на крышах вагонов — везде спят солдаты.

Пришлось забраться в поезд со снарядами, где нашелся пустой вагон.

— Надо бы хоть лестницу приставить, — предлагает Костров.

— Зачем? Если завтра утром аэроплан сбросит бомбу, все равно от нас следа не останется.

...Живем в лесу у влодавского вокзала. Наши палатки разбиты рядом с беженским табором. У нас — ни столов, ни стульев. Сидим на земле. Обедаем полулежа. По утрам снимаем друг с друга вшей.

— Это несчастие, — ворчит Базунов. — Они уже просочились в самую армию... Скоро мы будем отрезаны ими от всего мира и задохнемся от вони.

— Вот уже действительно г.... Польша, — с презрением говорит Старосельский. — Даю сто рублей тому, кто найдет теперь полтора аршина в лесу, не загаженных беженцами.

— Взять бы их всех и загнать в Вислу, — горячится Евгений Николаевич. — Ведь они все равно пропадут. Через неделю подохнет корова, через две недели — конь, а потом и, сам пан с детишками. Их только для того и гонят, чтобы они прошли сорок верст и протянули с голоду ноги.

— Это какие-то средние века, — возмущается адъютант.— Хуже крепостного права.

— В крепостные времена ничего такого не было, — говорит Болконский. — Были, скажем, пожалованные души, податные, купленные. Всех их прикрепляли к земле, к оседлому быту. А тут берут целый народ, выгоняют из сел и деревень и наполняют ими возы и кибитки, как ненужным навозом. Да еще требуют—живите на возах без земли, без хлеба, без всяких средств к существованию... В самые варварские времена ничего подобного не было. Нечто совсем новое, единственное в своем роде... Мавринское...

— Опыт принудительного перехода от оседлого образа жизни к доисторическому кочевому, — говорит лениво позевывая, прапорщик Кузнецов.

— Да, — усмехнулся Базунов. — Как-будто в армии производится теперь устройство принудительных пикников. Чем не пик-

ник? Сидим на травке. Обедаем на травке. И скоро спать будем на травке. А что еще дальше будет, когда мы пойдем вперед по этим выжженным местам?! Кругом, ни одной щепки ни одной души не осталось. Ой, ой, ой!... Что вы на это скажете, господин оптимист? — обращается он к Кострову.

— Мы собственно еще ничего нового не видим, — слабо оправдывается Валентин Михайлович.

— Но зато слышим, — шутливо подхватывает прапорщик Левицкий. — Шесть месяцев тому назад мы слышали кругом только польскую речь. Потом заговорили по-польски и по-русински. Теперь все больше по-хохлацки. А скоро, я думаю, мы услышим чистый великорусский говор... Тульской губернии...

Из-за деревьев неожиданно появляется ординарец Ковкин с донесением, что в местном парке получены для корпуса 2.000 шрапнелей.

— Браво! — торжествует Костров. — Вот и снарядов дождались! Я говорил! Попрем теперь Макензена.

— Чему вы радуетесь? — удивленно пожимает плечами Левицкий. — 2.000 шрапнелей на корпус?! В прошлом году в августе месяце наша бригада по 7—8 тысяч в д е н ь расходовала. Одна бригада! Это, я понимаю, огонь!.. Снарядов, батенька, нет.

— Как нет? — горячится Костров. — Две тысячи шрапнелей. Это не фунт мыла! А потом еще подвезут. Вот уже дают нам снаряды 12-секундного горения. Это ж какие снаряды? Японские! Ага!

— Кабы были у нас снаряды, — говорит Евгений Николаевич, — нас не стали бы эшелонировать таким образом. Растянули две бригады на сорок верст. Это значит: что подвезут—валяй без задержки на позиции.

— Да вы послушайте раненых, — говорит адъютант, — пехота превосходно работает, а артиллерия не стреляет...

Темнеет.

Долго лежу па бурке без желаний, без мыслей.

Густая тьма окутывала землю. Только ярко пылают огни костров и прорезывают темноту слова далекой песни:

По полю, полю вольному...
Стучат цепы дубовые,
Стоят столы тесовые,

В сырую землю врытые...
В сырую землю врытые,
Зеленой елью крытые...

...Звонкое гудение аэроплана мелодично сливается со звоном высоких елей. Сидим на вокзале в ожидании брестского поезда, везущего свежие газеты. Поезд застрял у семафора в трех верстах от Влодавы. Спрашиваем у помощника коменданта:

— Отчего поезда нет?

— Путь не свободен. Ждут отправления санитарного.

— Скоро?

— Скоро, — успокаивает он нас.

Через двадцать минут тот же диалог повторяется с комендантом, потом с дежурным по станции. А санитарный все ни с места. Снова обращаемся к помощнику коменданта.

— В чем дело?

Он наклоняется к нам и тихонько шепчет:

— Сестра Нина еще из города не приехала.

Проходит еще полчаса. Опять спрашиваем у помощника коменданта:

— Неужели сестры Нины еще нет?

— Что поделаете? Армянка: страстный темперамент. А может-быть, у сестры Ирины завязался роман на лету. Надо обождать. Через полчаса тронемся.

Наконец появляются: Нина, Ирина и еще три сестры в сопровождении целой свиты. Раздаются три звонка и... поезд попрежнему стоит на месте.

Опять адресуемся ко всеведущему помощнику коменданта:

— Почему же не едут?

Помощник коменданта печально опускает повинную голову:

— Паровоз лопнул... Должно-быть, от нетерпения.

Сестры спокойно продолжают разгуливать по платформе. А помощник коменданта смотрит доверчиво нам в глаза и говорит с грустным вздохом:

— Вы думаете, я всегда был такой подлец?

Это молодой офицер-кавалерист, помещик Бессарабской губернии. Имение его в Хотинском уезде, как-раз на границе.

— Послушайте, вы же счастливые люди! — не без юмора

обращается он к нам. — Ну, выплеснут вам в лицо фунтов десять горячего свинца. И только. А мне ведь в морду плюют каждую минуту! Я здесь всего шестой день, но уже близок к помешательству. Вы думаете, я всегда был так равнодушен? Кой чорт! Первые три дня я горячился, ругался, исчерпал весь лексикон румынской и русской матерщины. И убедился, что ничем не поможешь.

— В ком же причина?

— В служащих. Железнодорожные служащие! От них все качества. Не хотят работать! Вдруг заявляет машинист: «Шлаком забило паровоз. Не могу ехать». — А почем я знаю, забило или не забило? Что я—инженер, кочегар, истопник? За ним другой: «Не могу ехать. Ветка не свободна». — Бегу на ветку— в одну, в другую сторону. Вижу: стоят вагоны. А можно ли их убрать — чорт их знает. А тут из штаба корпуса ежеминутно телеграммы:

«Дать состав на 32 вагона для перевозки тяжелой артиллерии!».

«Принять местный парк № 86!».

— Им легко давать приказания. Вы думаете, это возможная вещь? Попробуйте, вытащите вон тот вагон, например. В неделю не вытащите!.. Потом интенданты, санитарные доктора, сестры, полковники, срочные эшелоны... Сумбур! Хаос! Столпотворение вавилонское!.. Я третьи сутки не сплю. Вчера со станции Брест сюда заслали целый поезд со снарядами. Его на станцию Малкин надо было отправить — в другую сторону. Но он стоял на пути, мешал. Вот его и заслали... Что тут было! Я получаю поезд, ко мне не относящийся. Подымаю трезвон по телефону. Никто ничего не знает. Через пять часов спохватились. Давай меня теребить: где поезд? Как он сюда попал?

— Вот подлецы! — злобно срывается у Базунова. — Это не иначе, как нарочно. Там в Малкине ждут, уже наряды получены, собрались все парки. А поезд болтается во Влодаве. Повесить их, мерзавцев, за такие штуки!

— Сделайте одолжение, вешайте, — покорно вытягивает шею помощник коменданта: — я вам только спасибо скажу. От такой работы только и остается — повеситься или застрелиться.

— Отчего же такая бестолочь? — спрашивает адъютант.

— Станция большая, а приспособлений нет. Одна крошечная платформа. Как подавать? Как нагружать, выгружать?

— Строят же теперь большую платформу, — говорит адъютант.

— Теперь! — иронически усмехается помощник коменданта. — Даже две теперь строят. Но кому они достанутся?

— Для чего же их строят в таком случае? По чьему распоряжению?

— По чьему распоряжению — не знаю. А для чего?.. Это вы у других спросите... Вы спросите, для чего перешивали дорогу от Львова до Брод на широкую колею до последней минуты? Для чего строили в мае месяце мост в Хотинском уезде? Мост здоровенный. Миллион денег ухлопали. Сидели на одном конце мужички и долбили топорами. Сидели на другом берегу — и долбили. А когда мост стал подходить к концу, его приказали взорвать... И тут взрывать будем!

— Помощник коменданта! Где тут помощник коменданта?— доносится чей-то повелительный крик.

Наш собеседник моментально срывается с места и бежит.

По перрону попрежнему гуляют сестры. Какой-то казачий есаул громко рассказывает на весь перрон:

— Вдруг слышу: австрийцы. Я так и замер. Зарылся поглубже в сено и жду. Шум в доме ужасный. Лежал я, лежал — надоело. Карабин в руки — и выхожу... А внизу, оказывается, наши казачки уже разделываются с австрийским разъездом.

— Какое счастье, — говорит нежным голосом сестра, — что вы не остались ночевать в доме, а полезли на сеновал...

Мимо нас стрелою промчался помощник коменданта, а ему вдогонку летел сердитый генеральский окрик:

— Прошу вас не забываться!.. Чтó было раньше, этого я знать не хочу. Это меня не касается... Вопрос идет о нашем составе. К одиннадцати часам — и не позже! — нам надо иметь восемнадцать вагонов для погрузки тракторов!..

А на другом конце перрона кто-то свирепо орал:

— Где же вагон с футляром? Футляр для аэроплана где? Нам надо сейчас грузиться! Куда девался этот идиотский помощник коменданта, — чорт бы его подрал!

В лесу темно. Бродим среди храпящих беженцев, разыскивая впотьмах нашу палатку.

— Значит, и комендантам не очень сладко живется, — меланхолически соображает Болконский. — Кому же на войне жить хорошо?

— Интендантам, забодай их лягушка, — заявляет Кириченко.

— Нет, я в следующий раз, как война будет, — говорит Базунов, — обязательно попрошусь в заведующие санитарным поездом. Вот кому сладко живется. Он и комендант, и интендант, и главнокомандующий над сестрами.

С трудом пробираясь в темноте, мы поминутно наталкиваемся на пестрые кофты вперемежку с солдатскими гимнастерками. Слышится треньканье балалайки, бабьи визги и смех. Чей-то сочный басистый голос гудит на весь лес:

— Нет, босоножки тоже хороши: ближе к природе...

———

...Беседую с докторами. Главный врач Орловского краснокрестного госпиталя Вознесенский нервно шагает по перрону и раздраженно бросает на ходу:

— Вы думаете, я могу поручиться, что мы действительно уезжаем? что через полчаса нам не скажут — оставайтесь?

— Почему такая неопределенность?

— Потому что так хочется уполномоченному. Ему, главное, поскорей разгрузиться. Вы ведь понятия не имеете, что это за пакостное учреждение Красный крест. Присосались к нему разные сюсюкающие господа и рекламируют себя на каждом шагу.

— Так зачем же вас расплодили такую уйму?

— А уж об этом спросите уполномоченных. Вы не видали, как они живут? Какие автомобили в их распоряжении? Какая свита? Ну вот!

— А персоналом вы довольны?

— Персонал как персонал. Подстать всему ведомству и всей войне. Бестолковщина! По две недели не раскрываемся. А чуть развернемся, наберем тяжелых больных — хлоп! надо немедленно эвакуировать или бросать на произвол судьбы.

— Разве у вас нет перевозочных средств?

— А у вас снаряды есть?

— Да ведь у вас одних автомобилей около десятка.

— Эх, коллега! А у вас нет автомобильных рот? Хорошо они работают? Вы думаете, это как в Германии: все автомобили одной фирмы? Запасные части одни и те же? Испортились два автомобиля — из них можно один годный сделать? У нас, слава тебе господи, реквизировали один Жермен, один Грегуар, один Форд... Сброд святой со всей Руси... Лопнула какая-нибудь мелочь — изволь в Петроград посылать чиниться, или бросай автомобиль. А бросать нельзя — значит тащи его за собой на лошадях.

...Говорит, волнуясь, старший ординатор 123 госпиталя.

— А вот загляните в шатры, услышите и увидите! На площади за вокзалом разбиты большие палатки, в которых на голой земле, в грязи, пропитанной кровью, валяются раненые и больные. Все сбились в плотную кучу, из которой несутся раздирающие вопли. Выслушать, освидетельствовать каждого в отдельности нет никакой возможности. Санитары хватают первого попавшегося и тащат на перевязку. В перевязочной идет спор между госпитальными и поездными врачами. Последние отбирают только легко раненых. Тяжело раненым и больным отказывают в приеме.

— Почему? Разве мест нет?

— Мест сколько угодно. Поезда уходят пустыми. А все-таки не берут. Это у них принцип такой — у поездных докторов. Ссылаются на какой-то приказ. Врут. Просто статистики портить не желают. К чему им тяжелые больные? Еще помрут!

— Куда же вы деваете своих больных?

— Ждем момента, когда начинают отступать. Тогда дается приказ: немедленно погрузить всех больных. И мы, не спрашивая, сваливаем в одну кучу тифозных, холерных, рожистых, острый аппендицит. В поезд на 500 человек кладем семьсот, девятьсот, тысячу. Сколько придется. А до того, — хоть лопни! — поезда не берут. В Холме мы стояли в московских казармах, в четырех верстах от вокзала. Был у нас случай острого аппендицита. Кое-как доставили его на вокзал. В поезде заявили: больного будет трясти в вагоне—и отослали обратно. В ту же ночь приказано было: немедленно вывезти всех больных. В на-

шем госпитале лежало двести десять тяжелых, из которых двадцать скончалось, пока довезли их до вокзала. Из них — категорически утверждаю — пятнадцать могли бы быть спасены, если бы своевременно их эвакуировали.

— Ну, это вы, конечно, сгущаете краски.

— Сгущаю?! — раздраженно закричал доктор. — Вы на позициях ничего этого, конечно, не знаете. Вы имеете дело с поэзией войны. Вы слышите грохот пушек, видите кругом здоровых, крепких людей, которые идут драться за родину. А вот пожалуйте к нам после боя, когда солдат из боевой единицы превращается в госпитальную. Им сразу перестают интересоваться. В особенности, если это, не дай бог, больной, а не раненый. Тогда он совершенно погиб. К раненому еще подойдет сестра, он еще попадет на поезд. И, доколе есть надежда возвратить его в строй, с ним кое-как еще возятся. Но больной — это обреченный. На него смотрят, как на обузу. Как на грязный комок мяса, который «жрет и испражняется».

— А сестры милосердия?

— Милосердные? Они ненавидят больных солдат. Боятся испачкаться, овшиветь. С офицером, особенно легко раненым, сколько угодно они будут возиться. Но не с солдатом. К нему они не подходят.

— Не слишком ли это огульно? Может-быть, это только ваши сестры?

— Как-раз наоборот. Наши сестры составляют исключение. Путем долгой сортировки нам удалось подобрать сестер старых и некрасивых, которые сносно делают свое дело. Но зато какие мордовороты: автомобили от них в сторону шарахаются.

— Это большое самопожертвование с вашей стороны?

— Опять-таки нет. Каждый врач предпочитает, чтобы в его госпитале были уродливые сестры; но чтобы в соседнем госпитале сестры были молоденькие, красивые и бездельницы. Так гораздо удобнее.

8

...Такова война.

Противник усиленно нажимает. Снаряды ложатся за Савином, за Гурой, достигают окраины Влодавы. Мы стремительно отступаем.

Паническим потоком катятся беженцы.

...Миновали Дубицу, Заболотье, Гущу, Стасёвку, Тучну. Прошли, почти не задерживаясь, через Рувины, Кодень, Красовку. Где-то за Бялой немцы прорвали фронт, и мы изо всех сил спешим уйти к Бресту и бессильно барахтаемся в беженской пучине. Вражеская кавалерия раскинулась широким веером, и отдельные разъезды уже заскакивают в ближайшие деревни. Беженцы жадно подхватывают эти слухи и вместе с холерой и дизентерией сеют их панической заразой среди солдат. Базунову кажется, что нас окружают, и он с утра до ночи предается пессимистическому раздумью:

— Если бы я был свободен, — мрачно размышляет он вслух, — ни одной минуты в Киеве не сидел бы. Сейчас бы на Урал уехал и прекрасно бы себя чувствовал. Это единственное теперь место на земном шаре, где можно себя чувствовать в безопасности. Напишу я, кажется, жене, чтобы она уезжала из Киева.

— Ну, до этого не дойдет, — беспечно заявляет Костров.

— Почему? Чем Киев лучше Варшавы, Риги, Либавы, Ковны, Лодзи? Чем вы его защищать будете?.. Ведь ясно, как пить дать, что Брест мы сдадим.

— Придется, может-быть, кониной питаться, — меланхолически вставляет Костров.

— Очень просто! Вот посмотрю тогда на господ оптимистов, когда они будут сидеть в казематах и считать снаряды из немецкой «берты».

— Что значат пушки, — угрюмо говорит Старосельский. — Какая здесь уйма нашего войска, а немцы как сквозь решето идут.

И вдруг загорается свирепой злобой:

— Это все сволочи, солдаты. Сукины сыны! Им только морды бить, кишки выпускать. Пока не сдавишь за горло — вот так! — ничего не сделаешь с ними...

...Идет непрерывное движение. Гулко грохочут пушки. Небо в огромных огненных пятнах. Изо всех придорожных деревушек вливаются новые потоки «погоньцев», сотни новых возов, которые пищат, скрипят, визжат и наполняют воздух надрывающим

криком грудных младенцев. Покрывая все эти звуки, гремят повелительные голоса:

— Выкуривай! Выкуривай изо всех щелей!..

...Вдруг пошли слухи, что прорыв удалось заткнуть. Клубы черного дыма попрежнему колышатся в воздухе, но оптимистические птицы распевают пронзительным хором.

— Не будем доискиваться правды, — предлагает прапорщик Кузнецов, — а устроим небольшой отдых.

— Предложение принято, — кричит Болконский.

И через минуту мы в большом тенистом саду, под пахучими яблонями. Откуда-то доносятся звуки военного оркестра. Здесь невдалеке расположился штаб и какие-то части 4-й Сибирской стрелковой дивизии, которые... справляют свадьбу: молодой сибирский стрелок женится на беженке. Венчает лазаретный священник. Шум, веселье и хохот. Солдаты ходят в обнимку с разодетыми и разукрашенными цветами беженками. Среди танцующих пар выделяется статная фигура Шкиры. Тут же юлой вертится Блинов, который, проходя мимо нас, умышленно громко говорит своей даме:

— Видишь, мы тоже обижать понапрасну не хотим.

Растянувшись на травке, Костров блаженно мечтает вслух:

— Сколько хороших вещей на белом свете. Э-эх! Супец с корешочками! Говядинка с бурачками! Вот бы еще баранчика. А-ах, х-хар-рро-шая штука!... А на третье вафли с молоком, со сливочками. У-ух!..

Кузнецов лениво пощипывает балалайку и мурлычет себе под нос:

Ай-да тройка!
Только тронь-ка —
Я все маме расскажу.
Ну, довольно,
Мне ведь больно...

...В Домачове настроение резко изменилось. Шли остатки разбитых частей и рассказывали о полках и дивизиях, превращенных в груды окровавленного мяса.

...Воздух наполнен гарью, жужжанием аэропланов, причитаниями беженцев и паническими слухами. Выяснилось, что нас собираются запереть в Бресте.

АВГУСТ

1

...Ночуем в Пищаце. Поздно ночью услыхал я нервный и торопливый говор. Слышались женские крики и голоса, звучавшие томительным страхом. Я вышел за околицу. Было темно. Скрипели подводы, за которыми поспешно шли какие-то странные фигуры.

— Кто такие?

— Евреи.

— Откуда вы?

— Выселяют из Пищаца.

Они шли почти бегом, поминутно окликая друг друга. Их тревожные окрики и суетливые движения полны были смертельной боязни.

— Почему вас выселяют ночью?

— А мы знаем? — с глубокой горечью отвечали из темноты голоса. — Кому-то надо ускорить нашу погибель...

Я стоял потрясенный и невольно втянутый в чужую судьбу. В стороне от дороги пылал огромный костер. Оттуда, как из бледного призрачного царства, неслась унылая тягучая песня:

Вы сог-ре-е-ей-тесь леса-а-а-ми дремучими,
Вы омо-ой-те-есь слеза-а-а-ми горючими,
Вы испейте кро-о-вь, кровь солдатскую,
Схорони-и-и-те в яму бра-а-а-тскую...

Я подошел к костру. В живописных позах лежали пленные австрийцы, охраняемые кучкой конвойных.

— Что это за обоз прошел? — обратился я к солдату.

— Ханмов погнали.

— Почему же ночью?

Солдат лениво цыркнул в костер и равнодушно ответил:

— Чтобы скорее память потеряли и немцу пересказыват не могли.

...Девять часов. Прошли головные парки 49 бригады. Потянулись последние дорожные роты. Совсем низко летают неприятельские аэропланы.

— Чорт их знает, — с тоскливым раздражением повторяет доктор Колядкин, — забыли!

Примчались взволнованные ординарцы из нашего головного и из головного парка 18 бригады:

— Ваше высокородие! Отчего нет приказания? Беспокоятся парковые командиры.

Базунов сердито пожал плечами:

— Я знаю столько же, сколько ты.

— Ваше высокородие! Уже кавалерия движется.

— Ну, что ж? Останемся в арьергарде.

...Одиннадцать часов. Ушли последние жители. Все кругом опустело. Посреди улицы валяются брошенные бочки, обломки мебели, тряпки. Улеглась пыль на дороге. Где-то совсем близко слышна пулеметная стрельба. Офицеры обмениваются отрывистыми фразами:

— Однако, что ж это будет? — ворчит Базунов. — Тут нужно что-то предпринять.

— Идут на рысях, — нервно замечает Костров, прислушиваясь к топоту кавалерии.

— На рысях или галопом, — оптимистов это не касается,— угрюмо иронизирует Базунов.

...Два часа. Идет сторожевая команда Сольского полка. Офицер бросает на ходу:

— Вы чего тут торчите? С Бялой уже нет телефонного сообщения. Ушли последние поезда.

— Так и есть, — горячится Базунов. — Послали какого-то казака. Тот, подлец, не доехал. А мы сидим. Недаром я прошу: пусть наши ординарцы в штабе сидят. Нет, не желают, чорт их дери!

Он нервно шагает по стодоле и выкрикивает взволнованным голосом:

— Как чешут, подлецы! Уж за Бялой!.. Надо писать домой: пускай уезжают. Меня убьют, не убьют — ничего не поделаешь.

мы на войне! А они пускай уезжают из Киева... У нас еще только в конце августа снарядов чуть больше будет. А немцы вон какой бешеный аллюр развивают. Им наплевать. Они все это знают — и прут. А у нас глаза закрывают. Не хотят видеть, что до сих пор только австрийцы были, а теперь германцы лезут. Прут, как черти! Будут через неделю в Киеве.

...Три часа. Казаки обшаривают дома и с изумлением косятся на нас. Они гонят гурты скота. Тучи дыма и пыли смешались с воздухом и образовали густую пелену, сквозь которую совсем не пробивается солнце. Люди, как тени, движутся в этой зловещей полутьме.

Идут последние отряды подрывников.

— Надо и нам двигаться, — нерешительно заявляет Костров.

— Не имею права! — говорит Базунов.

— Тогда пошлем ординарца в штаб корпуса, — предлагает адъютант.

— Штаб корпуса теперь в 20 верстах от нас, — угрюмо протестует Базунов. — Двадцать да двадцать — сорок. Это добрых четыре часа ждать. А через полтора часа здесь будут немецкие уланы.

...Три часа двадцать пять минут. На лице Базунова появляется игривая улыбка.

— Не теряйте времени даром, господин оптимист, — обращается он к Кострову. — Надо бы письма написать, последние письма...

И, широко выпятив грудь он отдает звучным голосом команду:

— На коней!

— А головные парки? — встревоженно спрашивает адъютант.

— Вы думаете, они такие же дураки, как мы? — смеется Базунов. И весело добавляет: —. Я уже два часа назад послал им приказание уходить. Парк, как птица, летит по пыльной дороге.

Издали четко доносятся ружейные залпы.

2

— Скоро кончится эта канитель? — спрашивает, потягиваясь в постели, адъютант. — Хоть бы скорей до Бреста добраться.

— Какая канитель?

— Да это бесцельное мотание по дорогам.

— Судя по газетным отчетам в а ш е й Думы, — насмешливо ворчит Базунов, — лет пять еще будем странствовать.

— На словах. Но ведь дольше это тянуться не может. Вы посмотрите, какой кабак. Только что здесь стояли холерные бараки. А теперь на их месте отдыхает какой-то госпиталь. Ушли и даже не позаботились оставить надпись, что место загажено. Ведь это прямой рассадник холеры.

— Пускай немцы заболевают, черт с ними! — говорит Старосельский.

— Пока немцы заболеют, беженцы по всей России холеру разнесут, мрачно пророчествует Базунов. — Погодите: будет у нас и Брест, и холера, и тиф, и конину жрать будем.

— А из Бреста отпуска давать будут? — спрашивает Костров.

— Когда Брест обложат, всем дадут бессрочные отпуска. Скажут: поезжайте, кто хочет и куда хочет. Хоть в царство небесное. А теперь говорят: по одному офицеру раз в две недели на полк. Сколько же они собираются воевать? В полку 86 человек. Значит, 43 месяца — пока один раз все побывают в отпуску?

— Зато, по крайней мере, в крепости делать ничего не надо будет. Ни отчетов, ни казначейства, ни передвижений. Сиди и в окошечко поглядывай, — мечтает вслух адъютант.

— От этого удовольствия вас скоро стошнит. Как запрут нас в крепостной бастион, через месяц, как монах о скоромном, начнете о работе мечтать.

...Гляжу на проходящую пехоту, и мне вспоминается Гаршин с его младенческим лепетом: «Четыре дня на поле сражения». Легкий идиллический ветерок, нежно обдувающий щетину солдатских подбородков. Всматриваюсь в эти стиснутые челюсти,

обтянутые щеки и угрюмо горящие глаза. У всех одно выражение: глубокое презрение ко всему на свете и равнодушно-разбойная покорность:

— Вы хотите, чтобы я убивал? Я убиваю!..

Ждем переправы через Буг. Сейчас переправляются боевые части 4-й армии. Только на рассвете начнет переправляться наша армия — третья.

...Разбудил меня Коновалов в начале четвертого. Было темно, холодно. Мерцали звезды. Ровно в половине четвертого мы двинулись. Над нами ярко горела Венера. Мы ехали вдоль крепостной извилины Буга. Стоял сплошной белый туман, в котором смутно маячили, как призраки северной легенды, густые леса. Жутко побрякивали цепями зарядные ящики и где-то таинственно плескался внизу невидимый Буг. Смелая декорация для Метерлинка.

Дорог нет. На карте все умышленно перепутано, чтобы не дать противнику ориентироваться в районе крепостных укреплений.

В шесть без четверти выплыло огненное солнце, и туман приподнялся кверху, как театральная кисея. Сразу обнаружились перед нами форты, люнеты, заграждения, рвы, окопы и крепостные постройки. Мы долго вертелись среди лабиринта тропинок и шоссейных поверток и только к 7 часам выбрались на дорогу — к Мощонке.

...Всюду кипит работа: копают, возят, строят. Зловещее впечатление оставляют версты колючей проволоки, прикрывающей волчьи ямы, на дне которых, как огромные острые клыки, торчат деревянные колья.

Я вспомнил рассказы о германцах, бросающих друг друга на эти острые колья и идущих вперед по телам собственных солдат. Сказки? Но в этих сказках мелькают такие знакомые черты войны. Разве мы сами не шагаем по телам искалеченных «погоньцев?»..

Издали крепость кажется могучей и неприступной. Но издали вся наша армия кажется могучей.

...В восемь часов подошли к домику лесника, в полуверсте от Мощонки. В домике пусто. Мы высадили раму, забрались внутрь, отперли входные двери и расположились на отдых. Вокруг сторожки на траве валялись тысячи пехотинцев: этапные полуроты, рабочие команды, обозные транспорты, сторожевая охрана. Обычные серые, равнодушные лица, ведущие обычные серые разговоры:

— Ну и блоху поймал я в своей шинели! Это, йордань-мордань, не блоха! Как конь все равно.

— Мужика никто не жалеет, — говорит, позевывая, другой, — и блохе кровью, мужик, плати...

— Кто такие? — обращаются к пехотинцам наши офицеры.

— Гвардейского корпуса пополнение.

— Куда идете?

— Не могу знать. Куда ведут, туда идем.

На серых лицах равнодушная скука.

— А откуда идете — знаешь?

— Не могу знать.

— Почему ты идешь, ты знаешь? — раздраженно пристают офицеры.

Солдат автоматически прикладывает руку к козырьку и с тем же апатичным видом отвечает:

— Не могу знать.

— Ну, конечно. О чем их спрашивать? Это же идиоты! — кричит Старосельский. — Ротную кухню он знает. Где курицу стянуть — знает. Поросенка украсть умеет. Больше ничего.

— И умирать умеет, — вставляю я.

Мы разговариваем громко. Я ловлю на себе несколько оживленных взглядов, и меня охватывает горячее желание узнать, о чем думает вся эта «корявая» масса. Вдруг замечаю у некоторых солдат под шинелью свежие газеты. Я обращаюсь к одному из них:

— За которое число?

— За второе августа.

— Какие газеты?

— «Новое время» и «Русское слово».

— Эх, почитать охота! — говорю я неопределенно.

Солдат посмотрел на меня и, добродушно окая, протянул мне обе газеты:

— Что ж? За доброе могу подарить одну.

— Нет, спасибо. Ведь вам самим почитать хочется?

— Так точно. Как в красный день пить хоцца, так солдата газетку почитать тянет. Отрезаны ведь мы ото всего света. Ничаго не знаем.

— Я только о войне прочитаю, — сказал я, разворачивая «Русское слово».

— О войне что читать? Про войну сами знаем. Вот тут «Новое время» больно хорошо про Думу написало.

— Где это?

Солдат развернул «Новое время» и указал мне на речь Чхенкели в Государственной думе.

Я стал читать.

— Ваше благородие! Ты бы вслух это место робятам нашим прочитал. Хо-ро-шо написано!

Среди колючей проволоки и волчьих ям, взобравшись на чью-то бричку, я громко читал речь Чхенкели, и слушатели в серых шинелях внакидку жадно ловили каждое слово. Многие встали и окружили меня плотным кольцом. Лица возбужденно горели. Какой-то обозный гвардейский офицер пробрался сквозь солдатскую толщу и спросил встревоженным голосом:

— Что вы читаете?

— «Новое время», — ответил я, улыбаясь, и показал ему номер газеты.

— А! — небрежно махнул он рукой и отошел.

Когда я окончил, кругом послышались возбужденные возгласы:

— Правильно!.. Только шушукаются.

— Пора кончать!

— Повоевали и будя!

— Хорошего ничего не выйдет... Немца не одолеть.

— Куда нам? Только зря людей убиваем.

— А энтого верно повесят, что правду сказал? — обратился ко мне с серьезным видом обладатель газеты.

— За что его вешать? Депутатам все говорить разрешается... по закону.

— Разрешается, а потихоньку повесят. У нас за правду не очень-то, — с убеждением произнес солдат.

Солдаты медленно разбрелись.

— Погоди, дай войну кончить! — цедили сквозь зубы многие, проходя мимо брички.

И на лицах опять застыло безразличное выражение.

Такова война.

Это было 5 августа 1915 года на крепостной территории Брест-Литовска.

Угрюмо высились форты, люнеты, казематы и насыпи. Свирепо щетинились заплетенные колючей проволокой железные изгороди и лесные засеки. Жадно разевали страшные пасти завалы, рвы и зубастые волчьи ямы... И тут же старая потаскуха Суворин[1] в роли потатчика революции. Чего не придумает лукавая старушка история!..

Мысли с ветром носятся —
Ветра не догнать...

II

...Мои стоянки ежедневно меняются. Сегодня в Тересполе, рядом с головным перевязочным отрядом доктора Шебуева. У Шебуева очень мрачное настроение:

— Заглянул я в здешние казематы, — рассказывает он, сильно волнуясь. — Сыро, тесно, со стен точет. Это такой ужас, если нас запрут в крепость. А запрут безусловно.

— Почему вы думаете, что именно нас? Ведь мы совершенно разбиты, да еще к тому же прославленный корпус. Какой смысл обрекать нас на крепостное сидение, когда для этой цели отлично годится любая дружина ополченцев.

— Конечно, так было бы логичней. Но именно потому, что этого требует логика, сделано будет как-раз наоборот. Да вот идет адъютант генерала Белова, штабс-капитан Сальский. Давайте спросим его.

У Сальского был встревоженный вид, и он сразу же зачастил короткими фразами:

---

[1] Увертливый редактор-издатель «Нового времени».

— Всего вероятнее останемся здесь. Есть приказ: включить в состав брестского гарнизона 77-ю и 81-ю дивизии. Мы же временно занимаем крепостные форты. Знаем мы это временно. Словом временно подслащают пилюлю. Чтобы сразу не огорошить. А на деле это будет весьма долговременно.

— Ну, не очень-то долговременно, — вставляет Шебуев. — Больше месяца мы тут не продержимся.

— Тем хуже, — волнуется Сальский: — скорее в плен попадем.

И добавляет с глубоким раздражением:

— Впрочем, все хуже. Куда ни посмотришь — дыбом волосы становятся. Валяются груды камней. Вагоны подвозят доски, песок, проволоку, колья. На каждом шагу — кучи строительного материала. Неподготовленность ужасающая. Сплошной кабак. Действуют без всякого плана. Сейчас одно, а через два часа — другое. Вот решили посадить в крепость 77-ю и 81-ю дивизию. А на завтра скажут: «Зачем посылать, когда там уже заняты позиции 14-м корпусом?» И все полетит кувырком.

— Что же вы предлагаете, капитан?

— Мириться. Нам ведь надеяться не на что. В один год промышленность не создается. Вон французы — и те сознаются, что отстали от Германии на шестьдесят лет. Куда же нам?..

...Из Тересполя переехал в Речицу. Здесь расположился парк Кордыш-Горецкого (сейчас промежуточный). От Тересполя до Речицы, если ехать через Брест-город, верст 8. Но прямиком — через крепость — версты 4. Какой-то молоденький поручик вызвался быть нашим проводником. Подъезжаем к крепостной заставе:

— Ваш пропуск?

Офицерик загорячился:

— Я вам сегодня двадцать раз показывал пропуск.

Часовой продолжал настаивать:

— Без пропуска не пущу.

Поручик долго рылся в карманах и сердито ворчал:

— Пейсатых пропускают, а офицера ни за что не пропустят.

И наконец предъявил какую-то бумажку.

Солдат, не глядя, сказал:

— Ступай.

— Ваш пропуск? — обратился он ко мне с Коноваловым.

— У меня пропуска нет, — сказал я.

— У нас пропуск общий, — закричал офицерик и опять сердито забормотал:

— Жидов пропускают, а офицеров...

Из будки вышел жандарм, осветил наши лица и, найдя их достаточно благонадежными, приказал: пропусти!

Мы ехали по цитадели, мимо огромных казематов. Было темно и душно. Мы слезли с лошадей. Солдаты, как тени, бродили по узким коридорам. Каменные, покрытые слизью стены действовали, как холодное прикосновение смерти.

— Вот так погреба! — воскликнул поручик. — Тюрьма по моему куда лучше.

— По тюрьме, по крайней мере, не стреляют из тяжелых орудий, — раздался неожиданно чей-то голос, и из темноты показался высокий, пожилой офицер, лет 50.

— Командир дружины, — отрекомендовался он. — Капитан Сидорович.

Капитан, повидимому, человек словоохотливый и соскучившийся по слушателям, немедленно принялся выгружать перед нами свои крепостные наблюдения:

— С четырех часов осматривают крепость. Ну, знаете, из меня песок сыплется, но по сравнению создешней крепостью — я мальчишка. Я, знаете, из артиллеристов. Странствую с дружиной шестой месяц. По ночам, когда попадешь на бивак, где блохи тебя жрут, в халупе воняет, из дверей дует, ревматизм щемит, — вот и начинаешь жалеть, что в артиллерии теперь все по-новому, ни черта я там не понимаю... Бродил я, знаете, по крепостным дорогам и вижу: стоят пушки замаскированные — только дула торчат. Вот они, думаю, все новейшие диковинки: панорамные прицелы, угломеры и прочая штука. Подошел я поближе, вглядываюсь, глаза протираю, и вдруг: ах, ты, боже мой!... Старая знакомая! Образца 77 года. С дымным порохом, со старинной зарядкой, с банником. Чуть не прослезился от умиления...

Капитан презрительно фыркнул:

— Послушайте, неужели с этими мертвецами мы будем от немцев защищаться? Двух дней не продержимся. Для чего только розовый грим наводят на эту старую развалину? Как посмотришь, сколько денег ухлопывается на все эти проволоки, насыпи и земляные работы, — знаете, мерзейшие мысли лезут в голову...

...Разбудил меня голос Гайдамаки, денщика Болеславского...

— Ваше благородие! — тянул он с унылой настойчивостью, — ваше благородие! Тут одну большую бочку разбили. Дозвольте и мне...

— Какую бочку? Что ты там мелешь? — недоумевает спросонья Болеславский.

— Да пива ж. Точат пиво прямо из бочек, несут в чайниках, как на крещеньи.

— Так зачем же ты докладываешь об этом? — живо откликнулся Болеславский. — Ступай к чорту!.. Не забудь только принести на пробу. Понимаешь?

— Понимаю.

И Гайдамака исчез, гремя на ходу ведерком.

Через минуту стали являться другие вестовые. Пришел Касьянов и разбудил Кононенко. Пришел Павлов и разбудил Кордыш-Горецкого...

Только часа через два, лоснясь и ухмыляясь, вернулся Гайдамака и объявил с блаженной улыбкой:

— Пиво все полетело... Казаки разобрали в щепки.

— А где же ты нализался? — завистливо спросил Болеславский.

— Сквозь кругом такой запах пива...

— Что ты от запаха опьянел?

— Так точно...

— Пойдем и мы понюхаем, — предложил Болеславский.

У взорванного пивоваренного завода толпилось несколько тысяч солдат с манерками, баклажками, котелками, чайниками и кружками. В воздухе, пропахшем тухлыми дрожжами и пивом, стоял радостный гул. Толкаясь и матерщиня, солдаты пробирались к огромным чанам с пивом. При нашем появлении все

они отхлынули в сторону, и мы вдруг увидали какого-то развязного человечка, который поспешно объяснил:

— Я управляющий завода... Всю ночь працювали (работали).

— Зачем вы их спаиваете? — спросил я.

Управляющий угодливо заулыбался:

— Нех лучше солдатики пьют на здоровье... Все равно достанется жидам.

И добавил, как-то особенно подмигнув:

— Будет скандал...

Толпа все густела. Среди серых шинелей вертелись юркие личности с национальными флажками на пиджаках.

Кажется, идет подготовка еврейского погрома.

...В стодолу входит незнакомый доктор. Он смущенно и недоверчиво всматривается в наши лица и, наконец, произносит неуверенно:

— Я пришел вас предупредить... Среди солдат ведется погромная агитация...

Все молчат. Это приводит доктора в нервное состояние. Он горячится, жестикулирует и выбрасывает целые охапки слов, среди которых чаще всего повторяется: «незаслуженная репутация», «национальная политика», «гнусная клевета»...

И вдруг он обращается резким и взволнованным голосом к Базунову:

— Неужели, полковник, вы допустите?.. Неужели вы не понимаете, что в национальной политике...

— Неужели вы обо мне такого дурного мнения? — усмехается Базунов. — За других не ручаюсь. Но наши солдаты... грабят только патроны...

Доктор торопливо прикладывает руку к козырьку, бормочет какие-то благодарности и уходит.

— Пускай попробует обратиться к полковнику Ефросимову, — говорит Базунов, иронически разглаживая усы.

— Поздравляю вас с десятым августа и с новым секретным приказом, — насмешливо гудит Базунов.

И все лениво протирают глаза.

— Приказ такой длинный, что вы снова уснете, пока его дочитают, — говорит адъютант.

— Зато поучительный! — ухмыляется Базунов.

— Матюша! Гуси! [1] — кричит Болконскому Кириченко.

Болконский лежа читает:

«Копия с копии. Секретно. Генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии. Отделение разведывательное. 23 июля 1915 года. № 7355. Начальнику штаба 14-го армейского корпуса.

«Дежурный генерал при верховном главнокомандующем сношением от 26 июня с./г. № 791 сообщил, что в последнее время некоторые общественные деятели стали усиленно получать командировки от всероссийского земского союза и от союза городов в действующую армию для раздачи воинским чинам подарков и для исполнения некоторых других поручений. Поручения эти охотно стали принимать на себя такие лица, которые принадлежат к левым партиям, **преимущественно к партии кадетов и социал-демократов, и которые скомпрометированы в политическом отношении как видные деятели революционного движения.**

«До последнего времени вовсе не было даже установленного порядка, чтобы лица перед отправлением в армию получали удостоверения о своей политической благонадежности от местных губернаторов. Обычно же они испрашивали разрешение на приезд в армию непосредственно от главнокомандующих фронтами армий.

«Такое явление, что именно **левые элементы** в последнее время ищут возможности побывать в армии, невольно **наводит на подозрение, какие именно цели преследуются ими при этом и не вызываются ли такие поездки желанием внести в незаметной форме известную долю разложения и недовольства в ряды войск.**

«В виду изложенного начальник штаба верховного главнокомандующего приказал **строго воспретить пребывание среди войск на территории военных действий таких лиц, политическая благонадежность коих весьма сомнительна, и немедленно изъять их из армии.**

[1] Фраза, с которой герой украинской пьесы постоянно обращается к своему сыну — школьнику, заставляя его читать басню «Гуси».

«Об изложенном сообщается на распоряжение.

«С подлинным верно. Старший адъютант штаба корпуса Кронковский».

Ехидно поглядывая в сторону докторов, Старосельский обратился к Базунову:

— А как же быть с лицами весьма сомнительной политической благонадежности, которые служат в армии?

— Дать им вне очереди командировку в Киев!..

...Весь день нервничают, тоскуют, ругаются и в сотый раз возвращаются к вопросу о казематах, конине и допотопных пушках, которыми защищаться нельзя...

...Евгений Николаевич поехал в штаб корпуса за какими-то разъяснениями. Вечереет. Мы бродим по полю. Накрапывает дождик. Земля сразу превратилась в болото, над которым виснет мглистый, гнилой туман.

— Бр... Не хочется в крепости оставаться, — говорит Левицкий.

— Знаете что? — предлагает Кирпченко. — Давайте отрежем себе кончик уха, уедем в Киев и там заявим прокурору, что бежали из плена, где нас пытали.

— А Костров-таки улизнул, — говорит адъютант.—Выпросил отпуск у командира. Будет он потом на аэроплане пробираться в крепость.

...За ужином Базунов разносит штабное начальство.

— Кабак!.. Форты не готовы. Телефоны не действуют. А главное — вооружения нет. Едва только одна треть вооружена. Да и та — старыми пушками. Ведь крепость устроена как? К обложению не готовилась. Теперь наскоро устраивают форты на восток. Был только один форт, вынесенный на восемнадцать верст. Приходится возводить второй ряд укреплений, но они еще не закончены. На этих укреплениях поставлены будут

«штурмовые батареи». Это прежние медные пушки. Заряжаются старыми снарядами, которые, вероятно, и рваться уже не будут. Стреляют на близкое расстояние. Это значит — жди, пока неприятельские колонны полезут на штурм...

— Как же они смотрят на исход обороны?

— По обыкновению: очень игриво. Храбрости — на словах — чорт знает сколько. Начальник штаба дивизии с гордостью заявил: не успели залезть в окопы, как уже шпиона австрийского поймали. И очень рад. А они, подлецы, нарочно подсылают своих, чтобы сбивать нас с толку. И как прут! По пятам за нами идут. Не успели занять окопы, а они уж извольте вам: появились! Понимаете, как несутся? Выяснилось, что в лоб лезут австрийцы. Их немного. Но везут с собой шестнадцатидюймовки. А с боков чистые германцы. Чешут вперед, как оглашенные. Прут на автомобилях, на тракторах. Везут орудий до чорта. Хотят ударить с боков и с тыла.

— Как с тыла? А Ковно?

— Ковно больше трех дней не продержится. А Новогеоргиевск пал.

— Пал?

— Да они «бертами» своими как саданут, так форт пополам: как скорлупа трескается.

— Какой же ваш общий вывод?

— Общий вывод такой: нет у нас больше крепостей.

— А Осовец?

— Осовец что? К Осовцу орудий никак подвезти нельзя. А Брест — пустое место. От него после первого выстрела ничего не останется.

— Что же в конце концов решили?

— Ничего не решили. Наверху растерялись и сами не знают, что делать. Сначала нас хотели направить походным порядком в Гомель. Потом назначили было всю дивизию в резерв. А теперь уж я и сам не пойму, как будет. Главное — все перегрызлись. Командир корпуса обиделся на начальника дивизии. Начальник дивизии, видите ли, вошел в непосредственные сношения с фронтом, минуя штаб корпуса. Комендант крепости свою сторону тянет.

— Да из-за чего грызня?

— Господи! Не понимаете?.. Каждый старается поскорее улизнуть из крепости, а делает вид, что горит патриотическим жаром и жаждет пасть смертью храбрых.

— Кто же теперь всем распоряжается?

— Комендант. Форменный идиот. Ни уха ни рыла не понимает. Горелова назначили командовать артиллерией всего сектора, потому что он генерал-майор. А командиры тяжелых дивизионов — капитаны и полковники. Одним словом — кабак.

— Что же будет?

— Думаю, что решено эвакуировать крепость. Такое у меня впечатление. На моих глазах погрузили два поезда девятидюймовыми снарядами.

4

Эвакуация Бреста — вопрос решенный. Ежедневно из Бреста уходят сотни поездов, груженых орудиями, снарядами, проволокой и интендантским добром. Паркам приказано забрать по миллиону ружейных патронов на бригаду.

...Опять снуют над головой аэропланы. Они кружатся целыми стаями. Где-то совсем близко грохочут пушки. У нашей стодолы столпилось человек десять офицеров. Они нервничают, ругают начальство и тоскуют о мире. С час тому назад на висячем мосту убит бомбой с аэроплана часовой. В Бресте сброшенной бомбой ранены три солдата. Над нашим парком все время вьются четыре аэроплана. Гремят зенитные пушки, визжат шрапнели. Но аэропланы низко и медленно кружатся над парком, не обращая внимания на выстрелы.

— Какая дерзость! Эх, подбить бы его, — говорит кто-то из офицеров.

Освещенные косыми лучами солнца аэропланы, казалось, весело насмехались над нами.

— И где это наши летчики? Что они делают?

— Сестер милосердия на автомобилях катают. Разве вы не знаете?

— Бездарная у нас публика. Хоть бы профессора наши выдумали что-нибудь для борьбы с аэропланами.

— Что тут выдумаешь?

— Ну, придумайте пушку, которая бы воздушной струей опрокидывала аэропланы. Или магнит такой, присасывающий машину. Мало ли что...

— Вот-вот, — подхватывает Базунов. — Притянуть его, подлеца, произвести над ним маленькую операцию и зарядить в пушку для сбивания аэропланов.

— К чему все эти чудеса, — говорит ноющим голосом ветеринарный доктор Колядкин, — когда есть такое простое и хорошее средство: мир... Только скажите это слово — и сейчас пушки перестанут стрелять, исчезнут аэропланы... Такое желанное слово, — вздыхает Колядкин. — Кажется мы никогда не дождемся конца войны.

— Дождемся, и очень скоро. Только после войны еще хуже будет, — мрачно произносит какой-то незнакомый нам черноусый офицер.

— Почему так?

— Если внутри перемен не будет, пойдет такая резня, что небу жарко станет.

— Ничего не будет, — сухо роняет Старосельский.

— Будет! — внушительно отвечает тот же офицер. — Люди легче стали. Жалеть ничего. Заварится каша!

— А будут с миром тянуть, — говорит Левицкий, — во сто раз хуже будет.

— О каком же теперь мире может быть речь? — возмущается Растаковский. — Это значит сдаваться на милость победителя...

— Ну, куцый мир, а все-таки мир, задави его гвоздь, — шутливо вздыхает Кириченко.

— На кой он тогда чорт?

— Это вы теперь говорите, когда узнали, что в крепости сидеть не придется.

— Ну разве можно воевать, — вмешивается офицер из дружины, — когда кругом вор на воре!.. Слыхали? В Киеве двух генералов повесили за то, что они 104 вагона австрийских трофеев через Румынию назад в Австрию отправили.

— Ну, это из «Солдатского вестника», — смеется Левицкий. — Ко мне вчера приходил солдат, спрашивал: правда ли, что

комендант брестской крепости убежал к немцам еще 24 июля и передал им все планы? Так что теперь из-за этого приходится сдавать крепость без боя.

— Что ж, доля правды в этом имеется: из-за кого-то ж приходится сдавать крепость без боя.

— Забодай их лягушка, — раздражается Кириченко. — Когда вздумали крепость эвакуировать! Неприятель в двух верстах от передовых укреплений, прет с трех сторон, а они только теперь догадались, что крепость никуда не годится.

— Воображаю, сколько добра достанется немцам, — говорит Болконский. — Одних консервов в крепости заготовлено 45 миллионов. Хлеба, муки, скота — неисчислимое количество. Крепость готовилась к полугодовой осаде.

— Ведь у нас все время так делается, — говорит с раздражением дружинник. — Дорогу заканчивают перед тем, как сдавать ее немцам. Во Влодаве платформу достраивали в день отступления. По неделям части стоят без дела. Тут бы как раз хлеб смолотить и увезти. Никто и думать не хочет об этом. А потом сжигают.

— Сжигают—это бы еще ничего. Немцам отдают!

— Всюду изменники работают. Все это умышленно делается. Слыхали вы, как под Брестом окопы строили? В нашу сторону! Теперь там кого-то под суд отдают.

— Под суд? — язвительно подхватывает Базунов. — Ну, значит дадут ему Белого орла и посадят в Государственный совет. У нас ведь такой порядок: как только поймали прохвоста с поличным, так ему сейчас — Белого орла и в Совет.

— А в Думе кричат: воюем! Что ж они ничего не знают? Хоть бы написать им, что ли?

— Что там из писания выйдет? — пренебрежительно отмахивается черноусый офицер. И добавляет с суровой решимостью: — Пока с волка шкуру не снимут, никакого толку не будет!..

...С трех часов ночи грохочут тяжелые орудия. Стреляют с западных фортов. Временами огонь становится ураганным и пальба превращается в протяжный, стонущий гул, раскалываемый треском шестнадцатидюймовок. По дороге мимо нашей сто-

долы тянутся обозы и транспорты, гурты скота, этапные полуроты, понтонные батальоны вперемежку с голосящими бабами, мужиками, почтовыми фурами и лазаретными двуколками.

Идет спешное отступление.

...В ясном небе вьются германские аэропланы. Их очень много. Они сбрасывают бомбы, которые рвутся в разных местах и наполняют воздух резким металлическим треском.

Возле нас отдыхают казаки Екатеринбургского полка. Развалившись на травке, они препебрежительно поглядывают на летающие машины и спокойно обмениваются размышлениями.

— Вот за ероплапы эти, — говорит здоровенный загорелый детина, — надо бы немцу все ребра перебить, и то мало. Ни на часок тебе отдыху нет. Уснешь при дороге — и к бомбе во сне прижмешься.

— Нет больше сволочи, как немец, — отзывается другой, — все для смерти удумал. И газы, и ероплапы, и пушки...

— Всех война выучила, — вздыхает пожилой казак. — Ни стыда ни совести. Ровно траву луговую людей косим...

— Про то ж и я говорю, — живо откликается первый казак. — Один забрался наверх и... гадит бомбами. Другой снизу плюет в него шрапнелью. Для ча? Кому это надобно? Чорт его знает! Гудит, трещит. Облегчиться не дают. Того и гляди зацепит бомбой или снарядом...

Наша стодола, расположенная у самой дороги, давно уже сделалась сборным пунктом всех проезжающих офицеров. Явная, бьющая в глаза бессмысленность верховных распоряжений, ужасающая неподготовленность, посрамленность, растерянность, чудовищное казнокрадство и национальный позор развязали всем языки. Здесь, на территории Бреста, уже никому не мешают доискиваться правды. Да и как помешаешь? Как зажмешь рот всем этим беженцам, солдатам и прапорщикам? Во всех речах клокочет нескрываемое беспощадное раздражение. Командир дивизионного обоза, подполковник Шмигельский — только-что из штаба дивизии и делится свежими впечатлениями:

— Что там творится, если бы вы знали!.. Ничего нет. Никто

ничего не знает. Крепость только через год закончена будет. Форты не облицованы, бетон наружу торчит. А что сделано — никуда не годится. Командиры полков волосы на себе рвут. Полковник Нечволодов чуть в морду не дал Белову. При мне благим матом кричал:

— В окопах сидеть невозможно! Чорт их знает, ваших строителей, о чем они думали! Хоть бы в Сипяне австрийские окопы посмотрели. Ни козырьков ни бойниц. Две покатых стены!.. Как в заднюю стенку снаряд хлопнется, так восемь человек из строя вон! А ходы сообщения ниже колена. Повесить их, ваших строителей, на первой осине! Укрепляли не Брест, а собственные карманы.

— Где ж мы теперь задержимся, если Брест сдадим? — волнуются слушатели.

— А чорт его знает! Гвардейцы говорят, что по линии Смоленск — Киев возводятся укрепления.

— Чем же те укрепления лучше будут?

— Ничем, конечно. Надо просить мира. Ничего другого не остается...

...Новые лица и те же язвительные разговоры. Кричат о разрухе, бездарности, о страшных хищениях, о немецком засильи. Больше всех горячится драгунский поручик Белозерский.

— Я никогда не сочувствовал революции. Но теперь, если революция будет, меня увидят в первых ее рядах. Помилуйте: до сих пор муку продолжают свозить в Брест. Знаем мы, для чего это делается. А солдаты, думаете, не понимают? Уже начинается!.. Слыхали, что сегодня было в Бресте? Солдаты стали разбивать винные склады. Поставили часовых. Те стреляли. Солдаты отвечали тем же. Был пущен блиндированный автомобиль, который промчался, стреляя из пулеметов, среди перепившейся толпы. Раненых много...

...Гуляем втроем с Болконским и Старосельским. Мигают первые звезды. Тихо. Идем целиной. Над лугами курятся испарения. На западе небо пылает от пожаров: горят мосты.

— Кажется, проиграю пари, — криво усмехается Старосельский.

— Что же дальше будете делать? — спрашивает Болконский.

— А что прикажете делать? Всюду такая сволочь, такое г..но! Я отлично знаю: кончится война — начнется революция...

Старосельский задумался и потом продолжал:

— Одно могу сказать: от всей души желаю, чтобы лучше стало. А станет ли лучше—не знают. Может быть, вышлют один корпус — и всю революцию разметут. И еще туже завинтят крышку. И опять будут душить и вешать. И будут кланяться в пояс господину околоточному надзирателю и записываться в союз русского народа... А впрочем, чорт с ними. На мой век хватит, а на остальное мне наплевать. Теперь я одного хочу. Когда сидишь у постели умирающего близкого человека, думаешь только об одном: скорей бы он умер. Так и я теперь одного хочу: скорого мира! И только...

— Неужели из-за того, что в России плохие околоточные — всем погибать? — говорит Болконский.

— Она вся гнилая. Быть ей вторым Китаем. Никуда она не годится. Вы вот фантазируете, а я знаю. Знаю, кто сидит наверху и что творится внизу...

— Что не годится, надо вон вымести, — замечает Болконский.

— Попробуйте. Что из этого выйдет?

— Насчет скорейшего мира, — говорит Болконский, — я с вами согласен: надо кончать эту грязную историю. А в дальнейшем... мы еще посмотрим, кто кого...

...12 августа. Вечером приехал Кордыш-Горецкий и привез кучу тревожных новостей. В штабе дивизии окончательно потеряли голову. Приказания меняются ежеминутно. Вывозят что попало. Интендантство раздает солдатам сапоги, гимнастерки и сахар. Солдаты тут же продают это беженцам. Противник переправился через Буг и успел подойти к проволочным заграждениям, но был отбит 70-й дивизией. Аэропланами сброшены в Бресте прокламации, в которых говорится что Брест будет взят 14 августа.

В десять часов вечера прислано срочное предписание из штаба дивизии:

погрузив по 500 000 винтовочных патронов на каждый парк, в семь переходов дойти до города Слуцка».

...В одиннадцать часов вечера злой и мрачный вернулся из штаба корпуса Базунов и сообщил, что все прежние приказания отменяются и мы остаемся пока на месте.

Нервно шагая по стодоле, Базунов выпаливает короткими залпами:

— Отчаянно нажимают с северо-запада. Им наплевать! Не хотят нас брать в лоб. Они прут с боков, по обеим сторонам Бреста. Дай бог как-нибудь выбраться отсюда. Тр-р-ри армии отступают по одной узенькой дорожке!

— Когда ж мы начнем отходить?

— Чор-рт их знает! Вместо того, чтобы спасать, что можно, и нас стараются потопить. Пять дней тому назад они получили приказ: «для сбережения живой силы, орудий и снарядов защищать Брест-Литовск как полевое укрепление и приступить к эвакуации крепости, каковая эвакуация должна быть закончена в девятидневный срок». До сих пор уже можно было половину Бреста очистить. А они со вчерашнего дня раздают каждому встречному и поперечному амуницию, сбрую, подковы, оси, колеса. Упрашивают — только берите!

— А как же понимать приказание: в семь переходов дойти до Слуцка?

— Какое приказание? Я прямо от инспектора артиллерии. Приказано ждать, пока придут лошади 18-й парковой бригады и 14-го мортирного дивизиона, на которых вывозят пушки в Кобрин.

— Да вот же срочное предписание из дивизии.

— Вздор! Покажите... Я же говорю вам, что прямо от инспектора артиллерии еду!..

...На рассвете 13 августа меня разбудил голос ординарца Ковкина:

— Ваше благородие! Срочный пакет.

Вскрываю.

Приказание из штаба дивизии в семь дней передвинуться в город Слуцк, Минской губернии, не делая по пути остановок.

— Ну, начался кабак! — вскочил Базунов. — Форменный кабак! Каждый распоряжается по-своему. Гоните немедленно ординарца в штаб корпуса, — обратился он к адъютанту, — с пакетом такого содержания: в виду противоречивых распоряжений прошу указать, как быть.

...Идет беспорядочное бегство. Без конца тянутся обозы, транспорты, госпитали, казачьи полки, пулеметные роты, парки и опять госпитали, обозы, транспорты и этапные батальоны.

По всем направлениям гудят десятки аэропланов. Не успеют дозорные пушки повернуться в одну сторону, как в трех других местах уже снова вьются германские альбатросы и таубе. Слышны короткие грохочущие разрывы. Бомбы рвутся где-то совсем близко. Небо усеяно белыми хлопчатыми облачками, которые медленно тают в вышине и заменяются десятками новых. Воздух неожиданно наполняется странным протяжным потрясающим гулом, от которого долго покачиваются деревья. Через пятнадцать минут уже передается из уст в уста, что это бомба взорвала бак с бензином на станции Брест-товарный и оставила на путях десятки обезображенных трупов. Люди терроризованы воздушными хищниками и, как зачарованные, не сводят с них глаз. Не доезжая до станции Жабинка, поезд из Бреста подвергся налету воздушной флотилии. Испуганный машинист остановил среди поля поезд, и люди бросились врассыпную, кто куда.

Нет ни одного уголка, защищенного от этих страшных набегов. Движение идет густыми колоннами, и от каждого налета жертвы уже насчитываются десятками, особенно среди беженцев. Аэропланы грозят превратиться в неслыханное бедствие.

...Воздух наполнен злобой и ненавистью. Возле нас расположилась на отдых ополченская бригада. Солдаты во всеуслышание обсуждают все, что творится на их глазах:

— То не было снарядов, а то весь день и всю ночь топили в Буге снаряды. Каждый — прямо как бык. Во какие! Перегатили Буг от снарядов.

— Эх выпил бы ведро водки и сказал бы начальству всю правду!..

— Лавочки все пооткрывали. Раздают. Берите, кто хочет: консервы, сапоги, рубашки, сало, сахар. Забирай, сколько можешь!

— Вишь ты, чертовина какая! — громко и вызывающе кричит пожилой солдат. — Снарядов нехватало, нехватало, а теперь топят! Скоро и пушки топить будут... Как в Порт-Артуре: затопили броненосцы, а японец их прекрасно вытащил... Сволочь!

— Такое начальство и в воду не грех, — звенит взволнованный голос, — коль оно своих, русских, не жалеет. Засыпать бы немца ураганным огнем, как он нас засыпает. Так нет же — не стреляют, а топят!..

Между ополченцами вертится наш Ничипоренко.

— Земляков шукаю (ищу), — поясняет он в нашу сторону и мимоходом роняет с плутоватой усмешкой: — Еге, нехай топят. А то німець ще подумаэ, що ми вже не боімся, що мы вже втікать не хочем. Да ще знов полізе драться... Ні, нехай лучше топять...

— Да из чего стрелять? — гудит чей-то свирепый голос. — На фортах видали? По три пушки! Болтаются, как овечий хвост в проруби — вот и вся артиллерия!.. Брест — крест!

— Мало нас били. Больше надо! Без немца никак до точки дойти не можем... Г.. но собачье!

— А може це такий дурень, — лукаво подзуживает Ничипоренко, — що кільки ні бей, з нього толку не буде... Сідай, куме, на дно!..

...В три часа примчался на взмыленном коне ординарец из штаба корпуса:

«Инспектор артиллерии приказал: в виду отхода всего фронта, с получением сего немедленно передвиньтесь с тыловыми и средними парками по измененному маршруту — в Забужки-Мазуры. Будьте обязательно в указанном месте сегодня ночью. Головной переходит в Яковицы. Штаб корпуса будет ночью в Шиповичах. Окажите содействие 3-й и 18-й бригадам, люди которых еще не пришли из Кобрина».

— Едрикенштейн, — поскреб в затылке прапорщик Кононенко. — Пишется: в виду отхода всего фронта. Разумеется: в виду панического бегства...

— Да, дело не тово... — пессимистически протянул Старосельский.

Базунов нервно вскочил:

— Разговаривать некогда. Нам нужно уходить! Как можно скорее уходить!.. Просто сил нет... Нас забывают. Нарочно, подлецы, забывают! Умышленно! А эти черти все валят и валят из своих пушек!..

По всему фронту от Бреста на запад оглушительно ревели орудия.

...По всем дорогам тянутся крикливые вереницы удирающих войск. С визгом и грохотом в две, три, четыре шеренги катятся люди и лошади вперемежку с гуртами скота, автомобилями, лазаретными линейками и беженцами. Бегут как попало, крича и беснуясь, насыщая воздух проклятиями, утопая в потоках едкой матерщины и пыли. От пыли першит в горле и мучительно слезятся глаза. В белых клубах с трудом барахтаются ослепленные люди: человеку, сидящему верхом, не видать ушей своей лошади. Поминутно вся эта грохочущая лавина замирает на месте, и тогда глазам открываются чудовищные картины: павшие лошади со вздутыми, как гора, животами; истекающий кровью жеребенок под колесами автомобиля; старик, умирающий на возу и беспомощно протягивающий свои тощие пальцы; обессиленные женщины, свалившиеся у дороги и ежеминутно рискующие быть раздавленными; дети с испуганными личиками, прижатые кабанами или телятами; дюжие солдаты, хватающие за грудь растрепанных девушек; десятками падающие среди дороги коровы; сбившиеся в кучу овечки; сотни заплаканных лиц, с тоской и отчаянием выкрикивающих: но! но!..; полосующие кнуты; задерганные до полусмерти лошади и десятки тысяч усталых, замученных, запыленных солдат...

Чем дальше, тем гуще становится толпа, тем крепче скипается она в одно гигантское змеевидное тело, сбитое из коров, людей и копыт, колес, кнутов и повозок.

...Уходим с последними остатками ошалело бегущей армии.

С трудом продираемся сквозь бушующее пламя. Огненные языки полыхают жаром в лицо. Сбросив всадников, десятки ло-

шадей в одичалом безумии с топотом мчатся по горящим улицам Бреста.

На станции поезда удирают, не дожидаясь пассажиров. Отбившиеся одиночки-солдаты, сестры милосердия, беженцы — бросаются в первый попавшийся вагон и бегут, неведомо куда и зачем.

За вокзалом чуть синеют в тумане далекие леса, прорезанные золотыми блёсками бивачных костров.

С высокого пригорка в последний раз открывается пылающий Брест. В вечернем небе скачет и мечется широкое огненное зарево. Мглистый воздух, наполненный криками и гарью, гудит и вздрагивает от взрывов: это с грохотом взлетают последние форты. Каждая огненная вспышка, как кнутами, подхлестывает катящуюся лавину.

Извиваясь и лязгая, она вытягивается узкою лентой вдоль Кобринского шоссе — единственный путь через Пинские болота.

Вправо и влево от шоссе — трясина. Из каждой болотной кочки земля выбрасывает гнилые испарения. Они тихо колышутся над трясиной и как серые тени стоят стеной вдоль дороги.

Чем гуще ночная тьма и чем дальше от Бреста, тем теснее смыкаются болотные туманы. Пугливо продираются люди сквозь их клубящуюся завесу.

Жутко. В мглистом сумраке незаметно стираются все грани между землей и трясиной, между солдатом и беженцем, между жизнью и смертью...

Седая болотная паутина могильным саваном заткала землю. Не видать ни лиц, ни возов, ни дороги. Только лязгает железо, звенит матерщина, хлопают кнуты и хлещут отчаянные вопли:

— Погибать, ребята!

— Вот он страх смертный!..

— Не война — ад кромешный!..

— Сорвался с тропочки — как в могилу бухнул...

— Эх, попадись ты который, лопни твоя печенка!..

— Пропадем!.. Так до самой могилы ни часочку нам радости не будет...

— Не видать нам солнышка больше...

А кругом, в пропитанном кровавым неистовством тумане, злорадно и гулко рычат германские пушки.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ПО ПОЛЕССКИМ БОЛОТАМ

1915 ГОД

АВГУСТ

1

Разбитые, беспомощные, охваченные паническим ужасом, бегут две огромные армии (3-я и 4-я), подгоняемые смертью со всех сторон. Сверху — аэропланы и цеппелины. С боков — зловещие пушки и болотная пучина. Внутри—холера. Две огромные армии, прижатые к полесским болотам, делают бешеные усилия, чтобы прорваться сквозь узкое горлышко, в котором застряли миллионы тел и возов.

Задыхаясь от ненависти и страха, занятые только мыслями о собственной жизни, с неистовым воем мчатся, обгоняя друг друга, грузовики, мотоциклетки, автомобили, велосипеды. За ними во весь опор несутся артиллерийские повозки, зарядные ящики, двуколки, лазаретные линейки, пулеметные роты. Извиваясь между возами, скачут конные — в одиночку и целыми эскадронами:

— Вали, вали!.. Не задерживай! — орут они бешено на скаку. И сотни людей пугливо шарахаются в сторону.

Вдоль края дороги вытянулись бесконечной лентой жалкие несчастные беженцы. Или, как окрестило их солдатское остроумие: «обеженные». Смертельно усталые, понурые, хилые, голодные, с грудными младенцами на руках, они из последних сил подталкивают свой ноев ковчег. На лицах отчаяние и мука, которые могли бы тронуть камень, но не бегущую армию. Особенно страшны старики, когда они молча, с опущенными глазами стоят у края дороги и трясущейся рукою протягивают шляпу за подаянием.

Среди беженцев свирепствует детская холера. Непогребенные трупики валяются на каждом шагу. Иногда их складывают в большие кучи. Сегодня у опушки придорожного леса я насчитал их 16. Они лежали все рядом с восковидными лицами и заострившимися носами. К телу пришпилены были крестики из еловых ветвей. И чья-то тоскующая рука возложила на голову девочки-подростка венок из голубых колокольчиков.

Бывают картины еще печальнее. На краю шоссе, у самой трясины лежит мертвая женщина, полураздетая, вся занесенная пылью и с запекшейся кровью на губах. А к ее измазанному кровью лицу припала с громкими воплями девочка лет восьми. Мимо катятся автомобили, повозки, офицерские экипажи. Люди поспешно отводят глаза. Только иные сердобольные солдаты кладут возле девочки куски хлеба...

Над шоссе, и днем и ночью, стреляя из пулемета и сбрасывая большие бомбы, гудят гигантские шершни и медленно плывет цеппелин. Ему отвечает пехота беспорядочной пальбой, из винтовок. За сегодняшние сутки цеппелином убито до 140 человек. Это на пространстве одной дивизии.

...Возле Кобрина большая песчаная равнина. На ней осели тысячи беженцев, и под знойным солнцем раскинулся на сыпучих песках огромный город-бивак. И тут же рядом за двое суток вырос почти такой же обширный город мертвых — детское кладбище. Докапывая свежую могилу, пожилой крестьянин обратился ко мне со вздохом, указывая на новенькие кресты:

— Только и делаем, что хороним, хороним... Хлеба нет, воды нет. Припадут, как щенята, к луже и пьют. А потом покричат на живот и умирают. Вот и эту хоронить надо, — сказал он, приподнимая лопатой край валявшейся свитки, под которой лежала мертвая девочка.

Идем через Кобрин, — большой, грязный, забитый войсками город. Армия здесь не задерживается. Только делает короткие привалы и дневки. Но проходя, сметает по дороге заборы, выворачивает деревья, вытаптывает огородные посевы, опрокидывает фонари, будки, сараи, стойла, колодцы. Все, что создано усилиями мирно трудящихся людей, армия размалывает и рас-

тирает своими гигантскими челюстями. Такова война: войско, составленное из тружеников, с непонятным остервенением истребляет труд человеческий.

За Кобрином грунт становится тверже и движение легче. Пехота идет обочиной.

...Жарко. По дороге ни одного колодца. Люди и скот изнемогают от жажды. По бокам снова гнилая топь. Измученные коровы тянутся к болотной воде и моментально грузнут по брюхо. Вдоль всего пути десятки полуиздыхающих коров бессильно барахтаются в грязи и оглашают воздух жалобным мычаньем.

— Вишь в какое болото загнал нас, — угрюмо повторяют солдаты.

Два аэроплана выследили наши зарядные ящики и назойливо преследуют нас до стоянки.

В 3 часа пришли в деревню Ворск, где застали много частей. Воды нет. В колодцах пусто. Наши солдаты насильно овладели частью деревни, расставили часовых у колодцев, и через час воды набежало столько, что хватило напиться всей бригаде.

Но нас осаждают беженцы и толпы чужих солдат, которые со слезами и отчаянием добиваются глотка воды. Некоторые беженцы предлагают по рублю за ведро. Большинство осыпает нас упреками и горько плачется на нашу жестокость:

— Как вам не грех? У нас дети малые умирают. Напьются из лужи и тут же кончаются... Зачем вы нас выгнали? Скорей бы хоть смерть пришла. Застрелите нас или отдайте в плен.

Солдаты ругаются и наседают. Но, споткнувшись о твердую решимость здоровенных артиллеристов, уходят, злобно цедя сквозь зубы:

— Вот погодите. Идут сзади сибиряки. Они вам покажут, жеребцам!.. Всю вам деревню разнесут.

Мы твердо выдерживаем характер и снимаем пикеты лишь тогда, когда вода появляется в колодцах.

Через 20 минут все колодцы снова пустые, местные крестьяне голосят благим матом:

— А бодай вас холера задушила, поляки вонючие! Из-за них и нам пропадать.

Беженцы ехидно посмеиваются:

— Подождите. Завтра и вас погонят!

...Лежу на солнце и подкарауливаю солдатскую мысль. Возле меня расположились на отдых солдаты 45-й дивизии — Изборского и Усть-Двинского полков. Закрыв глаза, я вслушиваюсь в их разговоры.

Говорят о беженцах.

— Встряска всем, — сочувственно вздыхает молодой задушевный голос. — Конечно, рожденная местность. Вот чего жаль. Много ли наберешь в мешок? Как вышел — кланяйся «москалям»; [1] не то с голоду пропадешь.

— Не любят они нашего брата, — сухо вставляет жиденький тенорок.

— Обидно вот что, — философствует басистый голос: — куда ни приходишь, мирный житель на тебя смотрит, как на разбойника. Косо поглядывает, как будто ты ограбить пришел.

— Это верно, — отзывается кто-то издали, — лихое дело война.

Голоса затихают. Потом первый задушевный голос заявляет в раздумьи:

— Шастой день без бою. Жизнь-то теперь — обижаться нельзя: хорошая жизнь. Только думы... думы без конца.

— Да, каждый страдает о нравоучении, — наставительно произносит сухой тенорок.

— Не знаю, — продолжает задумчиво первый голос. — На позиции как-то меньше думается. А здесь сильнее. Сидишь-сидишь, скуки ради и задумаешься.

— На позиции об одном думаешь, — говорит бас: — как бы шкуру спасти.

— Там ночь чертовская, — вмешивается новый голос: — то в секрете, то дневальство в бойнице. День-то как-то весь проходит: чай пьешь, обедаешь. А ночь долгая, как болезнь.

— У каждого своё на уме, — говорит с грустью первый голос. — Еженощно об этом теперь думаю; уже пять месяцев я не получаю письма. Они, может, тоже не получают. У меня так случилось — все под ряд место менялось: адрес-то мешался.

---

[1] Солдатам.

Они пишут в Холмец, а меня уж нет. Они пишут на лазарет, а я уж в полку... На заработки идешь — сколько письма нет— ничего. А тут все думается...

— Война отмены не знает, вот что! — гудит наставительно бас. — Когда идет человек на заработки, идет на срок. Ожидание есть. Заболеет — домой вернется. А тут не вернешься. И раньше не уедешь.

— Кто-то останется от семейства? — продолжает грустить первый голос. — Нас все-таки пять братовей. Все на войне. Покуда был я в полку, я получал от них сообщение. А теперь ничего не знаю. Только про одного-то я и знаю: я его встретил. Мы шли на позицию, а он попался на дороге раненый. В грудь его ранило. Благословил он меня...

— В каком полку? — интересуется кто-то.

— В Екатеринбургском полку. В мае месяце. А троих — так они в запасном батальоне...

Минут на пять воцаряется молчание. Слышатся визгливые окрики деревенских баб. Потом чей-то неуверенный голос просительно заявляет:

— Получил я от брата письмецо. Разобрать никак не могу. Прочитай, ребята, которые грамотней.

— Давай, — говорит первый голос и читает вслух по складам: «Милой брат! Когда получишь это письмо, воздержись мне отвечать. Нашу роту отправляют в новое место. Куда, не знаю. Конечно, мы предполагаем, и даже наверняка. Но до моего извещения не пиши. А теперь еще уведомляю тебе за твою жену. У нас на хуторе у попа бьют камень. Так мне вот прописали, что твоя жена ходит теперь до тех каменщиков спасаться. Выбрала себе одного и спасается в кузне. Днем она помогает ему мехами дуть, а ночью он до ней бежит... И если желаешь, то приезжай на свадьбу... Я бы не писал, только меня обходит, что ты страдаешь, а она пустилась у шлюхи. Дай тебе бог здоровья. Твой брат Григорий Смоляк».

— Не верь коню сзади, а бабе спереди, — гудит бас.

— Баба не конь, — спокойно возражает обладатель «спасающейся» жены, — путы на ноги не накинешь.

— Ну, — скрипит сухой тенорок, — у меня за такое дело не отластится. Узнаю — не пожалею!..

— Узнасть! — задорно смеется кто-то. — И разражается оглушительным, неудобосказуемым афоризмом в пользу бабьей неуловимости.

В ответ раздаются такие же хлесткие, нецензурные поговорки. Но вскоре разговор опять получает грустно-задумчивую окраску:

— Не пойму я, — тянет чей-то меланхолический голос, — как это бог войну допускает?

— Какие-то бывают периоды, — философствует бас: — среди народов образуются такие наросты гнойные.. Люди должны их вскрыть. А потом начинается мирная жизнь.

— Это правильно, — соглашается меланхолик, только-что усомнившийся в божественной справедливости. — После войны опять дружелюбие настанет... если дождешься. Это как поссорился с отцом. Ссоришься — сладко. А потом сдавит сердце: хочется вину перед ним загладить.

— Какое тебе дружелюбие к немцу, — отзывается какой-то скептик, — ежели он пол-России забрал?

— Забрал — и отдаст, — горячо возражает меланхолик. — Бог может все сделать... Утомится немец.

— Его дело не выгорит! — убежденно поддерживает бас. — Без крова находиться в опустошенной местности тоже не очень-то сладко. Опять же доставка фуража и всякого провианту. Капитал его должен истощиться. Вероятно, последнее доедает.

— Последнее?! — насмешливо вставляет парень, задорно отстаивавший неуловимость бабьей измены, — последнее, а бросать нам приходится.

— Значит, по-твоему, и англичан, и французов, и итальянцев — все народы немец один одолеет? — раздраженно парирует басистый резонер. — И будем мы драться двадцать лет?

— А по мне... — беспечно хохочет парень. — Мне война по нутру!

— Дураку все по нутру, — сердито огрызается бас. — А что проку в войне? Разор да погибель.

— Дома-то всех больше один мужик мучается, — дерзко бросает парень, — а на войне всем страх смертный. Всех одним дубьем лупят, а податься некуда.

— Это он правильно, — несется с разных концов.

— Эх! — вскрикнул парень с какой-то дикой удалью и, ударив по балалайке, запел вызывающе и смело буйную, разгульную песню:

Уж как я ль, молодец,
Не в красе живу:
Красны девушки —
Пули резвые,
Молодые молодушки —
Ядра медные.
Хорошо мне песни петь —
Сыт по горло я.

Я и я ль, сиротец,
Лег — не ужинал,
Поутру рано встал —
Да не завтракал.
Я без хлеба сыт,
Сыт без соли я.
Не дождаться мне
Вольной волюшки.

Эх, пойду ли я, сиротинушка,
С горя в темный лес.
В темный лес пойду
Я с винтовочкой.
Сам охотою пойду,
Три беды я сделаю:
Уж как первую беду —
Командира уведу,

А вторую ли беду —
Я винтовку наведу
Уж я третию беду —
Прямо в сердце попаду,
Ты, рассукин сын, начальник,
Будь ты проклят!..

...Ночевали мы не в Ворске, а на соседнем фольварке, в двух верстах от деревни.

В низенькой, покосившейся усадьбе, с изъеденными колоннами на крылечке и трясущимися половицами, пахнет далекой-далекой стариной. Обоим хозяевам усадьбы лет полтораста. Все здесь кажется навеки прилипшим к своему месту. И колонны, и ветхие портреты, и фруктовые деревья в саду, и старенькие

слуги. Грохот проходящего войска навел смертельную панику на наших хозяев, и они не показывались до самого нашего отъезда. Странно думать, что этих двух испуганных старичков уже подстерегает судьба в лице ретивых казаков, и, если не сегодня, то завтра, их заставят покинуть насиженные места и бросят, неведомо для чего, в грохочущую пучину «погоньцев».

А на деревне уже бьются в истерических воплях испуганные бабы, которым староста объявил приказ: «Собираться!» Причитания и крикливые жалобы идут вперемежку с хозяйственными распоряжениями баб.

— Парашка! Рогача не забудь. Курку під сито посади.

И, отдав деловито приказание, баба вновь принимается голосить:

— Ой, лишенько-лишенько! Нащо ж було сіяти-молотити?..

Но ухо давно привыкло, как к грохоту колёс, к унылым жалобам беженцев, которые тут же выпрашивают то кружку воды, то охапку у них же ограбленного сена.

У колодцев толпы солдат переругиваются с нашими часовыми. Поминутно подходят новые части. Деревенские улочки запружены войсками.

Бабы с ревом носятся по дворам. О чем-то шепчутся с нашими старичками. Из каждой хаты потихоньку тащат огромные узлы и, очевидно, закапывают в саду. Юрекий и Гридин штыками нащупывают разрыхленную землю, и запрятанное мужицкое добро незаметно перемещается на артиллерийские возы.

Наскоро допиваем чай. Наскоро отделываемся от бабьих жалоб. Наскоро ругаемся с мужиками, требующими за овес и сено.

Вестовые подают лошадей.

— На коней!

2

...Железные шершни не оставляют нас в покое ни на минуту. Сзади отчетливо доносится ружейная и пулеметная стрельба: немцы преследуют нас по пятам.

С утра бурлит гигантский поток. Кажется, так будет вечно,

Вечно будут скрипеть колеса, и вечно будут расти и катиться эти глыбы человеческого тряпья и горя.

Попрежнему треплются на возах мужичьи портки и бабьи кофты, рубахи, ведра, подойники, фонари. Но уже нет ни свиней ни птицы. И число детишек так заметно убывает. Зато растут ежедневно могилки по краям дороги. Сегодня я насчитал их 117!

Резко бросается в глаза, с какой потрясающей быстротой изнашивается и отмирает по частям это исполинское тело, составленное из трех губерний, вытянувшихся воз за возом на протяжении сотен и сотен верст. Как хорошо бы впрячь в это шествие вшивых и «обеженных» всех думских трубадуров, так упоительно рассыпающих свои пылкие клятвы «война до победного конца».

...Картуз-Береза. У местечка вид, как после погрома. Жители поспешно укладываются и собираются перейти на положение беженцев. Местечко наполнено паническими рассказнями о цеппелинах, обстрелах и тысячах жертв по дороге. Приютились в церковно-приходской школе. Сам учитель давно на войне. Его жена с двумя детьми, из коих старшему пятый год, пошла пешком до ближайшей станции — за 52 версты от Картуз-Березы. Дома осталась какая-то старая бабка, которая сидит без движения на пороге, смотрит на устало шатающихся и безучастно шамкает полумертвым беззубым ртом:

— Кажетшя, шкоро вшя Рошия окажетшя бeш приштанища...

Жители совершенно не разговаривают с нами. Только изредка услышишь безнадежную жалобу:

— Маімся доки не подохнем...

Допытываюсь у жителей, отчего у местечка такой разорванный вид. Угрюмо молчат. Наконец узнаю, что по ночам беженцы, вооруженные толстыми дубинами, нападают на все лежащие по пути деревни, села, местечки и отбирают у жителей всё — до последнего клочка сена. Сегодня ночью в Картуз-Березе и в деревне Заречье — в трех верстах к востоку от местечка — произошло форменное сражение, во время которого двум жителям раскроили дубинами черепа.

— А солдаты? — спрашиваю я. — Надо было жаловаться солдатам...

— Солдаты все с бабами заодно, — мрачно заявляют жители: — бабы им пузо греют...

...Сеет мелкий осенний дождь. Дует резкий холодный ветер. Гнилые топи дышат белым туманом. Дорога раскисла и вся усеяна павшими клячами. Воющий ветер заглушает грохот колес и шуршание босых ног и раздувает людскую злобу:

— Но-но! Вправо, чортова шкура, чего стал!

— Не напирай! Распроколеси твою душу!..

И солдатские кнуты свирепым градом обрушиваются на спины беженцам.

— Не пхай!!! — пробуют огрызаться смельчаки, не сворачивая с дороги.

— Драться хочешь, поляцкая стерва! — грозно хватается за винтовку солдат. И через минуту дерзкий ослушник валяется окровавленный под ногами.

Беженцы в панике. Из уст в уста передается о вчерашнем налете на Картуз-Березу. Говорят, погибла масса «погоньцев» и человек двести попались в плен.

— И слава богу, — говорит какой-то дряхлый старик. — Кабы нас силом не заставили, разве пошли бы мы? Вот! — показывает он безнадежным жестом на свою приставшую клячу и с ожесточением начинает хлестать ее по голове и глазам. Потом бормочет, качая старческой головой: — Так оно все кончится. Сперва корова, потом гуси, потом дети. Теперь конь. А за ним и я со старухой. Пропадем. Все до одного сгинем. Один конец...

Сеет печальный дождик. Рядом со мною шагает длинный Пухов и сочувственно вздыхает:

— Времена какие пришли: со свово дому уходи... Да итти-то некуда. Голы, босы, последнюю коровенку съели. Загонят в другую деревню — тех объедят... Как ни крепись — мириться надо. Против немца не устоим. До Урала гнать будет.

На возах у беженцев много холерных.

К вечеру на стоянке сносят всех умерших и хоронят их рядышком. Ставят на могилах невысокие кресты и украшают их

лентами, цветами и алой рябиной. Гробов не делают, а стены могилы внутри выстилают кольями и еловыми ветвями. Хоронят без слез, без причитаний. Только матери, видал я, отходят в сторону и тихо всхлипывают.

...Чемелы—большая белорусская деревня, населенная «оперными» мужиками, обутыми в лапти, одетыми в просторные сивые зипуны и носящими широкие бороды лопатой. Живут чемельские мужики в низких избах с закоптелыми потолковыми балками, под соломенной крышей. Избы тесные, грязные, набитые детьми, тараканами и куриным пометом. Бабы в цветных сарафанах, со странными коробами за спиной. С виду тихие, молчаливые. Попик старенький. Кресты на могилах восьмиконечные (старообрядческие). На каждой могилке деревянная плита в виде пчелиной колоды.

...Из сада за домом доносятся шумные голоса. Несколько десятков дружинников сбивают палками незрелые груши. Хозяин нашего помещения, седой старик в белой свитке, похожий на оперного Сусанина, убеждает ласковым голосом:

— Что мне жалко гетого[1] дерма, что ли? Сказано нельзя: захвораешь.

— От груши захвораешь! — весело смеются дружинники и продолжают трясти деревья.

— Уходи, говорю тебе! — уже более грозно требует старик.

— Мы не твоей губернии, — отшучиваются дружинники.

— Что из того, что «не твоей губернии»? Не одного мы царя?

— И царя мы другого, — весело отбиваются солдаты.

— А правда гето? — с любопытством вдруг впивается в них старик. — Правда, што другого царя поставить хотят?

И корявыми словами он рисует какую-то смутную мечту, созданную за эти черные дни в согбенных избах Полесья:

« — ...Рост у него царский, хочь роду ён мужицкого. Только худой-худой. И чаго он такой худой? Видно заботы много. Иссушает забота. Строгий. 80 охфицеров в кандалы заковал. За то,

---

[1] Этого.

что они неправильно отступили. Как посылали на войну наше войско, казаки стали просить: «Позволь нам с упутренним врагом распрощаться».—«Нельзя,—говорит.—Внутре все должно быть в мире». А казаки свое: «Позволь с немцем упутренним распрощаться». Закричал: «Сказано раз — не позволю!.. А отчего вы с ними распрощаться хотите?» — «За то, что опи, купцы да мошенники, полтинник бярут за вещь, которой цанà вся — пятиалтынный». — «Попапрасну думаете. Я таперь ка́ждой вещи свою цапу положил...»

....Выступили в половине четвертого, на рассвете. Дождь льет, как из ведра. Холодно и тоскливо. Едем угрюмые и злые. На душе гнетущее отупение. Кажется, и я, и солдаты, и голодные беженцы давно потеряли все человеческие чувства и ко всему на свете относимся с мертвым безразличием.

Уже год болтаемся без дома, — мрачно заявляет штабс-капитан Калинин.

— А у этих, — говорит Болконский, указывая на беженцев, — никогда уже дома не будет. Девушки станут проститутками. Мужчины, кто выживет, будут грабить на большой дороге. Ничего другого не остается.

Нас нагоняет взволнованный беженец.

— Ой, паночку, — хватается он за стремя седла, — у жінки холера зробилась. Ратуйте, паночку!

— Мы ничего не можем сделать, — печально отвечает за меня Болконский. — Как увидишь на дороге червонный крест,— вези ее туда.

Потом он вынимает из кармана монету и протягивает ее беженцу. И все мы, шесть человек, делаем то же. Беженец отрицательно мотает головой. И вдруг, потрясенный до глубины души, припадает губами к сапогу Болконского и трясется в мучительных рыданиях.

Едем дальше. Считаем придорожные могилы. Вчера, когда мы подъезжали к Скорникам, не было ни одной. Сегодня тут целое кладбище: 49 крестов вытянулись длинной шеренгой за одну только ночь. В полуверсте от Скорников еще 8. Дальше еще 11. Потом — 17. Могилы, конские трупы, раздавленные собаки, дохлые свиньи, барахтающиеся в трясине коровы...

— Скоро и мертвецы под ногами валяться будут, — говорит Калинин.

— Поищите хорошенько в лесах — и сейчас найдете, — отвечает Болконский. — Мало там слабосильных старух валяется?

...Проезжаем мимо Огинского канала, близ станции Коссово. Минуем шлюзы на реке Шаре.

В начале двенадцатого делаем короткий привал в деревне Заборечье (Минской губернии), запрятанной в первобытных лесах. Население — белоруссы. При входе в деревню высокая арка, увитая цветами и зеленью, с большим крестом наверху.

— Что это?

— Попа встречали.

Навстречу нам высыпало все село. Мужики в лаптях, в белых рубахах на выпуск из-под жилета. Бабы в высоких древнерусских кокошниках зеленого и красного цвета.

Избы курные, похожие внутри на пещеры, покрытые копотью и сажей. Спрашиваю хозяйку:

— Отчего труб не делаете?

— Денег нет. Мы бедные, — отвечает она.

— Дорого ли трубу поставить?

— А для цаво она, гета труба? Дзеды жили, и мы так живем.

Минут через десять потянулись бабы с больными детишками: корь, скарлатина, дизентерия.

— Мрут шибко дзети, — жалуются бабы. — Не приведи бог. Мором мрут. Жабью печонку резали — не помогает...

Присматриваюсь: все они только мимоходом заглядывают ко мне. Потом тянутся дальше, в глубь леса. Осторожно иду за ними.

В лесу на большой колоде сидит смуглая развязная молодуха, выставив до колена ногу в ажурном чулке.

— Ваше благородие! — кричит она в мою сторону, — хотите, я вам погадаю. Я — цыганка.

— Это ваши там едут сзади?

— На серых лошадях? Да, наши.

— Откуда вы?
— Из Ивангорода.
— Куда едете?
— Куда все — туда и мы.
— А здесь что делаете?
— От порчи лечу, — говорит она, блеснув лукаво глазами. И сыплет бойкой скороговоркой: — Дай погадаю. Все скажу: когда домой вернешься, когда война кончится, когда генералом будешь...

Тут же возле колоды в толпе мужиков и баб мелькают явно жульницкие рожи. Бравый парень в ботфортах, с большими рыжеватыми подусниками, рассказывает тоном бывалого человека:

— Был в Орловского, был в Замойского, был в Потоцкого. Вообще я по графам большей частью. С беговыми лошадьми. В Париже, в Лондоне. Только нет чистее города, как Варшава...

Потом он отходит в сторону и, наклонившись к бородатому мужику, говорит дружеским тоном:

— Теперь такое время пошло, что как понравится девка, пятьдесят рублей за одну ночь не пожалеют. От так! Две четвертные кидком...

В другом месте такой же хлыщеватый парень предлагает мужикам «перекинуться в картишки». Третий настойчиво сбывает «по случаю» золотые часы за два с полтиной...

Поближе к солдатам и офицерам вьются какие-то подозрительные беженки. Некоторые стоят в стороне. Лица темные, загорелые. В глазах неподвижно застыло тупое равнодушие ко всему на свете. Выделяется одна, кормящая грудью. Рядом с нею молодая, черноглазая женщина, сильная, статная, с усталым лицом.

— Вы из какой губернии? — обращаюсь я к ней.

Лицо ее мигом освещается бесстыдной улыбкой и, заглядывая с волчьей откровенностью в глаза, она говорит хриплым голосом:

— Чи не можно у вас, баринку, разжиться карбованця? [1]

Женщина, кормящая грудью, нагло ухмыляется. Она поминутно сует руку за пазуху, вытаскивает жирную вошь и, звонко

---

[1] Нельзя ли поживиться у вас рублем?

раздавив ее меж пальцев, обтирает ноготь с раздавленной вошью о голое колено.

Проходящие мимо солдаты игриво шутят:

— Ишь ты! Набила полную пазуху сисёк и не знает куда их девать. Дай-кось я подержу!..

Солнце склоняется к закату. Пахнет лесом, трясиной и человеческой грязью.

Парк снова вливается в грохочущую лавину. Мимо меня, виляя бедрами, проходит лесная цыганка и кричит удалым голосом, прищелкивая в воздухе пальцами:

— Гей!.. Люблю белых коней!.. Дай, офицер, покататься, а потом давай целоваться.

3

...Счастливы те, которым на войне приходится бороться только с противником и отстаивать только собственную жизнь.

С вечера падает холодный дождь.

Толпы беженцев тянутся, мокрые и продрогшие, от дома к дому и молят о ночлеге:

— Хоть бы детей на ночь... Пусти, хозяйка, от дождика обогреться.

— Некуда. У нас солдаты стоят.

— Мы сами теперь солдаты. Не своей охотой идем. По приказанию начальства.

— Не могу. Самим тесно.

— Дай тебе господи, чтобы и тебе хату спалили! Помоги тебе бог дружиться в дороге с такими, как ты!..

Офицерам не спится. Ждем с минуты на минуту приказа о спешном передвижении.

Наши хозяева, сморщенные, ветхие старики, тоже не спят.

— Сколько лет, дедушка?

— А?

— Сколько лет?

— Глухой я, не слышу.

— Сколько лет? — кричит изо всех сил Болконский.

— Девяносто шесть. Свое прожил. Довольно. Младшему сыну шестьдесят первый пошел. Одиннадцать внуков на войне. Помирать надо.

— Не хочется помирать?

— Старому человеку трудно жить. В нутрах еще крепкий, а ногам тяжко. Без кия ходить не могу, падаю. Бабка моя смеется: как князь Радзивилл.

— Какой Радзивилл?

— Земля кругом была княжеская, князя Радзивилла.

И старик вдруг оживляется и смеется дряблым старческим смехом.

— А были там все в роду чудачить горазды. Одзин летом на санях ездил. Посыплет дорогу солью и до самого Минска на санях. У другого была такая прихоть: кажный мужик мусил [1] завсегда носить при себе иголку с ниткой. Как мужик идзе мимо барского дома, так князь зараз до няво: голку машь? (иголку имеешь?) Такий ён был чудак. Раз сустрелся ему пьяный мужичок. Радзивилл як побяжиць за ним: голку машь? Видит мужик: все равно пропадаць. Набрался духу и кричит: а ты голку машь? Хлопнул его князь по плечу и говорит гэтому [2] мужику:

« — Ну, молодец! Скажи, как тебя зовут?

« — Федор Бурак.

« — Так вот тебе, Федор Бурак, триста десятин земли, табе и всяму твому роду, докуль ён жив будзе..»

— Такий ён был чудак, — смеется снова старик.

— Раньше лучше жилось? — спрашиваю я.

— Не помню. Трудно старому человеку. Работать хочу — силы нет. Вспомнить хочу — памяти нет. Лежал бы и ждал бы смерти, а есть хоцца.

— По чатыре раза на день есть просит, — вставляет бабка.

— А тебе, бабушка, сколько лет?

— Девяносто три.

— Жить не надоело?

— И што ты! — машет рукою бабка. — Як одзин дзень жила...

Дверь неожиданно открывается, и вваливаются встревоженные соседки. Они робко поглядывают в нашу сторону и о чем-то

---

[1] Обязан был.
[2] Этому.

шепчутся с бабкой. Бабка уныло качает головой и пугливо крестится:

— Матушка царица небесная! Чуяло мое сердце...

— Начался переход в сословие беженцев, — говорит Болконский. — Значит и нам — к расчету стройся!

Базунов сердито ворчит:

— Может быть, мы прибудем в Слуцк, а там уже ждет нас маршрут до Пензы... Нет, решено. Поеду я в Уфимскую губернию после войны и в 300 верстах от железной дороги куплю себе две десятины земли и построю за пятьсот рублей деревянный дом. Тогда пускай себе воюют. До меня не доберутся.

...Ночью небо прояснилось. Выступили в начале шестого. Молочно-бледным серпом светился месяц. На востоке огненным кружевом вспыхнули облака. Над трясиной прозрачным куревом стлался седой туман. Где-то, сладко тоскуя, заливался соловей. Здесь, в полесских лесах, соловьи тоскуют до поздней осени. Печальному рокоту вторила стоустой печалью печальная солдатская песня:

... Гонят старого да малого...
Все поехали, не доехали.
Среди лесу становилися,
Чисту полю поклонилися...

. . . .

Лошаденка становилася,
Тележенка изломалася,
Все каточки раскатилися,
Ко дубочку прикатилися,
На дубу сидит соловушка.
Ах, ты, пташка, пташка вольная,
Ты лети на мою сторону,
Ты неси, неси, соловушка,
Поклон низкий мому батюшке,
Челобитье моей матушке:
Что пропали наши головы
С эскадронами да с ротами
За лугами, за болотами...

...Остановились в доме помещика Эдмунда Севериновича Войнаровского. Корнет в отставке. Плотный мужчина лет сорока с лицом прусского лейтенанта и в гусарских малиновых рейту-

зах. Говорит с литовско-немецким акцентом (напр., «болшой» без мягкого знака, «Мòрский полк»). Носит гусарские рейтузы не только на ногах, но и на каждом слове, чтобы всякому без помехи было видно, что перед ним настоящий патриот своей родины.

— Я ведь сюда приехал для того, чтобы наскоро ликвидировать имение, — повторяет он за обедом, за завтраком и за ужином, — после чего уйду отсюда с нашим последним кавалерийским отрядом.

Это не мешает, однако, нашему словоохотливому хозяину проявлять необычайно осторожную сдержанность. И в то время, как красные гусарские брюки озаряют речи пана Войнаровского ярким патриотическим усердием, его мысли спокойно и терпеливо скрываются в неразличимой тени. Вы ни за что не догадаетесь, слушая отставного корнета в рейтузах, спрашивает он вас или рассказывает, говорит ли он утвердительно или недоумевает.

— Вильно не отдадут, — вдруг выскочит у него среди разговора о фрейбургских коровах или антоновских яблоках. И так скажет, что трудно решить, скрывается ли за этой риторической фигурой категорическое утверждение или скептический вопрос.

— Будут драться, — отвечает сквозь зубы Базунов.

— Конечно, — подхватывает наш хозяин. — Ведь там у нас два с половиной миллиона.

И опять нельзя разобрать, спрашивает он или сообщает.

— А Орапы минированы, — продолжает в том же неуловимом тоне хозяин. — Там немцы нарвутся... если не будет измены. Ведь у нас на каждом шагу изменники. По крайней мере раньше так было... А скоро будут тут немцы? — неожиданно ставит он открытый вопрос.

— Почему вы думаете, что они должны быть?

— Нет, они сюда не пойдут, — горячо подхватывают патриотические рейтузы. — Не пойдут! А если придут, мы им хорошенько тыл пощипаем! Ведь я тут каждую кочку, каждый уголочек знаю. Собственно, скажу вам по совести, я здесь и сижу для того... Скажите, не купите ли вы у меня коров? Дешево продам. Прекрасный племенной скот. Двести фрейбургов.

— Нет, у нас и без того скота девать некуда.

— Хоть парочку: великолепные дойные коровы. Кто у вас хозяйством заведует? Прапорщик Кириченко? Вот пойдемте, я

вам покажу. Кстати, на винокуренный завод заглянем. Там у меня вчера спирт выпускали в озеро. Но бочонок еще остался. Могу вам поднести.

— Нет, нам не нужно.

— Как это не нужно? Спирт всегда нужен!.. А в Слуцке долго стоять не будут.

И опять последняя фраза звучит как-то сбивчиво и вероломно: не то вопрос, не то утверждение.

— Скажите, далеко отсюда до Слуцка? — спрашиваем мы.

— Семнадцать верст, — с апломбом отвечает корнет.

— Как семнадцать? Давайте карту. Смотрите: по карте

— Как семнадцать? Давайте карту. Смотрите: по карте тридцать шесть верст. А еще хвалитесь, что здешние места изучили!

— Да я, видите ли, давно здесь не бывал. Моя собственная собака не узнала меня и чуть не разорвала.

— А собираетесь немцев беспокоить. Они-то, пожалуй, ориентируются здесь лучше, чем вы в своем собственном саду... Кстати, не продадите ли фруктов?

— Это фрукты не мои. Я сдал сад в аренду.

— Где же ваш арендатор?

— Его нет. Он удрал отсюда.

— Тогда, значит, хозяина нет?

— Можете деньги... мне уплатить. Я ему передам.

— Как это вам удалось сохранить в целости не только деревья, но даже изгородь садовую? Ведь мимо вас проходят тысячи беженцев. А у вас кругом царит образцовый порядок, — выражаем мы свое удивление хозяину.

Он улыбнулся тяжелой улыбкой.

— У меня этого не будет. Я для этого держу здесь двенадцать стражников и околоточного надзирателя.

По дороге в сад мы увидали и самых стражников. Они ходили вокруг усадьбы с винтовками за плечом и выглядели так же воинственно и гордо, как красные рейтузы на ляжках отставного гусара. Все — унтера из варшавской полиции. Тут же мы увидали впервые хозяйку — молодую польку, которая суетилась и бегала с ключами в руках и очень недружелюбно поглядывала то на нас, то на своего супруга.

...Едва мы уселись за обеденный стол, как услыхали нечеловеческие крики. Все бросились к сараю, откуда неслись эти во-

пли. Из сарая вышел наш гостеприимный хозяин с палкой в руке. Два стражника держали за руки молодого человека, который судорожно кричал:

— Я учитель, народный учитель... Как вы смеете?.. Он меня высек!..

— Понимаете, — заговорил развязно гусар. — Залез в сад за яблоками. Да еще притащил с собой беженцев. Грабитель какой-то.

— Ну, знаете, сечь за яблоко... — нахмурился Базунов.

— Да они хуже саранчи. Помилуйте: позавчера стравили у меня клевера семь тысяч пудов!

— Это, однако, не оправдание, — проворчал Базунов и отвернулся.

Через полчаса к столу нашему подошел, как ни в чем не бывало, пан Войнаровский. Он был навеселе. От него крепко разило спиртом и в руках была бутылка с жидкостью желтого цвета, которую он не без торжественности поставил на стол.

— К обеду!.. Превосходная вещь. С лимонной коркой. Если для вас крепко 70 градусов, можете разбавить. Для меня — как-раз.

И тут же обратился в приятельском тоне к прапорщику Кириченко:

— Возьмите десяточек коров! Не пожалеете. А... счет можете написать, какой вам угодно.

— Здорово, задави его гвоздь! — зло рассмеялся Кириченко. — Значит, будем надувать казну на артельных началах.

— В кавалерии это принято, — обиженно пожал плечами хозяин.

— А вас не секли за это? — спросил Болконский.

Но пан Войнаровский пропустил мимо ушей это замечание. Глаза его радостно улыбались свету и нам, и свет сиял в его масляных глазах.

— Не хотите ли посмотреть мой парк? — в том же дружелюбном тоне обратился он к нам. — Отличный английский парк. Только попрошу вас: поставьте там ваших часовых. А то ночью наверное это быдло [1] заберется и переломает мне все деревья.

---

[1] Скоты.

— А вы, кажется, хотите передать ваше имение немцам в образцовом порядке? — усмехнулся Базунов. — Позвольте и беженцам попользоваться чем-нибудь. Ведь это тоже поляки, ваши кровные соплеменники.

...Получено предписание: завтра на рассвете перейти в Слуцк. Когда я лежал в постели, ко мне наклонился Коновалов и шепнул:

— Як будуть ночью кричать, не выходьте...

Эта фраза застряла у меня в мозгу и не дает мне уснуть.

С вечера разыгралась гроза. Сквозь шум деревьев доносится издалека печальный звон: это ветер раскачивает веревку, привязанную к колоколу на заводе. Гулкие удары полны какой-то жуткой тревоги, как звон утопающего судна среди безбрежного океана.

Я долго прислушиваюсь к этим гипнотизирующим звукам.

Вдруг резкие крики заставляют меня вскочить с постели. На дворе светает. Шумит несколько голосов. Потом слышно, как кто-то кричит по-русски:

— Я тоже начальство! Я должен защищать своих подчиненных. Я буду жаловаться полковнику...

— В чем дело? — обращаюсь я к тому, кто именует себя «тоже начальством» — к околоточному надзирателю.

— Да вот безобразие какое! Солдаты ваши избили до полусмерти моих стражников.

— За что?

— Это вы у них спросите. Чорт знает, что такое! Этого так оставить нельзя. Я буду жаловаться губернатору. Он поедет с докладом к командующему армией. Я до верховного главнокомандующего дойду. Я — тоже начальство! Что же, стражник хуже какого-нибудь солдата? Я не позволю бить своих людей.

Денщики все тут, на ногах. Я обращаюсь к Коновалову:

— Скажи фельдшеру Шалде, чтобы он принес перевязочный материал.

...До утра пришлось провозиться с перевязками. Переломов не было. Но били с безжалостным озверением. Тела и лица в страшных кровоподтеках.

— За что вас били? — допытываюсь я у стражников.
— Не знаем. Пришли с винтовками душ пятьдесят, связали руки и били .
— Пьяные?
— Нет, какие там пьяные... Верно, беженцы научили.
За чаем Евгений Николаевич спрашивает дневального:
— Уладили?
— Так точно.
— Жалоб не будет?
— Никак нет. Расписку выдали.
— Какую расписку?
— Фельдшер Тарасенков расписку составили, что никаких претензий не будет, а стражники подписали.
Минут через двадцать парк с треском и грохотом катил по шоссе. Фольварк спал еще сладким сном. Когда мы проезжали мимо сада, в глаза мне невольно бросилось, что на деревьях нет ни одного яблока, ни одной сливы.
— Обчистили? — спросил я солдат.
— Никак нет, — улыбнулись они. — Это ветер сбил.
— А вы подобрали?
— Так точно. Скусная антоновка. Спелая. От ней холера не пристанет.

4.

Дует холодный ветер.
Тучи беженцев. Лица синие, иззябшие. Бабы дрогнут от холода, оттого, что все тряпки отдали детям.
— Последние мрут, — жалуются они со слезами.
Кого ни спросишь: «Сами ушли?» — Отвечают с болью и раздражением: «Не. Пришли солдаты. Хату спалили. Выгнали. А куда идем — сами не знаем. Теперь все замерзнем».
При въезде в Слуцк — огромные флаги «Северопомощи» Зубчанинова.[1] Вхожу в шикарное помещение и спрашиваю дежурного врача:

---

[1] Лицо, поставленное правительством во главе учреждений для борьбы с холерой и голодом среди беженцев.

— Холерных много?
— Масса. Мрут ужасно.
— Помогаете?
— Здесь невозможно. Отсылаем дальше.
— А знаете, что творится сзади?
— Понятия не имеем... Плохо?
— Советую побывать и полюбоваться на вашу «помощь».
— Что делать! В дороге все равно ничем не поможешь. Мы и здесь бессильны.

...Весь день читаю газеты. Вероятно, с детства мы все усвоили чересчур высокие представления о достоинствах печати. Стоит ли злиться из-за того, что события искажаются, скрываются или просто выдумываются! Печать такая, каков подлинник жизни. От журналистов категорически требуют: будьте Везувием, извергающим глыбы патриотической ненависти; станьте гусями, спасающими Рим. И журналисты напялили на себя гусарские рейтузы патриотизма. И под шумок стараются нажиться на своем гусино-патриотическом гоготаньи...

Всепрощение легко воцаряется в душе, когда небо смотрит на вас голубым соблазняющим оком, а кругом такая нежно-хрустальная, девственно-чистая тишина. После закоптелых изб и грязных стодол, после вшей, матерщины и детских могилок на болоте — залитая светом комната кажется пределом человеческого блаженства. Ласково улыбаешься каждой мелочи, от которой давно отвык: кафельной печке, письменному столу, полоскательной чашке, зеркалам, сверкающему подносу. И в голове бродит завистливо-мстительная мысль: как удобно устроились некоторые люди на земле, и как тяжело им, должно быть, расставаться с этим налаженным уютом.

А расстаться придется...

... Улицы Слуцка все запружены беженцами. Они попрежнему скитаются на своем ноевом ковчеге без пристанища на земле и без надежды в сердце. Из скипевшихся возов и людских заторов несутся обычные жалобные вопли. Высокий, худой мужик с ввалившимися щеками, обтянутыми печёной кожей, беспомощно кричит:

— Лошади ослабели, воз слабой, харча нет! Что делать?.. Надо свалиться в со всем семейством подохнуть!

— А зачем поехали? — наставительно укоряет седой румяный батюшка.

— Когда казаки выгонили! — со злобой набрасывается на него мужик.

Шум, суматоха, матерщина. Скрипят колеса, гудят голоса, и мелькают свирепо сжатые кулаки:

— Бей его в морду, поляка!

— Поляк хуже собаки!..

Измученные, полуоглушенные на смерть люди набрасываются и со зверским ожесточением колотят друг друга, оттого, что ненависти, раздирающей грудь, нужен исход. Оттого, что ничего другого не остается, как развернуться с яростным воплем и сорвать свою растравленную душу на первой подвернувшейся скуле.

Конечно, не будь солдатских штыков...

Но Слуцк переполнен маршевыми ротами, дружинами, ополченцами, которые, во исполнение приказа главнокомандующего «побольше песен и пляса», с утра до позднего вечера наполняют воздух рокотом барабанов и гиканьем залихватских частушек:

Барыня, барыня
В барабан ударила.
Наша рота на подбор,
На штыки идет в упор.

Раз, два, три — русские штыки.
Ружья заряжаем
И пали — пали — пали!...

... Патриотические флейты продолжают наигрывать все те же омерзительные мелодии:

Армия разваливается от того, что революционеры подбрасывают солдатам прокламации.

Солдаты прилежно читают прокламации оттого, что... все евреи на свете занимаются шпионажем.

Эта дурацки-беззастенчивая философия разведывательных бюро ежедневно подносится нам в десятках, «секретных» приказов. И всегда в таком виде: сперва предисловие о развале

армии плюс несколько коротких глухих ударов антисемитского колокола; а потом многошумное заключение о «подлых виновниках» развала, сопровождаемое звонкими трубами торжествующего и озверелого юдофобства.

Главная мастерская этих людоедских документов — ставка верховного главнокомандующего. Там полуразвалившиеся шаманы давно развалившегося самодержавия все ещё мечтают омолодиться в крови еврейских погромов.

«**Совершенно секретно.** Начальник контр-разведывательного отдела штаба верховного главнокомандующего. Командующему третьей армии. 29 июля 1915 г., № 1520.

«В штабе верховного главнокомандующего имеются сведения, что среди воинских частей, главным образом в тыловых частях, маршевых командах и этапах ведется сильная пропаганда, что нижним чинам не надо воевать, а надо сдаваться в плен.

«Указанная пропаганда является одним из проявлений деятельности неприятельского шпионажа и поэтому на нее надлежит обратить самое серьезное внимание. Тем более, что в последнее время были прискорбные факты сдачи в плен целых групп нижних чинов.

«При задержании агитаторов, ведущих эту пропаганду (в большинстве случаев солдаты), необходимо выяснить дознанием, к какой именно из нижеуказанных категорий они относятся. А именно:

«Не являются ли они неприятельскими шпионами?

«Не являются ли они членами русских революционных организаций?

«Не принадлежат ли к лицам **еврейской** национальности?

«Вследствие изложенного предлагается самое строгое наблюдение за этапными, нестроевыми тыловыми частями и командами, а также за всеми санитарными учреждениями и питательными пунктами, особенно теми, которые принадлежат общественным организациям.

«Подписал: есаул (неразборчиво). Обер-офицер для поручений Бородин».

За этими унылыми ударами антисемитской колокольни следуют ликующие громы, возвещающие весёлый час подготовляемой в тиши штабных застенков кровавой расправы над

евреями. Вот этот документ во всей его гнусной откровенности:

«**Циркулярно. Секретно.** Начальник штаба 14 армейского корпуса. Отделение строевое. 24 августа 1915 г., № 738. Начальникам 18, 70 дивизий. Инспектору артиллерии, 23 донскому полку и корпусному интенданту.

«Препровождая в дополнение бывших ранее запросов перечень и копию письма начальника штаба верховного главнокомандующего от 5 сего августа за № 1380 — **об отношении евреев к настоящей войне** и приказание командира корпуса, прошу весь собранный материал по тому поводу препроводить **не позже 20 сентября** сего года в штаб корпуса для представления в штаб армии. Подлинное подписал и. д. начальника штаба генерал-майор Гурко. Скрепил старший адъютант капитан Соколов».

«Начальник штаба верховного главнокомандующего. 5 августа 1915 г., № 1380. Секретно.

«Милостивый государь Михаил Васильевич![1] В дополнение к телеграммам от 26 марта за № 7513 и от 22 апреля за № 629 препровождаю при сем вашему высокопревосходительству полученный от начальника штаба перечень вопросов **об отношении евреев к теперешней войне** — с просьбой не отказать в распоряжении разослать этот перечень в части фронта и затем направить весь собранный материал в главное управление генерального штаба (по мобилизационному отделу).

«**Несомненно, что по окончании войны придется самым серьезным образом обсудить вопрос о возможности дальнейшего оставления евреев в рядах армии, почему представляется крайне желательным иметь к тому времени систематизированный материал, собранный по отзывам и указаниям участников войны и войсковых частей, кои испытали на себе весь вред пребывания евреев в их среде.**

«Прошу принять уверение в совершенном моем уважении и преданности.

Н. Янушкевич».

«Перечень вопросов об отношении евреев к настоящей войне, составленный по рубрикам.

---

[1] Генерал Алексеев, тогда главнокомандующий Юго-Зап. фронта.

«Нравственные качества солдат-евреев;

«а) случаи нарушения солдатами-евреями долга службы и верности присяге; случаи измены и несоблюдения ими установившегося понятия о чести воина и человека.

«б) случаи уклонения солдат-евреев от службы или стремления солдат-евреев перечислиться в нестроевые, мастеровые, денщики.

«в) случаи симуляции или болезней и случаи членовредительства или способничества в этом отношении другим.

«г) побеги солдат-евреев из части войск.

«д) случаи выражения солдатами-евреями сочувствия противнику и желания быть ему полезным в чем-либо; участие солдат-евреев в шпионаже.

«е) случаи недоброжелательного отношения солдат-евреев к нашим солдатам—не евреям и вообще к нашим частям войск.

«ж) случаи вредного влияния отрицательных нравственных сторон солдат-евреев на прочих солдат части.

«з) случаи сочувственного отношения солдат-евреев к местному еврейскому населению на неприятельской территории.

«Боевые качества солдат-евреев:

«а) случаи бегства солдат-евреев в бою и особенно случаи, оказавшие в этом отношении заражающее влияние на других солдат части.

«б) случаи проявления солдатами-евреями паники во время боевых действий.

«в) случаи сдачи солдат-евреев в плен.

«г) отзывы о поведении солдат-евреев в плену по рассказам тех, коим удалось вернуться из плена.

«д) характерные случаи слабосилия и меньшей выносливости солдат-евреев во время военных и боевых действий.

«е) физические качества солдат-евреев.

«Отношение местного еврейского населения к настоящей войне:

«а) случаи, характеризующие отрицательное отношение местного населения к нашим войскам и сочувственное к противнику.

«б) случаи, характеризующие отношение местного еврейского населения к солдатам-евреям и к солдатам не евреям.

«в) случаи выражения местного еврейского населения желания быть полезным в чем-либо противнику.

«г) случаи участия местного еврейского населения в шпионаже.

«д) случаи измены местного еврейского населения долгу верноподданного и человека.

«Подписал: и. д. начальника мобилизационного отдела главного управления генерального штаба генерал-лейтенант Аверьянов, полковник Саттеруп.

«Начальник штаба московского военного округа по отделу дежурного генерала 28 июня 1915 г. № 142. г. Москва».

... Получено предписание о новом отходе в глубь Полесья.

СЕНТЯБРЬ

1

Стоят жаркие летние дни.

Мы в самом сердце Полесья.

Как всегда после неожиданной трепки — на стоянках липкий колтун из сбитых в кучу, занавоженных частей, двуколок и беженцев. Рядом с головным отрядом нашей бригады теснится сторожевая рота Кромского полка, отряд саперного батальона, артиллерийские обозы, хлебопекарня и пестрые обрывки разноименной пехоты вперемежку со влипшими жителями.

Схлынули волны крови и горя. Отшумели ураганы с дико горящими глазами страха и бешенства. Тихое мелководье войны снова сочится привычными порциями бегства, жестокости, разорения, обид, неизвестности и слез.

Мы в самом сердце Полесья. Небольшой полуостров, на котором расположился наш отряд, узенькой стрелкой вонзился между кусками Пинских болот и отрогами Беловежской пущи. Третью неделю мы топчемся здесь, и все никак не можем привыкнуть к дикой красоте, расцветающей из глубины этой причудливой гнили. Со всех сторон обступили нас мохнатые ели и тощие, кривые чечотки, пугливо скрючившиеся под бременем тайн, запрятанных в их непролазной гуще.

Из пепельно-серых зарослей болотной спесивки таинственно кивают белые ядовитые тисы.

Над черным торфяником трясины высовываются, как окровавленные головы, огромные пурпуровые тюльпаны.

С закатом солнца встают из вязкой земли дрожащие испарения и тянутся, медленно качаясь, как шествие пилигримов, одетых в белые могильные саваны.

Дико, красиво, но чуждо.

Чуждо, как суровое предание старины, как обрывок древней, застывшей жизни, украденной у истории и заживо погребенной среди болот и лесов.

Мы с трудом вживаемся в дух полесской природы.

Только, когда восходит месяц и на каждой кочке, на каждой тропинке вырастают уединенные тени в белых саванах и над уснувшей пущей струится сладкий одуряющий запах таинственного тиса, сердце сжимается странной волнующей тоской. Какая-то странная мелодия ароматов и грез.

Все кругом теряет свойства реальности — и вдруг переносишься, как в заколдованной сказке, в мутно-белый волшебный, призрачный мир. И чудятся всюду баснословные звери. Кажется, что вот-вот выпрыгнет на болотную тропу чудесный единорог или вынырнет из трясины седая, болотная кикимора. И даже грохот орудий звучит с какой-то страшной сказочной силой.

Мы в чаще густого бора.

Приятно дышится терпким ароматом болотных трав и влагой и дивно-таинственным великолепием полесской ночи.

Поздно. В небе ярко горит под мутно-беловатым кругом полная луна и белым, прозрачным серебром заливает черные, извилистые линии брошенных окопов, ржавые ручейки и горбатые кочки, на которых тихо покачиваются болотные призраки.

Впереди и по бокам тускло поблескивают проволочные сети, колючими зигзагами проткнутые между низких сосновых кольев.

Частые орудийные выстрелы клокочут и вспыхивают огненными бичами и долго с сердитым уханьем перекатываются через лес и трясину.

В скульптурных позах раскинулись на сырой болотной земле солдаты и молча сосут цыгарки. Лежим и думаем каждый

о своем. Изредка перекинемся словом и опять лежим, думаем и чутко прислушиваемся к грохоту пушек.

Вдруг высоко наверху задрожало протяжное гуденье.

— Цеппелин! Цеппелин! — возбужденно закричали солдаты, и на мгновенье всех охватило жадное любопытство. Многие вскочили с мест и суетливой веселостью тушили тревожное беспокойство.

— Гляди, гляди! — зашумели солдатские голоса. — Как есть цеппелин!

— Ен хитрый, хитрущий немец!..

— Днем, небось, не летает!

— Покажи-кось днем!.. днем огнем окрестили б!..

Потом сразу все стихло, и среди наступившей тишины хриплый старческий голос веско и убедительно бросил непонятное слово:

— Хут!

— Какой тебе к лешему шут? — рассмеялись солдаты.

— Хут! — с той же суровой хрипотой повторил прежний голос, и я узнал в нем нашего лесного хозяина (он же и проводник наш)—старого Матвея Бондарчука.

Старому Матвею, несмотря на все зубы во рту, лет за семьдесят. Это — крепкий, сухонький старичок, с живыми зелеными глазами и дремучей лесною думой — настоящий «полещук».

Помнится, где-то в какой-то очень ученой книжке читал я о жителях Полесья (и, кажется, эта репутация держится очень твердо), будто это дикий невежественный народ, — с бессловесным смирением в душе и с колтуном в волосах. Что подумали бы полещуки об этом ученом клеветнике? Из своих диких болот всосали они какую-то волчью гордость, необузданное упрямство и глубочайшее презрение к «людям звычайным». «Люди звычайные» (обыкновенные) — это все мы, скучные обитатели городов; дети нудной культурной прозы. Как гордо и высокомерно выставляют полещуки напоказ свое превосходство над нами! Одеваются они в белорусское платье; но в отличие от белоруссов (людей звычайных) обшивают свое платье черной тесьмой. Они влюблены в свои трясины и дебри. Они знают каждый цветок и каждую кочку в своих лесах. Никогда не расстаются с ружьем и говорят о себе с бесподобной кичливостью:

— Скорее рыба потонет, чем полещук.

О жизни — за кругом пинских болот — знать не желает полещук. Живет он в мире сказочных вымыслов, баснословных, причудливых, и почти не считается с миром «людей звычайных» и верит в силу волшебных заклинаний и колдовского цветка так же бесхитростно и свято, как его далекие предки. Полесские поверья и предания — такие же страшные и таинственные, как полесские дубравы, такие же дикие и угрюмо-красивые, как цветы, вырастающие из глубины их ржавых трясин.

Старый Бондарчук знает много таких преданий, и я обрадовался случаю вступить с ним в беседу.

Боязливо раскинув руки, Бондарчук со вниманием долго присматривался к мелькающим теням на земле и вдруг выхватил нож из-за голенища.

— Что ты делаешь? — удивился я. — Разве ты не слыхал о летающих цеппелинах?

Старик лениво вскидывает глаза на меня и говорит вялым голосом:

— По-вашему так, а по-нашему — хут!

— Что за хут такой? Ты объясни, — пристаю я к нему.

И на своем болотно-дремучем языке он длинно и живописно рассказывает мне мрачную историю. Лунной ночью, осыпанная золотом и алмазами первобытных слов, — эта дикая полесская сказка показалась мне древним сокровищем, мудрой тайной, затонувшей в пинских болотах. Но мои прозаические чернила, я знаю, бесследно смыли с нее и дикий болотный аромат, и яркую болотную роспись. Потому что в памяти моей сохранилось только простое, — «звычайное» только, — содержание этой причудливой сказки.

— Давно гэто дзеилося, — начал торжественно старик, — ох, давно... От старых людзей я чув, а стары людзи лгаць не будут... Значитца праувда была...

«Старые полещуки давным давно уже знали, что существует такой таинственный зверь на свете — по имени «хут». Зверь тот не водится ни в лесах ни в болотной трясине, а родится от злой человеческой воли. Надо взять черного петуха, семь лет держать его в темной железной клетке и кормить горячей человеческой кровью. Тогда на восьмой год он снесет яйцо. Яйцо

это надо две недели держать под левой рукой — и тогда ровно в полдень из него вылупится цыпленок, похожий на ласку (коварнейший полесский зверек). А ночью у ласки отпадут ноги, вырастут исполинские крылья, и она с шумом и воем взлетит к небесам — в виде страшного зверя. Зверь этот и есть — хут! Он обладает заколдованной силой. Стоит человеку, взрастившему хута, приказать — и последний принесет ему столько золота, сколько человек пожелает. Вот для того-то и летает хут по ночам и собирает с земли все золото, омытое человеческими слезами. Чем больше золота приносит хут своему господину, тем бледней и печальней становится его несчастный владыка,— потому что хут питается кровью создавшего его человека».

— А разве нельзя его застрелить? — задал я вопрос старику.

— Нет! Хут живет только ночью, когда у него отрастают крылья. Днем он, как червь, уходит в землю. Когда он с воем летит по небу, то на землю ложатся от него беглые тени. Если заметить такую тень и трижды проткнуть ее ножом, каждый раз! приговаривая: раз! раз! раз! (только, боже избави, сказать: раз! два! три!), то злое могущество хута тут же и прекратится, и он рухнет на землю мертвой падалью.

— Значит, по-твому, по ночам не аэропланы, а худ летает?

— Хут! — уверенно подтвердил полещук...

Низкий, скрипучий голос одиноко и жутко звучит в серебряной полумгле. Вдали блестят молниями и извергают грохочущее пламя пушки, наполняя жуткой тревогой сердце.

— Ты, значит, хотел проткнуть его тень, когда выхватил нож из сапога? — возобновляю я прерванную беседу.

Но старик молчит. Он кажется погруженным в глубокую думу. Солдаты, накурившись до одури, засыпают под мерный грохот орудий. Я долго подлаживаюсь к старику, пока мне, наконец, удается опять втянуть его в разговор.

Много странных вещей узнал я от старого Бондарчука в эту летнюю ночь. Его седая голова оказалась туго набитой всякими дивными историями. Он рассказал мне о кровавой реке, на берегах которой и поныне охотятся праведные полещуки, о двух таинтвенных камнях «Молчи» и «Встань», о поющих цветах, о семи отважных кирасирах, о празднике сатаны, об Изяславе

Черпом. Тут же открыл он мне тайну многих названий многих полесских деревень и поместий. Это были седые, древние знания, которые бережно хранила под ржавыми замками звериная память Бондарчука.

То, что поведал мне старый Бондарчук, я ни за что не осмелюсь назвать ни суеверием ни невежеством. Только раз, поддавшись интеллигентскому скептицизму, я спросил с недоверием в голосе:

— Отчего же в ученых книжках ничего не пишут про это?

— Га! — усмехнулся саркастически Бондарчук. — У панов вума дуже много, да только ён николи дома ни живець.

И я в смущении спасовал со всей нашей хваленой ученостью и большими познаниями. В самом деле, по сравнению с нами, усталыми интеллигентами, в хаосе ночных отступлений и галицийских «побед» растерявшими добрую половину своего культурного багажа, какой гармонией, какой неукротимой продуманностью дышала эта грубая, дремучая, крепко сколоченная полесская правда! И кто назовет эту стройную, цельную систему, обнимающую все царство человеческой мысли, суеверием или вздором? Разве не больше в ней и широты понимания, и мудрой ясности духа, и чуткой восприимчивости к красоте, чем в книжной натур-философии Шеллинга или в заново подчищенной мифологии греков?..

После продолжительного молчания я начал осторожно беседу. Возле нас валялись толстые сосны. Кругом торчали свежие пни и далеко виднелся срубленный лес. Я сказал, желая подкупить старика:

— Эх, жалко! Уж такого леса больше не будет. И звери все разбегутся из этих мест.

Старик упорно смотрел на небо, как будто мысли его все еще продолжали следить за хутом. И потом произнес с печальным вздохом:

— Зверина что?.. Всяка-всяка зверина — какая только зверина ёсть на земле — у нас тут. Лёвов одних няма. Лисы ёсть, дики козы ёсть, лоси, волки. Волков, ох, сколько ёсть — бяда! Зимой шастают штук по десяць. А что летом?! Козы, гуси — бяда как душат... Птицы дикой — только и управляйся. Стреляй да стреляй... Бекаса, дупельта, паровки, куропатки,

тетеревья... Изводу пет. Пройдешь два шага — выводок. Пройдешь три шага — выводок... На всю Рассею только у нас и ёсть тетеревья... Весной, как стануг пеять — вот когда их стрелять. А осенью мы шост делаем. Зверина у нас всяка-всяка ёсть! Хватит... Кривава река пересохне — вот что! — закончил грустно старик.

— Не пойму я тебя, Матвей. Я ведь темный, звычайный человек... Ты мне толком расскажи, что за кривава река?

И старик рассказал:

— В каждой лесной чаще есть ручьи, покрытые пятнами крови. Обыкновенные люди думают, что это ржавчина или железо. Они не знают, что вся кровь, вытекающая из жил убитых зверей и птиц, собирается в одно место — в одну большую кровавую реку. Над этой рекой веют, как усыпляющее опахало, крылья убитых птиц, и на ее прохладных берегах продолжают вечно охотиться души праведных охотников.

«А праведный охотник—это тот, кто никогда не убивал тетеревиной самки на яйцах, не истреблял зайчихи с зайчатами во чреве, не крал яиц из гнезда, кто не застрелил во всю свою жизнь ни единого голубя и перебил множество чаек.

«Потому что чайка — это птица, подпавшая сатане. Она не улетает на зиму, как другие птицы, в теплые края, а сквозь болотные щели проваливается в адскую тьму. По наущению ада чайки вечно кружатся над самыми гиблыми местами, а кто допустит обморочить себя ее жалобным писком, тому не миновать коварных лап сатаны. Ежегодно за три дня до Петра и Павла, 26 июня, когда на болотах созревает пьяная ягода, [1] которая опутывает человеческое сердце страшной хмельной отравой,— сатана, закрывшись туманом болотных испарений, выходит на поверхность земли, и, окруженный подземной гнилью и нечистью, справляет свадебный пир. Человек не должен видеть тех мерзостей, которые творятся в эту ночь в полесских болотах. Иначе до конца дней его будет трясти лихорадочная дрожь, и он никогда уж не сможет освободиться от страшных видений.

---

[1] Пьяная ягода, растущая в полесских болотах, с виду похожа на чернику, но в разрезе белого цвета. Достаточно десятка таких ягод, чтобы человек впал в буйное опьянение, сопровождающееся бредом и судорогами.

«На рассвете сатане подносят напиток из пьяных ягод, настоенных на крови младенца или старого зубра, и он мгновенно проваливается в болото. А чайки, потерявшие сатану, пронзительно стонут и растерянно мечутся над трясиной.

«На чаек не охотятся, их просто убивают проплеванной дробью, и убийство каждой чайки является победой над кознями сатаны. Кровь убитой чайки никогда не попадает в кровавую реку, а вливается в гнилое болото — туда, где растут самые ядовитые травы.

«Кто всегда смотрел на охоту, как на честный поединок, кто не растаптывал безжалостно звериных жизней и честно ставил западни и силки, кто не убил ни единой серны, тот и после смерти будет тешить себя охотой на берегах кровавой реки. Но горе бесчестному охотнику! Даже попав после смерти в охотничий рай, он никогда не узнает больше сладость меткого выстрела и будет предметом всеобщего презрения в загробном мире».

Поздно. Луна, как огромный серебряный цветок, медленно катится по небу. Тихо шевелятся бледные губы старика, и, точно от заклятий, из-под болотных кочек, из глубоких трясин встают давно истлевшие кости полесских богатырей, и воздух вокруг меня гремит их бранными подвигами. Под грохот орудий, сказка за сказкой развертывается длинный волшебный свиток с заколдованными словами, тайна которых хорошо известна старому Бондарчуку. Старый Матвей оказался не только знатоком загробного мира, но и превосходным историком Полесья. Звуча и сияя, ожили древние рыцари Литвы и Польши.

Я не берусь утверждать, что всё, рассказанное мне старым Бондарчуком, во всех решительно частностях согласуется с летописями старой Польши и старой Литвы. Но, подлинный ли это исторический мир или легендарный и вымышленный, на нем лежит безусловная печать полесской подлинной правды.

Ибо здесь каждый клочок земли — живая фантастическая легенда. Что ни шаг — рассеяны в полесских болотах тропинки, кочки и камни, из которых предание плетет свои причудливые были и небылицы. В самом названии предметов и мест уже кроются тайные намеки: «Черный шлях», «Орловое гнездо», «Мильч и Встань» (Молчи и Встань), «Панская охота»... И эти волнующие названия недаром будят острое любопытство.

Старому Бондарчуку хорошо известны все заклинания и заговоры, которые могущественнее гроба и смерти. Он знает слова, которыми мертвых подымают из могил. Мы же, люди скучной культурной прозы, с золотыми погонами на плечах, мы знаем только могущество золота и пушек. Оттого в нашей памяти почти совсем не удерживается чародейная сила слов, так светло и просто передающих и звуки победных труб, и треск щитов, и буйную дерзость кровавых поединков.

Под грохот орудий — сказка за сказкой — развертывается волшебный свиток. Звуча и сияя, встают ожившие мертвецы.

Вот семь кирасиров.

«Когда Наполеон был разбит в России, вся его армия стала отходить на Полесье. Но здесь стерегли его казаки. Они беспощадно делали свое дело. Каждый день натыкались в лесу полещуки на убитых французов. Как-то раз на лесной поляне бросились всем в глаза семь свежих трупов, семь юных кирасиров. Это были бравые ребята, семь рослых красавцев, с блестящими латами на груди и с черным пушком над губой. На берегах кровавой реки их ждали славные почести. Ибо у всех семи на груди (т. е. спереди), как красный болотный тюльпан, сверкала запекшаяся кровь. Эта кровь смывала с них упрек в постыднейшем преступлении — в трусливой измене долгу — и взывала о честном воинском погребении.

«Но боялись казаков, хоть казаков и не было вблизи...»

— Пана повесюць, — пояснил лукаво Матвей, — а ты три дня перед им шапку знимай: — часом оторвецца... [1]

«Прошель день, другой, третий — тела все валялись на поляне.

«Людям было стыдно проходить мимо этих благородных лиц с потухшими глазами, устремленными в открытое небо. Души наивных полещуков никак не могли мириться с тем, чтобы гордая, героическая смерть имела такой жалкий конец.

«Тогда пошли за советом к помещику, на земле которого лежали семь непогребенных героев.

«Выслушал помещик полещуков и задумался. Забегали

---

[1] И перед повешенным паном три дня шапку ломай а вдруг сорвется...

в голове у него мысли, быстрые, как лесные лоси, и трусливые, как зайцы. Потому что старая полесская правда твердила одно, а страх диктовал другое. Долго думал помещик и признался: «боюсь казаков»...

«В ту же ночь проснулся он в смертельном испуге от сильного стука в ворота. Отпер ворота и в ужасе увидал перед собою самого юного из кирасиров. Нежданный гость был печален и бледен, как смерть. Из раны в груди текла горячая кровь, а из глаз бежали горькие слезы, какими ни одни живые глаза никогда не плакали на земле... На следующую ночь пришел второй кирасир. Так семь ночей кряду приходили и стучались в ворота все семь мертвецов. На восьмой день помещик не выдержал, приказал вырыть глубокую могилу у подножия высокого дуба и предал погребению кирасиров.

«За ночь орел свил гнездо на дубе, и оттого место это по сей день зовется «Орловое гнездо», а помещика прозвали «Орловским».

Речь старика, вначале отрывистая и небрежная, делается все оживленней. Он радостно улыбается и, будто охваченный сладкими воспоминаниями юности, говорит мечтательным голосом:

— Покуль людзи жили на гэтым свеци, як брат с братом, и дзержали бога у серцы и стару праувду, детуль была им удача у всех дзелах...[1]

«Самым верным блюстителем старой полесской правды был князь Изяслав Черный. Это был смелый воин, прозванный «Черным» за свой суровый, мстительный нрав и за темный страх, который внушал он своим врагам. Весь век свой провел он в боях и сечах с литовцами, которых истребил не меньше, чем Самсон филистимлян. На смертном одре он завещал своему роду неукротимую ненависть к Литве. Мало-по-малу потомки Изяслава истощились, изнежились и погрязли в пирах и пьянстве. Однажды одному из внуков Изяслава Черного, князю Можайскому, пришлось долго и безуспешно гоняться за старым зубром. Изнуренный погоней зубр совсем близко подпустил к себе князя, но в ту минуту, когда князь уже собрался метнуть

---

[1] Доколе люди жили по закону, держались старой полесской правды, — удача сопутствовала им во всех делах.

копье, зубр отпрянул в сторону и попал в шалаш, где спасался святой отшельник. Скрестив набожно руки, вышел отшельник навстречу князю и начал просить его, чтобы он пощадил зубра. Князь весело рассмеялся в ответ и нанес зубру смертельный удар копьем. В гневе отшельник проклял князя Можайского, и результатов проклятия пришлось ждать недолго. Почти в то же мгновение примчался к князю гонец с печальной вестью: в отсутствие князя на дом его напали литовцы, которые всюду рыщут в лесу и хотят захватить князя в плен. Понял князь, что нет ему спасения, доколе святой отшельник не снимет проклятия с него. В диком отчаянии упал князь на колени перед отшельником, моля о прощении. А со всех сторон долетал уже топот вражьих коней, и гремели оружием литовцы. Святой отшельник сотворил молитву и, омочив целебный цветок в болотных водах, окропил им убитого зубра. Тело зубра дрогнуло, из ран его хлынула густая, красная кровь. Вдруг земля расступилась, раздался глухой подземный удар, и из разверстой могилы показался Изяслав Черный на своем боевом коне. В неистовом страхе попадали литовцы наземь, и король их крикнул безмолвному Изяславу:

«— Именем нашей вечной вражды! Если ты исчадие болотного сатаны,—сгинь, провались в трясину! Но если ты отмечен милостью божьей, во имя всевышнего, — говори!..

«И в ответ король услыхал:

«— Король литовский! Царству твоему приходит конец.

«И с этими словами все исчезло. Дрожащими руками осенил себя крестным знамением князь Можайский и побрел с поникшею головой в свой разоренный замок».

Месяц давно уже спустился за лесную дубраву. Небо померкло и побледнело. Печально мерцали звезды. Длинные серебристые нити тянулись от звездного неба в густую чащу темного бора и там превращались в томные соловьиные трели.

Не дожидаясь моих расспросов, старик медленно продолжал:

— Последним князем, при котором еще держались старой полесской правды, был Стефан Баторий. Однажды, гоняясь за быстрым лосем, Стефан Баторий отбился от своей свиты и очутился в непроходимой чаще. Надвигались вечерние сумерки, когда запирается вход на небо и из полесских болот

выползает всякая погань — слуги нечистой силы. Страх охватил Батория, потому что даже у самого храброго человека кровь леденеет от ужаса при виде адских призраков, выползающих из полесских болот.

«Коль господь меня выведет на верную тропу, воздвигну ему пышную жертву», — мелькнуло у князя в голове. И только успел он подумать, как видит: быстро скользит по болоту весь серебряный, с серебряным жезлом в руке святой Бонифаций и, поровнявшись с Баторием, крикнул ему чудным голосом:

«— Ступай вперед и не бойся!..

«Обрадовался Баторий и пошел. Долго шел он по тропинкам и кочкам, пока не увидел перед собой огонек оборы (сарая). У оборы, склонившись лицом к земле, тихо молилась старческая фигура. Едва князь подошел, как все исчезло — и огонек, и старик. Осталась только обора. Баторий сдержал свое обещание. На том месте, где молился таинственный старец, заложил он большой храм, который существует и поныне (в Ошмянском уезде) и называется «Оборек». А там, где он блуждал и грустил, стоят теперь две деревни: Блудовка и Груздовка...»
старик. — Пана и в рогожи узнаюць по рожи.

— Что ты [illegible] все про панов да про князей говоришь, — обратился я к нему, — ты мне лучше правду о мужиках скажи.

Матвей исподлобья взглянул на меня и сумрачно произнес:

— Скажи пану верне — ён тебе перднe.

— Как тебе не стыдно, Матвей, меня бояться. Разве ж я пан? Я — доктор.

— Пан усегды паном, — так же недоверчиво повторил старик. — Пана и в рогожи узнаюць по рожи.

И сухо процедил сквозь зубы:

— Пан та паняты — усегды псу браты.

— Что ж, ты думаешь, всегда так и останется: пан — паном, а мужик мужиком?.. А вот в наших ученых книгах по-другому прописано: дадут стрекача паны, и вся земля останется мужикам.

— Га! — иронически поскреб в затылке Матвей. — Кали все вашить да вашить, хто ж хлеба напашить?

И, лукаво прищурившись, добавил с усмешкой:

— Усе мы были б панами, дык ня у тую дирьку пупали.[1]

Потом, хлопнув меня дружелюбно по плечу, сказал с добродушной насмешкой в голосе:

— Без соли и мясо не смашно... Нихай ужо табе уся праудa — с закрасой — дыстанница! (Т.-е. без соли и мясо не вкусно; так и быть — уж открою тебе всю нашу правду полностью — со всеми приправками.)

И тут оказалось, что старый Бондарчук знает не только все прошлое Полесья; он часто видит пророческим оком такие дела и вещи, которым суждено еще сбыться только через много-много лет. Ему открыты все тайные сроки и времена. Он знает, когда найдется волшебная шапочка шведского Карла, потерянная им когда-то, при бегстве через полесские болота. Ему известно название цветка, который растет в недоступных дебрях и умеет исцелять все мужицкие беды, как уста возлюбленной исцеляют своими поцелуями смертельные раны. Он знает, что ничто не проходит бесследно «на гэтым свеци», и даже та кровожадная вражда и раздоры, которые кипят теперь на земле, найдут себе более разумное применение, когда понадобятся люди, умеющие легко отделять глупые головы от злых сердец. Конечно, у старого Матвея Бондарчука это все выходит и яснее, и проще. Особенно, когда он с ликующей уверенностью произносит:

— По смутку и радость будзя... Будзя як с «Панской охотой».[1]

Между двумя громадными камнями «Мильч и Встань» (Молчи и Встань) лежит бездонная, страшная трясина. Как шелками шитая скатерть, стелются по болоту цветы и травы. Этот пестрый цветной ковер известен в Полесье под именем «Панская охота».

«Когда-то, много лет тому назад, богатый польский вельможа пригласил на пир много польских панов. Съехались с женами, детьми и со всей челядью. Долго пили, плясали, пировали и решили всей гурьбой устроить охоту на птиц и зверя.

---

[1] В русской передаче эта поговорка звучит несколько понному. От солдат слыхал я не мало жестких вариантов. Из них наиболее удобопечатаемый такой:—Быть бы и нам панами, да не в те ворота сходил тятька за нами.

[1] После смуты настанет радостный день... Случится как с «Панскою охотою».

«По дороге попался им навстречу древний полесский старичек-дипунюшка. Поклонился в пояс панскому поезду и спрашивает:

«— Разве ясновельможному панству не ведомо, что теперь не время охоты, что птица как раз выводит птенцов, а у зверей во чреве еще звереныши?

«— Гетю, быдло! (с дороги, скотина!) — захохотали в ответ паны, и из уст их посыпались нечестивые речи и проклятия.

«Вдруг под землей раздался сердитый гул. Боязливо зачирикали птицы на деревьях, и в страхе заметалась живая тварь. Откуда-то донесся звон похоронных колоколов. Над камнем «Мильч» появилась темная исполинская рука, и чей-то грозный голос сказал повелительно:

«— Молчи!

«И мгновенно земля разверзлась под панами и поглотила их всех до одного.

«Потом на этом месте образовалась трясина, вся усеянная цветами. И цветы эти выросли на трясине в том самом порядке, как двигалась панская охота, т. е. как ехали гости и вся свита.

«Впереди трубачи с красными шарфами и флагами — превратились в пурпурные тюльпаны.

«За ними сокщики в серых куртках, с развевающимися серыми лентами — рассыпались болотной спесивкой.

«Важные паны в красных бархатных кунтушах с темно-синей шнуровкой на груди — закачались пестрыми ирисами на болоте.

«Рядом с ними желтые ирисы с крапинками, похожими на ожерелья — это вельможи с золотыми бляхами на шее.

«А над тем местом, где провалились красавицы — панны в нескромных нарядах, дразнивших глаз чересчур прозрачною наготой, — плавают нежные лилии с широкими листьями, от которых струится одуряющий запах.

«Так покарало небо панов за то, что они забыли старую полесскую правду...

«Но заклятию этому наступит конец.

«С камня «Встань» раздастся снова повелительный голос и возвестит громко и радостно:

«— Встань!

«Зашевелится бархатное покрывало болот. Заколдованные цветы и листья начнут разрастаться все выше и выше. С ясного неба прольется чистая слеза всепрощения, и пестрый ковер превратится в живую панскую охоту.

«Только это будут совсем другие люди.

«Весело засмеются мужчины, ласковые красавицы-панны скромно поднимут свои светлые глаза, радостно зафыркают кони...[1]

«Да, это будут совсем другие люди. И случится это не темной ночью, а под радостное пение птиц, при блеске яркого дня. Вместе с «панской охотой» встанут из глубины столетий все те, кто приносил себя в жертву во искупление минувших грехов и за счастье будущего. Все те, широкая грудь которых покрыта славными рубцами... С вершины таинственного камня «Встань» загремят громкие трубы, возвещая час воскресения на земле старой полесской правды...»

Светало. Гулко грохотали удары затихающей канонады. Кругом над болотными травами дымились белые испарения. Бесследно угасали последние звезды. Зашевелились проснувшиеся солдаты. У меня слипались глаза...

А старый Матвей все продолжал рассказывать о страшных войнах, о злых вампирах, о грозных, таинственных предметах. И всего больше о крохотном старичке-липунюшке, который знает все тайные слова. Раскроет липунюшка свои вещие уста и станет заклинать всех усопших полещуков, чтобы поднялись они со дна полесских болот, наточили заржавленные топоры... топоры... обора... повесюць... пана повесюць — три дня перед им шапку знимай...

... Убаюканный речью старика, я с трудом разбираюсь в его словах... Путаются обрывки отдельных мыслей и фраз... Замечаю: чем ярче разгорается солнце, тем реже паны в его рассказах и звоны стальных мечей, тем чаще говорит Бондарчук о заржавленных топорах... топоры... топоры... кровавые реки... хут... полесская правда... Как далеко это от 42-сантиметровых орудий, аэропланов, культуры и европейской дипломатии!.. Как

[1] Настоящая легенда прекрасно использована Демьяном Бедным в сказке «Болотная свадьба». См. «Сочинения Д. Бедного в одном томе», стр. 136—141.

связать воедино старую полесскую правду и цеппелины над цистернами в Жабинке?..

...А впрочем, что знают о правде дикие лесные полещуки?.. Только то, что сказало им солнце и болотные травы, полесские чайки и лесные звери и что, как эхо, повторяют за ними их простые охотничьи сердца...

2

... Опять нас гонят. Лязгают зарядные ящики, как груды мертвых костей. Снаряды режут мокрую тьму. Хриплые вопли, как пена, шипят над океаном человеческой муки.

Вторые сутки льет дождь. Беженцы сотнями лежат вдоль дороги. Ослепшими от усталости глазами они равнодушно следят за катящимся потоком возов. Вцепившись руками в гриву, ездовые с трудом сидят на конях. Всюду заторы. Пушки бешено хлещут. Хоть бы пять минут побыть в тишине, без раздражающего грохота пушек, без лязга зарядных ящиков, без матерщины и воплей

... Холодно. Дождь леденящими струями забирается под рубашку, и мечта о пристанище и тепле мучает еще неотвязнее, чем голод. Целый день плетемся по вязким лесным дорогам. Неужели опять ночевать в лесу, под холодным дождем?

Впиваясь глазами в темноту, иду, пошатываясь, как пьяный. Ловлю машинально ухом хлюпанье солдатских сапог, железный грохот зарядных ящиков и надрывистое сопенье лошадей. Почему-то это сопенье особенно мучительно. Каждый удар кнута я ощущаю собственными боками...

... Вероятно, я долго спал на ходу. Шрапнели где-то далеко в стороне буравят темноту. Дождь перестал, но холодно, и тело попрежнему зудит.

— Стой!! Стой! — перекатывается по лесу зычная команда.

Базунов, наклонившись над картой, которую держат два денщика, нервно водит по карте фонарем и сердито ругается:

— Чорт их знает, этих прохвостов! Нарочно такую стоянку выдумали, которой на карте нет. Что я, контрабандист или

гончая собака? Откуда мне знать, какие тут деревни в лесу! Ординарцы! Раздобудьте какого-нибудь папа. Хоть из-под земли добудьте!..

... Жалкая деревушка. Сотни людей летят со всех ног на заветные огоньки.

— Поставить часовых у дверей! Никого не пускать! — распоряжается Кузнецов.

И мы вваливаемся в крохотную лесную сторожку, где застаем уже двух офицеров, полкового монаха и сторожа с кучей детей.

... Проснулся я от сильного стука в окошко. Кто-то злым голосом кричал на весь лес:

— Эй, хозяин! Купцы пришли. Пропалые вещи покупать!

Дверь распахнулась, и в комнату заглянули солдаты. Кто-то чиркнул спичкой, зажег цыгарку и, делая вид, что не видит офицеров, объявил повелительно и грозно:

— Ночевать будем.

— Тесно̀ здесь, братцы, — отозвался монах.

— Солдат не дрова — в печку не сунешь. А ты, батя, не сумлевайся: пол да се́ред — сам отмерит, печь да палати — сило̀м заберём!..

И он внушительно щелкнул затвором винтовки и крикнул хозяину:

— Ну, выкидывайся, пан, со всем барахло̀м!

— Хоца б дзѐтей пожалели, — взмолился хозяин.

— Дети не бархат: их не укра̀дут, — продолжал распоряжаться тот же речистый солдат. — А ты, слышь-ка, хозяин, хлебца урежь. Да побольше. Да того не забудь, чего в кашу кладут...

Хозяин, кряхтя, вышел из сторожки, подталкивая сонных детишек и ворча сквозь зубы:

— Ну и людзи!..

— Давно забыли, когда людьми были, — огрызнулся солдат. И насмешливо протянул: — Как есть душегубы: хлеб да питье под мостом берем, совесть да крест в наем отдаем...

Офицеры спали или делали вид, что спят.

3

... Идем по направлению к Молодечно. Нашу дивизию перебрасывают на Северо-Западный фронт. Нет больше ни беженцев ни болот. Навстречу попадаются раненые — пешком и в телегах. Лица хмурые, бледные.

... Варынки, Васюки, Гарасюки... В воздухе пахнет сивушным маслом и спиртом. Кругом винокуренные заводы. Миллионами ведер водку выпускают в пруды и канавы. Солдаты черпают из канав эту грязную жижу и фильтруют ее на масках-противогазах. Или, припав к грязной луже, пьют до озверения, до смерти. Земля вся пропитана спиртом. Во многих местах достаточно сделать ямку, копнуть каблуком в песке, чтобы она наполнилась спиртом. Пьяные полки и дивизии превращаются в банды мародеров и на всем пути устраивают грабежи и погромы. Особенно буйствуют казаки. Не щадя ни пола ни возраста, они обирают до нитки все деревни и превращают в развалины еврейские местечки.

— Здесь немцы были? — спрашиваю я у жителей Васюков. — Обижали вас крепко?

— Ваше благородие, чего нам на них дивиться! — заявляет какая-то баба. — Это ж наш враг! Когда свои рабунки (грабежи) делают! У меня — я бедная солдатка — все забрали. Сено, рожину (рожь), картошку всю выкопали. Догола мужиков раздевали — денег искали.

— А чего не жаловались?

— Кому жаловаться? — горько усмехается баба. — Один к другому посылает... Бярут нахàлом. Кричат: «Нам все можно, нам такое право».

— Ну, куда мне теперь? — плачет баба. — Так с детьми под пули. Больше ничего не осталось.

... Пьяный разгул принимает дикие размеры. Пьянствуют все — от солдата до штабного генерала. Офицерам спирт отпускают целыми ведрами. Каждая часть придумывает всевозможные предлоги для устройства официальных попоек. В одном

месте батарея 49-й бригады вспомнила о своем батарейном празднике и остановилась в лесу, в стороне от дороги. На высоких соснах кое-как примостили наблюдательные пункты. Раскинулись пикником на травке. Мобилизовали всех поваров. Вытащили спирт. Вдруг обстрел. Кто-то из офицеров залез под зарядный ящик. Снарядом ящик зажгло. Все растерялись. Фейерверкер, по имени Новак, рискуя собственной головой, откатил ящик и вытащил офицера. Батарея спешно передвинулась на другое место. Когда послали за спиртом, спирта не оказалось. По постановлению офицеров всех пятерых пороли, но спирта так и не нашли.

Пьяные солдаты совершенно вышли из повиновения. Самые солидные из наших артиллеристов ходят пошатываясь. Щеголеватый Блинов попался мне на-днях на глаза в ужасном виде: весь грязный и с большим синяком под глазом.

— И вам не стыдно, Блинов? — упрекнул я его.

— Виноват! — ответил он заплетающимся языком. — Водка рот вяжет, а душу тешит...

4

... Золотая осень. Нежной позолотой чуть тронуты кудрявые березки. Небо синее, как бирюза. Стоим биваком в лесу, в десяти верстах от Молодечно. Прислушиваемся к непрерывному грохоту пушек и каждой жилкой своего тела упиваемся теплом, ароматом и счастьем жизни.

У самой опушки леса — линия брошенных окопов и три новеньких креста. На бруствере окопов—живописные солдатские группы.

— И тут смерть! — вздыхает Асеев. — Куда ни повернешься — могилы.

Асеев лежит на горбатом гребне бруствера, закинув руки за голову и мечтательно устремив глаза в небо. Кругом десятки солдат — чужие и наши. Я забрался в окоп и торопливо записываю каждое долетающее слово.

Асеев задумчиво философствует:

— У господа все для души, для радости сделано. И небо солнышком светится. И тучки, как рыбки, плавают. Луговиной тянет... Птицы поют... Вся земля, как в прощеный день.

Жить бы человеку, как дитю безгрешному, и волю божию славить: все ему для радости дадено.

— Кому для радости, а кому для слез, — солидно басит Шатулин. — Конь да дрожки одной дорожкой бегут, да весь век на конюшне врозь живут.

— Эх, Асеев, Асеев! — весело подхватывает Блинов. — Сказал топор топорищу: ты поспи, а я для тебя стараться буду... Какая мужику радость, что баре сладко едят?

Асеев блаженно потягивается под лучами солнца и мечтательно произносит:

— Мужик, что травка: мелкà, а всю землю собой приодела...

Потом продолжает в грустном раздумьи:

— Одного умом понять не могу. Растет человек, силой полнится, разумом расцветает. К старости вся сила в разум уходит. Тут бы только жить да жить человеку, да бога славить. Ан за спиною смерть караулит: ворочайся в землю назад!.. Для ча такое распоряжение человеку? Коли суждено человеку умереть, дан ему удел смертный, отчего бы по-иному не повернуть?.. Рождался бы человек стариком. Прожил бы в разуме старость, прожил бы в счастии середний возраст и молодые годà, и умер бы без печали и страха, как травинка в поле...

— А ты у бабы спроси, Асеев, — хохочет Блинов, — согласна она такого, как Пухов, в утробе таскать?..

— Шкира, — доносится голос Кузнецова, — давай песни петь!..

И мгновенно залихватская песня задорно и бойко взлетает кверху, как выпущенная на волю птица:

Остановился пеший взвод
У широких у ворот;
А милáшка увидала —
Фунтик сала откромсала.
Из высокого окна
Поднесла стакан вина...
— Эх, ты, сукин сын, солдат.
Ты чего бежал с Карпат?..
— Эх, карпатская вьюгá,
Чернобровая дуга!...
Дай мне ручку белую —
Три бедушки сделаю...

. . . .

Не всякая песня Шкиры может быть целиком включена в репертуар печатного слова.

— По коням! Ездовые, садись!..

... Парк с трудом продирается сквозь мохнатые ели.

Шагаю по мшистому ковру, погруженный в неясную тревогу, и ловлю на себе пристальные взгляды солдат.

Эти взгляды волнуют. Иногда в них читается затаенное, терпкое ожидание. Тогда начинает мне казаться, что солдаты требуют от меня каких-то решительных действий и слов. Может быть, так кажется от того, что мне самому давно надоела и тяготит меня эта роль пилигрима с заплаканными глазами?

Но что же делать? Что мне сказать солдатам? Что воевать бессмысленно? Кто же из них этого не знает, не чувствует? Всеми своими пожарами, грабежами и предсмертными воплями мучеников фронт поминутно кричит об этом каждому солдату.

Глаза солдат поражают своим хмельным задором. От водки или от жажды мира? Не знаю. Мне хочется забыть о войне. Хочу любоваться солнцем, вдыхать пахучие запахи леса. А в глазах солдат торчит всеобщим решением: пора кончать!

Только изредка от бывшего фуражира Новикова или другого «солидного» хозяина услышишь неопределенную фразу:

— Что же, немец другим местом сделанный?.. Пять миллионов за мировую просит — где ж тут мириться?..

Чем лихорадочнее загораются глаза у солдат, тем холоднее и безучастнее становятся офицеры. Все наглее распоясывается придирчивая глупость «секретных» приказов. Все требовательнее и злее делается капитан Старосельский.

А солдаты угрюмо думают о своем. Читаю это на лицах. Ловлю на лету в озлобленных фразах, выбрасываемых сквозь стиснутые зубы по адресу офицеров:

— Мы подохнем, но и им, собакам, не жить!..

В минуты пьяного озверения из гущи разнузданной матерщины неожиданно выглянет свирепое лицо пугачевщины:

— Семь смертей сделаю! До ушей рот раздеру — в самую душу...

Укрытые деревьями, мимо меня проходят группами наши артиллеристы. Они обмениваются мыслями на ходу.

— А правда это, будто цветет на Иордани плакун-трава? Оботрется ею человек — и всякое горе, как кора, с души слущится, — долетает до меня окающий голос Пухова.

Ему отвечают голоса Супрунова, Зоринова, Ветохина.

Мне не хочется вслушиваться. Иду, погруженный в свои заблудившиеся мысли. Вдруг смелый и решительный голос взводного Федоссева отчеканивает во всеуслышанье:

— Надо бы всем за ум взяться! Надо бы промежду наших ребят белого петуха пустить!

— Не люблю я энтих бумажек, — медлительно разносится задумчиво-насмешливый протест Семеныча. — Проку мало. Болтают разную пустяковину: рыбу в реке продают. Тут подмогу дать надобно, а не карася в речке.

— Боишься? — раздраженно бросает Федосеев.

— Чего бояться? Хуже смерти не будет. А от бунта все равно не уйдем.

— Коли по-другому не сменится — пойду бунтовать! — твердо заявляет Лагоденко.

Я глубоко и жадно вдыхаю пахучий воздух.

... Ярким пурпуром сияет умирающий день.

... Приближаемся к Молодечно. Парк устало тянется по шоссе. Навстречу медленно плетется странная фура, погоняемая мужичком-белоруссом с белокурой бородкой. За фурой с плачем бредут какие-то жалкие еврейки.

— Откуда?

— Из Молодечно.

— Что везете?

Мужичок смотрит на меня пустыми глазами и криво усмехается. Еврейки молча и пугливо проходят мимо.

Наклонившись с седла, я сдернул концом нагайки грязное рядно на телеге и отпрянул назад.

Под рядном лежали два трупа. Метнулись в глаза торчащие кверху бороды, восковидное лицо старика с оскаленным ртом, багровое пятно под вытекшим глазом, вывороченные, перебитые пальцы и клочья окровавленного платья...

— Чего ты молчишь? — резко срывается у меня.

Мужик равнодушно смотрит в сторону и нехотя отвечает.

— Казаки... в Молодечно... погром делают... жидов режут...

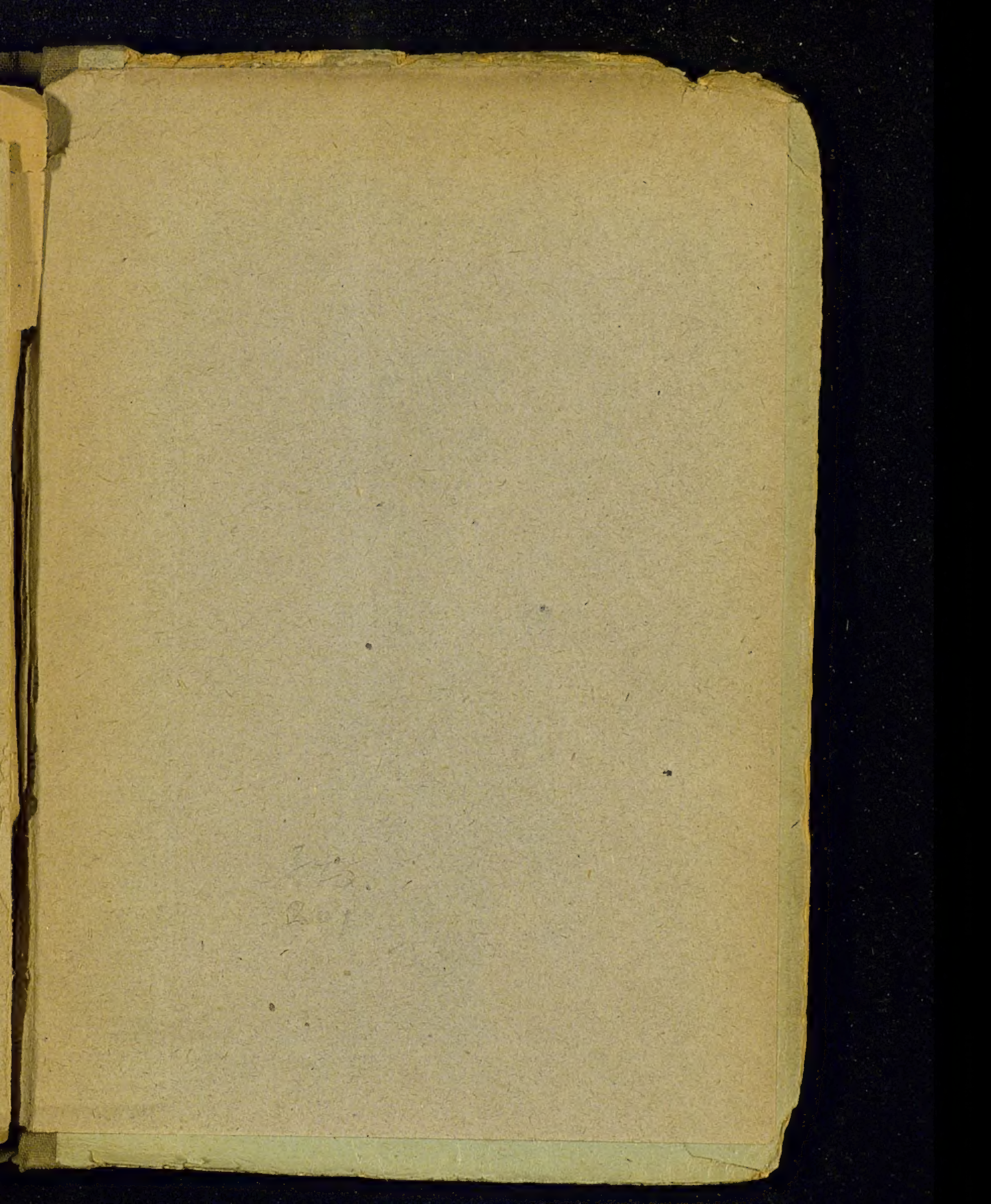
СОДЕРЖАНИЕ

Часть шестая. Сдача Бреста

1915 год

Часть седьмая. По Полесским болотам

1915 год



н. 1 р. 80 к.

25 к.

